ISSN 0130 – 6545

5. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИМРЕ ВАРГА. Памятник М. Радноти в Шалготорьяне. (Фрагмент.) 1969. Бронза.

Иллюстрации номера —
работы венгерских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

5 май 1984

Содержание

МАНФРЕД ШТРОЙБЕЛЬ — Стихи *(Перевод с немецкого Осипа Спасова и Б. Хлебникова. Вступление Г. Раттауза)* 3

ДЖОН АПДАЙК — Рассказы *(Перевод с английского Игоря Багрова, Ларисы Огульчанской, Нины Бать, Сергея Таска, Евгении Шварц)* 8

ЭРИК БЛУМБЕРГ — Стихи *(К 90-летию со дня рождения. Перевод с шведского и вступление Татьяны Бек)* 53

ВОЛЕ ШОЙИНКА — Аке, годы детства *(Повесть. Продолжение. Перевод с английского Андрея Сергеева)* 58

ТОММАЗО ДИ ЧАУЛА — Голубая спецовка *(Перевод с итальянского Г. Смирнова и Н. Живаго. Послесловие Г. Смирнова)* 124

Критика

Т. МОТЫЛЕВА — Истоки мужества *(О книгах воспоминаний антифашистов ГДР)* 166

Н. ПРОЖОГИН — Алессандро Мандзони и его роман «Обрученные» 175

Заметки писателя

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Размышления по поводу одной старомодной истории 183

Письма из-за рубежа

АТУКВЕЙ ОКАЙ — Заметки о современной ганской литературе *(Перевод с английского В. Рамзеса)* 187

Культура и современность

К. ЧУГУНОВ — «За единство воли и мысли писателей Азии и Африки» *(Краткий обзор специального номера журнала «Лотос»)* 191

Публицистика

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ — Звездное помрачение 193

Документальная проза

МИРОСЛАВ ИВАНОВ — Покушение на Рейнхарда Гейдриха. Свидетельства, факты, документы *(Монтаж по книге. Перевод с чешского В. Пархитько)* 202

Антирубрика

ДАФНА ДЮ МОРЬЕ — Эскорт *(Перевод с английского Эллы Башиловой)* 218

К. Л. ГАНДИ — «Кто утрет их слезы?» *(Перевод с хинди М. Салганик)* 223

Наши гости

Л. ВАСИЛЬЕВА — Дьёрдь Радо (Венгрия) 225

К нашим иллюстрациям

И. СВЕТЛОВ — Имре Варга 229

Из нашей почты

Анкета «Иностранной литературы» 231

Среди книг

Издано в СССР

С. ИЛЬИНСКАЯ — Греция древняя и новая *(Геракл и мы. Современная греческая поэзия)* 237

Издано за рубежом

С. АПТ — Горькая доля пророчицы *(Криста Вольф. Кассандра. Четыре лекции)* ◆ ВАДИМ КЛИМОВСКИЙ — Голоса венгерской прозы *(Сорок четыре венгерских рассказа)* ◆ ДАЛИЯ МЕНДОСА — Надломленная свобода *(Марио Бенедетти. Надломленная весна)* ◆ АЛЕН БОСКЕ — Что читают сегодня во Франции 239

Из месяца в месяц

247

Авторы этого номера

255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы венгерских художников ПЕТЕРА ФЕЛЬДИ «На ферме» и ИШТВАНА ВАРГИ «Мемориальная доска Эндре Ади в Будапеште» 1978 (бронза).

© «Иностранная литература», 1984.

МАНФРЕД ШТРОЙБЕЛЬ

■

С немецкого

Исповедь поэта

В среднем поколении поэтов, ныне во многом определяющем облик поэзии ГДР, есть немало ярких имен. Это и темпераментный поэт-новатор Фолькер Браун, и задумчивый лирик Хайнц Чеховский, и их ровесник Райнер Кирш, в творчестве которого столь резко и контрастно сталкиваются сдержанная сила и колючая, подчас агрессивная ирония. В этой плеяде Манфреду Штройбелю принадлежит заметное и законное место, хотя его путь к признанию и был более длительным, чем у его сверстников.

Сын лейпцигского учителя, Манфред Штройбель родился в 1932 году, дебютировал в возрасте двадцати четырех лет книгой стихов «Громко и тихо» (1956). Но затем Штройбель надолго умолкает. Эта пауза была не случайной: поэт с горечью осознал, что в его ранних стихах, как, впрочем, и у некоторых его сверстников, было много легковесной риторики. Его новая книга «Стрелка времени» появилась лишь через десять с лишним лет, в 1968 году. В книге собраны стихи уже зрелого мастера, стихи, насыщенные мыслью, в которых, по единодушному мнению критики, оптимизм поэта стал несравненно более глубоким. С этого времени поэт уверенно набирает высоту.

В нашей подборке представлена зрелая лирика Манфреда Штройбеля, стихи из его сборников последних лет: «За медом» (1976), «Опись» (1978) [1], «Разбегающиеся круги» (1980), «Итог» (1983). Этот выбор сделан сознательно. Манфред Штройбель всегда писал и лирические и гражданские стихи. Но в юношеские годы два начала — лирическое и гражданское — существовали в его поэзии как бы независимо друг от друга.

Совершенно иначе дело обстоит в его зрелой лирике. Гёте говорил когда-то, что все его стихи являются единой большой исповедью. Не будем сравнивать современного поэта с Гёте. Но несомненно, что в меру своих сил и Штройбель успешно следует подобному же творческому принципу.

Перед нами исповедь человека, недавно перешагнувшего порог своего пятидесятилетия. Он пишет обо всем, что пережил сам и что волнует его поколение (отнюдь не замыкаясь на какой-нибудь одной излюбленной теме: такая «локальность» подчас может сузить масштабы творчества). Мы находим у Штройбеля и страстные гражданственные стихи («Письма Розы», «Кете Кольвиц в Морицбурге»), и нередко грустные раздумья о той поре жизни, когда «виски морозит проседь», и о человеческом уделе вообще. Есть у него и яркие, пластичные картины природы и городского домашнего быта, и своеобразные поэтические вариации на темы европейской живописи, которую он хорошо знает и любит. Часто такие вариации переходят в стихотворные новеллы о художниках («Künstlernovellen») — традиционный для немецкой литературы жанр начиная с шестидесятых годов внезапно (и очень ярко) обновился и в поэзии ГДР — особенно у Бобровского и Маурера.

Разнообразна и форма стихов Штройбеля: есть у него и классический сонет, который помог ему, как некогда Бехеру, в поисках предельного лаконизма, и образцы совершенно иной, необычной строфики. Тонко варьируется или меняется размер (иногда в одной и той же строфе), следуя за живыми переливами интонации.

Глубокая человечность и простота выражения заново окрашивают, казалось бы, известные темы. Так Роза Люксембург, героиня трагических стихов Брехта и Бобровского, предстает поэту, словно впервые разбирающему ее тюремные письма,— обычной женщиной, наделенной особой женской чуткостью и жалостью ко всему

[1] Об этой книге подробно писала «Иностранная литература» (см. «ИЛ», 1979, № 10).

живому, даже к самым крохотным и неприметным живым существам (эти штрихи целиком подтверждаются подлинными документами):

Мне кажется знакомым нежный почерк,
а твой завет — он обращен ко мне:

чтить малое немалым уваженьем —
листок, жука и крохотных мокриц,
прислушиваться в грохоте сраженья
к внезапной, отдаленной песне птиц...

Штройбель любит жизнь в самых простых ее проявлениях, ее живые краски и запахи. Может быть, поэтому так убедительно его стихотворение «Гончарные ряды». Обычная прогулка по рынку выглядит у поэта не только на редкость увлекательной, но и перерастает в похвалу труду, «творениям бережных рук»:

Кувшины! Светильники! Блюда!
Творения бережных рук.
Хвала вам! Воистину — чудо
вокруг.

Человек, написавший такие стихи, как и (хочется сказать — «по-есенински») простые и сердечные строфы о «Жеребенке на пастбище», явно обладает зорким взглядом живописца. Отсюда тянется прямая нить к замечательным по своей наблюдательности поэтическим этюдам на темы великого норвежского художника Эдварда Мунка и соотечественницы поэта Кете Кольвиц (1869—1945). В то же время стилистически эти стихи написаны в совершенно ином ключе, чем «Гончарные ряды». Их сугубая метафоричность, напряженные, трагические образы говорят о том, что зрелый Штройбель, подобно некоторым другим поэтам ГДР шестидесятых — семидесятых годов (Эрих Арендт, Иоганнес Бобровский, Хайнц Чеховский и другие), как бы заново открыл для себя наследие поэтов-экспрессионистов.

Кете Кольвиц сознательно изображена поэтом не на вершине своей европейской славы (в 20-е годы Ромен Роллан восторженно писал о ней: «Творчество Кете Кольвиц — это чудеснейший гимн Германии наших дней»), а в страшном для нее 1944 году, незадолго до смерти. Всем посулам нацистов эта женщина предпочла гордое одиночество и жестокую опалу. «Сердца бесчисленных немецких рабочих пламенеют любовью ко мне,— писала художница вскоре после захвата власти Гитлером,— но они охладеют, если я буду «окружена почетом» (в третьей империи.— Г. Р.).

Эта непреклонность Кете Кольвиц заслуживает особого уважения, если вспомнить, что многим художникам и писателям после января 1933 года не сразу удалось определить свою позицию. Очень трудным было положение таких всемирно известных художников слова, как Гауптман и Фаллада, которые, оставшись в Германии, далеко не всегда проявляли достаточную твердость по отношению к новым властям. В этой ситуации особенно поражают мудрость и мужество двух немолодых женщин: выдающейся писательницы Рикарды Хух (1864—1947) и ее ровесницы Кете Кольвиц. Фашистский режим пытался заигрывать и с ними, но безуспешно. «Моя ненависть неутолима», — писала Рикарда Хух в одном из своих стихотворений:

Ангел, посланный богом
преступнику дать прощенье,
замыкаясь в молчании строгом,
становится ангелом мщенья.

(Перевод автора статьи)

Кете Кольвиц жила под угрозой ареста, носила с собой ампулу с ядом (не желая живой попасть в руки гестапо). Ее имя навсегда стало символом сопротивления нацизму.

Драматическая история Германии, современность, искусство — все это находит в стихах Манфреда Штройбеля живой отклик, и мы надеемся, что они привлекут внимание любителей поэзии.

Г. РАТГАУЗ

Жеребенок на пастбище

Все так, малыш: нескладным быть, качаться
среди травы — высокой, словно лес.
Из чрева материнского являться
в зеленый май, под синий свод небес.

На все, что внове, фыркать недовольно,
хотя виною муха на носу...
И верить в мир: великий, добрый, вольный,—
в стремительную эту новизну.

© Mitteldeutscher Verlag, Halle-Leipzig, 1976, 1978, 1980, 1983.

Бежать и догонять упрямый ветер,
который дерзко мчится впереди,
и глупых кур по выгону гонять,

тереться о кору шершавых веток,
что кстати оказались на пути,
и, на солому рухнув, отдыхать.

Перевод ОСИПА СПАСОВА

Наш «Иван»

Когда отрокотал последний гром,
Победный грохот,
усталые бойцы вошли в наш город,
зашли в наш дом.

Один из них у нас в квартире жил,
и я, мальчонка,
подглядывал за ним в дверную щелку,
как он махорку финкою крошил.

Чтоб он не портил нашего стола,
мать хмуро доску с кухни принесла:
ему, мол, самому-то невдомек.

Он покраснел. А мать, узнав потом,
что потерял он и семью и дом,
убрала доску. Но он стол берег.

Разлука

С осенней ветки лист летит,
отринут ею.
Он веткой сам не дорожит
теперь своею.

Последний взмах. И не нужны
для расставанья
ни доказательства вины,
ни оправданья.

Как прочен цепкий черенок,
пока не наступает срок
распасться звеньям.

Как милосерден листопад,
дарующий взамен утрат
оцепененьем.

Глазунья

В непогоду злую,
в стужу и дожди,
хороша глазунья
со сковороды.

Съешь и улыбнешься,
будто сразу три
маленьких солнца
греют изнутри.

Феникс

Когда мне говорят: «всему свой час»,
«всему свой срок», я думаю: едва ли.
Неотделимо прошлое от нас,
как неразрывны радость и печали.

Утихла боль, что сердце обожгла,
но не прошла бесследно, как ненастье,
и залетела легкая зола
горчинкою в безоблачное счастье.

И пережитой радости моей
уж не померкнуть до скончанья дней.
Что было неподдельным, будет длиться,

оставшись настоящим. А в финале
объявится, как некогда вначале,
чудесная, загадочная птица.

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

Письма Розы

Осталась пачка писем. Блеклых строчек,
написанных в тюремной тишине.
Мне кажется знакомым нежный почерк,
а твой завет — он обращен ко мне:

чтить малое немалым уваженьем —
листок, жука и крохотных мокриц,
прислушиваться в грохоте сраженья
к внезапной отдаленной песне птиц,

всем сердцем битюгов жалеть усталых
и всякой боли чутко сострадать,
терзаясь всей неправдою земной,—

и делать то, что главным в жизни стало,
и снова сильным стать и созидать
свет Революции: из нежности святой.

Кете Кольвиц в Морицбурге[1], 1944 год

Седая мать. Ее удел жесток:
на поле битв искать останки сына,
найти напев последних грустных строк.
А облака — на белом черный клок —
пригнали новый день. Невыносимо!

Такие строки: ветер бил крылом.
Ее увидев, ей кричали птицы —
на дальнем берегу, в году ином...
А дни опять склоняют над окном
похожие и тягостные лица.

[1] Усадьба к северу от Дрездена. Известна своими выдающимися архитектурными памятниками. К. Кольвиц провела в Морицбурге последние годы жизни и умерла там 22 апреля 1945 г.

И просит мать: сынок, пришли гонца!
Мне ждать недолго рокового часа.
Роняет руки, тяжелей свинца.
...Соседка слезы ей утрет с лица.
Дни все еще плывут над седовласой.

Гончарные ряды

Кувшины! Светильники! Блюда!
Творения бережных рук.
Хвала вам! Воистину — чудо
вокруг.

Молочник. И ваза для розы.
Ликуя, несу их домой —
волшебные метаморфозы
грязи земной.

Забавы. Простые покупки.
Но как бы я прожил без них,
предметов чудесных и хрупких,
средь смут мировых.

Перевод ОСИПА СПАСОВА

Новоселье

Ты строил свой дом,
мечтая о том,
что в нем заживешь понемногу.
И вот он готов,
а собственный кров
великое дело, ей-богу.

Так рада душа,
что краска свежа,
что бел потолок от побелки.
Гостям, новосел,
скорее на стол
стаканы неси и тарелки.

Но как ни нужны
четыре стены,
защита от бури и грома,—
да дело ведь в том,
что мил тебе дом,
а долго не высидишь дома.

Перевод Б. ХЛЕБНИКОВА

■

ДЖОН АПДАЙК

Рассказы

С английского

Соседи во Христе

Из маленького городка в Южной Дакоте Орсон Зиглер — сын тамошнего врача — попал прямо в Гарвард. Восемнадцати лет от роду, среднего роста, средних способностей. Впрочем, в лице под пятнами экземы на щеках и за чуть болезненным прищуром — не сразу глаз привыкает к городской тесноте после раздольных полей — таилась изрядная самоуверенность. У себя в городке он слыл личностью примечательной — как-никак докторский сын. В старших классах его выбирали старостой, ему выпало произнести и прощальную речь на выпускном вечере, он был капитаном футбольной и бейсбольной команд (лишь в баскетболе ему впервые в жизни пришлось уступить более достойному — капитаном выбрали чистокровного индейца. Звали его Лестер Пятнистый Олень, он вечно ходил с грязными ногтями, вовсю курил, пил, дерзил и своевольничал). В Гарвард Орсон поступил первым из своих земляков и, скорее всего, последним, разве что со временем у него вырастет достойный сын-преемник. Дальнейшая жизнь виделась Орсону ясно: сначала общий курс по медицине, потом специализация либо в том же Гарварде, либо в Пенне или Йеле, потом работа в родном городке, там уже ждала будущая супруга (сам выбрал, сам отваживал других парней, сам наказал ей ждать и хранить верность). За два дня до отъезда Орсон покусился (без особого, впрочем, успеха) на ее девственность. Эмили плакала, сам он злился на себя — неумеха, раззява. Ведь он тоже был девственником. В целом Орсон мыслил весьма трезво: нужно многому научиться, многое познать, хочешь не хочешь без старанья не обойтись. Сколько таких вот пареньков поглощает и перемалывает Гарвард и выпускает во взрослую жизнь с наименьшими на первый взгляд издержками. В колледже решили: раз Орсон с берегов Миссисипи, верующий (протестант-методист), то его можно поселить с первокурсником из Орегона, самовером англиканского толка.

Четырнадцать часов летел Орсон с пересадками в Гарвард. Перед глазами все плыло, руки-ноги затекли, зато успел к сроку. Оказалось, сосед уже вселился. На двери комнаты номер четырнадцать висела табличка, на верхней строчке значилось: «Г. Паламаунтен». Постель у окна застлана, рядом на столе — аккуратная стопка книг. Орсон стоял на пороге с двумя тяжелыми чемоданами в руках и, тупо, сонно моргая, озирался. Очевидно, в комнате кто-то есть, но где — не понять: глаза слипались, мысли путались, сосредоточиться не удавалось.

Его новый сосед сидел босой на полу подле маленькой прялки. Увидев Орсона, он вскочил так проворно, будто его подкинула невидимая пружина; враз, как по волшебству, перед Орсоном замаячило толстогубое пучеглазое лицо. Паренек оказался на голову ниже. На нем были узкие небесно-голубые джинсы, грубошерстная рубашка, из расстегнутого ворота кокетливо высовывался шелковый шейный платок. На голове — белая шапка, такую Орсон видел лишь у Неру на фотографиях.

Орсон поставил чемодан, протянул руку. Однако парень вместо того, чтобы пожать ее, сложил ладони на груди, склонил голову и что-то пробормотал. Потом ловко смахнул с головы шапку, обнажив светлый, курчавый, петушиным гребнем хохолок, и произнес: «Меня зовут Генри Паламаунтен». Говорил он четко и бесстрастно, словно диктор с Западного побережья. Потом все-таки пожал руку, пожал до боли крепко, нарочито крепко. Он, как и Орсон, носил очки, поэтому глаза, и без того выпученные, точно при базедовой болезни, казались еще больше, взгляд еще пытливее.

— А я — Орсон Зиглер.

— Я уже знаю.

Надо что-то добавить, что-то значительное и важное, подумал Орсон, от этой минуты зависят наши дальнейшие отношения.

— Что ж, Генри, значит, нам здесь вместе жить,— изрек он и грохнул чемоданом об пол.

— Хочешь, зови меня как все — Пряхой. А хочешь — по имени. Выбирай. Я твою обожаемую свободу ущемлять не собираюсь. По мне, хоть вообще никак не называй. У меня и так из-за этого в общежитии уже три смертельных врага.

Все, начиная с первых слов в этой бесстрастной, спокойной речи, насторожило Орсона. У него самого никогда не было прозвища — уважительные одноклассники избавили от этой участи. В отрочестве он даже сам придумывал себе клички: Орри, Зигги — и хотел, чтоб они прижились, но без толку. И почему его свобода «обожаемая»? Издевается сосед, что ли? И с чего бы Орсону вообще никак его не называть? И как тот успел завести врагов?

— А ты-то здесь давно? — дружелюбия в голосе Орсона поубавилось.

— Восемь дней.— Завершая каждое предложение, Генри самодовольно поджимал губы, а на это что, мол, скажешь?

Видно, он принимает меня за простачка-легковера, подумал Орсон, но смирился: пусть ему уготована не самая лучшая роль, как и не самая лучшая кровать в комнате. Пусть.

— Неужто восемь дней?

— Именно. И почти неделю прожил абсолютно один. Я и добирался сюда на попутках.

— Из самого Орегона?

— Конечно. Я выехал загодя — мало ли что в пути приключится. Зашил в рубашке пятьдесят долларов — на тот случай, если меня обчистят. Однако все обошлось, доехал целым-невредимым Написал на картонке «Гарвард», вышел на шоссе. Попробуй как-нибудь. Занятные люди попадаются из бывших гарвардских выпускников.

— И родители тебя спокойно отпустили?

— Как бы не так! Они, правда, давно развелись. Отец страшно рассердился. Все предлагал мне купить билет на самолет. Я ему говорю: ты эти деньги лучше в фонд помощи индейцам отдай А то у него на добрые дела и гроша не выманишь. И потом, что я, мальчик, что ли? Как-никак двадцать лет.

— И в армии уже служил?

Генри вскинул руки и отшатнулся, словно его ударили. Потом приложил ладонь ко лбу и простонал:

— О чем ты говоришь!

Его даже передернуло, затем он стал навытяжку и козырнул.

— Меня портлендская призывная комиссия до сих пор разыскивает.— Он самодовольно подтянул узел шейного платка, расправил его. Орсон заметил, что руки у него и впрямь не мальчишечьи: жилистые и узловатые, а ногти, как у женщины, покрыты красным лаком.

— Плевать они хотели на мои религиозные убеждения. Только квакерам и меннонитам скидка. А мой духовный пастырь их поддерживает. Мне, конечно, предложили вместо армейской службы работать санитаром, но я объяснил, что такое освобождение распространяется и на военное время; а если уж начнется война, то я сам возьму в руки оружие. Стреляю я отменно. А убивать никого не хочу. Просто из принципа.

Тем летом началась война в Корее, и Орсона мучила совесть: несмотря на зов долга, он не пошел добровольцем. И, столкнувшись с таким рьяным миротворцем, взъярился. Злобно прищурился и спросил:

— А чем же ты занимался эти два года?

— Работал на фанерном заводе. Клейщиком. Вообще-то клеют фанеру машины, но их время от времени переполняет клей и заливает — знаешь, так иной раз мысли нахлынут и тонешь в них. «Гамлета» читал?

— Нет. Только «Макбета» и «Венецианского купца».

— Ладно. Неважно. Значит, нужно эти машины очищать особым раствором. Надеваешь резиновые перчатки по локоть и лезешь внутрь. А там — тишь и благодать. Сидишь себе, цитаты из древних греков повторяешь. Я так чуть ли не всего «Федона» наизусть выучил.— И кивнул на стопку книг. Орсон пригляделся: много зеленых корешков лэбовских изданий Платона и Аристотеля на греческом. Судя по затертым корешкам, книги читали и перечитывали. Впервые Орсона пробрала дрожь — ведь он в Гарварде! Наконец он принялся распаковывать чемоданы.

— А стол для меня найдется?

— Конечно. Вот этот, поудобнее,— твой.— Генри вскочил на еще незастланную кровать и подпрыгнул на пружинном матраце.— И кровать я тебе лучшую оставил, и стол — там не слепит солнце.

— Спасибо,— буркнул Орсон.

Генри сразу же уловил недовольство.

— Хочешь — занимай мою кровать и стол мой бери.— Он спрыгнул на пол, подбежал к столу, враз смахнул с него книги.

Орсон тронул его за плечо — к чему все это? — и поразился: до чего крепкие у Генри мышцы.

— Не дури, столы же одинаковые.

Генри стал укладывать книги на место.

— Просто хочется избежать всяких размолвок. А я старший, мне и уступать. Все отдам, хоть рубашку со своего плеча.— И принялся стаскивать рубашку; на голой шее красовался лишь вызывающего вида платок — майку Генри не носил.

Поймав умоляющий взгляд Орсона, он улыбнулся и стал застегивать воротник.

— Тебя, небось, бесит, что я написал свое имя на двери на верхней строчке? Прости. Я сотру. Я думал, тебе все равно.

Ну и шутки у соседа. Орсон решил не отставать.

— А что, и мне прялка полагается?

Генри подпрыгнул на одной ноге, отступив на шаг, и смешался.

— Это просто так. Я ставлю эксперимент. После занятий йогой пряду по полчаса в день. Прялку из Калькутты выписал.

— Так ты еще и йогой занимаешься?

— Кое-какие простейшие позы знаю. Хотя в позе лотоса и пяти минут не просижу — лодыжки болят.

— Ты говорил, что у тебя и духовник свой?

Генри взглянул на него с любопытством — неужто и впрямь интересно?

— Ну что ж. Раз спросил — отвечу. Я считаю себя приверженцем англиканской церкви, исповедую взгляды Платона, преклоняюсь перед Ганди.— Он сложил руки на груди, отвесил поклон и продолжал: — Мой духовник не любит меня. Епископ Орегонский уговаривает меня идти в армию. Я и здесь получил аудиенцию у местного епископа, но ему, видимо, тоже пришелся не по душе. Из-за своих взглядов я еще в колледже своего научного руководителя против себя настроил. Сказал, что не собираюсь выполнять требования программы по науке.

— Наука-то чем виновата?!

— Зачем тебе это? Ты же просто так спросил.

— Пожалуй, ты прав,— согласился Орсон.— Что ж, если решил проверить мой характер — пожалуйста.

— Я считаю, что наука — суть дьявольское наваждение, человеческая гордыня. Надуманность ее хотя бы в том, что ее положения так переменчивы. Я говорю своему руководителю: «Зачем тратить четверть учебного времени, изощряясь в гипотезах, которые устареют, не успею я окончить университет? Лучше я это время потрачу на Платона».

— Господь с тобой, Генри! — только и ахнул Орсон. Все существо его восстало против таких речей.— А как же медицина, спасающая жизнь миллионам?! Неужто ты это всерьез?

— Вообще-то лучше звать меня Пряхой. Хотя тебе, наверное, нелегко общаться со мной, и поэтому зови как хочешь, лишь бы на пользу. Давай о тебе поговорим. Ты из семьи врача. В школе отличник, а я вот по всем предметам едва тянулся. Ты приехал в Гарвард, чтоб впитать в себя все многообразие жизни Восточного побережья, что неоценимо для человека, родившегося и выросшего в провинциальном городке на Среднем Западе.

— Кто тебе все это рассказал? — Орсон даже покраснел. Генри слово в слово повторил его прошение о приеме в Гарвард.

— В университетской канцелярии. Я попросил у них твои документы, сначала не давали, но я объяснил, что коль скоро они поселили меня, вопреки просьбе, не одного, то я имею право поинтересоваться своим будущим соседом, чтобы избежать возможных размолвок.

— И они дали тебе все мои документы?

— Еще бы. Люди, не имеющие твердых убеждений, не способны долго сопротивляться.— И Генри удовлетворенно сомкнул губы.

— А зачем приехал в Гарвард ты? — не утерпел Орсон.

— По двум причинам.— Генри выставил два пальца.— Из-за Рафаэля Демоса и Вернера Джейгера.

Орсон не знал этих имен и, лишь спросив, друзья ли они Генри, спохватился — вот дурак-то.

Но Генри кивнул.

— С Демосом я сам познакомился. Милый старик ученый и очаровательная молодая жена.

— Ты что же, так и приперся к нему домой? Здрасьте, вот он я?!— тонким фальцетом выкрикнул Орсон, голос у него порой срывался и делался писклявым. Орсон причислял это к своим недостаткам.

Генри часто заморгал, и Орсон вдруг увидел перед собой совсем беззащитного, тщедушного мальчишку, одетого по-пижонски. На голом черном полу выделялись его босые ступни, корявые, желтоватые, с коротко подстриженными ногтями.

— Сказать, что я приперся, пожалуй, нельзя. Просто, как всякий путник, зашел на огонек. По-моему, ему было приятно общаться со

мной.— Он отчеканил каждое слово, замолчал, но вопреки обыкновению не поджал губы.

Орсон поразился, не соседским фокусам и трюкам, а тому, что, кажется, обидел его, если это нескладное существо вообще способно обижаться. Внезапно Генри оказался на полу — так же внезапно, как ранее предстал перед сонным, усталым Орсоном. Точно на полуслове провалился в невидимый люк. И вновь принялся прясть. Нить он пустил вокруг большого пальца ноги — чтобы лучше натягивалась, а другой ступней ритмично жал на педаль. Работа полностью поглотила его. Наверное, так же забирался он в чрево машины на фанерном заводе, отгораживался от всего мира и строил свои теории, где все перевернуто с ног на голову. Орсон принялся распаковывать чемодан, пригорюнился. Кругом все чужое, непривычное. Как же мама раскладывала вещи? Носки и белье — в один ящик, рубашки и носовые платки — в другой. Как далеко, невозвратимо далеко дом. Черный пол вдруг глянул на него страшной бездной, даже голова закружилась. Ритмично щелкала прялка. Орсон с тоской подумал о своем соседе. Тот размышляет о серьезном, важном, а он, Орсон, как школяр — лишь бы учиться лучше. Конечно, суждения Генри невежественны (сам же говорил, что по всем предметам едва тянулся), но это слабое утешение, невежество опасно. Орсон склонился над тумбочкой. И что он за размазня; ни с восхищением внимать новому знакомому, ни, напротив, воспротивиться его гнилой философии не может. От одного присутствия Генри на душе пакостно. У Орсона с детства была почти маниакальная привычка к чистоте, и теперь ему всюду мерещился клей, вот он липким месивом растекается по чемодану, вяжет руки.

Соседи не проронили ни слова, покуда гулко и значительно не ударил колокол. Вроде рядом и будто издалека — может, это стучит сердце Вечности. А в паузах особенно четко проступают суетные мелкие звуки и видения: приглушенный шепот листвы в парке (привыкшему к степям Орсону деревья за окном казались тропическими зарослями); беспокойные блики и тени на стенах, и сами стены будто ожили, зашевелились; солнечный луч, пронзивший стаю пылинок, а может, это и не пылинки, а крошечные ангелы — все уместятся на булавочной головке; шорох шин по асфальту, скрип тормозов. И звуки и видения эти вдруг нахлынули разом, заполонили всю комнату, нечем дышать. На лестнице в коридоре затопали. Дверь распахнулась, на пороге стояли ребята в пиджаках и при галстуках.

— Здорово, Пряха!

— Поднимайся-ка, старина!

— Надо же, все еще босиком!

— Ну, ты даешь!

— Снял бы косыночку, а то уж больно хорош!

— Обрати взор свой, о Пряха, на лилéю. Не сеет, не жнет и прядет не прядет и все же, истинно, истинно говорю, даже великий Соломон не уподобится ей в красоте.

— Аминь, братья!

— Тебе, Фич, только проповеди читать!

Никого из ребят Орсон еще не знал. Пряха поднялся, не обращая внимания на шутки, стал знакомить гостей с Орсоном.

Прошло несколько дней, и Орсон сложил представление о каждом. Стоило лишь присмотреться, и пестрый, поначалу однородный муравейник вдруг распался на ячейки-комнаты. И в каждой — два непохожих существа-соседа. Силверстайн и Кошланд, Досон и Керн, Янг и Картер, Петерсен и Фич.

Этажом выше в комнате над Орсоном и Генри жили Силверстайн и Кошланд, нью-йоркские евреи. О евреях Орсон знал лишь по Библии да еще то, что это вечно унылые и скорбные люди, очень музыкальные, прозорливые и несчастные. Однако Силверстайн и Кошланд

вечно шутили, кривлялись, играли в карты и шахматы, ездили в Бостон в кино, пили кофе в закусочных на площади. Учились они один в Бронксе, другой в Бруклине в школах для одаренных и перед университетом — храмом науки — отнюдь не благоговели. Все, чему их учили на первом курсе, они уже давно знали. Зимой Кошланд занялся баскетболом, и потолок в комнате Орсона ходил ходуном, когда наверху тренировались; вместо баскетбольного они довольствовались теннисным мячом, вместо корзины баскетбольной — мусорной. А однажды днем прямо на кровать Орсона свалился целый пласт штукатурки.

За стеной в двенадцатой комнате жили будущие писатели Досон и Керн. Первый — из Огайо, второй — из Пенсильвании. Сутулый и неуклюжий Досон лицом смахивал на глупого добродушного щенка, хотя характер имел отвратительный. Он подражал Андерсону и Хемингуэю и писал по-газетному сухо и сжато. Воспитывался он атеистом, оттого Пряха, как никто в общежитии, озлоблял его. Орсону он, однако, пришелся по душе, они, такие разные по натуре и поведению, родились в одной и той же среде, питавшей их сердца и души,— на Среднем Западе. С утонченным и жестоким Керном найти общий язык труднее. В нем угадывался человек из краев восточных. Сын фермера, необыкновенно чувствительный и нервный (отсюда и его многочисленные болезни, начиная с конъюнктивита и кончая геморроем), несносный курильщик и болтун. Они с Досоном любили перестреливаться шутками-сиюминутками. По вечерам Орсон слышал, как за стеной соседи с ходу сочиняют эпиграммы на преподавателей, товарищей, высмеивают учебу. Однажды Досон пропел:

— Зовусь я Орсон Зиглер, приехал из Дакоты.

И Керн молниеносно подхватил:

— Я онанист заядлый, к учебе нет охоты.

Через коридор, в пятнадцатой, жили негры Янг и Картер. Картер родом из Детройта, очень темнокожий, всегда хорошо одет. Говорил небрежно, обрубая слова, любил посмеяться удачной шутке, порой хохотал до икоты, до слез. До такого состояния его виртуозно умел доводить Керн. Янг — худой, кожа у него посветлее, цвета солодового пива, стипендиат из Северной Каролины, из глубинки. Он отчаянно тосковал по дому, по теплой зиме. Керн прозвал его Братец Опоссум. Днем Янг обычно спал, а к ночи садился на кровати и наигрывал на губах, подражая трубе. Поначалу он перед обедом выдавал «соло на горне», и все общежитие и зеленый парк внимали трепетным, томно-сладостным звукам «Сентиментального путешествия» и «Теннессийского вальса». Здорово у него получалось. Но потом взяла верх тактичность, точнее — Гарвард пробудил в нем поколениями дремавшее рабское стремление не выделяться, быть «как все». И столь безобидные концерты прекратились. Янг даже от солнца стал прятаться. А по ночам через коридор до сонного Орсона долетали тихие, почти стыдливые рулады. Картер всегда подчеркнуто произносил имя соседа полностью, да еще непременно по слогам: Джо-на-тан, будто какое покрытое пылью веков, только что выгуженное из учебника имя вроде Ла-рош-фу-ко или Де-мос-фен.

В дальнем конце коридора в комнате под несчастливым номером тринадцать непонятно как уживались Петерсен и Фич, оба узкоплечие и широкозадые. Но на этом их сходство, как внешнее, так и внутреннее, кончалось,— не понять, почему в Гарварде их свели вместе. Темноглазый, со скошенным черепом франкенштейновского чудища, Фич, вундеркинд из штата Мэн, был помешан на философии. В голове у него роились самые невероятные теории, прорастали семена грядущего (в конце учебного года) душевного разлада. Петерсен — милый швед, кожа у него тонкая, почти прозрачная, даже на носу заметны голубые прожилки. До университета он каждое лето подрабатывал в отделе хроники газеты «Дулутский вестник» и на-

хватался всех репортерских привычек: сквозь зубы бросал ядовитые замечания, любил пропустить стаканчик виски, шляпу лихо заламывал на затылок, швырял непотухшие сигареты прямо на пол. Каким ветром его занесло в Гарвард, он и сам толком не знал. Немудрено, что после первого курса он не вернулся. Но пока эти двое, еще не ведая о скорой разлуке с Гарвардом, удивительнейшим образом уживались в одной комнате, и не только уживались, но и дополняли друг друга. Фич был в быту совершенно беспомощным и неприспособленным, даже на машинке печатать не умел. Он лежал в пижаме на постели, нервно дергаясь и гримасничая, диктовал свою работу по литературе или языку, путано и многословно, со ссылками на книги, не указанные в программе, а Петерсен отчаянно молотил двумя пальцами по клавишам машинки, и из бессвязного монолога рождался «печатный вариант». Терпимость и заботу он проявлял воистину материнскую. Случись Фичу появиться в столовой в пиджаке и при галстуке, студенты обязательно съязвят: дескать, это Петерсен одел его. Взамен Фич оделял приятеля идеями из сонмища, распиравшего его большую неказистую голову. У Петерсена же — ни одной, хоть шаром покати. Ему не под силу было сравнить святого Августина с Марком Аврелием, или противопоставить одного другому, или вынести оценочное суждение. Все его способности завяли на корню под грязью и мерзостью виденного в детстве: трупы на месте происшествий, пожарища, полицейские, проститутки. Но в Гарварде нашлось применение и ему — нянчить Фича. И Орсон им крепко завидовал.

Впрочем, завидовал он всем соседям, если видел, что их хоть что-то связывает: родной край, цвет кожи, внешнее сходство. У него с Пряхой ничего общего, кроме комнаты, в которой они принуждены жить вместе. Нельзя сказать, чтобы Пряха особенно досаждал ему. Предельно аккуратный, очень собранный, нарочито внимательный. Вставал в семь утра, молился, занимался йогой, прял, шел завтракать, и частенько до вечера Орсон его больше не видел. Ровно в одиннадцать Пряха ложился спать. Если мешал шум, затыкал уши резинками, если свет — укрывал лицо особой черной маской и засыпал, несмотря ни на что. Днем неукоснительно следовал своему расписанию: помимо четырех обязательных лекций посещал еще две. Занимался борьбой три раза в неделю, чтобы укрепить себя физически, не мытьем, так катаньем напрашивался в гости к Демосу или Джейгеру, добился аудиенции даже у епископа Массачусетского, по вечерам успевал еще на бесплатные лекции и чтения, вступил в благотворительное общество и дважды в неделю после обеда навещал беспризорных детей в исправительном заведении в Роксбери. Хватало времени брать уроки фортепьянной игры в Бруклине. Орсон порой виделся с ним только за обедом в студенческом клубе. Там за общим столом собирались первокурсники — новые знакомства в первую студенческую осень еще хрупки и неустойчивы, а разница в интересах еще не разобщает. Чаще всего разговор заходил о том, что привлекало всеобщее внимание,— о Пряхином вегетарианстве. Пряха брал двойную порцию тыквенной каши и фасоли. Фичу вечно не терпелось найти изъян в его строгой теории.

— Но ведь яйца-то ты ешь,— заводил он.

— Ем,— отвечал Пряха.

— А с куриной точки зрения яйцо — это младенец, верно?

— Конечно, если яйцо оплодотворено.

— Ну, а окажись среди неоплодотворенных яиц одно с зародышем — а такое запросто может быть, сам видел, я дяде на птицеферме помогал,— как тогда?

— Если я вижу эмбрион, то, конечно, не ем такое яйцо,— и Пряха самодовольно поджал губы.

Фич ликующе взмахнул рукой с вилкой, ткнул ею вниз и заключил:

— А какая разница! Курице-то одинаково больно расставаться с любым яйцом. А зародыш все равно еще не осознал своего бытия, значит, он и не животное, а растение, так, травка. Будь ты истинным вегетарианцем, ты бы поедал такие яйца с особым удовольствием.— Он так резко откинулся на спинку стула, что едва не опрокинул его, но удержался, ухватившись за край стола.

— А мне думается,— подал голос мрачный Досон; разговоров таких он терпеть не мог, ибо в них не блеснешь своим парадоксальным мышлением,— что психоанализ куриной души здесь ни при чем.

— Очень даже при чем.— Керн откашлялся, прищурил больные воспаленные глаза.— Я считаю, что именно в маленьком глупом курином уме — хоть одна извилина да найдется — и достигает кульминации вселенская трагедия. Представь себе внутренний мир курицы. Ведома ли ей дружба? Ее окружает свора крикливых злобных сплетниц-кур. Ведом ли ей домашний очаг? Для нее это загаженный насест. А пища? Несколько жалких, втоптанных в грязь зерен. Любовь? Редкие наскоки петуха — а жен у него целый курятник. И вот в один прекрасный день в этом жестокосердном мире как по волшебству появляется ее плод — яйцо, ниспосланное, по ее разумению, богом. До чего же оно, такое ровное, округлое, твердое и в то же время хрупкое, дорого ей: за его матовыми стенками колышется жизнь.

Картер сморщился, наклонился над тарелкой, закрыл глаза, черное лицо исказилось гримасой.

— Уф-ф! — он глубоко выдохнул.— От твоих речей наизнанку выворачивает.

— Это еще цветочки! — важно продолжал Керн.— Ягодки впереди. Сидит-сидит курица, высиживает свое пока безликое безрукое-безногое детище, крылом чуя, как пробуждается жизнь в яйце, ничего не подозревает,— тут он с надеждой взглянул на Картера, но черный паренек закусил губу и сдержался,— как вдруг является огромное, пропахшее пивом и дерьмом чудище — человек и отнимает бесценное сокровище. И все почему? Да потому, что вот он,— Керн выбросил вперед, через весь стол руку, и пожелтевший от табака указательный палец едва не уперся в Пряхин нос,— наш святой Генри Паламаунтен никак не насытится, все ему мало «Хочу яиц!» — орет его ненасытная утроба, и пока он пожирает детей куриных, ему наплевать, скольким детям человечьим угрожает какой-нибудь жестокий хряк или коварная свинья.

Досон бросил на стол вилку с ножом и, сгорбившись, вышел. Керн покраснел. Все сидели молча. Петерсен сложил пополам ломтик мяса, отправил в рот, прожевал и обратился к Пряхе:

— Ну, что ты в самом деле. Если уж кто убил живую тварь, почему бы ее не съесть? Ведь ей-то теперь уже все равно.

— Не понять тебе,— просто ответил Генри.

— Слушай-ка, Пряха,— окликнул его с другого конца стола Силверстайн.— А как насчет молока? Ведь его и телята пьют. Значит, ты отнимаешь у них пищу?

Орсон не выдержал.

— Ты не прав,— после долгого молчания голос у него срывался.— Наверное, только в Нью-Йорке не знают, что молочные коровы телят не вскармливают. Вот ты мне, Пряха, лучше скажи, у тебя ведь ботинки кожаные?

— Верно, кожаные.— Генри посуровел; доселе он защищался с улыбкой, сейчас же губы недобро сомкнулись.

— Но кожа-то свиная.

— Ее сняли с убитого животного.

— Ты сейчас как Петерсен говоришь. Убивают их потому, что

тебе нужны кожаные ботинки, кожаный ремень, кожаный бумажник. И ты причастен к убийству не меньше, чем мы все. А может, и больше — ни один из нас, как ты, об этом не задумывается.

Пряха неторопливо сложил руки на краю стола, словно собираясь молиться, и заговорил; голос у него сделался как у диктора, вернее, как у спортивного комментатора, на одном дыхании, но не повышая голоса, рассказывающего о финише забега.

— Ремень у меня, насколько мне известно, из искусственной кожи. Бумажник мне давным-давно, когда я еще не был вегетарианцем, подарил брат. Прошу не забывать, что до восемнадцати лет я ел мясо, а хочется мне его и по сей день. Я бы отказался от яиц, как и многие вегетарианцы, если бы нашлась равноценная по содержанию белка замена. А другие употребляют и рыбу, и экстракт печени. Я так не хочу. Что касается ботинок, тут сложнее. В Чикаго одна фирма шьет обувь по заказам строгих вегетарианцев, очень дорогую и очень неудобную. Однажды я заказал у них ботинки и едва не сгубил ноги. Свиная кожа в отличие от синтетики пропускает воздух, и нога «дышит». А ноги у меня, надо сказать, чувствительные. Согласен, это уступка с моей стороны, но вынужденная. Если уж на то пошло, то, играя на пианино, я потворствую истреблению слонов, а пользуясь зубной щеткой из натуральной щетины — чистить зубы приходится часто, в овощах много углеводов,— отправляю на убой свиней. С ног до головы я залит кровью и молюсь денно и нощно о прощении.— Он взял вилку и вновь принялся за тыквенную кашу.

Орсон растерялся: ведь он хотел помочь Пряхе, защитить его, а вышло, что он самый лютый враг. Надо как-то оправдаться.

— Есть отличные парусиновые туфли на каучуковой подошве.

— Непременно посмотрю,— кивнул Пряха,— но если верить твоим словам, они очень уж щегольские.

За столом засмеялись, и разговор на том прекратился. После обеда Орсон пошел в библиотеку. У него началась изжога, в желудке — тяжесть, последствия столь огорчительного разговора. Противоречивые чувства столкнулись в душе. Ему никоим образом не хотелось прослыть сторонником Пряхи, с другой стороны — становилось обидно за соседа, когда на того нападали. Разве не достоин он уважения, ведь старается жить по своей вере. А насмешники вроде Фича и Керна только себя унижают. Пряха всерьез с ними и не спорил, все нападки парировал с улыбкой, только с ним, с Орсоном, сражался как с заклятым врагом и поставил его в дурацкое положение. Почему так вышло? Может, Пряха подумал: раз Орсон христианин, ему за всех и отдуваться? Но ведь и Картер по воскресеньям ходит в церковь, нарядившись в голубой, в полоску, костюм, из нагрудного кармана торчит уголок платка с монограммой. Петерсен тоже считается пресвитерианцем. Да и Керн раз, таясь, вышмыгнул из церкви. Даже Кошланд соблюдает посты и праздники: то занятия пропустит, то к обеду не явится. Так почему же, снова и снова спрашивал себя Орсон, Пряха ополчился против него? Впрочем, стоит ли так огорчаться? Да наплевать на Пряху! Впрямь ли тот достоин уважения? Почерк детский, буквы выводит как в первом классе, зачеты сдал кое-как, даже своих любимцев, Платона и Аристотеля. Не хватало еще, чтобы его, Орсона, поучали всякие недоумки! Орсону было очень обидно, что не нашелся в застольной беседе — будто незаслуженную двойку получил. Он мысленно нарисовал график отношений с Пряхой: кривая Орсоновых благих помыслов тянулась все выше, а кривая полезного действия катилась к нулю. И на фоне этого графика виделись ему самодовольно поджатые губы, бесстыжие рыбьи глаза, узловатые, с желтым оттенком руки и ступни Пряхи. В библиотеке, на занятиях, на улице перед Орсоном вдруг возникал выпученный, бессмысленный глаз, желтый ноготь на большом пальце ноги, видение разрасталось, заволакивало взгляд Орсона дремотной пеленой.

Однажды февральским днем, сидя в двенадцатой у Досона и Керна, он, к собственному удивлению, вдруг произнес вполголоса: «Как я его ненавижу!» И повторил уже громче. Голос сорвался, на глаза навернулись жаркие и тщетные слезы.

После Рождества ребята вернулись с каникул — их ждала неизбежная, как судьба, и неизведанно-страшная, как ад, сессия. Семестровые экзамены в новинку, придется покорпеть над учебниками. Большинство пришло в Гарвард из частных школ, и им приходилось на первом курсе тяжелее всего. Правда, выпускники Эксетера или Гротона, этих гарвардов в миниатюре, в первом семестре резво плыли по течению (уповая на то, что ветер удачи и впредь будет сопутствовать им), не ведая, что вскоре сядут на мель, их самоуверенность даст течь и потянет на дно: кто запьет, кто облачится в расцвеченную бравадой меланхолию.

А университетская стихия безжалостна: весь балласт, все лишнее — за борт. Дома на рождественских каникулах мама принялась откармливать похудевшего, по ее мнению, Орсона. Он в свою очередь ахнул, увидев, как похудел и резко сдал отец. Первые дни Орсон часами слушал музыку по радио либо разъезжал по узким проселочным дорогам, окаймленным ослепительно белым снегом. Какое просторное, какое чистое небо — раньше он этого не замечал. Здесь, дома, даже зимой, когда температура ниже нуля, высокое солнышко все равно греет. Встретился Орсон и со своей невестой, и вновь встреча закончилась ее слезами. Вслух Орсон признал, что за неудачу корит лишь себя, а в душе укорял ее: могла б и помочь. Он вернулся в университетский городок, там шел дождь, это в январе-то! На асфальте — грязные следы, мокнут под дождем велосипеды и девушки из соседнего Рэдклиффского колледжа, в плащах и теннисных тапочках. Пряха на Рождество оставался в общежитии и отметил праздник постом!

Только теперь, за месяц до экзаменов, с утра до ночи сидя за книгами и конспектами, Орсон понял, как мало знает, как небогат умом, как и впрямь противоестественно и напрасно учение. Гарвард, однако, щедро вознаградил его труды: три экзамена на «отлично», один — на «хорошо». Пряха же едва-едва заработал две четверки и два «уда». Керн, Досон и Силверстайн сдали экзамены успешно. Петерсен, Кошланд и Картер — посредственно. Фич завалил один, а Янг — три экзамена и стал в университете притчей во языцех. Бледнокожий негр незаметно, точно прокаженный, старался выскользнуть из общежития и так же тайком прошмыгнуть обратно. Не услышать больше соло на трубе или горне. Силверстайн и Кошланд приняли в свою баскетбольную команду и Картера и раза три-четыре в неделю вместе ездили в Бостон в кино.

Кончаются экзамены, и в разгар мягкой кембриджской зимы наступает благодатная передышка. Студенты загодя выбирают новые предметы, иногда даже на курс вперед; присматривают, словно новую шляпу в магазине, новых преподавателей. Незаметно прибывает день. Раз-другой завьюжит. В университетской газете промелькнет непривычная заметка о победе пловцов или теннисистов. Падут на снег голубые тени — весна не за горами. И вот уже подрезают кроны вязов, и они стоят, словно застывшие фонтаны. У кафе Альбиани толпятся студенты — кружочки снега на асфальте от рифленых подошв точно серебряные монеты. Красные кирпичные здания, сводчатые ворота, несуразные, как большие сараи, дома на Гремучей улице, старые профессорские кафедры — сегодня все это твое, первокурсник. Но только сегодня. Завтра явятся другие наследники. Переплеты учебников изрядно потрепаны, значит, прибавилось знаний у читавших. Тянет ремень сумки с книгами, тянет точно сокол —

поводок охотника; уж не так тоскуешь по письмам из дома. Часы уже не летят друг за другом, а тянутся долго-долго. Успеешь и позаниматься, и за девушкой приударить, и с приятелями наговориться, чтоб утолить, впрочем, едва ли утолимую жажду — познать ближнего. В такую-то минуту и сорвалось с губ Орсона то злое, но от сердца признание. Досон даже отвернулся, словно боясь заразиться Орсоновой злобой. Керн растерянно заморгал, закурил сигарету и спросил:

— А что, собственно, тебе в нем не нравится?

— Ну как тебе сказать? — Орсон заерзал на черном, изящном, но жестком стуле.— Мелочи всякие. Получит, например, повестку от призывной комиссии из Портленда и рвет не прочитав. А обрывки — в окно.

— А ты боишься, что и тебя упекут в тюрьму, как соучастника?

— Да нет, наверное, нет. Просто он из этого устраивает показуху. Пряха вообще любит показуху. Видели б вы, как он молится.

— А тебе-то откуда знать, как он молится?

— Каждое утро вижу. Станет на кровати на колени, упадет ниц да еще руки по сторонам раскинет.— И Орсон для убедительности развел руки.

— Боже правый! — воскликнул Досон.— Вот это да! Прямо средневековье какое-то! Да куда там средневековье! Прямо Реформация наизнанку.

— Я, конечно, тоже молюсь,— Орсона даже передернуло — до чего ж подло предает он Пряху! — но показухи не устраиваю.

По лицу Досона пробежала тень.

— Святой он,— сказал Керн.

— А вот и нет,— заупрямился Орсон.— Ума у него маловато. Я с ним сдавал экзамен, видел, как он в математике плавает. А книги на греческом, что у него на столе, он, поди, и не открывал. А потрепанные они потому, что у букиниста купил.

— А на что святому ум? — возразил Керн.— У него сила должна быть. А Пряха сильный.

— Посмотри, как он борется,— поддакнул Досон.

— Да ничего особенного. В сборную первого курса не попал. Да и на пианино, наверное, играет так, что уши затыкай.

— Не о том ты все что-то говоришь,— закрыв глаза, произнес Керн,— не понимаешь ты Пряху. Главного в нем не видишь.

— Вижу насквозь. Вижу, что́ он пытается выставить в себе главным. Да только все это чтоб пыль в глаза пустить. Поддельное все. И вегетарианство, и сострадание голодающим индусам. На поверку он чертовски холодный и равнодушный. Отродясь таких не встречал.

— Как по-твоему, неужто Орсон и впрямь так думает? — спросил Керн Досона.

— Нет, конечно,— и на сумрачном лице Досона заиграла глуповатая щенячья ухмылка.— Наш Орсон-поп не остолоп.

— Прости, не расслышал: Орсон-поп или Орсон-сноб? — Керн лукаво сощурился.

— Пряха — очкастая ряха,— раззадорился Досон.

— Пряха — парень-рубаха,— не отстал от него Керн.

Орсон понял, что, избрав его козлом отпущения, соседи тем самым сохраняют зыбкий мир меж собой. Он ушел, изобразив обиду, хотя в душе даже радовался: наконец у него появилось какое-никакое прозвище. Орсон-поп.

Спустя несколько дней Орсон, Пряха, их соседи за стеной и Фич пошли в Новый лекционный зал послушать Карла Сэндберга. Пряха решительно повел приятелей к свободному ряду. Орсону не хотелось сидеть вместе с ним, он выждал, пока рассядутся остальные, и сел подальше от Пряхи. Впереди того сидела девушка с длинными неистово-рыжими волосами, скрывавшими спинку кресла. Ну и грива! —

изумился Орсон. Сразу вспомнились лошади, дом, бескрайние пшеничные поля, бездонное небо, ласковое солнце. Девушка сидела к Орсону вполоборота: смутные очертания скуластого личика, белое ухо из-под волос. Орсон глядел на нее в полумраке, и сладкая истома накатывала волной, захлестывала. Казалось, лицо ее парит в воздухе и близится, близится... Но вот девушка отвернулась, к ней наклонился Пряха и что-то шепнул на ухо. Фич, конечно же, подслушал и глумливо пересказал Досону, тот — Керну и Орсону.

— А Пряха девушке комплимент сделал: «Какие у вас чудесные волосы!»

Пока Сэндберг читал стихи, Пряха несколько раз наклонялся к девушке и что-то говорил. Фич, Досон и Керн только со смеху прыскали. А Сэндберг, чьи белоснежные прямые пряди напоминали кукольный парик, колдовал на сцене, завораживал зал, декламировал и наигрывал на гитаре.

Вечер кончился, Пряха проводил девушку до выхода. Орсон увидел: она засмеялась, наморщила носик, лоб. Пряха вернулся к приятелям; самодовольно поджатые губы казались сейчас в полумраке уродливым шрамом.

Прошло несколько дней, а может, и недель. Пряха притащил в комнату охапку рыжих волос, расстелил на полу газету и выложил свою ношу.

— Что это еще такое?

Пряха уселся на пол и принялся вертеть колесо прялки.

— Волосы.

— Человечьи?

— Разумеется.

— Чьи?

— Одной девушки.

— Что еще за дела? — вырвался у Орсона нелепый вопрос. Спросить ему хотелось другое: что еще за девушка? Но Пряха будто прочитал мысленную поправку и ответил:

— Ты ее не знаешь, я познакомился с ней на вечере Сэндберга.

— Так это ее волосы?

— Ну да. Я попросил. Она все равно собиралась к весне их остричь.

Орсон застыл над постелью: зарыться бы сейчас лицом в эту золотистую копну.

— Так вы встречаетесь? — Фу, как по-бабьи он спросил! Пряха почуял ревность, но не подал виду.

— Иногда. У меня очень насыщенная программа, и на развлечения нет времени. Хотя мой наставник считает, что иногда отдых необходим.

— В кино ее водишь?

— Изредка. Билет, конечно, она сама себе покупает.

— Ну, еще бы!

Пряха уловил иронию.

— Не забывай, что я здесь живу исключительно на свои сбережения. Отец хотел помочь, да я отказался.

— Ну, а что будешь делать с волосами? — Каждый слог — точно нож в сердце.

— Спряду веревку.

— Веревку?!

— Именно. Придется, конечно, потрудиться. Волос очень тонкий.

— А на что тебе веревка?

— Узлом закручу.

— Это еще зачем?

— Узел — это просто так называется; возьму, сверну кольцом и крепко-накрепко завяжу, чтоб ни за что не развязалась. А потом

отдам. Чтобы на всю жизнь память осталась: такие волосы она носила в девятнадцать лет.

— Бедняжка, небось, упиралась как могла.

— Ничуть. Я ей предложил — она согласилась. Ей даже понравилось. Только почему это так бередит твою обывательскую душу? Женщинам стричь волосы не привыкать.

— Да она, небось, пошутила, решила, что ты ума лишился.

— Думай как хочешь. Предложение мое было вполне разумным, а о моем уме как таковом у нас речь не заходила.

— А зря. Мне вот кажется, что у тебя не все дома, чокнутый ты.— И, хлопнув дверью, Орсон вышел. Вернулся он лишь в одиннадцать вечера. Пряха спал, натянув на глаза маску от света. Ворох волос переместился с кровати на пол поближе к прялке, некоторые пряди уже разобраны и заправлены в челнок. Вскорости Пряха сдержал слово, получился тонкий — в женский мизинец — плетеный жгут, легкий, скользкий и глянцевитый, словно вощеный. Но неистоворыжий, так будоражащий блеск, пропал. Пряха аккуратно свернул жгут тугой спиралью, перевязал черной ниткой, сколол длинными булавками — получился крепкий волосяной диск. И однажды вечером в пятницу он преподнес девушке свой подарок. Этим он вполне удовлетворился — во всяком случае, насколько Орсону было известно, больше он с этой девушкой не встречался. Орсон изредка видел ее на университетском дворе. Коротко стриженная, от былой женственности не осталось и следа. Бледное личико теперь обрамляли кудряшки, из-под них торчали огромные уши. Орсон даже чуть не заговорил с ней — хотелось утешить или подбодрить. Уже открыл было рот, но слова привета этому, ставшему враз бесполым и непривлекательным, существу застряли в горле. Да, похоже, она и не горевала, может, ей вообще невдомек, что с ней сотворили.

Словно волшебная сила берегла Пряху, отводила от него беду. А Орсон, стоило ему усомниться в Пряхином рассудке, сам же от своего злословия и пострадал. К весне его одолела бессонница. По ночам наползало страшное месиво цифр, формулировок, дат, обволакивало, душило, точно трясина. Четыре основных предмета вдруг обернулись непосильными загадками. Уравнение по математике не уравнивалось, ответ ускользал, прятался в лабиринте чисел; неисчислимые молекулы решительно не желали укладываться в строгие химические формулы, разладилось их равновесие, и сложная система взаимосвязанных элементов — будь то на лабораторном столе или на далекой звезде — вдруг обратилась в хаос. По курсу общей истории проходили Просвещение, и богоборческие идеи Вольтера поразили разум и смутили дух Орсона, хотя преподаватель говорил о них ненавязчиво и спокойно, как о давно минувшем этапе развития человеческой мысли, не принимая и не отвергая этих положений. В немецком (иностранный язык — обязательный предмет) Орсон заблудился в дебрях новых непонятных слов, волосы становились дыбом: сколько на свете языков, сложных, непосильно трудных, ни вширь, ни вглубь их не постичь — воистину, безумен мир, в котором живем. Обычно Орсон усваивал новое хоть и не быстро, но основательно, теперь же работалось с натугой. Дни напролет сидел, не отрываясь от стула, порой казалось, что он прирос к нему. И Орсон вскидывался, холодея от ужаса.

Его мучила бессонница, голова разламывалась, не в силах вместить прочитанное, ни отринуть, ни употребить его на пользу Орсон не мог. Одна и та же мысль стала неотступно преследовать его: подружка в Южной Дакоте наверняка нашла другого парня и спит с ним в свое удовольствие. Стыда и неловкости — как-никак первым-то у нее был он сам — Орсон уже не испытывал. Даже в ее нежных письмах, в каждой округлой буковке ему мерещилось довольство ЖЕНЩИНЫ, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ. Кто соперник, он не сомневался:

Лестер Пятнистый Олень, индеец с грязными ногтями. Проворный, подвижный — на баскетбольной площадке он обводил Орсона, словно насмехаясь над ним. И ловкость, и быстрая реакция — все Лестеру, это же несправедливо. Да и Эмили, как теперь вспоминалось, не раз пользовалась его покровительством. Да, докатилась его невеста, стала индейской шлюхой. Перед глазами чередой прошли худые, забитые дети из резерваций — их лечил отец,— и Орсону вдруг представилось, что это его собственные дети. К нему приходили сны, точнее, обрывочные видения в столь скудные минуты забытья: вот он живет в одной комнате с Лестером — тот, конечно же, спит в маске от света. Самыми низкими, бесчестными приемами отнимает он ласку и любовь, по праву предназначавшуюся Орсону.

В общежитии против Орсона все как сговорились. Когда за стеной смеялись Керн и Досон, Орсон точно знал, что это над ним, над его самым сокровенным. Нигде не сыскать уединения: даже оставаясь в комнате один-одинешенек, лежа в постели, чтобы дать отдых хотя бы телу, он порой мысленно видел рядом Пряху, почти ощущал его губы, ноги, узловатые и тем не менее женственные руки. Поначалу Орсон гнал эти видения, старался скорее стереть их в памяти, но легче стереть рябь на воде. И он покорился: терпеливо ждал, когда наваждение вновь набросится на него, начнет терзать жадными клыками, прыгать вокруг и извиваться, покуда, вконец измучив, не окунет в забытье. Иначе не заснуть. А по утрам Орсон всякий раз видел своего соседа: вот он, по обыкновению, картинно распростерт на кровати; вот сидит, скрючившись подле прялки; вот, одевшись, как всегда броско, на цыпочках выходит за порог и с нарочитой осторожностью закрывает дверь. И всякий раз Орсону было невмоготу видеть его: противны и лицо, и фигура, и повадки, особенно притворная, подчеркнуто выказываемая в мелочах любовь к ближнему. Все в Пряхе — и складки у самодовольно поджатых губ, и «взрослые» жилистые руки, и тщательно начищенные кожаные туфли — казалось Орсону смертельным ядом, которым тем не менее он упивался. Обострилась, и не на шутку, экзема.

В апреле Орсон всерьез подумывал, не обратиться ли ему в студенческую клинику в отделение душевных расстройств. Нежданно-негаданно его опередил — а тем самым и спас — Фич, у него обнаружилось нервное истощение. Целыми днями Фич сидел в душевой, перестал ходить на занятия, по общежитию разгуливал нагишом, обвязавшись полотенцем. Он еще пытался дописать просроченную на месяц курсовую по литературе, которая и без того была на двадцать страниц больше, чем надо. Из комнаты он выходил лишь обедать и за новыми книгами в библиотеку.

Однажды в девять часов вечера Петерсена позвали к телефону на третьем этаже. Уотертаунская полиция задержала Фича в кустах на берегу реки Чарльз в четырех милях от университета. Фич сказал, что пробирается на Запад, там, как он слышал, раздолье и есть где вместить господа. Потом он горячо принялся объяснять полицейскому различие и сходство во взглядах Кьеркегора и Ницше. Пряха — ему только дай волю вершить добро, на деле же покопаться в чужих делах — пошел к старосте общежития, тощему и желчному выпускнику-астроному, занимавшемуся подсчетами галактик, и вызвался все устроить, даже поговорил с психиатром лазарета. Тот считал, что Фичем двигал эдипов комплекс, но Пряха и тут повернул все по-своему: дескать, это Фичу кара за непомерную гордыню. Фича отправили домой. А Пряха намекнул Орсону, что у Петерсена в комнате освободилось место.

— С нового учебного года к нему кого-нибудь подселят. По-моему, вы бы чудесно ужились. Оба материалисты.

— Какой же я материалист? — возмутился Орсон, голос опять сорвался на писк.

Пряха воздел свои мерзкие руки, будто благословляя.

— Ну-ну, пусть будет по-твоему. Я просто хочу свести к минимуму все наши разногласия.

— Побойся бога! Все разногласия из-за тебя!

— Это почему же? Чем я не угодил? Скажи, я исправлюсь. Все отдам, хоть рубашку со своего плеча,— стал было расстегивать ворот, но понял, что шутка не ко времени.

И решимость и злоба вдруг враз покинули Орсона, пусто на душе, только теснит, теснит ее безысходность неразделенного чувства к другу. Как ни зови — не дозовешься, как ни тянись — не дотянешься.

— Сам не знаю, Пряха,— признался он,— сам не знаю, чем ты мне мешаешь.

Наползло тягучее молчание, обволокло, сковало все слова. Наконец Орсон с трудом разомкнул губы.

— Ты, пожалуй, прав, на втором курсе нам лучше жить порознь.

Пряха не ждал такого ответа, но все же согласно кивнул.

— Я же сразу просил, чтобы меня одного поселили.— Обида и недоумение потухли, и близорукие навыкате глаза за стеклами очков вновь стали непроницаемыми и бесстрастными.

Как-то днем в середине мая Орсон сидел за столом, безуспешно стараясь сосредоточиться на учебнике. Два экзамена уже позади, ждут еще два. Они, словно неприступные башни из учебников и конспектов, преграждали путь к свободе. Орсон балансировал над пропастью, кишащей формулами и фактами; назад уже не повернуть, а вперед ведет тонкая нить — его разум, его мозг, в котором, как в счетной машине, мигают лампочки-клетки. Малейший толчок — и сорвется, погибнет.

На лестнице затопали, дверь распахнулась, влетел Пряха. В руках — отливающий сталью предмет, величиной с кошку, с красным выступом-язычком. Пряха хлопнул дверью, запер ее и бросил предмет на постель Орсона. Это оказался счетчик-касса с платной стоянки машин. У Орсона похолодело и заныло внизу живота.

— Господи, это еще что такое? — возопил он жалким писклявым голосом.

— Счетчик с автостоянки.

— Сам вижу, что счетчик. Какого черта он у тебя?

— Прекрати истерику, тогда поговорим.

Пряха подошел к своему столу, там Орсон оставлял его почту. Взял верхнее письмо, заказное, от портлендской призывной комиссии, и разорвал. На этот раз у Орсона захолонуло сердце. Он уронил голову на руки, крепко обхватил ее: все кружилось в красно-черной пелене, и не найти опоры. Орсон уже страшился своего тела: каждый нерв напрягся, готовясь к третьему удару-испытанию.

В дверь забарабанили. Несомненно, это полиция. Пряха подскочил к кровати Орсона и сунул счетчик под подушку. Потом нарочито степенно подошел к двери и открыл.

На пороге стояли Досон и Керн.

— Что у вас происходит? — сердито спросил Досон, будто соседи подняли гвалт злонамеренно.

— Зиглер так орал, мы уже подумали, что его пытают.

Орсон указал на Пряху и объяснил:

— Он сорвал счетчик с кассой на автостоянке.

— Ничего подобного,— возразил Пряха.— Просто на Массачусетском проспекте у машины отказали тормоза, и она врезалась в другую, а та была на стоянке и сбила столбик со счетчиком. Набежала толпа. А я смотрю, счетчик на обочине валяется, дай, думаю, заберу, вдруг кто соблазнится да украдет.

— И тебя не остановили? — поинтересовался Керн.
— Конечно нет. Все вокруг водителя столпились.
— Крепко ему досталось?
— Вряд ли. Впрочем, я не смотрел.
— Ничего себе,— возмутился Орсон,— тоже мне, добрый Самаритянин!
— Нездоровое любопытство мне претит,— отрезал Пряха.
— А полиция приехала?
— Нет еще.
— А что ж не подождал? Вот бы и отдал счетчик.
— С какой стати его отдавать государству? Оно не больше меня имеет право на эти деньги.
— Да нет, все же побольше! — не утерпел Орсон.
— Ясно, что на все промысел божий,— провозгласил Пряха,— потому этот счетчик ко мне и попал. Я, правда, еще не решил, на какие благотворительные нужды определить эти деньги,— и самодовольно поджал губы.
— А чем же это не воровство? — усомнился Досон.
— А разве государство не обворовывает людей, заставляя их платить за место, куда они ставят собственные машины?
— Вот что, Пряха,— Орсон встал из-за стола,— верни-ка ты деньги, пока мы с тобой оба в тюрьму не угодили.— Он живо представил крах своей едва начавшейся жизни.
— А я не боюсь тюрьмы,— спокойно сказал Пряха,— при тоталитарном режиме сесть в тюрьму даже почетно. Будь у тебя совесть, понял бы.

В комнату зашли Петерсен, Картер и Силверстайн, за ними — ребята с нижних этажей. Все общежитие уже смаковало рассказ Пряхи. Извлекли из-под подушки и пустили по рукам счетчик, ощупывали, трясли — много ли монеток в кассовом ящичке. Пряха всегда носил складной нож со множеством лезвий — как-никак приехал из края лесорубов,— он вытащил его и принялся ковырять дверцу ящичка. Сзади подошел Орсон, обхватил Пряху за шею, тот напрягся, передал нож и счетчик Картеру. Орсон и глазом моргнуть не успел, как его оторвало от пола, подняло в воздух, опустило на пол. Над собой он увидел сначала Пряхин подбородок, потом рот, выпуклые стекла очков. Орсон поднялся и снова двинулся на Пряху. Тело его напружинилось, зато вдруг радостно расслабилась душа; тело Пряхи, верткое и упругое, так приятно на ощупь, хотя тот, как опытный борец, и во второй раз выскользнул из рук Орсона, снова схватил его, высоко поднял и опустил на черный пол. На этот раз Орсон приземлился неудачно, ударившись копчиком. Но, несмотря на боль, почуял, что Пряха борется с ним предельно осторожно. Вздумай Орсон даже убить его, Пряха бы так же невозмутимо свел на нет все попытки. И от этого на душе тоже полегчало. И в третий раз пошел Орсон на обидчика, и в третий раз со сладостным трепетом ощутил крепкую защитную хватку Пряхи, мгновенную радость противоборства; потом сильные руки вновь подняли его, перевернули в воздухе и осторожно, точно по пологому склону, скатили на пол. Орсон встал, но на этот раз сокурсники не пустили, удержали. Он оттолкнул их и, не сказав ни слова, пошел к своему столу. Сел и сразу погрузился в чтение. Буквы вырисовывались необычайно отчетливо, но плясали перед глазами, и разобрать слова не удавалось.

Счетчик остался у них в комнате до утра. Наутро Пряха внял уговорам соседей (Орсон вообще не разговаривал с ним) и отнес его в полицейское управление на центральной площади. Досон и Керн прицепили к счетчику бантик с запиской: «Доверяю вам мое сокровище, оно во чреве!» Однако ни тот, ни другой не отважились проводить Пряху в полицию. Вернувшись, тот рассказал, что его похвалили и обещали передать содержимое кассы местному сиротскому приюту.

Минула неделя, экзамены остались позади. Первокурсники разъехались по домам. Осенью они вернулись уже иными — второкурсниками. Петерсен и Янг бросили учебу. Фич приехал спустя некоторое время, сдал «хвосты» и продолжал учиться, причем весьма успешно. Университет он закончил по специальности «история и литература». Сейчас он преподает в частной квакерской школе, готовит ребят в университеты и колледжи. Силверстайн стал биохимиком, Кошланд — юристом. Досон строчит передовицы консервативного толка в Кливленде, Керн занимается рекламой в Нью-Йорке. Картер, словно сговорившись со своим соседом Янгом, канул в Лету после второго курса. Бывшие соседи по общежитию мало-помалу теряли друг друга из виду. Правда, фотографии Пряхи, чье дело об отказе служить в армии слушалось массачусетским судом, время от времени мелькали в университетской газете. Однажды он даже выступил с вечерней лекцией «Почему я избрал англиканскую церковь и пацифизм». В ходе судебного разбирательства Пряху весьма деятельно поддерживал епископ Массачусетский, а когда приспело выносить приговор, война в Корее кончилась, и суд оправдал Пряху, посчитав его убеждения искренними, коль скоро за них он готов сесть в тюрьму. Такое решение несколько разочаровало Пряху. Он уже загодя составил список книг (чтоб хватило на три года тюремного заключения), в тюрьме он еще собирался выучить все четыре Евангелия на греческом. Закончив университет, он пошел в унионистскую богословскую семинарию, потом несколько лет помогал приходскому священнику в Балтиморе. Неплохо выучился играть на рояле, даже выступал в баре, где неизменно появлялся в обличье священника — заведение от этого стало только популярнее. Целый год он являлся живым укором людям менее крепким в вере, потом получил разрешение и уехал в Южную Африку — там он нес слово господне черным братьям, покуда власти не попросили его покинуть страну. Оттуда он направился в Нигерию. Последняя весточка от него пришла в Южную Дакоту в феврале — замусоленная рождественская открытка с Мадагаскара. Там Пряха подвизался «един в трех лицах»: миссионером, политиком и футбольным тренером. Орсону показалось, что приятель разыгрывает его. Круглый детский почерк — каждая буковка отдельно — вдруг всколыхнул давно утихшую неприязнь. Орсон твердо решил, что ответит на поздравление, но открытка затерялась — случай для Орсона небывалый.

После того злополучного происшествия со счетчиком Орсон два дня не разговаривал с Пряхой. Но глупо жить в одной комнате и молчать до конца учебного года. Больше стычек у них не было, они жили точно два пассажира бок о бок в переполненном и тряском автобусе. Прощаясь, они пожали друг другу руки. Пряха вызвался было проводить Орсона до станции, да вспомнил, что его ждут совсем в другом месте. На выпускных экзаменах Орсон получил две отличные и две хорошие оценки. Все остальные годы он жил без приключений в комнате с двумя невыразительными студентами-медиками, Уоллесом и Нойхаузером. Завершив учебу в Гарварде, он женился на своей Эмили, прошел специализацию в Йеле, интернатуру в Сент-Луисе. Сейчас у него четверо детей, и, поскольку отец умер, Орсон — единственный врач в городке. Жизнь протекает по давно предначертанному руслу. Каким мечталось быть в восемнадцать лет, таким он и стал. Он принимает роды, свидетельствует смерти, ходит на приличествующие своему положению собрания, играет в гольф, помогает ближнему. В городке он личность заметная, хотя характер у него тяжелый. Если отца любили, то его самого скорее уважают.

Он полностью соответствует нарисованному в юности идеалу, разве что остался в душе с той поры маленький, неприметный и недокучливый шрам — Орсон больше не молится.

Перевод ИГОРЯ БАГРОВА

Расставание

День был чудесный. Сияющий. Весь июнь погода смеялась над страданиями Мейплов — потоками лился солнечный свет, играли золотые лучи, сбегала каскадами зелень; среди этого великолепия незаметно тянулись разговоры супругов, и только сами они, ропщущие, печальные, омрачали праздник природы. Обычно в летнюю пору их кожу уже покрывал загар, но ныне они были почти такие же бледные, как их старшая дочь Джудит — она прилетела из Англии, где провела целый год, и родители встречали ее на аэродроме. Джудит ничего не заметила — настолько ошеломило ее буйство солнечных красок родного края. Родители не сказали дочери о своих планах, не стали омрачать радость встречи. Подождем несколько дней, пусть придет в себя после долгого перелета, рассудили супруги. В бесконечных невеселых беседах за кофе, коктейлями, куантро[1] они все говорили и говорили о разводе и не замечали, как за прикрытыми ставнями преображается земля. Ричард хотел уйти еще на пасху, но Джоун упросила его подождать: пусть приедут все четверо детей — закончатся экзамены, пройдут торжества, и веселый затейник-лето рассеет детские горести. И он смирился, терзаясь любовью к другой, страшась за будущее, окунулся в скучную работу по дому: чинил сетки на окнах, затачивал ножи косилок, укатывал теннисный корт, менял покрытие — за зиму его разметал ветер, а в твердой глинистой почве появились ямки.

Мейплы давно заметили, что многие их друзья, затеяв большой ремонт, вскоре разводились, словно потерпев неудачу в последней попытке сохранить семью; кризис в отношениях самих Мейплов наступил во время ремонта кухни — там меняли водопроводные трубы, и в воздухе висела пыль от развороченной штукатурки. А год назад, когда ярко-желтые бульдозеры словно играючи срезали зеленый бугор с пятнышками маргариток, оставив на его месте грязную площадку, и молодые рабочие с заплетенными в косичку волосами разровняли и утрамбовали глину, Мейплы не увидели в своей затее дурного предзнаменования — наоборот, она сулила радостную волнующую новизну: им все по силам, даже земную твердь сокрушить. Нынешней весной Ричард просыпался всегда на рассвете с неясным ощущением, будто кровать вот-вот опрокинется, на душе было так же пусто и уныло, как на теннисном корте за окном — сетка и ленты для разметки поля все еще лежали в сарае. Он сам обрек себя на одиночество и заделывал мягкой глиной трещины и ямки, охотно выполняя простую и бесконечную работу (во время оттепели на корте резвились собаки, его размывали ручьи). В глубине своей тоскующей души Ричард надеялся, что этот мучительный день никогда не наступит.

Но он наступил. В пятницу. Джудит снова привыкла к южному климату, съехались остальные дети, недолго им быть вместе: скоро работа, летние лагеря, путешествия снова разбросают их. Джоун считала, что с каждым надо поговорить отдельно. Ричард предлагал объявить всем сразу за столом, но Джоун сказала:

— По-моему, объявить всем сразу — это капитуляция. Они начнут спорить, шуметь и пропустят наши слова мимо ушей. Ты ведь знаешь — дети не какая-то сплошная стена на пути к твоей свободе, каждый из них — целый мир.

— Хорошо, хорошо. Согласен.

Джоун все продумала. На вечер у них был назначен — правда, несколько запоздалый — обед с шампанским и омаром по случаю приезда Джудит. А после обеда родители с дочкой выйдут из дома, как девятнадцать лет назад, только тогда они катили Джудит в коляске

[1] Апельсиновый ликер. *(Здесь и далее прим. перев.)*

по Пятой авеню к Вашингтон-Сквер, а теперь направятся к мосту через залив и скажут дочери обо всем, взяв с нее обещание хранить тайну. Затем наступит очередь Ричарда-младшего; сразу после работы он собирался на концерт рок-музыки в Бостон, поэтому с ним поговорят либо поздно вечером, когда он возвратится домой на поезде, либо рано утром в субботу перед началом его трудового дня; Ричарду было семнадцать лет, и он вместе с другими ребятами обслуживал поле для игры в гольф. Хватит времени утром и на Джона с Маргарет.

— Решили так решили,— сказал Ричард.

— Может, ты придумаешь что-нибудь получше? Кстати, у тебя еще будет почти вся суббота, успеешь ответить на вопросы детей, собрать вещи и торжественно отбыть.

— Нет,— ответил Ричард, имея в виду, что ему нечего предложить и он согласен с Джоун, хотя, на его взгляд, этот план был верхом мещанской педантичности, молчаливым призывом соблюсти приличия и напоминал ему длинные перечни домашних дел жены, ее записи расходов и пухлые лекционные конспекты Джоун первых дней их знакомства. И сейчас вместо одного препятствия ему предстояло взять целых четыре — четыре стены, острых как нож и за каждой — невидимая пропасть.

Всю весну он блуждал меж грезами и явью, натыкаясь на глухие преграды и барьеры. Джоун и Ричард скрывали от детей правду, став на ее пути зыбкой стеной. С каждым мгновением граница между прошлым и будущим обозначалась все четче, но на пути к этому будущему нужно было преодолеть кошмарное настоящее. За четырьмя острыми как нож стенами смутно маячила новая жизнь. Ричард тщательно хранил свою тайну, он видел бледное женское лицо, одновременно испуганное и ласковое, знакомое и незнакомое, он хотел защитить эти глаза от слез, которые повсюду преследовали его, чистые, как солнечный свет. Ричарда снедала тревога, им овладело желание навести порядок в доме перед отъездом: заменить сетки на окнах, шнуры на фрамугах, петли и шпингалеты — ведь он, как Гудини [1], готовился к побегу.

Замок. Надо еще заменить замок в двери, которая выходила на крытую веранду. Возиться, как обычно в подобных случаях, пришлось больше, чем он ожидал. Разболтанный замок специально изготовили с расчетом на скорый износ. Ричард обошел три скобяные лавки, но не смог найти замка, подходившего к старому гнезду. Пришлось долбить дверь в новом месте, однако долото оказалось слишком узким, а пила — слишком широкой, прежнее отверстие нужно было закрыть деревянным бруском; вдобавок ко всему стамески затупились, пила заржавела, а пальцы не слушались из-за долгой бессонницы. Солнце над верандой обливало беспощадным светом этот мир запустения. Пора было подстригать кусты, краска с наветренной стороны дома облупилась и свисала клочьями, он уедет, и в дом проберется дождь, там будут царить насекомые, гниение, тлен. Пока он сражался с шурупами, деревом, путаными инструкциями и железками, мысли о семье, о близких, которых он собирался оставить, упорно теснились в его голове.

Джудит сидела на веранде — совсем как принцесса, возвратившаяся из изгнания. Она занимала родителей рассказами о нефтяном кризисе, о паническом страхе перед бомбами в метро, о пакистанских рабочих, вожделенно кричавших ей вслед, когда она шла в школу танцев. Джоун сновала туда-сюда, в дом и из дома, она держалась нарочито спокойно, хвалила Ричарда за новый замок, словно не в последний раз возился он по хозяйству и впереди их ждало еще много-много совместных дел. Младший сын несколько минут придерживал

[1] Известный американский артист оригинального жанра.

наружную сетчатую дверь, пока отец неумело стучал молотком и работал стамеской — каждый удар отдавался звенящей болью в ушах Ричарда. Младшая дочь, непробудная соня, спала в гамаке на веранде под стук молотка — размягченная и румяная, беззащитная и забытая всеми. Время тянулось, неумолимое, как солнечный свет; близился вечер. Сегодня один из самых длинных дней. Замок щелкнул, готово. Все в порядке. Ричард налил себе выпить, он пил прямо на веранде, слушая Джудит.

— Было так интересно,— рассказывала она,— в разгар кризиса мясные лавки и булочные работали при свечах. Англичане очень находчивые и смелые. Наши газеты сгущали краски — выходило, будто бы люди убивали друг друга в очередях за бензином и замерзали в квартирах.

— Ты по-прежнему хочешь остаться в Англии навсегда? — спросил Ричард.

Навсегда — вдруг обычное слово наполнилось новым смыслом, к горлу подкатил колючий комок.

— Нет,— ответила Джудит, обратив к отцу свое удлиненное лицо; широко расставленные глаза все еще по-детски смотрели на мир, но приоткрытые губы словно ожидали чего-то сочного и вкусного.— Я очень скучала по дому. Я ведь родилась в Америке.

Дочь стала женщиной. Они вырастили ее, вместе перенесли все трудности и вырастили ее; из четверых детей лишь она взрослая. Остальным еще расти да расти. Но тяжелее всего объяснить случившееся Джудит; он представил себе, как она, их первенец, идет к мосту, взяв родителей за руки, и это сломило его. Он не мог больше сдерживать слезы. В горле все еще саднило, когда он сел за праздничный стол; шампанское и омар расплывались солнечными пятнами; слезы застилали глаза, он ощущал их вкус на губах. Он моргал, ел, хрипло шутил, жаловался на сенную лихорадку. А слезы все бежали и бежали; они текли не одной тоненькой струйкой, с которой можно справиться, а бежали ручьем, обильные, прозрачные, бесконечные. И эти слезы заслонили его от остального мира, от родных лиц, от семейного торжества; Ричард сидел в последний раз во главе стола, за которым дети собрались в последний раз, еще не ведая о случившемся. Ричард разламывал панцирь омара, с носа капали слезы; соленая влага разбавляла шампанское, он пил его маленькими глотками; оно приятно пощипывало сдавленное горло. Он ничего не мог с собой поделать.

Дети старались не замечать его слез. Джудит сидела справа от отца, она курила сигарету и пристально смотрела вверх, провожая взглядом слишком резко, слишком затейливо выпущенную струйку дыма; возле нее склонился Джон, он усердно вытаскивал последние кусочки мяса из ножек и хвоста красного омара; Джоун, занявшая место на другом конце стола, сначала посмотрела на мужа с удивлением и упреком, потом снисходительно и даже с одобрением: тонко играет Ричард. Между родителями расположилась тринадцатилетняя Маргарет, слишком крупная для своих лет; ее уже перестали дразнить Шариком, она смотрела на Ричарда сквозь прозрачную завесу его слез, будто разглядывала в витрине магазина нечто желанное — своего отца, вскоре от него останется лишь россыпь воспоминаний, сверкающих, словно мелкие осколки. Однако не Маргарет, а Джон спросил мать на кухне, когда дети помогали Джоун убирать со стола тарелки с остатками омара:

— Почему папа плачет?

Ричард услышал вопрос, но не разобрал, что тихо ответила жена. Потом до него донесся возглас Шарика:

— Нет! Не может быть! — С таким нарочитым волнением встречают новость, о которой давно догадывались.

Джон вернулся к столу с блюдом салата. Он вежливо кивнул отцу и заговорщицки произнес:

— Она сказала.

— Что сказала? — громко и растерянно спросил Ричард.

Мальчик сел за стол, он будто специально демонстрировал безупречные манеры, словно хотел упрекнуть отца, который не умеет владеть собой.

— Вы расстаетесь,— спокойно ответил сын.

Джоун с Маргарет вернулись из кухни, у Ричарда все плясало перед глазами, дочь показалась ему совсем маленькой и довольной, довольной, что злой дух, витавший в доме, наконец обрел плоть; тайны больше нет. Он крикнул Маргарет через весь стол, который стал непомерно огромным: «Ты знала, ты всегда знала!» Но комок в горле мешал ему говорить. Словно издалека доносился голос Джоун; спокойно и ясно она излагала детям все, о чем они с Ричардом договорились заранее: папа уедет на лето, они попробуют пожить врозь. Они вместе решили, что так будет лучше для них обоих. Им нужно расстаться на время, чтобы подумать о своей жизни; они любят друг друга, но все же не очень друг с другом счастливы.

Подражая наставительному тону матери, Джудит сказала голосом, слишком наигранным и бесстрастным для юной девушки:

— По-моему, это глупо. Вы должны либо жить вместе, либо развестись.

Ричард заплакал навзрыд, словно, бушуя, накатилась на берег высоко взметнувшаяся волна; но рыдания Ричарда заглушил иной шум — бушевал Джон, спокойно сидевший до этого за столом. Неужели младшей сестре доверяли больше, чем ему?

— Почему вы нам ничего не сказали? — спросил он совершенно чужим голосом, вызывающе, резко.— Надо было признаться, что ссоритесь.

Растерявшийся Ричард с трудом выдавил сквозь слезы:

— Мы не ссоримся, в том-то и дело, поэтому мы и сами не заметили, что...— *Что не любим друг друга,* хотел он добавить, но так и не смог закончить фразу.

Джоун закончила вместо него по-своему:

— И мы всегда *очень и очень* любили наших детей.

Слова родителей не успокоили Джона.

— Да разве вы заботитесь о *нас*? — шумел он.— Мы для вас просто *игрушки.*

Маргарет с Джудит рассмеялись, и он захохотал в ответ, грубо, с издевкой.

— Ха, ха, *ха!*

Ричард и Джоун вдруг поняли, что мальчик опьянел от шампанского, выпитого за обедом в честь возвращения Джудит. Желая оставаться в центре внимания, Джон вынул сигарету из пачки Джудит, сунул ее в рот — она прилипла к его нижней губе — и по-гангстерски прищурился.

— Вы для нас не игрушки,— крикнул ему Ричард.— Ради вас мы и жили вместе. Но вы выросли. Или почти выросли.

Сын зажигал спички одну за другой. Но подносил их не к сигарете (они не замечали, чтобы Джон курил; он по-своему стремился уйти из-под опеки родителей — «вел себя хорошо»), а к лицу матери, все ближе и ближе, и она задувала огонь. Потом он поджег всю коробку — раздалось шипение, и она вспыхнула факелом перед глазами Джоун. Сквозь пелену слез Ричард видел лишь пламя; он не заметил, как его погасили. Он услышал возглас Маргарет: «А ну, прекрати кривляться!» — и увидел, что Джон сломал сигарету, запихнул обе половинки в рот и принялся жевать, а потом показал сестре язык с прилипшими табачными крошками.

Джоун принялась увещевать сына — ее разумные, но маловразумительные доводы так и забили фонтаном:

— Говорили об этом много лет... наши дети должны помогать нам... Мы с папой оба хотим...

Слушая мать, мальчик аккуратно завернул бумажную салфетку в листья салата-латука, скатал шарик и забросил его в рот, затем посмотрел на родных за столом в ожидании смеха. Но все молчали.

— Пора тебе повзрослеть,— сказала Джудит и выпустила очередную струйку дыма.

Ричард встал из-за стола, где все угнетало его, и вывел сына на улицу. Дом уже окутали сумерки, но сад еще купался в чарующем свете заката, какой бывает лишь в разгаре лета. Они оба смеялись. Джон выплюнул салат-латук вместе с бумагой и табаком в кусты самшита. Отец взял сына за руку — широкую, сильную, уже мужскую, хоть и мягкую. На такую можно опереться. Они побежали на луг, мимо теннисного корта. Рыхлая насыпь, оставленная бульдозерами, пестрела маргаритками. За кортом и площадкой, где они всей семьей играли в бейсбол, полого поднимался зеленый холм, необычайно красивый в лучах заходящего солнца; Ричард и Джон отчетливо различали каждую травинку, каждое растение, словно перед ними был рисунок на пергаменте.

— Прости, прости меня,— плакал Ричард.— Ты один помогал мне с этим проклятым домом.

Джон заревел, вместе со слезами пришло облегчение, шампанское развязало ему язык.

— Дело не только в том, что вы расстаетесь,— объяснил он,— весь этот год был гадкий, и школу я ненавижу: дружить не с кем, историчка — зануда.

Они сидели на вершине холма, размягшие от слез; их плечи вздрагивали, голоса звучали теперь спокойнее. Ричард пытался представить себе, какой это был трудный год для его сына, думал о буднях, которые казались Джону бесконечными из-за занятий, об уикэндах, когда мальчик с утра до ночи возился с авиамоделями в своей комнате, а родители шептались внизу, обсуждая детали развода. Какие мы эгоисты и слепцы, размышлял Ричард; у него на многое раскрылись глаза.

— Мы подумаем. Может, перевести тебя в другую школу,— предложил он Джону.— Жизнь и так короткая, к чему ее себе отравлять.

Отец и сын все сказали друг другу, но им хотелось продлить минуты близости, и они продолжали говорить о школе, о теннисном корте — хорошо бы его привести в порядок, чтобы он стал таким же, как прошлым летом. Они пошли посмотреть его и укрепили несколько разметочных лент. Потом Ричард торжественно — возможно желая подчеркнуть важность этих минут — повел сына к тому месту на лугу, откуда открывался прекрасный вид на голубую реку, отливающую металлом, на изумрудное болото, на россыпь островков, темных, бархатистых при слабом вечернем свете, на белые пятна берега вдалеке.

— Смотри,— сказал Ричард.— Здесь всегда красиво. Так будет и завтра.

— Знаю,— нетерпеливо ответил Джон. Минуты близости прошли.

Они вернулись в дом; женщины еще сидели за столом, пили белое вино — шампанское кончилось — и болтали. Главной здесь теперь была Джоун. Она обратила к Ричарду лицо с сухими глазами и спросила:

— Все хорошо?

— Полный порядок,— ответил Ричард, который одновременно и обиделся и успокоился — ведь обед неплохо продолжался и без него.

Лежа в постели, Джоун сказала:

— Наверное, мне не хотелось плакать, потому что я проплакала всю весну. Ты поступил нечестно. Сам решил уйти, а представил все так, будто я выгоняю тебя из дома.

— Извини,— ответил Ричард.— Я не мог удержаться. Хотел, но не мог.

— Ты не хотел. Тебе это нравилось. Ты по-своему объявил детям о нашей разлуке.

— Я рад, что все позади,— признался Ричард.— Господи, а дети какие молодцы. И сильные и смешные.

Джон поднялся в свою комнату и стал возиться с авиамоделью; время от времени он кричал сверху:

— У меня все в порядке. Не волнуйтесь.

— Интересно,— продолжал Ричард, у которого было легко и покойно на сердце.— Они поверили каждому нашему слову. И не подумали, что здесь замешан кто-то третий. Даже Джудит.

— До чего трогательно,— сказала Джоун.

Ричард крепко обнял ее.

— Ты тоже молодец. Так поддерживала всех. Спасибо.

Странно, будто и не разводимся, подумал Ричард, и ему стало стыдно.

— Ты еще должен сказать Дикки,— проговорила Джоун.

При этих словах на него из тьмы словно надвинулась черная холодная гора, вот-вот раздавит. Дикки, старший из четверых детей, был ему ближе всех.

— Это — часть твоей грязной работы, и я не собираюсь делать ее за тебя,— добавила Джоун, хотя могла бы и помолчать.

— Знаю. Я скажу ему. Спи.

Через минуту-другую ее дыхание замедлилось, стало глубоким и ровным. Без четверти двенадцать. После концерта Дикки приедет поездом час четырнадцать. Ричард поставил будильник на час ночи. Уже несколько недель подряд он спал отвратительно. И теперь стоило ему закрыть глаза, как их обжигали ослепительно яркие пятна-воспоминания последних часов минувшего дня: Джудит, брезгливо выпускающая в потолок струйку дыма; задумчивый, пристальный взгляд Шарика; выгоревший от солнца луг, где он отдыхал с Джоном. Гора, вставшая перед ним, придвинулась ближе, он слился с ней, стал огромным, могучим. Боль в горле притупилась. Рядом с ним как убитая спала жена. Когда Ричард поднялся с постели и оделся, не в силах больше переносить жжение в веках и тяжесть в сердце, она спросонья повернулась к нему.

— Джоун, если б можно было все раскрутить обратно, я бы так и сделал,— сказал Ричард.

— И с чего бы ты начал? — спросила она.

Отступать некуда. Джоун, как всегда, подбадривала его. Он надел ботинки на босу ногу. Дети посапывали в своих комнатах, внизу никого не было. В суматохе забыли выключить свет. Он погасил все лампочки, кроме одной — под потолком на кухне, и вышел из дома. Машина завелась легко. Ричард надеялся, что она не двинется с места. Дорога была пустынна; лишь лунный свет, точно призрачный спутник, мерцая, пробегал по опавшим листьям на обочинах, отражался в зеркале заднего обзора и исчезал, догоняя слепящие фары автомобиля. В центре города еще попадались люди, он выглядел мрачно в это позднее время. Молодой полицейский в форме стоял на ступенях у входа в банк среди кучки парней в облегающих майках. Несколько баров напротив железнодорожной станции еще работало. Посетители, в большинстве своем молодежь, сновали в теплой ночи, наслаждаясь необыкновенным летом. Из проезжающих мимо машин доносились громкие возгласы; казалось, вокруг шел нескончаемый разговор. Ричард поставил машину и устало прилег на си-

денье — только б не слышать шума, не видеть движущихся огней. Он чувствовал себя загнанным, словно киногерой, к которому среди праздника неотвратимо приближается убийца, но в фильме не показать, что́ на душе у Ричарда — он точно повис на крутом, обрывистом склоне. Обратно пути нет, можно только упасть. Искусственная кожа сиденья, согретая щекой, донесла до Ричарда далекий, пришедший из детства запах ванили.

Засвистел поезд, Ричард поднял голову. Поезд пришел вовремя; Ричард надеялся, что он задержится. Опустился тонкий шлагбаум. Весело зазвонил колокол, возвещающий о прибытии. Металлическое рифленое чудовище, покачиваясь, подползло к перрону, из него высыпали сонные подростки, среди них и сын. Он не удивился тому, что отец встречает его в такое необычное время. Сын неторопливо направился к машине, с ним приехали два товарища, оба выше Дикки.

— Привет,— благодарно бросил Дикки и плюхнулся рядом с отцом с поспешностью безмерно уставшего человека. Друзья сына забрались на заднее сиденье. Ричард был благодарен мальчикам: еще несколько минут передышки, пока развезет ребят по домам.

— Ну как концерт? — спросил Ричард.

— Нормальный,— ответил сзади один из мальчиков.

— Ерунда,— проговорил другой.

— Хороший концерт,— сказал Дикки, сдержанный от природы и такой благоразумный, что в детстве неразумность мира вызывала у него головные боли, спазмы в желудке и тошноту. Когда второй мальчик вышел у своего неосвещенного дома, сын выпалил: — Папа, у меня жутко болят глаза от сенной лихорадки! Я целый день подрезаю высокую траву.

— А у нас еще остались те капли?

— Прошлым летом они совсем не помогали.

— Может, сейчас помогут?

Ричард развернулся на пустынной улице. Дорога к дому заняла несколько минут. Гора словно распирала горло.

— Ричард,— сказал он и почувствовал, как сын притих, протирая глаза, и напрягся, уловив необычные нотки в голосе отца,— я приехал к поезду не только ради того, чтобы доставить тебе удовольствие. Я приехал потому, что мы с матерью должны сообщить кое о чем. У тебя твердый характер, возьми себя в руки — наступили трудные дни. Это невеселые новости.

— О'кей.

Бодрый ответ прозвучал ласково, но поспешно, будто зажурчала вода у истока ручья.

Ричард боялся, что снова нахлынут слезы и станут душить его, но самообладание сына послужило примером, голос Ричарда зазвучал уверенно, строго и ровно.

— Новости невеселые, но отнюдь не трагичные, во всяком случае для тебя. Ты, конечно, будешь тяжело это переживать, хотя практически в твоей жизни ничего не изменится. По-прежнему будешь работать, а в сентябре возвратишься в школу. Мы с матерью очень гордимся тобой и совсем не желаем, чтобы ты страдал из-за нас.

— Да,— коротко и сдержанно вздохнул сын. Они повернули за угол. Впереди виднелись очертания церкви, похожей на разрушенную крепость. Рядом, отделенный от проезжей части полоской зелени, стоял дом женщины, которую собирался взять в жены Ричард. В спальне горел свет.

— Мы с матерью,— сказал Ричард,— решили расстаться. На лето. Никаких формальностей, это еще не развод. Хотим посмотреть, что получится. Мы уже несколько лет довольно равнодушны друг к другу и не приносим друг другу счастья, как должно бы быть. Ты ведь замечал?

— Нет,— сказал мальчик. Ответ прозвучал откровенно, бесстрастно; он мог быть и правдой и ложью.

Обрадовавшись, что сообщил главное, Ричард продолжал говорить, даже чересчур многословно, о несущественном. У него будет квартира на другом конце города, они смогут видеть его в любое время, отпуск он возьмет по частям, так будет лучше для детей, можно будет поездить, ведь лето такое длинное и разнообразное. Дикки слушал, жадно ловя каждое слово отца.

— А остальные знают?

— Да.

— И как они отнеслись?

— Девочки довольно спокойно. Джон разбушевался, кричал, жевал сигарету, сделал салат из салфетки и признался, как сильно ненавидит школу.

— Правда? — фыркнул Дикки.

— Конечно. Школа больше волновала его, чем мама и я. Пошумел и, по-моему, ему стало легче.

— Правда?

Дикки дважды повторил этот вопрос — первый признак того, что он потрясен услышанным.

— Да. Дикки, я хочу тебе сказать еще кое-что. Последний час, который я провел в ожидании поезда, был, наверное, самым тяжелым в моей жизни. Я ненавижу себя. Ненавижу. Мой отец скорее бы умер, чем совершил подобное.

После этих слов Ричарду стало неизмеримо легче. Словно он опрокинул придавившую его гору на плечи сына. Они уже были дома. Дикки вылез из машины и быстрой тенью промелькнул через освещенную кухню.

— Может, стакан молока выпьешь или съешь чего? — крикнул Ричард вдогонку.

— Нет, спасибо.

— Хочешь, вызовем завтра врача, скажем, что ты плохо себя чувствуешь и не можешь работать?

— Нет, все в порядке.

Дикки отвечал слабым голосом, стоя у порога своей комнаты: Ричард ожидал, что сын с раздражением хлопнет дверью. Но она закрылась как обычно тихо. С противным скрипом.

Джоун непробудно спала первым крепким сном и долго не могла проснуться.

— Я сказал ему,— пришлось повторить Ричарду.

— Что он ответил?

— Ничего особенного. Может, пожелаешь Дикки спокойной ночи? Прошу тебя.

Она вышла из спальни, не накинув халата. Ричард нехотя снова надел пижаму и прошел через гостиную. Дикки уже лег, Джоун сидела рядом с ним; из приемника со встроенными часами — он стоял на ночном столике — тихо лилась музыка. Джоун поднялась, и таинственный — может быть, лунный? — свет очертил контуры ее тела под длинной ночной рубашкой. Ричард присел на узкую постель сына, прямо на примятое место, хранившее тепло Джоун.

— Выключить радио? — спросил он.

— Я его обычно оставляю на ночь.

— И не мешает спать? Мне бы мешало.

— Нет.

— Ты уже засыпаешь?

— Да.

— Ну ладно. Так, значит, завтра встанешь и пойдешь на работу? У тебя был тяжелый вечер.

— Пойду.

Этой зимой, усиленно занимаясь в школе, Дикки впервые убедился в том, что можно недосыпать и тем не менее жить. Маленьким мальчиком он спал словно мертвый, весь в поту, пугая приходящих нянь. Подростком Дикки чаще всего отправлялся спать первым из четверых детей. Даже теперь в середине вечерней телевизионной передачи его клонило ко сну и он вытягивал вперед свои волосатые загорелые ноги.

— Ладно. Молодец. Послушай, Дикки. Я тебя очень люблю. До сих пор я даже не знал, как сильно. Неважно, чем все обернется, но я всегда буду с тобой. Правда.

Он наклонился, чтобы поцеловать сына, но Дикки резко повернулся, обнял отца и сам поцеловал его в губы, страстно, как женщина; щеки мальчика были мокрые от слез. Он простонал прямо в ухо отца одно лишь слово, разящее слово, бьющее прямо в цель:

— *Почему?*

Почему. Оно просвистело порывом налетевшего ветра, пронзило ударом ножа, распахнулось окном в бездну. Бледное лицо растаяло во тьме. Ричард вдруг забыл почему.

Перевод ЛАРИСЫ ОГУЛЬЧАНСКОЙ

Супруги Мейпл

Они всегда были счастливой супружеской парой, и когда наконец решили разойтись, в пуританском штате, где они жили, скрипучий, шаткий от старости столп закона о разводе, на их счастье, укрепили поправкой, допускающей расторжение брака по взаимному согласию. Супругам надлежало представить в суд совместное заявление. Текст его гласил: «Супруги Ричард Ф. и Джоун Р. Мейпл, помня об ответственности за лжесвидетельство, под присягой заявляют, что их брак окончательно распался». В документе, который он получил на свой бостонский адрес, имена их стояли рядом, и Ричарду живо вспомнилось: он и Джоун, рука об руку, примчались на званый вечер, швейцар в ливрее громогласно объявил об их прибытии, в гостиной — снежный вихрь конфетти, слышны выстрелы шампанского. За двадцать лет супружества сколько раз ездили они вместе на вечера и приемы, и всегда с каким-то волнением, с какой-то надеждой, с предвкушением нежданной радости.

В конверте он нашел также несколько грозных бланков — они имели отношение к финансовой стороне дела — и требование представить копию брачного свидетельства. Где только не случалось им жить — в Нью-Йорке и в Лондоне, на островах и на фермах, одно лето даже в бревенчатой хижине, а вот поженились они всего в нескольких станциях метро от того места, где он сейчас стоя читает свою почту. Он не бывал в Кембриджском муниципалитете с того самого утра, когда получал там свидетельство об их браке,— с утра их женитьбы. На пути из Западной Вирджинии родители вместе с ним переночевали в коннектикутском мотеле и привезли его на свадьбу оттуда; чтобы успеть вовремя, встали в шесть утра, и почти всю дорогу он продремал, спрятав голову под пиджак. Теперь ему вспомнилось, что под колоколом пиджака он ощущал себя рыхлой безвольной медузой, которую подняло из прохладных глубин и несет вдоль берега, а воздух над водой все жарче и жарче. Стоял июнь, душный, знойный. К полудню они приехали в Кембридж, добрались до Эйвон-стрит, где жила Джоун, и, навьюченные картонками со свадебной одеждой, едва одолели лестницу на пятый этаж; невеста принимала ванну. Кто там был еще, Ричард не помнил. Тот день — лишь обрывки воспоминаний, расплывчатые отпечатки на серой влажной промокашке. Не было в тот день ни неба, ни облаков — сплошное

слепящее марево затопило кирпичные дома на Брэттл-стрит, белые шпили Гарварда и пузатые автомобили, что жарились на тающем асфальте. Тогда ему шел всего двадцать второй год, и было это во времена президента Эйзенхауэра. Джоун за дверью ванной кричала, чтобы Ричард не входил,— жениху нельзя смотреть на невесту до свадьбы, это дурная примета. Кто-то еще с ней там хихикал, плескался. Кто? Сестра? Мать? Он прислонился к двери ванной, следом по лестнице тяжело ступают родители, отдуваются, пыхтят, но продолжают переговариваться; он представил себе, как Джоун сидит в ванне — пальцы на ногах порозовели, завитки на затылке прилипли к шее, груди выныривают из воды, в мыльной пене, скользкие, блестящие. Потом в памяти пробел, следующее пятно-воспоминание — они с Джоун сидят рядом в машине; на центральной площади — пестрый полуденный затор. Джоун в летнем платье из блеклого ситца; он отводит от нее глаза и старается смотреть только на машины — пусть поменьше вреда принесет дурная примета. И еще он подумал тогда с досадой: наверняка все другие пары оформляют бумаги загодя, а не за два часа до венчания. Да и какой жених едет на свадьбу, спрятав голову под пиджак, как ребенок, которого застигла гроза. Держась за руки, маленькие, меньше сказочных Гензеля и Гретель [1]— так виделось ему теперь,— они с Джоун взбегают по ступеням длинной лестницы под арку коричневого, как коврижка, входа.

Мир изменился, а Кембриджский муниципалитет остался прежним. Округлый Ричардсоновский [2] замок из красного песчаника и розового гранита добрым великаном возвышался над кварталами унылых домов. Внутри по стенам — панели, светлый полированный дуб. Свидетельство о браке он, помнится, получал в решетчатом окошке с медной дощечкой, но сейчас картонная стрелка направляет наверх. Ричард сознавал чудовищность происходящего, у него дрожали колени, крутило в животе. Он повернул за угол. В обширном безлюдном пространстве, среди столов, крытых зеленым сукном, и толстенных книг на стальных полках, царила женщина, напоминавшая заботливую бабушку.

— Здесь можно получить... к-копию свидетельства о браке?

— Год?

— Простите?

— Какого года ваше свидетельство?

— Тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

Он четко назвал цифры, и год этот показался далеким, как звезда, но вот Ричард снова в муниципалитете и не чувствует себя ни на минуту старше, и так же потеет от летней жары. Однако женщине, когда она записала их имена и дату бракосочетания, пришлось пойти в другую комнату архива, чтобы отыскать в далеком прошлом событие, которое он теперь хочет перечеркнуть.

Она чуть прихрамывала на ходу, сразу он этого не заметил. Она притащила огромный том разворотом фута в три, прямо фолиант волшебника. Женщина опасливо перелистывала огромные страницы, словно скрытая в них бездна, поглотившая столько жизней и утраченного времени, от малейшего неосторожного движения поглотит их тоже. Волосы у женщины, прежде, должно быть, пламенно-рыжие, а теперь блекло-абрикосового цвета, застыли кудельками перманента, безжизненные, как пересохшие, покоробившиеся бумажки. Она улыбнулась холодно, сдержанно.

— Да,— сказала она.— Вот, пожалуйста.

И Ричард, стоя напротив женщины, прочитал опрокинутые фамилии — девичью Джоун и свою. В графе, где указывалась профессия,

[1] Персонажи одноименной сказки братьев Гримм.

[2] Генри Хобсон Ричардсон (1838—1886)— американский архитектор.

у Джоун стояло: «учительница» (она вела занятия в школе прикладного искусства, и тут он вспомнил ее синий, в пятнах, рабочий халат, и как пахло глиной от ее рук, и как она даже в самые холодные дни ездила на работу на велосипеде), у него куда менее солидно: «студент». Странно, что и адреса тогда у них были разные — Эйвон-стрит, Лоуэлл-Хаус — забытые двери в длинном коридоре прошлого и настоящего, в коридоре со множеством других дверей, за которыми они жили вместе. А подписи... нет, даже так, перевернутыми, невмоготу их видеть. Подпись Джоун показалась ему тверже, четче.

— Вам одну копию или больше?

— Хватит одной.

Суетливо, будто впервые, а не в тысячный раз, разглаживая бумагу и поминутно макая в чернила допотопное перо, некогда рыжеволосая женщина переписала все данные на стандартный бланк.

Что же еще сохранилось от дня их свадьбы? Несколько слайдов... Двоюродный брат Джоун собрал виновников торжества и родителей на тротуаре напротив церкви у платной автостоянки. Как достопримечательность городского благоустройства, почетное место в группе занимает счетчик, тонкий, серебристый столбик, с узкой головкой и красным языком. Под стать ему, так же тонок и жених. Когда его фотографировали, он моргнул и потому в лице — что-то от посмертной маски. Невеста грациозно, хотя и напряженно, стоит на раскаленном кирпичном тротуаре — ножки по-балетному носками в стороны, на щеках ямочки. Кажется, она вот-вот приподнимет пышную юбку свадебного платья и вспорхнет в tour jeté. Родители, еще не преображенные в дедушек и бабушек, вышли бледно, они словно расплылись в знойном мареве, благодушные, грузные, точно камни здания, в котором Ричард сейчас отсчитывает три доллара в уплату за копию брачного, нет, уже антибрачного свидетельства.

Еще одно мгновение того дня увековечил однокашник Ричарда, его сосед по комнате в колледже, он отвез новобрачных в снятый для них на медовый месяц коттедж в приморском городке, в часе езды от Кембриджа. На веранде они увидели принадлежности для игры в крокет, и Ричард, чтобы скрыть смущение, взял три шара и принялся жонглировать, в ту пору подобные уловки успокаивали. Товарищ, должно быть тоже смущенный, поспешил запечатлеть этот миг. Красный шар, нечеткое пятно в янтарном косом луче заката, так и повис в воздухе навеки, а желтый и зеленый ярко блестят в руках Ричарда, и сам он, разинув рот, самозабвенно смотрит вверх.

— Мне нужно еще кое-что,— сказал он, когда женщина захлопнула том и собралась взвалить его на плечо.

— Что именно?

— Заверить у нотариуса наше заявление.

— Это не в моем отделе, сэр. Первый этаж налево, как выйдете из лифта, или направо, если спуститесь по лестнице. Советую пешком, так быстрее.

Он последовал ее указаниям и на первом этаже явился к молодой негритянке, сидевшей возле стального стенда, сплошь уставленного фотографиями в золоченых рамках, образцами верности, единодушия, постоянства: родители с детьми, серьезный молодой негр с коричневой кожей, в коричневой военной форме, счастливое семейство на берегу озера; была даже фотография дома, обыкновенного сельского домика с зеленым газоном. Молодая женщина прочла бумагу Ричарда и не сказала ни слова. Он чуть было не попросил у нее прощения. Она велела показать водительские права, сравнила его лицо с фотоснимком. Дала ему авторучку и, поставив печать рядом с его подписью, утвердила бесповоротность содеянного... А красный шар все висит в воздухе где-то в коробке со слайдами, которые Ричард больше никогда не увидит, и лучезарное безмолвие коттеджа, когда они остались там вдвоем, все летит и летит к звездам: невесо-

мым шариком тишины. Но когда он, щурясь, шагнул из-под коричневых сводов в слепящий летний день, болезненнее всего вспомнился ему промах, который он допустил при венчании. У растерянного, невыспавшегося Ричарда, пораженного близостью существа в белом, которое трепетало рядом с ним перед алтарем, разум отступал, точно тающие в тумане проблески радуги, и он позабыл скрепить брачный обет поцелуем. Джоун улыбаясь ждала, а он, забыв о поцелуе, ответил ей лишь улыбкой. Миг был упущен, все заторопились к выходу, точь-в-точь как сейчас, когда он, пристыженный, торопливо спускается по ступеням на улицу и спешит в спасительное убежище метро.

Пока поезд мчался сквозь тьму, Ричард читал брошюрку о силовых взаимодействиях в природе. Эту брошюрку — выдержки из научного очерка — прислали с той же почтой, что и документы. Прежде, когда Ричард жил не один, он бы выкинул ее не читая, а теперь, постепенно обретая привычки чудаковатого бостонского скряги, он просматривал от строки до строки все, что присылали, и даже где-нибудь в проулке поднимал грязный обрывок газеты и проглядывал его: нет ли каких-нибудь полезных сведений. *Таким образом,*— прочитал он,— *уже в 1935 году было известно, что в мире все определяется четырьмя видами силовых взаимодействий. В порядке возрастания их интенсивности это — силы гравитационные, слабые, электромагнитные и сильные.* Читая текст, он выискивал сведения о слабых силах: он отождествлял себя с ними. Гравитация, хотя и ничтожная на уровне микрочастиц, *становится доминирующей для объектов с характерными размерами в сотню километров, подобно большим астероидам. Гравитация связывает луну, землю, всю солнечную систему, звезды, созвездия в пределах галактики и сами галактики.* Ричард образно представил это себе в виде робкой команды игроков, которая в начале матча разобщена и проигрывает, но в дальнейшем, сплотившись, наращивает силы и добивается победы. Мысленно он горячо приветствовал эту команду. Поезд, покачиваясь, подъезжал к станции Кендал, и Ричарду вспомнилось, как они с Джоун через несколько дней после свадьбы катили по железной дороге на север через Нью-Гэмпшир, получив работу по контракту на летний сезон. Тот поезд — его уже давно отменили,— петляя, пробирался к северу вдоль судоходных шумных рек, загрязненных лесопильными заводами, к вечнозеленым горам, где там и сям ржавели подъемники для лыжников. Сиденья в купе были обиты пурпурным плюшем, вагон непрестанно легонько покачивало. Руки Джоун, бледные на фоне плюша, тронул розовый загар. Молодожены не знали, как положено проводить медовый месяц, но зато твердо усвоили, что его следует помнить, «пока их не разлучит смерть», и поэтому играли в крокет нагишом на поросшем травой дворике; в кольце деревьев он казался зеленым оком, глядящим в небо. Джоун его обыгрывала всякий раз. *Слабые силы,*— читал дальше Ричард,— *существенно не определяют структуру ядра, пока не происходит его распад. Так же как дефект в колоколе из литого металла не влияет на его звучание, но может в конце концов его разрушить.*

Поезд вынырнул из тоннеля на мост через реку Чарльз. Внизу, на сверкающей глади, кренились парусные шлюпки, за рекой застывшими фонтанами вздымались дымчато-серые небоскребы Бостона. А тот поезд обогнул озерный залив и остановился в Уирсе, песчаном дачном местечке,— капли тающего мороженого на асфальте, запах яблочных леденцов с берега детства... После долгого ожидания они сели на почтовый катер, и он повез их к острову, где они собирались работать. Остров этот расположен в дальнем конце озера Уиннипесоки, и на пути к нему — множество мелких островов и, значит, множество остановок для доставки почты. Перед каждым причалом катерок гу-

дел так пронзительно, хоть уши затыкай. Молодожены уселись на носу, можно греться на солнышке и любоваться видами. Они сидели под самым гудком, но не уходили оттуда. Плавным адажио передвигались картины: острова, водная гладь, горы за берегом озера, и вдруг — всякий раз неожиданно — вопль гудка надрывал им сердце, и все вокруг сминалось в сплошном гуле; эти вопли обрушивались на их молодую любовь. Они были в этом неповинны, и все же он упрекал Джоун, но тотчас готов был просить у нее прощения. Катер давал гудки, стопорил машину и бочком подбирался к шаткому причалу, а к нему, за почтой, горохом сыпались по истоптанным мягким дорожкам вечнозеленого острова загорелые дети и воспитатели в купальных трусах и мокасинах, и возгласы их звучали так непривычно для оглушенных гудком новобрачных. Супруги Мейпл доехали до своего острова вконец измученные.

В совокупности квантовая механика и теория относительности дают нам великолепный аппарат для логического мышления. Ричард сунул брошюрку в карман и вышел на станции Чарльз. Он прошел по переходу к больнице показаться своему доктору. По ночам его стали мучить боли в суставах. Некоторые из его друзей были неизлечимо больны, кое-кто умер, и теперь ему уже не казалось странным, что может прийти и его черед. Впервые Ричард переступил порог этой больницы, когда начал ухаживать за Джоун. Он поднялся по тем же ступеням к стеклянным дверям и в приемной спросил, заикаясь, где найти ее в этом огромном лабиринте болезней — девушку с «конским хвостом», перехваченным на затылке резиновым колечком, ту, что сидела в первом ряду в аудитории 162б и слушала курс «Английская эпическая традиция от Спенсера до Теннисона». Всю зиму по три часа в неделю он любовался ее затылком. А заговорить отважился лишь во время экзаменов, когда они сидели рядом в библиотеке, разглядывая нечеткие фоторепродукции Блейка к *Потерянному раю.* Они договорились встретиться здесь после экзаменов и пойти выпить пива. Но она не пришла. В полукружии напряженно склонившихся над книгами голов ее головы он не увидел. И тогда, отправив на отдых *Королеву фей*[1] *вместе с Королевскими идиллиями*[2], он зашел в ее общежитие и узнал, что Джоун Риджуэй увезли в больницу. Силы, взаимодействующие в природе, заставили его преодолеть разговор с регистраторшей, блуждание по коридорам и толпу тетушек и других воздыхателей у изголовья ее кровати,— она лежала в белом на белых простынях, волосы распущены по плечам, в повернутую вверх ладонью руку вливалось по капле из пластмассовой трубки что-то прозрачное. Потом он добился права держать Джоун за руку, пусть даже в лубке и бинтах. Диагноз гласил: тромбоцитопения. У нее не прекращалось обильное кровотечение. Покраснев, она рассказала ему, что и доктор и студенты-практиканты спрашивают ее, когда она в последний раз была близка с мужчиной, и как ей неловко, чувствуя их профессиональное недоверие, признаваться: никогда.

Доктор измерил давление, снял с его руки резиновый жгут и улыбнулся.

— Много волновались последнее время?

— Я развожусь с женой.

— Быть может, вы знаете, что артрит относится к группе недугов с психосоматическим компонентом?

— Знаю только одно: просыпаюсь в четыре утра и очень уж бывает муторно сознавать, что эта боль в плече до конца жизни.

— Не до конца. Она пройдет.

---

[1] Неоконченная поэма Эдмунда Спенсера (ок. 1552—1599).
[2] Цикл поэм Альфреда Теннисона (1809—1892).

— Когда?

— Когда ваш мозг перестанет посылать карающие сигналы нервам.

Теплая рука Джоун в колыбельке лубка, высоко, почти на уровне его глаз, не противилась, но и ничего не обещала... На острове, в отведенной им бревенчатой хижине, кровати были разной высоты, Джоун их сдвинула, но на общем ложе то ему, то ей приходилось переваливать через неудобный рубеж, и простыни вечно сбивались. Зато хижина стояла в лесу, влажный запах сосен и папоротников прорывался сквозь шторы вместе с утренним щебетом птиц или вечерним шорохом лесных зверюшек. По слухам, на острове водились олени — забрели сюда зимой по льду, а весной, когда лед растаял, не смогли выбраться. И хотя никто в лагере никогда оленей не видел, все упорно верили, что они есть.

Почему же никто никогда не видел кварк? Ричарду вспомнилась эта фраза, когда он шел по Чарльз-стрит к себе домой, и он сунул руку в карман за брошюркой, но вместо нее вытащил рецепт на болеутоляющее, брачное свидетельство и заверенное нотариусом их совместное заявление. *Супруги...* Брошюрка оказалась между этими бумагами. Он не находил нужной фразы и вместо нее прочитал: *Теория, согласно которой сильное взаимодействие увеличивается при увеличении расстояния между кварками, кажется менее обоснованной, чем предположение о том, что при сближении кварков взаимодействие слабеет.* Да, так оно и случилось, подумал Ричард. В жизни действуют четыре силы: любовь, привычка, время и скука. На короткой дистанции любовь и привычка необычайно сильны, но время, не обладая отрицательным зарядом, неотвратимо накапливается и вместе с сестрой своей скукой все сводит на нет. Смерть неизбежна — оттого он так жесток. А теперь сердце его разрывается от ужаса, что же он натворил! Как он скажет Джоун про то, как поступил с их брачным свидетельством? Даже кварки в телефонных проводах возмутятся.

Там, в лесу, была полянка, зеленый глаз, лужок, усеянный микроскопическими звездами белых цветов, и однажды, в закатный час, на нем появились олени — самка чуть впереди, самец, крупнее и темнее, еще полускрытый в тени деревьев, ждет, пока его подруга чуткими ноздрями ловит последние гаснущие лучи: силуэты обоих обрисовывает тот же свет, что золотит траву на поляне... Мимо протарахтела стая мотоциклистов с застывшими лицами, какой-то пьяница помахал Ричарду с порога прачечной самообслуживания, девушка в открытом платьице, с голой спиной, смерила его холодным взглядом, красный свет семафора сменился зеленым, а он все никак не мог вспомнить, что же ему надо купить — апельсиновый сок или хлеб, и еще сильней досадовал на то, что не может вспомнить, вправду они видели оленей или это память обманывает,— уж очень хочется, чтобы так оно и было.

— Не помню,— ответила Джоун по телефону.— Оленей, по-моему, не видали, мы только говорили про них.

— А помнишь поляну за нашей хижиной, если пройти дальше по тропе?

— Но мы никогда не ходили в ту сторону, там было слишком топко.

— Олени, самец и самка... как раз когда смеркалось. Неужели ты ничего не помнишь?

— Нет. Право, не помню, Ричард. Ты хочешь, чтобы я мучилась угрызениями совести?

— Ничуть, раз этого не было. Кстати, насчет тоски по прошлому...

— Да?

— Утром я заходил в Кембриджский муниципалитет и взял копию нашего брачного свидетельства.

— Боже мой... Ну и что там?

— Ничего. Все в точности, как когда-то. Не помнишь, где мы его получали — внизу или наверху?

— Внизу, как войдешь — налево от лифта.

— Я там сегодня заверял наше совместное заявление. Ты скоро тоже получишь копию. Устрашающий документ.

— Уже получила, вчера. А почему устрашающий? Выглядит даже забавно. «Супруги Ричард и Джоун Мейпл...» Вот мы супруги, а вот и не супруги...

— Детка, ты такая отважная и стойкая.

— Приходится. Что поделаешь.

— Да.

Не впервые за последние два года ощутил он вокруг себя тонкую, как яичная скорлупа, оболочку, в которой прятался и которую Джоун могла бы разбить одним лишь звуком голоса. Но она не разбивала ее. То ли не понимала, до чего оболочка хрупка, то ли и сама пряталась в своей скорлупе, как тогда, за дверью ванной, приближаясь к их браку с той же скоростью, что и он, и с теми же внезапными сомнениями.

— Я вот чего не понимаю,— сказала Джоун.— Мы оба должны подписать эту бумагу или каждый свою? И какую? Мой адвокат присылает все документы в трех экземплярах, некоторые в синих обложках. Какие же из них отдавать, а какие оставить у себя?

И правда, их адвокаты, ловкие, оборотистые в мире тяжб и распрей, похоже, просто растерялись, взявшись за дело о разводе «по взаимному согласию». Утром, перед самым судом, адвокат встретил Ричарда на лестнице у входа и предупредил, что его как истца могут спросить, какие именно причины привели к окончательному разрыву между супругами.

— Но ведь в том и смысл развода по взаимному согласию, что ничего не надо говорить,— вмешалась Джоун.

Она поднималась по лестнице вместе с Ричардом, он сам и привез Джоун в суд, потому что ее машину взял кто-то из их детей.

Дело должно было слушаться в начале дня. Когда Ричард заехал за ней в четверть восьмого, она стояла босая на лужайке, которую огибала подъездная дорожка, ноги ее от росы и тумана вымокли по самые щиколотки. В руке она держала туфли на высоких каблуках. Глядя на нее, он невольно расхохотался и, открывая дверцу, сказал:

— Значит, на острове все-таки *есть* олени.

Она была слишком озабочена, и до нее не дошел его намек.

— Как по-твоему,— спросила она,— судья рассердится, если я заявлюсь без чулок?

— А ты стой так, чтоб ног не было видно.

Ему было легко и весело. Ночью он почти не спал, хотя, как ни странно, плечо не болело. Вместе с туфлями Джоун внесла в машину утренний запах влажной травы. Она всегда вставала рано, а он поздно.

— Спасибо тебе,— поблагодарила она за то, что он ее подвозит, и прибавила: — Пожалуй...

— Право не стоит,— ответил он.

По дороге в суд они разговаривали об их машинах, об их детях, он поражался, какой Джоун стала легкой, искоса поглядывал — сидит рядом легонькая как перышко, и голос ее радует слух, и привычные интонации так певучи, так смягчены, будто вязь мелодий в концерте, под которую грезишь наяву. Он больше ни в чем не обвиняет ее — вот отчего ему так легко. Все эти годы он винил ее за каждый пустяк: за то, что они попали в затор на центральной площади, за

оглушительные гудки на почтовом катере, за то, что их кровати в хижине были неодинаковой высоты. Ну конечно, он больше не возлагает на нее бремя всемогущества. Освободил ее, освободил от вины. Она стала для него как Гретель для Гензеля, родной душой, и он идет с ней рука об руку лесной тропой, и птицы позади них склевывают хлебные крошки.

Адвокат Ричарда окинул Джоун скорбным взором:

— Я все понимаю, миссис Мейпл,— сказал он.— Но мне надо бы поговорить с моим клиентом наедине.

Они выбрали адвокатов на удивление непохожих друг на друга. У Ричарда — верзила-ирландец в мешковатом и мятом бежевом костюме, с толстым, выпирающим под рубашкой животом, похожий на печального и заботливого папашу. У Джоун — коротышка, подтянутый, нагловатый, во всем клетчатом, говорит таинственно, уголком рта, как «жучок» на ипподроме. Шустрый, добрый даже в такой ранний час, он выскочил из-за мраморной колонны храма правосудия и увел Джоун. Она была чуть выше его и склонила голову, покорно слушая, на щеках ее появились ямочки. Ричард с недоумением подумал: неужели все эти годы ее тайно тянуло к таким вот мужчинам? Его адвокат, тяжело отдуваясь, сказал:

— Если судья все же спросит о конкретных причинах развода,— не утверждаю, что он непременно спросит, но мы ведь идем по непроторенной тропе,— что вы ответите?

— Не знаю,— сказал Ричард, разглядывая узоры прожилок на мраморной плите под ногами, к носкам его ботинок будто плеснулась мелкая волна.— У нас были разногласия по части политики. Она заставляла меня участвовать в маршах мира.

— Бывали случаи физического насилия?

— Изредка. Пожалуй, слишком редко. Да вы и вправду считаете, что он будет такое спрашивать? У нас же «по взаимному согласию», верно?

— В нашем штате развод по взаимному согласию...

— Смотря, как к нему подходят, Ричард. Мало ли что судье вздумается. Будьте начеку.

— Ну, помимо политики у нас не все ладилось в интимных отношениях.

Оба смутились. Ричарду и с родным отцом трудно было говорить на такие темы. Адвокат запыхтел удручающе громко.

— Значит, вы готовы ответить — физическая и эмоциональная несовместимость?

Ничего подобного не было, но Ричард кивнул:

— Если придется.

— Этого довольно.— Адвокат положил большую ладонь на плечо Ричарда и легонько сжал его. Близость этого человека, его тяжелое дыхание, его тревога и настойчивость, напускная бодрость, старомодный костюм и папка с бумагами под мышкой, будто он несет списки спортивных команд,— все свелось к одному: это его тренер, а Ричарду предстоит забить решающий гол, или выполнить особо сложный прыжок, или метким ударом прервать успех наступающей команды на бейсбольном матче, когда базы уже заполнены. Марш!

Они парами вошли в зал суда. Очень чистый, пустой зал. Разные панели выкрашены в темно-зеленый цвет. Окна выходят на реку, черную от заводской копоти. С высоко повешенных портретов на них взирали давно умершие судьи. Адвокаты сошлись посовещаться, оставив Джоун и Ричарда растерянно стоять поодаль друг от друга. Он недоуменно взглянул на нее, состроил гримасу: «Что же теперь будет?» Она ответила своей: «Просто жуть!»

«Внимание! Внимание!»— донесся чей-то бесплотный голос, и в зал, улыбаясь, в колышущемся одеянии, вошел живой судья. Небольшой человечек с острым носиком на гладком розовом лице, оно опо-

вещало всех, что обладатель его хороший-прехороший и будет жить вечно. Судья остановился и кивнул. Потом уселся. Адвокаты выступили вперед, о чем-то с ним зашептались. Ричарда все больше тянуло к Джоун, единственной здесь, кто не вызывал у него отвращения.

— Ну прямо картина Домье,— шепнула она.

Адвокаты разошлись в разные стороны. Судья знаком подозвал супругов Мейпл. Он казался таким чистеньким, будто даже улыбка его скрипела от чистоты. Он протянул Ричарду бумагу — их письменное заявление.

— Эта подпись ваша? — спросил судья.

— Моя,— ответил Ричард.

— И вы считаете, как сказано в этом документе, что ваш брак окончательно распался?

— Да.

Судья повернулся к Джоун. Голос его прозвучал чуть помягче:

— Это подпись ваша?

— Моя.

Голос Джоун точно живительная струя, и краешком глаза Ричард уловил игру крохотных радуг.

— Вы тоже считаете, что ваш брак окончательно распался?

Пауза... Она так не считает, Ричард это знал.

— Да,— сказала она.

Судья улыбнулся и пожелал им счастья. Адвокаты вздохнули с облегчением и весело затараторили на профессиональные темы, о будущем разводов «по взаимному согласию», о давних наездах в Алабаму, совершенно забыв про своих клиентов. А забытые Ричард и Джоун Мейплы, те, из-за кого и собирался суд, вместе отступили в глубь зала и стали рядом, не зная, как поступить, пока Ричард не вспомнил наконец, что нужно сделать: он поцеловал Джоун.

Перевод НИНЫ БАТЬ

Человек, любивший вымерших млекопитающих

В некоем городе жил, вернее существовал, человек по фамилии Сейперс. Многое связывало его в этой жизни, но ничто не привязывало. Словом, свободного времени у него хватало, и употребить его наилучшим образом можно было, пожалуй, разве только на изучение вымерших млекопитающих. Сохранившиеся виды вызывали у него астму, динозавры же вдоль и поперек изучены; зато в промежутке существовал ни с чем не сравнимый мир неуклюжих, грузных, шерстистых млекопитающих, исчезнувших с лица земли. Все в основном крупные. «В те ранние периоды,— пишет Харвей С. Маркмен в статье «Ископаемые млекопитающие» (публикация денверского Музея естественной истории),— у многих животных ум был обратно пропорционален габаритам». Взять, к примеру, барилямбду. Длиной она была почти восемь футов и фута четыре ростом. Морда сплюснутая, ступни широкие, ноги мускулистые и необычайно мощный хвост. «В ней сочетались,— процитируем еще раз Маркмена,— многие анатомические особенности, которые в комплексе отнюдь не способствовали выживанию вида. О нем, как и о прочих неприспособившихся видах, можно было бы сказать, что он проплутал по многочисленным тропинкам эволюции и застрял в самом начале главной дороги». Барилямбда вымерла к концу палеоцена. «Как не полюбить такое существо?»— спрашивал себя Сейперс.

А кто нам укажет эту «главную дорогу»?

Барилямбда была амблиподом, что значит «тупоносая ступня». Эта группа копытных имела, как сообщил Сейперсу словарь Вебстера, «очень маленький гладкий мозг». В «маленьком» не бы-

ло ничего неожиданного, но «гладкий»... Мило, нечего сказать. Человеку, любившему вымерших млекопитающих, не нравилось, как Маркмен постоянно насмехался над амблиподами; все в их строении, в особенности же ступни и зубы, было для него недостаточно совершенным. Как преподаватель, выведенный из себя тупостью учеников, Маркмен, казалось, тяжело вздыхал, выводя очередную фразу: «Упомянем, пожалуй, еще одно семейство амблиподов, а именно уинтатериев. К концу эоцена эти чудовища достигали порой размеров циркового слона. Вдоль морды и на лбу имелись три пары костяных наростов, напоминавших рога...» На прилагавшемся фотоизображении черепа уинтаколотерия костяные наросты выглядели изысканно, в духе Арпа[1]. Сейперс вовсе не находил этих животных чудовищами, если взглянуть с точки зрения Силы жизни, а не человека с его крупным огрубелым мозгом. Сейперс закрыл глаза и постарался представить, как в процессе отбора крошечный бутон костяного нароста стал небольшим, едва заметным преимуществом — в поединках, при добывании пищи, при случке,— что благоприятствовало его развитию из поколения в поколение. Он почти увидел все это — этакий платоновский идеал, ставящий свое клеймо на зародышах уинтатерия, подмешивающийся в уинтатериево молоко,— когда над ухом затрезвонил телефон.

Это была миссис Сейперс. Ее голос — трепетный, жалкий, беззащитный, его — долетающий из какого-то далекого прошлого. Она поведала ему, причем без занудства, о том, как прошел ее день, о приступах хандры, о неприятностях. Их дочь завалила экзамен по математике. Барахлит котел парового отопления. Мужчины назначают ей свидания. Один, например, взял ее за руку во время киносеанса, и у нее все перевернулось в животе. Что ей делать?

— Будь собой,— посоветовал он.— Поступай естественно. Вызови в котельную слесаря. Скажи Дороти, что я приду в субботу и помогу разобраться с математикой.

— Если бы у меня был револьвер, я бы застрелилась.

— Потому и существуют законы об огнестрельном оружии,— сказал он успокаивающе, но она почему-то не успокоилась.

Она разрыдалась в трубку. Он попытался понять, к чему она клонит, но вынес лишь смутное впечатление, что она его любит, а такое впечатление, исходя из археологических изысканий в их семейной жизни, было явно обманчивым. И вообще, что от него сейчас зависело? «Ничего,— отпарировала миссис Сейперс и добавила:— Ты — чудовище». После чего с неподражаемой выдержкой, которой она все еще обладала, а он восхищался, повесила трубку.

Грудные железы, прочел он, это развившиеся потовые железы. Шерсть — это развившаяся чешуя. Когда млекопитающему становится чересчур жарко, каждый волос на теле поднимается, с тем чтобы воздух мог охладить кожу. Диковинный арсиноитерий[2], напоминающий на первый взгляд носорога, однако в силу своих анатомических особенностей выделившийся в отдельный класс, является дальним родственником маленького мохнатого жиряка, которого можно встретить в заповедных уголках Азии и Африки. Саблезубый тигр, по всей видимости, уступал в интеллекте домашней кошке. Его саблевидные клыки развились настолько, что можно было охотиться на прочих гигантских млекопитающих, зато поддеть кролика он бы им не смог. Кролики появились в незапамятные времена — разумеется, куда позже, чем крокодил и подковообразные крабы. Сейперс задумался об этих саблевидных зубах, а также о коренных мастодонта — коротких, с одним лишь слоем эмали; на смену им пришли длинные,

[1] Жан Арп (1886—1966) — французский скульптор, стоявший у истоков абстракционизма.

[2] Назван в честь древнегреческой царицы Арсинои.

со всех сторон защищенные эмалью, не знавшие износа зубы мамонта, и тут он попробовал вообразить себе промежуточный зуб или этапы превращения зуба в китовый ус, и эти мысли привели его к приятному заключению, что кит, медведь и человек только-только перешагнули порог истории окаменелостей. За что мы так любим медведя? За его плоские старомодные ступни. Амблиподы возвращаются! Ура! Кто-то нацарапал надпись — деликатное послание, которое Сейперс вот-вот прочтет на разваливающейся стене времени. Звонок любовницы вдребезги разрушил стену.

Она любит его. Так она ему сказала. Он ответил тем же, мысленно видя ее девическую анатомию и удлиненные бедра, маленькую аккуратную головку с гривой волос, ее позвонки, ее танцующую походку, и подумал, не надорвется ли он, мужчина средних лет, ублажая это чудо природы. Она поведала ему о том, как прошел ее день, о скучище, о занудной работе, о своих страхах, что он вернется к жене.

— С какой стати? — удивился он.

— Ты ведь считаешь меня тупицей. Вот я и боюсь.

— Не такая уж ты тупица,— успокоил он ее.— Просто ты молодая. Я для тебя староват. Я уже, можно сказать, свое отжил. Не подыскать ли тебе симпатичного любовника помоложе с одним лоснящимся рогом, как у современного носорога, одного из немногих сохранившихся непарнопалых?

Этим он попытался отвлечь ее, но она продолжала настаивать на своей любви, и от каждого ее признания у него похрустывали кости. Носорогов, выяснил он, когда она наконец насытилась и повесила трубку, безоговорочно поддержала акционерная компания «Сила жизни». Некоторые виды достигли размеров слона.

Существовали носороги-бегуны —«длинноногие, довольно изящного сложения» — и носороги-пловцы, однако ни те, ни другие не являются предками «настоящего» носорога; честь эта принадлежит безрогому тригониусу, не крупному, но «крепко сбитому» животному, четырнадцатипалому, с «давно устаревшей» (Сейперс услышал, как Маркмен не удержался и вздохнул) конфигурацией зубов.

Что мы так помешаны на этом прогрессе? Вся беда моей любовницы, решил Сейперс, состоит в том, что она более чем успешно специализировалась, став слишком совершенной любовницей, совершенной и вместе с тем хрупкой, как лошадиная нога, заканчивающаяся по сути полуступней — вытянутой, обтесанной и увенчанной одним бесподобным пальцем. Маленький эогиппус сновал в лесах среди влажной шелковистой листвы, подобно еноту; даже мезогиппус, хотя он уже был ростом с колли, ступал на землю трехпалой ногой. Эогиппус казался Сейперсу миниатюрным воплощением игривой мечты, выскакивающей из тенистых глубин сердца навстречу огромному, оглушительному, невозможному миру реальности.

Перезвонила жена. За время их совместной жизни успело осесть столько ионов, что из них образовались наросты психического свойства, которыми она протыкала и бередила его душу. «Извини, что нарушаю твое замечательное уединение,— сказала она таким голосом, что оставалось только поверить в неоспоримость ее прав на это при всей бесцеремонности такого вторжения,— но я совсем потеряла голову». И этому пришлось поверить, хотя он и знал ее способность вонзать в себя отчаяние, как нож в когтистую лапу или бивень. Пожалуй, следующая ее фраза: «Я уже дважды пыталась тебе дозвониться, но все время занято», была лишней; впрочем, и этот выпад он воспринял как должное: законная ревность была одним из проявлений ее беспомощности, поскольку все органы действовали у нее синхронно. Она рассказала, что собака, их общая любимица,

умирает от старости, ничего не ест и норовит убрести в лес, а они с дочерью часами разыскивают бедняжку и уговаривают вернуться. Может быть, отвести ее к ветеринару и усыпить?

Сейперс спросил жену, что думает по этому поводу их дочь.

— Не знаю. Я передам ей трубку.

Дочери было четырнадцать лет.

— Привет, папа.

— Привет, малыш. Что, Джози очень мучается?

— Нет, просто она как пьяная. Стоит на дороге посреди лужи и смотрит в небо.

— Так, может, ей совсем не так плохо? Кому пришло в голову везти ее к ветеринару?

— Маме.

— А ты как считаешь?

— Пусть себе делает что хочет.

— Вот и я так думаю. А почему бы ей не побыть в лесу?

— У нас начинается дождь, она же вся промокнет.— В голосе дочери, который до сих пор звучал рассудительно и спокойно, назревал срыв, слезы, предощущение роковой утраты; омерзительный парад смерти вот-вот появится из-за угла под звон литавр и победные звуки тромбонов и вторгнется в ее сознание. Спокойно, сказал себе Сейперс. Не гони волну.

— Тогда отведи ее в дальнюю комнату,— сказал он,— принеси газет и миску с водой. Поговори с ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Не везите ее к ветеринару, пока нет настоящих болей. Ветеринар всегда нагоняет на нее страх.

— Ладно. Дать тебе маму?

— Не надо. Малыш! Прости, что я ничем не могу помочь.

— Ничего.— Голос стал безразличный, тихий и ровный. Она уже готова была повесить трубку.

— Да, малышка, чуть не забыл,— крикнул Сейперс через расстояния.

— Ну?

— Не заваливай больше экзамен по математике. А то мама сильно расстраивается.

Гигантские, диковинные разновидности млекопитающих сохранялись на земле еще долго после появления человека. Великолепный скелет императорского слона (Archidiskodon imperator) был найден с засевшим в нем наконечником копья. Неандертальцы аккуратно складывали пирамидой — из каких-то религиозных соображений — черепа Ursus selaeus, то есть большого пещерного медведя. А неподражаемый глиптодон, бронированное животное, размером и видом своим напоминающее «фольксваген», разгуливало по пампасам Южной Америки каких-нибудь десять тысяч лет назад, так что его вполне могли видеть осторожные смуглолицые предки худосочных вождей инков. А перед кем, спрашивается, промелькнула жизнь стокоцероса, четырехрогой антилопы? Или синдиоцероса, оленеподобного жвачного с двумя парами рогов, из которых одна располагалась прямо на морде? Оксидактилуса, жирафоверблюда? Дафинодона, собаковидного медведя? Дицератерия, маленького носорога, или динохиуса, огромной свиньи? В анналах их существования Сейперс вновь и вновь наталкивался на загадочные исчезновения, необъяснимые миграции. «К концу палеоцена все американские носороги вымерли либо разбрелись по свету». «После того как лошадь успешно прижилась в Северной Америке... ее исчезновение из этой части полушария не поддается объяснению».

Сейперс огляделся. Он с удовольствием отметил, что кроме него ни одного живого существа в квартире не было. Ни зверушек, ни

растений. Тараканов он убивал на месте. От этого жилища на него веяло чистотой протерозойской эры. Здесь легко дышалось.

Зазвонил телефон. Это была его мать. Он спросил: «Ну как ты?» — и получил развернутый ответ — боль в груди, невралгия, одышка, онемение конечностей. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил он.

— Можешь. Не взваливай на меня новые несчастья,— тотчас отозвалась она с подозрительной, как ему показалось, живостью для такого немощного человека.— Почему бы тебе не вернуться к тем, кто тебя любит? Будь пай-мальчиком.

— Я и так пай-мальчик,— возразил он.— Целыми днями сижу читаю.— Раньше это бы ее успокоило, но не сейчас. Она сокрушенно вздохнула, как Маркмен над уинтатерием, и несколько переменила тему.

— Если вдруг со мной что-то случится,— сказала она,— немедленно приезжай и присмотри за антиквариатом. В нашем квартале происходят ужасные вещи. Когда это случилось с миссис Питерсон, кто-то подогнал грузовик прямо к дому и все увез. Прилетела ее дочь из Омахи, а там голые стены. Все увезли: споудский фарфор и буфет, который стоял в углу.

— С тобой ничего не может случиться,— услышал он собственный голос; это прозвучало как упрек, хотя он рассчитывал ободрить ее.

После паузы она спросила:

— Ты в церковь-то ходишь?

— Реже, чем надо бы.—*...не поддается объяснению.*

— Здесь все за тебя молятся,— сказала она.

— Все? — *Стада разбрелись по свету.*

— Сегодня ночью я глаз не сомкнула,— сказала его мать.— Думала о тебе.

— Не надо, прошу тебя,— сказал Сейперс. Разговор закончился, а он все сидел и думал: все мы, живущие, принадлежим к той же эпохе, что и вымирающий кит, и флоридская морская корова, и бенгальский тигр, и журавль-кликун.

Он почувствовал удушье. Описания вымерших животных с этим бесконечным перечнем второстепенных, ничего не значащих фактов сдавили ему грудь. У амебелодона, «плоскозуба» из Небраски, нижняя челюсть была шесть футов длиной с двумя выдававшимися сплющенными клыками. А стеномилус был грациозным маленьким верблюдом. Отчего у лошади вытянутая морда? Оттого что глаза освободили место для высоко расположенных верхних коренных зубов. Любопытно, что у эогиппуса была диастема. Креодонты, самые примитивные из плотоядных млекопитающих, передвигались, опираясь на плоские, широко расставленные ступни, и, если вдуматься, эти животные — Сейперсу ничего не оставалось, как признать данный факт,— были в инженерном отношении совершенно неприспособленными по сравнению с кошками или собаками. «Что касается насекомоядных, то они почти не эволюционизировали» — внезапный прилив нежности, заставивший Сейперса поерзать на стуле, наполнил его любовью к насекомоядным; мысленно он прижимал к сердцу этих бесформенных, бесстыжих, уродливых ископаемых. «Ноги и губы больше, чем что бы то ни было, говорят нам об образе жизни, который вели вымершие млекопитающие...» Еще бы, подумал Сейперс. Все ими мучаются.

Перевод СЕРГЕЯ ТАСКА

Гонки с яйцом

А может, гонки с ложкой? Дети строились в ряд, и каждый держал перед собой ложку с яйцом. И оно — полужидкое, полуживое —

чуть подрагивало в ложке. На старт, внимание, марш. Те, кто ронял яйцо, само собой, выбывали из игры. Тогда, почти сорок лет назад, в том зеленом краю все беспечно относились к дарам деревенской жизни и не огорчались из-за разбитых яиц; со временем земля впитывала эти яйца, оброненные на площадке для игр, где хоть раз в лето в какой-нибудь праздник властители календаря и нации снисходили до детей и, лучезарно улыбаясь, раздавали им незатейливые награды вроде шоколадок или складных бумажных змеев. Фергусон давно уже не вспоминал обо всем этом, но в последнее время — словно с годами он стал чувствительней — его вдруг начали одолевать воспоминания и предчувствия.

Во сне ему стал являться отец, живой и точно наяву. Почему вдруг? Отец умер пять лет назад, сын, археолог, был в это время в Ираке на раскопках. Фергусон искал погибшие города. Даже умирая, подумал тогда Фергусон, отец поступил по отношению к нему тактично: ему не пришлось ни дежурить ночью в больнице, ни принимать важные решения, ни испытать горечи расставания. В последние годы своей жизни отец очень страдал из-за плохого кровообращения, смерть явилась для него милостью божьей. На панихиде Фергусона поразило неподдельное горе бывших учеников и коллег отца и их трогательные воспоминания. Старик был учителем в старших классах; жизнь его, увлекаемая бесконечным потоком неблагодарной хейсвиллской молодежи, казалось, капля за каплей уходила в песок. Но тогда, на похоронах, эта утекшая в зыбучий песок жизнь словно возродилась и вновь потекла в слезах посторонних людей укором ему, сыну, который не проронил ни слезинки и чувствовал лишь одно — облегчение. Отца похоронили: Фергусон снова стал часто ездить в пустыню, и еще он ушел от жены к другой женщине. Он долго не решался на это и никогда бы не решился, будь жив отец. Но отчего? За всю свою взрослую жизнь он ни разу не слышал от старика отеческих наставлений. Отец во всем поощрял его и все прощал. И до самого своего конца словно защищал от какого-то незримого горя.

Фергусону снилось, что они вместе с отцом путешествуют, как часто бывало наяву, и в этом безалаберном путешествии было что-то пьянящее. Ломались машины, пустели бумажники, грубили кондукторы в троллейбусах, и все же отец и сын разъезжали в свое удовольствие, и от сна этого с такой поразительной ощутимостью — что Фергусон даже просыпался — веяло духом путешествия, быстрой ездой и еще робкой улыбкой отца, которому так хочется доставить сыну радость. Отец улыбался и из низкой, будто скрытой туманом машины, в которой он ездил, и улыбка говорила: ты со мной и будешь со мной всегда; Фергусон просыпался в отчаянии: в рассветных лучах расплавлялось непонятное, ускользающее, невозвратимое блаженство; а рядом с ним неподвижно спала вторая жена.

И то сладостное ощущение после хотя и злополучных, но ярких и веселых странствий с отцом он пытался подарить своим собственным детям, но все их поездки казались жалкой подделкой: не хватало отцовской истинно-христианской доброты, благородства, выдержки — всего того, что заведомо обречено и все-таки оберегает тебя, и еще не хватало тех канувших в Лету примет убогой жизни времен депрессии. Троллейбусы больше не сновали в центре крупных городов, и, отправляясь куда-нибудь на поезде, никто больше не надевал свой лучший костюм, и уголь больше не сверкал на заросших сорняками пустырях, и соседний городок больше не казался иной планетой. Дети Фергусона сменили велосипеды на автомобили, и к чему им теперь ездить куда-то с отцом. Он понимал, что оставил их лишь чуть раньше, чем они оставили бы его.

После развода он нечасто ездил с детьми. Один из сыновей — ему исполнилось семнадцать — позволил Фергусону сопровождать

его в поездке по колледжам Среднего Запада. Неделю они слонялись по мотелям, что возвышались над озерами и кукурузными полями, взлетали с аэродромов и приземлялись на аэродромы, едва заметные на плоских равнинах, бродили по колледжам в неоготическом, неоклассическом и неоконструктивистском стиле, восхищались часовнями, библиотеками и лабораториями, а вечером возвращались в мотель и пили пиво в баре. К удивлению Фергусона, мальчика никогда не отказывались обслуживать. Однажды в штате Айова, выпив по две кружки пива, они решили поплавать в бассейне при мотеле. Зеленый, неподвижный, манящий, столь чужеродный среди кукурузных полей, застыл он под куполом звезд. Кроме Фергусона и его сына, в бассейне никого не было. Пока Фергусон тащился от бортика к бортику, сын делал с трамплина сальто назад. За последнее время мальчик сильно вытянулся, стал нескладным и прыгал он с шумным всплеском. Когда они выходили из бассейна, он весело и возбужденно дрожал: «Помню, целое лето боролся со страхом, учился этой штуковине». Мальчуган, закутанный в гостиничное полотенце, казалось, ступил на черту, отделяющую мальчика от мужчины,— еще не студент колледжа, но уже и не ребенок, который все лето, преодолевая страх, подходит к краю трамплина и прыжком назад бросается в воду. Мальчик улыбнулся Фергусону как другу — ободряюще, хотя в глазах еще не растаял след испуга, ну точно как когда-то его дед. И Фергусон возликовал: вот она, минута воздаяния, он вдруг почувствовал себя прощенным.

Фергусон приехал по делам в Смитсоновский институт и прошелся там по выставке прежней жизни американцев. Деревянные домики, таверны, квартиры иммигрантов — все старательно восстановлено и помещено за стекло, словно экзотические бабочки. Возле старинной классной комнаты он замер в изумлении. Ряды привинченных к полу парт с чернильницами, доска, на которой мелом крупными буквами выведены примеры из пальмеровских прописей, над доской эскиз Стюарта [1] — портрет Джорджа Вашингтона, а сбоку, между окон, которые выходили бы на асфальтированную площадку для игр, карта путей ввоза в Америку пряностей. Фергусон был озадачен. Какой же это исторический экспонат? Он сам учился в таком классе. Если б не стекло, он мог бы войти в него и сесть за парту — старательный мальчуган в потертой куртке, он всегда приходил в класс первым.

Все чаще и чаще Фергусону приходилось бывать в больницах. Безмолвные вестибюли, тускло освещенные коридоры, нескончаемая больничная суета, свершаемые за дверьми таинства; больницы да еще аэропорты — вот наши храмы. В больнице коллега Фергусона умирал от рака легких. Фергусон робко вошел в палату — он страшился смерти — и с облегчением увидел до мелочей знакомую фигуру своего старого приятеля, руководившего его отделом, чей двухтомный опус о тольтекских холмах [2] был удостоен высокочтимой премии Шлимана. Коллега Фергусона был семью годами старше его и значительно умнее, и в нем было что-то отеческое. Его продолговатое мудрое лицо над белым воротничком больничной сорочки, пожелтелое и изможденное болезнью, стало походить на лицо сварливой старухи. «Мне кажется, твоя последняя статья,— едва ворочая онемевшим от лекарств языком, сказал он,— грешит некоторой неточностью. Ты выделяешь новый слой по одному черепку. И какая тут связь с захоронениями двенадцатого слоя? Ты же переместил население трех-четырех веков». Фергусон представил себе, как по его вине движутся

[1] Гилберт Стюарт (1755—1828)— известный американский живописец-портретист, портрет Вашингтона (1795)— одна из лучших его работ.

[2] Тольтеки — индейские племена, населявшие до ацтеков Мексиканское нагорье.

целые слои с мертвецами, прижимающими к себе бусы из лазурита, горшки и тотемы из песчаника. «Понимаешь,— продолжал его критик устало,— такие черепки часто играют с нами злую шутку: возможно, этот экземпляр с Крита или из Анатолии. Люди прошлого — великие путешественники, никогда не забывай об этом». Фергусон по-своему любил этого человека за то, что тот знал еще больше его самого; оба они, видавшие виды люди, в заштатных университетах преподносили студентам блестящие плоды своих изысканий, добытые в краю песка и солнца, среди невежественных наемных рабочих, под угрозами бандитов. Тогда почему же ликующее волнение теснило ему грудь? Голос Фергусона зазвучал безжалостно-бодро и звонко — полная противоположность того, другого, медлительного и увещевающего.

— Только в Хирбет-Кираке[1] есть черепки с такими канавками,— сказал Фергусон.— Я привезу вам их будущим летом. Хоть тонну. Они должны быть там, я уверен.

Будущим летом. Умирающий остановил взгляд на белой, как яичная скорлупа, стене и вздохнул.

Фергусон перевел разговор. Он принялся весело расхваливать палату: просторная, красивый вид из окна — мягких очертаний холмы к югу от Бостона.

Коллега вздохнул, соглашаясь.

— Людей нашего возраста следует держать в узде. Мы слишком часто потакаем своим прихотям. Ты вот развелся, а я за эту комнату с видом выкладываю по двести долларов в день.

Фергусон хотел было возразить, но тут он взглянул на своего коллегу и увидел в лице его уже нечто потустороннее, и прилив жалости сокрушил его ликование; ему захотелось спасти этого человека от неумолимой лавины времени, которая скоро поглотит его, захотелось извлечь его из этой кровати, как извлекал он из древних отложений черепки разбитой амфоры. И в этой комнате, уже казавшейся пустынной, Фергусон мысленно промолвил: «Прости меня».

Серые стены больницы громоздились среди залитых солнцем улиц; больница казалась неведомой фабрикой, выпускающей неброскую, но чрезвычайно нужную продукцию. Фергусон брел по улицам и размышлял, как прав был Шекспир: весь мир — театр. Вот убаюканный качанием едет в коляске ребенок, вот школьник в коротких штанишках с бейсбольной битой, сутулясь, бредет по тенистой аллее к спортивной площадке на очередную игру. Фергусон сам когда-то ходил на такую площадку и до сих пор помнит пыльный привкус этих бесконечных полуденных часов. А вот молодой отец, худощавый, в одной рубашке, он шагает, чуть склонившись, держа за руку хныкающего малыша, а рядом жена с довольным видом несет в животе очередное бремя забот. Руки Фергусона до сих пор помнят, как нужно пеленать, и то, как крепко детский кулачок сжимал его палец, когда он пел детям колыбельные песни. А этот мужчина, должно быть, разводится; усталый, но оживленный, спешит он с бутылкой джина и мороженными продуктами к себе в квартиру, которую обставил уже по-холостяцки,— побольше реклам на стенах и поменьше светильников,— пусть напоминает его былое одинокое пристанище, комнату в колледже. Фергусону уже больше не играть этих, в свое время старательно сыгранных ролей. Парадокс: умом Фергусон страшился грядущей смерти, а в душе радовался и с облегчением сознавал, что ему никогда больше не придется быть молодым.

На людях среднего возраста лежит особая печать, их отличают свойственные лишь им одним черты: например, они часто с недоумением относятся к тому, что раньше приводило их в восторг. Происхо-

[1] Культура бронзового века, IV—III тысячелетия до н. э.

дящее кажется нереальным, предметы расплываются, а пол начинает покачиваться и словно неуверенно двигаться к какой-то безнадежно удаленной цели. Помогают новые очки. Мир поворачивается иной стороной, и душа уже заперта в доме с мутными стеклами. А вот почту, когда-то столь изобиловавшую сюрпризами и тайнами, теперь можно было не читать: фотографии страдающих калек и голодающих, гневные петиции в защиту справедливости, дружеские обращения к бывшим выпускникам, ученые записки научных обществ, реклама ненужных вам драгоценностей, оттиски научных статей, фотокопии фотокопий. Кому все это посылают? В мусорную корзину! Однажды Фергусон извлек из этой мусорной корзины конверт, адрес на котором был не написан от руки, а отпечатан на машинке. «Дорогой Ферджи»,— начиналось письмо; тривиальный, безмятежный с пальмеровской каллиграфией почерк словно откуда-то из прошлого, а дальше — печатный текст: «ПРИХОДИ на двадцать пятую годовщину! Хейсвиллский класс выпуска 1952 года ждет ТЕБЯ!!» Прочитав подчеркнутое огромное «ТЕБЯ», он вдруг почувствовал себя значительным — смешное, неоправданное и очень сильное чувство,— с таким же он просыпался после снов об отце. Он пойдет туда. Послание подписала Линда Уид Готтфингер, староста класса. Фергусон знал Линду еще с детского сада. А потом в школе после уроков она прятала его портфель и не отдавала, пока он не начинал плакать. Эта девчонка с тонкими косичками и вздернутым носом была необычайно ловкой, и, даже когда фигура ее оформилась — у нее вдруг появилась большая округлая грудь,— живот по-прежнему оставался плоским, а ноги — худыми и сильными. Это ее почерком было написано «Дорогой Ферджи».

На этом вечере уже за полночь под звуки оркестра, исполнявшего только старые мотивы от «Рядом с тобой» до «Парень из Танжера», Фергусон сквозь хмельную пелену почувствовал, что среди стареющих детей, знакомых голосов, этих мелодий он как в раю. И все-таки лучше бы ему сидеть дома. Он пришел один. Старая роль одинокого зубрилы ждала его, как поношенный костюм, и была как раз впору. Оркестр заиграл «Прощание с регтаймом», и Линда Уид решительно направилась к нему. Другие танцевали, или вспоминали старую любовь, или помогали друг другу протрезветь в туалетах мотеля, а Линда собирала сведения для Памятной книги, которую потом хотели размножить на ротаторе и подарить бывшим выпускникам.

— Холостяк, женатый, живешь отдельно, в разводе? — спросила Линда.

Карандаш ее замер в ожидании, отточенный и проворный. Линда и к сорока трем годам сумела сохранить фигуру. Некоторые школьные красотки так заплыли жиром, что напоминали людоедок или фараонов, спеленутых в нескладные саркофаги. Фергусон уставился в потолок, обдумывая, как бы поточнее ответить. Администрация мотеля украсила зал красной и белой гофрированной бумагой, хотя на самом деле цветами их класса были бордовый и кремовый. «Цвета бордо и кремовый, бордо и кремовый цвета...» — так пелось в их классной песне, а потом еще какая-то строчка со словом «мечта» на конце.

— Всё вместе. Но не всё сразу,—сказал он с расстановкой.

— А теперь?

— Тоскую по дому.

— Я напишу «женат».

Еще в те времена, когда они ходили в детский сад, эту девчонку трудно было обескуражить. Зеленые холодные глаза, а если улыбнется, виден вставной зуб. Гоняясь за кошкой, она упала на детской площадке с лесенки. Оркестр перешел к «Через аллею из Аламо».

— Профессия? — спросила Линда.

— Землекоп,— ответил он, и это показалось ему необычайно верным. И он принялся объяснять ей, почему он землекоп.

— Я выкапываю на свет божий то, что запрятано в земле. Прошлой зимой я нашел один черепок, и из-за него перевернулись тысячи скелетов.

— Ферджи, ты пьян,— сказала Линда.

Уже в восьмом классе у Линды была изумительная грудь, обтянутая модным в те времена пушистым свитером из ангорской шерсти. И теперь, чтобы доказать, что грудь ее пережила две войны в Азии, шесть президентов, пять экономических депрессий и рождение четырех детей, староста нашего класса надела плотно облегающее ядовито-желтого шифона платье с глубоким декольте — такие носили в пятидесятые годы. Может, это ее чудом сохранившееся выпускное платье? Из выреза веяло ароматом орхидеи, приколотой к корсажу, и духов времен Эйзенхауэра. Никогда, никогда в жизни он не увидит ее грудь, грустно подумал Фергусон. В десятом классе Линда вышла замуж раз и навсегда и с тех пор не покидала Хейсвилл и никогда не ступала на стезю греха.

Вокруг танцевали, вспоминали былое. В зале и в мозгу Фергусона царила неразбериха: какая-то мешанина из черепков, рассыпанных бусин, реставрированных статуэток. Все глубоко скрытое непрошено вышло на свет божий. Вальсируя, к ним приближался Поганец Киджирайз, бич их класса. Теперь он миллионер, владеет электронной фирмой «Зистер», и хотя этот толстомордый парень уже поседел и носил комбинированные очки, он по-прежнему был бичом класса — таким вечно все сходит с рук. Он сладко улыбнулся Линде и слегка оттянул лиф ее платья вместе с вшитым в него бюстгальтером. И на мгновение ее мягкая продолговатая грудь предстала перед затуманившимся взглядом Фергусона. У него перехватило дух. Грудь была совершенной, еще огромнее и белее, чем он воображал, тяжелая и высокая под тенистым покровом одежды, безупречная как яйцо.

Линда шлепнула Поганца по руке и поправила лиф платья, совершенно невозмутимо, и, лишь когда ее зеленые глаза встретились с глазами Фергусона, ей стало не по себе — она, очевидно, никак не ожидала прочесть в них такое блаженство, блаженство, подобное цветку, раскрывшемуся наконец на хрупкой веточке тридцатилетнего древа вожделения.

— Какой у тебя сейчас адрес? — спросила Линда.

— Я забыл.

За окнами невысокого деревянного дома в штате Мэн от сосен веет первозданной тишиной, индейцами, даже какими-то сибирскими скалами и мхами тех времен, когда не было Берингова пролива и континент с его дерзкой мечтой о свободе не был отрезан. А недалеко от дома в бухте Фергусон вместе со второй женой и ее единственным сыном собирают прямо в иле стрелолист.

Линда держала карандаш наготове.

— Как по-твоему,— она взяла анкету,— Америка по отношению к тебе сдержала свои обещания?

— Более или менее,— ответил Фергусон.

Линда резко захлопнула блокнот.

С леденящим душу завыванием оглушающих труб оркестр заиграл «Такой усталый».

К Фергусону подошел их классный великан, полузащитник и толкатель ядра. Он совсем облысел.

— Нет, в отца ты не пошел,— сказал он Фергусону.

— Знаю. Что поделаешь.

— Черт побери, как твой отец умел подбодрить! Уж в чем в чем, а в этом он был мастак! Никогда не забуду, как он говаривал мне:

«Ты сейчас на вершине глупости, но ты еще с нее спустишься». Стоит, бывало, у доски, подбрасывает тряпку и рассуждает: «Что поднялось, должно опуститься». И еще твой отец часто повторял: «Последняя миля самая трудная». Но тогда я не понимал, о чем это он. Теперь понимаю. Еще как понимаю.

Великан посмотрел сверху вниз на Фергусона, а тот уже погрузился в печаль и любовь, которую некому было подарить. А что, если заплакать, отдадут ему спрятанный портфель?

«Доброй ночи, Ир-э-эн,— заиграл на прощание оркестр.— Доброй ночи, Ирэн».

На другой день была суббота. И Фергусон в похмелье слонялся по своему Хейсвиллу, этому погибшему городу. Если не считать окраин, где когда-то в его детстве поля родили кукурузу, а в бухте не переводилась водяная жеруха (собирали ее обычно старые женщины), Хейсвилл мало переменился. В переулках попадались занятные находки: клетки из дерева и проволоки, в которых Фергусон с трудом узнавал самодельные хоккейные ворота. Мальчишкой он играл только в мяч: черным пятнышком кружился в воздухе бейсбольный мяч; тяжелый баскетбольный мяч едва касался щита, а футбольный завершал свой головокружительный полет на кончике ботинка. Старая начальная школа, крепость в готическом стиле, словно выросшая прямо из асфальта, стояла заколоченная, и на гниющей фанере распыленной из пульверизатора краской написаны революционные и тут же рядом расистские лозунги. А все содержимое классных комнат продали Смитсоновскому институту. Рядом когда-то была кондитерская Буни, куда дети бегали тайком на переменах: к удивлению Фергусона, она все еще стояла на прежнем месте и все еще была открыта. Он зашел в нее и накупил тех самых незабываемых дешевых сладостей: пирожных с джемом, лакричных леденцов, нугу в вощеной обертке, кокосовых палочек цвета бекона. Сморщенный подагрик-старик за почерневшим треснувшим прилавком терпеливо складывал все в бумажный пакетик. А потом вложил в руку Фергусона сдачу и сжал руку так, как когда-то сжимал его детский кулачок.

— Держи крепче, Ферджи,— ласково сказал он.— Смотри не урони.

Сам Буни? Живое ископаемое. Повсюду Фергусона узнавали. И покосившиеся крылечки, и задернутые занавески на окнах. Конские каштаны тоже узнали бы его, если б их не вырубили. На улочках, казалось, стало светлее, а небо чище с тех пор, как он, возвращаясь из школы, крался окольными путями, чтобы не повстречаться с хулиганами. А теперь к нему подходили тогдашние хулиганы — ныне пожилые люди — и говорили: «Спорю, ты меня не помнишь». Так оно и было, но он припоминал этот стиль: полосатые сорочки и подтяжки, мешковатые комбинезоны, бледные лица, неуклюже торчащие локти и тихие мягкие голоса, в которых таилась легкая язвительность. Словно машина, добывающая соль с морского дна, Хейсвилл без передышки производил хейсвиллцев. И Фергусон один из них. Не раз его принимали за отца. Городок пустел, пустели дома. На спортивных площадках за школой, где когда-то в его детстве сморщенные старухи, сутулясь, кружили среди сорняков в поисках одуванчиков для настоев, построили маленький стадион. Заглянув за бетонную ограду, Фергусон узрел поле с великолепным дерном.

Детская площадка по-прежнему оставалась на набережной за бейсбольным полем. Как поселение индейцев хопи на столовой горе[1]: поселение из сломанных качелей и качалок, перекладин и лесенок. Фергусон измучился в своем сером костюме и мечтал лишь об одном — упрятать головную боль под тропический шлем; забравшись на набережную и очутившись на свалке среди поломанных игрушек,

[1] Изолированная возвышенность с крутыми склонами и плоской вершиной.

среди ржавых перекошенных санок, он пристально стал разглядывать траву, словно разыскивая следы — осколки скорлупы, кусочки высохшего желтка — гонок с яйцом.

Фергусон никогда не был победителем. Слишком старался донести яйцо целым и невредимым и потому не мог идти очень быстро. Если хочешь победить, надо шагать всей ступней, но выяснилось, что при этом сильно трясутся руки и устрашающе раскачивается яйцо в ложке. Непонятное ощущение — точно он снова участвовал в гонках с яйцом — охватывало Фергусона, когда он вел машину по коварной дороге, или пересекал устланный коврами вестибюль больницы, чтобы навестить знакомого, или садился в самолет. Плавным передвижение оказывалось только во сне, когда его манил за собой отец. Гонки с яйцом, задуманные как праздник, наводили на Фергусона ужас, словно ему предлагали свернуть голову цыпленку, или раздавить муху, или работать до одури — что сплошь и рядом делали взрослые. И вот теперь, когда билет на самолет жег ему карман, когда головорезы в Ираке чистили свои автоматы, а его первая жена спала одна, Фергусон размышлял: а не связало ли путами его жизнь предчувствие ужасного, не жил ли он до сего дня, свернувшись клубочком, точно в хрупкой скорлупе.

Дома Фергусон прочел в газете, что его коллега умер. Сидя за завтраком, он едва подавил ликование, переполнявшее его, трепет торжества, от которого у него задрожала рука, когда он подносил ко рту вилку с яйцом. Сверху настойчиво позвал ребенок, ребенок, с которым он теперь жил. Мальчик проснулся с больным горлом и не пошел в школу. Фергусон перевернул газетную страницу и услышал, как мать несет наверх сыну завтрак на подносе, и вспомнил те давние утра, когда сам пропускал школу и оставался дома: свежий процеженный апельсиновый сок, нарезанные кусочками, только что поджаренные и оттого еще теплые гренки, голубой молочник со взбитыми сливками, сахар; и все эти вкусные вещи мама раскладывала на лакированном черном подносе, будто фигурки для головоломки, и еще раскиданные среди вздувшихся гор и долин одеяла книги, карандаши, ножницы с загнутыми концами; а за окном солнце описывает свою извечную дугу «утро — вечер», и жители городка спешат то на службу, то обратно, утром бегут к троллейбусам, вечером устало бредут домой, и среди них отец, он страдает, а у него, у ребенка, никаких забот — живи, оберегай себя, расцветай, погружайся в безбрежное море под названием «праздность». И дом каждым своим уголком охранял его, неизменно хлопотал и заботился о нем, словно вставляя в замысловатую ажурную оправу драгоценность — его здоровье; все вокруг, как та ложка яйца, поддерживало его жизнь, единственную, ему одному принадлежащую жизнь, смотри только не вырони ее из рук.

Перевод ЕВГЕНИИ ШВАРЦ

■

ЭРИК БЛУМБЕРГ

К 90-летию со дня рождения

Перевод с шведского и вступление ТАТЬЯНЫ БЕК

«Сила беречь беззащитных»

Эрик Блумберг родился в самом конце прошлого века в буржуазной семье. Отец его был морским капитаном и коммерсантом: торговал лесом, углем, коксом. Дома жили по консервативным меркам, и кто бы мог подумать, что в этом спокойном лоне вызревает столь мятущаяся и необычная душа!

Учился Блумберг в Упсальском университете и в 1919 году защитил искусствоведческую работу о Рембрандте — затем, в течение двух десятилетий, он постоянно выступает в стокгольмских газетах как критик-искусствовед. Вот характерное для этих статей утверждение Блумберга: «Художник — творец. Он творит культуру, которая всегда связана с реальной эпохой... Поэт — толкователь своего времени».

Как поэт Блумберг дебютировал в 1918 году сборником «Песни одиночества», после чего один за другим появились стихотворные книги «Человек и бог» (1919), «Земля» (1920), «Песни» (1924), «Пленный бог» (1927). Тональность дебюта определялась страшным опытом только что отгремевшей первой мировой войны, и хотя затем основная интонация лирики Блумберга просветляется, горькой нотой неизменно звучит тема обездоленных.

В 30-х годах, наблюдая экономический кризис и наступление фашизма, Блумберг в своих статьях и эссе неустанно предупреждает об угрозе новой войны. «Если каждый сторонник мира,— писал он в 1938 году,— сделает все возможное для предотвращения войны,— мы победим эту угрозу... И писатель менее всех имеет право уклоняться от данной задачи». Не правда ли, слова чрезвычайно современные? Антивоенный пафос просматривается в лирике Блумберга разных лет (например, стихотворение «Гойя»).

После книги «Глаза ночи», вышедшей во время второй мировой войны, поэт надолго замолчал: следующий, ставший последним, его сборник вышел в 1962 году — «Откройтесь, глаза». Однако паузу было бы неверным воспринимать лишь как затишье — все это время лирическая мысль жила и дышала подспудно. Когда после длительного перерыва новая книга вышла в свет, то стало очевидно: Блумберг — поэт нескольких лейтмотивных тем и образов, которым он оставался верен на протяжении всей своей жизни, углубляя и обогащая их трактовку. Если вспомнить, что Марина Цветаева делит поэтов на «путников» — тех, кто проводит всю свою творческую жизнь в становлении и изменении (Пушкин), и на «столпников» — тех кто «сразу — был» (Лермонтов), то Блумберг — скорее поэт второго типа. «Когда идешь к морю и к лирику,— писала Цветаева,— идешь не за невозвратностью течения, а за возвратностью волн; не за неповторимостью мгновенья и не за непреходящим, а именно за повторяемостью морских и лирических непредвиденностей, за неизменностью смен и перемен, за неминуемостью собственного изумления ими»[1]. Сказано словно специально о Блумберге. Его темы повторяемы и неповторимы, как морские волны.

Ведущая тема лирики Блумберга — жажда слияния с природой. Лирический герой его поэзии — Человек с большой буквы, стремящийся к нравственному идеалу. В статьях Блумберг не раз утверждал, что развитие полноценной личности невозможно вне человеческого сообщества; все его стихи — производные этого убеждения. Поэзия Блумберга вообще держится на нескольких метафорах-антитезах (ночь — день, тьма — свет, небо — земля и т. д.), но по-настоящему ключевая пара в его поэзии это о д и н о ч е с т в о — е д и н е н и е, причем оба состояния переживаются поэтом с равной интенсивностью. Все его творчество — порыв от

[1] М а р и н а Ц в е т а е в а. Сочинения в 2-х томах. М., 1980, т. II, с. 434.

единственности к братству и всечеловечности или, процитируем его строчку: «от одинокого Я — к полноте бытия!»

Интересно, что Блумберг не так уж часто для лирика писал о себе и от себя лично — он охотнее сливается и отождествляется с миром.

Сосуществование в его поэзии отчаянного одиночества и безграничного единения естественно. Как правило, побеждает, хотя и мучительно, единение, и недаром в стихотворении «Аппассионата» поэт признается: «Моя жизнь кричит тысячью чужих голосов».

Поэтическое зрение Блумберга демократично и добросердечно. Он воспевает будни, поэтизирует прозу жизни, защищает слабых. «Я обретаю силу беречь беззащитных» — таков девиз его творчества, прозвучавший в стихах «Косуля в парке».

Что касается стихотворной ткани, то Блумберг был традиционалистом. Душа его так непосредственна и так переполнена живым чувством, что ей словно бы не до формальных изысков и самоцельных экспериментов. При этом поэтика Блумберга разнообразна, многоцветна, пластична. В рамках одного стихотворения он изящно переходит от белого к рифмованному стиху, оркеструет строку ненавязчивыми аллитерациями, любит резкие и выразительные чередования неравносложных строк и причудливую перекличку рифм. В его музыке — ток высокого напряжения.

Блумберг блистательно перевел на родной язык Бодлера и Рильке, Вийона и Гёльдерлина, Аполлинера и китайских поэтов, но собственная его лирика этим влияниям ощутимо не подверглась. Муза Блумберга идет скорее от детских ритмов, от народной песни, от псалмов. Кроме того, угадывается связь лирики Блумберга с творчеством художников-примитивистов, о которых — в частности об Анри Руссо — он написал несколько замечательных искусствоведческих работ. В духе «наива» — поэтические миниатюры «Кружевницы», «Коза». Отдельно нельзя не упомянуть о биографии самобытного шведского художника Э. Юсефсона, вдохновенно написанной Блумбергом и пользующейся чрезвычайной популярностью в Швеции: критика проводит убедительные параллели между полотнами живописца и словесной живописью поэта.

Эрик Блумберг умер в дороге, путешествуя по Турции, семидесяти лет от роду. Один из крупнейших писателей Швеции XX века, пронзительный лирик и глубокий исследователь, страстный публицист, лауреат многих национальных премий, он написал однажды мудрую фразу: «Дар — это поручение, которое следует исполнить...»

Свое жизненное и творческое «поручение» Эрик Блумберг исполнил — искренне и ответственно.

■ ■ ■

Как мне минувшей болью отболеть?
Зачем ты, память, и на светлый день
отбрасываешь сумрачную тень?
Избавится ли от твоих вериг
младой росистый лучезарный миг,
или судьбу насквозь пронзила боль
и, как стальная туча, навсегда
жестоким холодом заволокла
согласье, счастье, свет?

■ ■ ■

Неужто песня с правдой не родные?
Перестает ли быть опорой прочной
колонна, если плющ ее обвил?
Дерзнешь ли ты незащищенным взглядом
смотреть на солнце?
Большинству милей
свет, в мире символов преображенный.
Для путника поэзия как жизнь,
как дивная обитель шелестящих
деревьев, где живет его родня.
Я сам ничто, стихотворенье — все!
И мне наградой будет, если вдруг
к стихам прильнувший человек — себя
узнает и прошепчет: Брат!

Улица

Итак, меж домов кипела
тьма, как река, струясь...
Черные волны. Бело-
серые гребни. Грязь.

Это толпа людская
вытаптывала тротуар,
но в глазах стоял, не стихая,
ночной кошмар.

Каждый лелеял только
мрак своего стыда.
Губы поджаты горько,
сурово, навсегда.

С криком я вышел к людям,
чтобы спросить у них:
Долго ли жить мы будем,
словно толпа слепых?

Одиночеством все мы
поражены как один.
Зачем — уста немы
и взгляд нелюдим?

Что бы вы ни терпели,
рядом та же тоска —
в шелках ли она, в тряпье ли,
столь же резка.

Распахните объятья,
насколько хватит рук!
Все мы родные братья,
ибо един недуг.

Даже толкучка злая —
это мы, это родня.
Так очнитесь.
...Не прозревая,
плелись мимо меня.

Брели, брели не в ногу —
и маеты волна
каждого понемногу
окатывала, темна.

Кружевницы

Они сидят на солнце у дверей.
Седые, с морщинистыми темными
руками,
согнувши спины, они сидят на солнце.

Держа коклюшки,
руки их танцуют.
Они танцуют, точно волны в море,
где столько голубых сетей рыбацких,
и точно ребятня на горном склоне,
где серые оливы высоки.

И кружево они плетут из пены волн,
лучей весенних, лепестков вишневых...

Песенка

Что мне грушевый листок
полюбился вдруг?
— Он, как ласка милых рук,
чист и строг.

Что со мною? Неспроста,
как пчела, цветы люблю я...
— Свежие твои уста
источали мед, целуя.

Что ж тебя не слышу я,
слушая ручей в печали?
— Мы с тобой навек порвали,
тут расстались — у ручья.

Косуля в парке

Как я люблю юных косуль танец летящий,
ломкий и легкий, точно в листве солнечный зайчик,
робкий и нежный, как тень в бархатном сумраке леса.

Взглядом я их провожаю, тихо лаская
стройные бедра и ноги,—
жажду обнять за шею, обжечь поцелуем
лопатки;

жажду сдавить — сильно до хруста — хрупкие кости,
чтобы в мольбе погасло золото взора
и невинная кровь хлестнула.

Да, в тюрьме моей нежности кровожадный пленник
томится.
Знаю и говорю об этом...
Но в том-то и дело, что, зная и смело сказав об этом,
я обретаю силу беречь беззащитных —
и ни один дерзкий охотник ее у меня не отнимет!

Виолончель

Звучит в подвале
и в подземелье
незримый голос
виолончели.

Как ни старайтесь —
не оборвете
рабов и пленных
песнь о свободе.

Взмывает песня —
дивноголоса.
Земным тревогам
не знать износа.

Да не погасит
немая мука
великолепье
живого звука!

Все ново на планете

Все на планете ново —
что ни минута, нов
и порыв морского ветра,
и бег облаков.

Нов и рассвет, и каждый
луч, который потух...
Все, что вбирает зренье,
все, чему внемлет слух.

Слышишь, как жизнь трепещет?
Ты вечерней порой
утихомирь свой голос,
вслушиваясь в чужой.

Все на земле подвижно.
Время летит, кроя
жизни первооснову,
строй бытия.

Рухнет на землю птица,
речку задушит лед,
взор твой остекленеет,
сердце твое замрет.

Станут стогами сена
и цветы и трава...
— Значит, на белом свете
именно смерть права?

— Бабочкой станет кокон,
в почках живет листва.
Значит, на белом свете
жизнь, а не смерть права!

Жизнь, а не смерть — и даже
все, что мертво на вид,
заново возродится,
ибо всего лишь спит.

А коли так — не страшно
прахом летучим стать.
Ветер тебя подхватит
и возродит опять!

Черный дрозд

Первые певчие звуки весны
очень пугливы...
Из клетки ветвей
трудно поверить свету.

Черный дрозд!
Скоро ли треснет решетка
под каскадом
твоей
неистовой песни?

Гойя

(Los desastres de la guerra[1]*)*

Мы рождены,
чтобы нам кровь пускали,
и грабили, и мучили,
и вешали калеками нагими
на деревьях,
и резали живьем;
чтобы на кол сажали
без головы, без рук;

чтобы живьем сжигали;
чтобы сгореть
до пепла и золы;
мы рождены
терзаться и терзать.

мы рождены
губить и гибнуть
без цели, в корчах —
зачем и для кого?

[1] Бедствия войны *(исп.)*.

Сестры милосердия

Вы приходили как феи из сказки
в лунно-белых одеждах, бесшумно.
Вы пальцами, как душистым чаем,
лечили мой пылающий лоб.
В парке пели нездешние птицы,
цветы и деревья дышали тайной.
С вами я себя ощущал дома —
сестры с ласковыми руками,
с теплым смеющимся взглядом!

Коза

На горном пике,
где жимолости тьма,
коза червонно-карими глазами
недвижно
на меня, на путника, смотрела.

Был странным
ее живой звериный взгляд —
загадка
рождения
и смерти.

А чуть поодаль, сзади,
в зеленом гроте
новорожденный козленок
мерцая шевелился.

ВОЛЕ ШОЙИНКА

Аке, годы детства

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

IV

Я отплевывался, хватал Нуби за руку, изо всех сил пытался отнять мочалку. Сначала я просто отталкивал, отталкивал и отталкивал ее руку, но не помогало — она удушала меня водой, мыльной пеной и жесткой слоистой мочалкой. Нуби не сдавалась. Если бы вместо нее был Джозеф...

Я протер один глаз и увидел, что Нуби отступила на шаг и глядит на меня.

— Ты дашь мне вымыть тебя или нет?

— Лицо я вымою сам!

— Ты! — Она презрительно засмеялась.— Положи руку на голову и посмотрим.

Я повиновался. Это было какое-то испытание. Может, если я его выдержу, она оставит мое лицо в покое.

— Над головой, над головой, тяни, вот так.

Стараясь делать, как она, я тянул руку над макушкой. Правой рукой она теребила мочку своего левого уха, а само ухо скрылось под ее ладонью.

— Ну ты видишь разницу?

— А что я делаю неправильно? — спросил я.

— Не то, что ты делаешь неправильно. Ты вообще ничего не делаешь. Посмотри на мою руку. Она огибает голову и совсем закрывает ухо. Видишь? А теперь посмотри на себя. Ты еле дотягиваешься до макушки.

Слова звучали внушительно, но я не мог понять, что она хочет сказать. Я смотрел, как она похлопывает себя по уху.

— Этим и объясняется, почему я должна тебя мыть. Тебя пускают в школу, и ты возомнил, что ты большой мальчик. Нет, тебе еще есть чему поучиться дома. Есть такое, чему не научат в школе. Ну давай же!

Она подошла с мочалкой в руке.

— Джозеф дает мне мыть лицо самому,— настаивал я.

— Я знаю только, что мама велела мне вымыть тебя всего. Она не делила тебя на части — часть мне, часть тебе.

Ее левая рука зачерпнула кружкой в ведре и собиралась облить мне голову. Я увернулся.

— Посмотри на себя! Ты зря переводишь воду. Я скажу маме — знаешь, что она с тобой сделает?

Я метнулся в угол ванной и оказался в ловушке. Но и тут я не сдался. Когда кружка с содержимым переворачивалась над моей го-

Продолжение. Начало см. в № 4.

ловой, я оттолкнул ее. Нуби облилась с головы до ног и всерьез рассердилась.

— Ты что натворил! — Движение было такое быстрое, что я не успел закрыть руками лицо. Огромная масса воды ниоткуда ударилась в него и залила все, особенно ноздри.

Ее пальцы вцепились мне в волосы, резко нагнули голову, и она, не давая вздохнуть, стала мылить мое лицо. Я пытался ее укусить, но набрал полный рот мочала, поэтому я прибег к испытанному средству — присел и в момент растерянности боднул ее в толстый живот.

— О па ми о![1] — закричала она, и по всему дому послышались голоса.

— Тани йен? Тани ло гун нбе йен? Тани?[2] — и раздался топот бегущих ног.

Отерев мыльную пену с глаз, я увидел в дверях Дикую Христианку. Она качала головой из стороны в сторону, как всегда удивленная. Решив, что теперь меня будет мыть она, я не на шутку перепугался.

— Она меня уже вымыла,— сказал я.— Я чистый.

— Он страшно ударил меня головой,— пожаловалась Нуби, держась за живот.

— Не преувеличивай,— прикрикнула мама.

— Слушаюсь, ма,— Нуби сразу же выпрямилась.

— Кричишь на весь дом. Ты что, хочешь всех напугать?

— Нет, ма. Но он не дает мне вымыть ему лицо.

— Ты его вымыла,— сказал я на весь дом.— Ты все время только и делала, что мыла мое лицо. Ты домыла меня почти до смерти, чего еще ты хочешь мыть? Тину там заждалась своей очереди.

Я почувствовал, что гроза миновала; Дикая Христианка улыбалась.

— Ладно, зови Тину,— сказала она Нуби.— Они достаточно взрослые и теперь могут мыть себя сами.

— Да, да. Я всегда так говорил. Мне не нужны ни она, ни Джозеф.

— Но ты будешь мыться при них, чтобы они видели, что ты вымылся как следует.

Я кивнул. Уступка как будто была незначительная. Но все равно я прибавил:

— На самом деле они мне не нужны. Я и раньше сам умывался, когда Джозеф был занят. Потом он посмотрел и сказал, что я совсем чистый.

— Значит, договорились. Хотя никак не могу понять, с чего ты боишься воды, ты ведь родился в июле.

Я смывал остатки мыла.

— Я не боюсь воды,— возразил я.

— Не боишься? Посмотри только, что ты сейчас делаешь,— вся физиономия в мыле.

Я быстро перевернул кружку над головой. Как всегда, получилось неладно. Так получалось, когда вода заливала лицо. Вода терзала глаза, нос, уши. Я отплевывался, отирал кулаками струйки, ловил ртом воздух.

Хотя в ушах моих гудело осиное гнездо, я слышал, как, уходя, смеялась Дикая Христианка.

За завтраком они меня обсуждали.

— Твой сын...— начала она.— Не знаю, что он сделал воде, но отношения у них явно неважные. Ты знаешь, что было утром?

Они говорили так, как будто меня здесь нет. Это было странное обыкновение, обыкновение всех взрослых — говорить о детях при детях, не обращая на них внимания. Мы никогда не говорили о взрослых, когда взрослые могли слышать. Сидя за нашим столиком, я слушал их

[1] Убивают! *(Здесь и далее прим. авт.)*

[2] Кто это? Кто это там кричит? Кто?

и мотал головой от несогласия. Конечно, они ничего не поняли; как обычно, я был уверен, что обнаружил в их доводах слабое место.

— Воле трясет головой,— заметил Эссе.

Мама рассмеялась.

— Ты будешь отрицать, что даже когда сам вылил воду себе на голову...

— Нет, я не боюсь воды. Если бы я боялся, я бы не купался под дождем.— Я шлепнул ложкой по миске эко, так что полетели брызги.

— Осторожнее, мистер адвокат. Не бросайся едой,— посоветовала мама.

— Я не хочу быть адвокатом. Я хочу жениться на миссис Одуфува и стать пастором.

— О, теперь уже миссис Одуфува! А что случилось с тетей Гбосере?

— Она давно не приходит,— объяснил я.— Миссис Одуфува много играла с нами на пасху. Она очень хорошая.

Теперь Эссе задумался над моими словами.

— Ладно,— сказал он наконец.— Может быть, ты не боишься дождя. Но это не значит, что ты не боишься воды.

Мама взглянула на него, потом на меня, сказала: «то о»[1] — и начала собираться в лавку. Этим она хотела сказать, что понимает, что спор продлится до бесконечности и что у нее есть дела посущественнее.

— А разве дождь — не вода? — допытывался я.

— Дождь — вода, но вода — не обязательно дождь.

Мрачно кивая, Дикая Христианка вздохнула: «Нгу-унх!» — и крикнула, чтобы ей принесли из спальни сумку с воси-воси[2].

— Но дождя без воды не бывает,— возразил я.

— Верно,— кивнул отец.— Но бывает вода без дождя.

— Но большая часть воды от дождя?

— А вот тут ты не прав. Это дождь от воды. Потому что вода вызывает дождь.

Я забредал чересчур глубоко. От первоначального торжества не осталось следа, и вдруг я вспомнил про Библию.

— А что сказано в Библии? — спросил я.— Разве Бог не создал воду и дождь порознь?

— Прекрасно, давай посмотрим. Принеси из гостиной Библию.

Я слез со стула и пошел в гостиную, пытаясь представить себе, что об этом сказано в Библии. В школе нам не давали учить наизусть отрывки из «Бытия», по крайности я ничего не мог вспомнить.

Я вернулся с Библией в столовую и, отдав ее папе, сел за свой столик, доел эко и затем сел рядом с ним на мамино место. Свою акару я добил сразу и теперь с жадностью глазел на лодкообразное блюдо, на котором перед папой еще лежало четыре-пять кусков акары. Он поймал мой взгляд, улыбнулся и подвинул мне блюдо.

— Понимаешь,— продолжил он,— Библия рассказывает нам только одну часть истории. Когда Бог создал то и это, он предоставил им взаимодействовать друг с другом по своим особым законам. Это то, что мы называем законы природы, сюда и относится вопрос о том, как образуется дождь.

Я полагал, что это ненужное усложнение дела. Чавкая, я жевал свежее зеленое атародо[3], которое Дикая Христианка положила в акару. Надо просто прочесть, что создано первым — вода или дождь. И тут я вспомнил:

— Хорошо, почему же тогда весь город молится о дожде? Разве не потому, что Бог до сих пор создает дождь когда захочет?

Папа на миг задумался.

---

[1] Ну-ну!

[2] Всякая всячина.

[3] Круглый перец.

— Запомни вот что. Даже после того, как он создал все на свете и дал всему особые законы, как Творец он до сих пор может вмешиваться и, например, ускорять или замедлять процессы.

Дикая Христианка заглянула в дверь, чтобы попрощаться, и услыхала слова Эссе. Она опять покачала головой, как всегда изумляясь терпению Эссе.

— Дорогой мой, ты балуешь его разговорами. Ты уверен, что он в состоянии понять твои доводы?

Она вошла в комнату и увидала, что я сижу на ее стуле и присвоил чужую акару. Она молниеносно схватила блюдо, накрыла его и положила в корзину, стоявшую на голове служанки. Я прекрасно знал, что это пойдет ей на закуску.

— Я так и знала, что спор у вас будет веселый. И все же я не предполагала, что от акароведения и атародологии у вас так расплящутся языки.— Она согнала меня со стула.— Ты понесешь вот это,— она сунула мне в руку сумку, и я понял, что это значит. Была суббота. Раз я не шел в школу, она хотела найти мне работу в лавке.

— У меня домашние задания,— возразил я.

— Возьми их с собой в лавку.

Я положил сумку на стул и побежал в кладовку за книгами.

— Не очень-то поощряй его, дорогой мой. Он и так ищет, где бы поспорить. Ты знаешь, что он сказал пономарю? В прошлое воскресенье на дневной службе. Он болтал со своим новым приятелем, сыном Эдуна. Поэтому пономарь подошел и сделал им замечание. Ты знаешь, что ответил твой сын?

— Что он сказал?

— Он сказал, что в церкви слишком много народу поет и молится, поэтому пономарь не может доказать, что он болтал. Ты представляешь себе? Чтобы пономарь доказал, что он болтает! Я уверена, если бы пономарь снизошел до споров, они до сих пор сидели бы в церкви и доказывали друг другу. Вот какой это ребенок!

Я замер за дверью от ужаса. Эссе не шутил с плохим поведением в церкви или воскресной школе. Стало быть, пономарь пожаловался. А сказать Дикой Христианке означает, что рано или поздно об этом услышит Эссе. Я приник глазом к щели в двери и слушал.

— Мда-а,— протянул он.— Знаешь, это и правда было бы нелегко доказать...

— Так и знала,— вздохнула Дикая Христианка.— Я знала, что во всем, что касается споров, ты будешь его защищать. И зачем только я тебе рассказала? В конце концов, это он в тебя. Кстати, где он? Он взял мою сумку?

— Она на твоем стуле.

— Ах да, ну пошли,— она подтолкнула служанку.— И пусть он надоедает тебе спорами. Все равно в лавке он будет мне только мешать дурацкими вопросами. Почему у тебя живот больше, чем у папы? Ты что, беременная, как наш органист? Если никто тебе не рассказывал, то он задает именно такие вопросы.

— Что ты говоришь? — Он хохотал.— И когда это было?

— Спроси его. Он твой сын. Пошли, омо[1]. Покупатели заждались.— Она еще раз подтолкнула служанку и ушла в лавку.

Я не двигался с места. Хохот Эссе не означал, что не будет выговора. Он сидел на стуле, тоже не двигаясь. Я чувствовал: он прислушивается. Сквозь трещину в двери я видел только его спину, но я твердо знал, что он прислушивается к моим действиям в кладовке. Мы оба играли в игру. Не знаю почему, но Эссе не сдвинется с места, пока не сдвинусь я. Пока он не услышит, что я шагнул, кашлянул, что-то перевернул, скрипнул дверью. Пока я не заявлю о своем существовании, он будет недвижно сидеть, может быть, возьмет зубочист-

[1] Дитя.

ку и с отсутствующим видом начнет ковырять в зубах. С изяществом. Я прилип к земле и затаил дыхание.

И конечно, я стал молиться. Взаимное выжидание могло окончиться с приходом гостя. Эссе обладал долгой, нудно растянутой памятью. Она была частью его вредоносной выдержки. Дни шли за днями, грешник забывал о своей провинности; проходило несколько недель, за которые Эссе успевал даже похлопать его по плечу за примерное поведение, какое-нибудь достижение или начинание, поручение, образцово исполненное, невзирая на трудности, отличные отметки и т. д. и т. п., и вдруг Эссе вызывал забывчивого:

— Гм... да, Бунми.

— Да, сэр?

— М-да. Три недели назад тебя посылали в Итоку, ведь так? Ты помнишь?

— Да, сэр.

— Гм-гм. А дорога в Итоку в наши дни проходит через участок книготорговца, ведь так?

Молчание. Покорность, капельки пота на лбу.

— Ты что, проглотил язык? Я говорю, что дорога в Итоку теперь проходит через участок книготорговца, и, разумеется, не позволительно пройти через участок книготорговца, не нарвав там манго, ведь так?

Молча я пытался понять размеры своего злодеяния, сравнивая болтовню на богослужении с обрыванием манго. Результаты получались неутешительные. Я еще сильней молил Бога, чтобы пришел гость, прекрасно сознавая, что это может оказаться всего лишь отсрочкой грозной расплаты. И тут я чихнул!

— Воле!

— Сэр!

И в это мгновение на мощеной площадке перед домом послышались грузные шаги. Их сопровождал голос Дикой Христианки:

— Дорогой мой, ты дома?

— Да, я здесь.

— Входите, входите,— говорила она кому-то снаружи.— Садитесь, я его сейчас позову.— Она направилась к столовой. Я съежился за дверью, не зная, то́ ли это спасение, о котором я только что молился. Я не впервые отметил, что у Бога привычка совсем не отвечать на молитвы или отвечать на них весьма косвенно.

— Слава Богу, я встретила по пути мистера Адесину. Он спросил, будешь ли ты вечером дома, потому что он хочет зайти... Я подумала, что он может зайти сейчас, правильно?

— Это насчет работы в церковном совете?

— О чем еще он может думать? Он постоянно надоедает мне в лавке, и я всегда отсылаю его к тебе. Что, он боится прийти? На этот раз я притащила его с собой. Если бы я оставила его на дороге, он ходил бы вокруг Прихода до темноты.

— Зачем ты его привела? Мой ответ прежний — просить за него я не стану. Ему нельзя доверять казну.

— Вот и прекрасно, скажи ему сам, дорогой мой. Я говорила ему тысячу раз, он не хочет слушать. Пусть он услышит это от тебя.

Оба они ушли в переднюю комнату. Когда все стихло, я вошел в столовую и, подцепив пальцем крошку акары с тарелки Эссе, отправил ее в рот.

Таким же привычным образом рука моя потянулась к Умывальнику, который стоял у левой стены лицом к комнате. Рука нырнула в таз, выудила несколько капель воды и, скользя, размазала их по губам. Почти тотчас же могучий подзатыльник отбросил меня к стулу Эссе.

— Та-ак,— она с яростью глядела на меня.— Я-то думала, что мы отучили тебя от этой привычки.

У Дикой Христианки был дар возникать ниоткуда. На мгновение меня ошарашила несправедливость. Я же избавился от этой привычки! Действительно, мои движения были точно такие же, как когда меня отучали, но сейчас я всего-навсего смыл с пальцев акару, после чего самое естественное дело вытереть губы. Но тут же пришла спасительная мысль, что подзатыльник я получил за злосчастную крошку акары, что в ее глазах могло означать ЖАДНОСТЬ и требовало не только затрещины. Я не захныкал, когда она обеими руками до боли сжала пальцы моей правой руки.

— Ну если я тебя еще раз поймаю...

Она занялась тем, зачем пришла, достала для гостя чайник, сняв с него на всякий случай стеганую ватную куклу. Я поклялся себе никогда не делать ничего напоминающего ритуальное омовение из грязного таза — от этого мои домочадцы сходили с ума.

На всякий случай я пнул Умывальник ногой — ведь это он был причиной привычки, с которой боролись родные и близкие. Умывальник являл собой одну из тайн нашего дома. Он весь состоял из углублений, полочек, выступов. Среди солей, таблеток, пузырьков, мыла и треснувших чашек с пакетиками марганцовки, кусками квасцов, палочками дрожжей и глюкозой рыскали тараканы. Как всякая мебель, он служил не только своей непосредственной цели. И больше любой другой мебели в доме он был ОРИЕНТИР. Вся внутренность дома определялась по его местонахождению... это в углу, где Умывальник... под Умывальником... я шла мимо Умывальника и вдруг... принеси палку, которая стоит у Умывальника... он толкнул меня, и я стукнулась об Умывальник... я чистила Умывальник...

Даже мыши, удирая из кладовой, непременно шмыгали прямо под Умывальник.

В тех редких случаях, когда Эссе откидывал назад его крышку — обычно она была снята и стояла внизу,— Умывальник делался ростом с него и даже выше, а на наш взгляд, Эссе был очень высокий. Счастье, что Умывальник был прислонен к стене. В противном случае откинутая крышка перетянула бы его назад, и он под ее весом упал бы навзничь.

Таз сидел в круглом отверстии плоской полки, закрывавшей нижнюю часть Умывальника, и мне казалось, что тараканы, глядя во тьме снизу вверх на белое эмалированное дно, видели примерно то же, что крысы в выгребной яме, когда очко над ними заполняют взрослые ягодицы. Обе круглые дыры были, кажется, одинакового размера, и на этом их сходство кончалось. Низ Умывальника имел широкую дверцу, которая поднималась вверх и удерживалась хлипким железным крючком. Две его полки вмещали все, чего не могли найти в кладовой и что не нашло себе места на обеденном столе, на туалетном столике Дикой Христианки, на подоконнике возле папиного стула и в маленьком шкафчике, висевшем над его головой,— там он хранил английскую соль, вату, зубную щетку и пузырек таинственного «Алькооля», который иногда, чистя зубы, он употреблял вместо зубочистки. Все остальные члены этой семьи предметов обитали в Умывальнике.

Задумавшись о назначении пространства позади крышки, я пришел к заключению, что эти несколько дюймов оставлены специально для полки, на которой кроме куска мыла лежало все, что не поместилось внизу. Поиск кого угодно из указанной семьи предметов, допустим бутылочки с аспирином или особого куска мыла, обычно начинался и заканчивался Умывальником.

Как возникла «привычка», я не заметил. Что до Эссе — от его глаз не укрывалось ничто. В один прекрасный день я шел из передней комнаты в кладовую, то есть путем, проходившим между Умывальником и обеденным столом, и Эссе вдруг выкрикнул:

— Стоп!

Я замер.

— Зачем ты это сделал?

Я не знал, что я сделал. Он пристально всмотрелся в меня:

— Хорошо. Откуда ты шел?

— Из иваджу-иле[1].

— И ты шел в кладовую, так?

— Да, сэр. Мне нужна книжка.

— Понятно,— он на мгновение задумался.— Теперь иди назад, сядь за свой стол. Посиди минуту. А потом иди в кладовую, как идешь обычно.

По прошествии минуты я поворачивался на девяносто градусов у Умывальника, когда снова раздался приказ:

— Стоп!

Я замер. Приказ был быстрый, но недостаточно быстрый для достижения цели. И опять он пристально всмотрелся в меня:

— Ступай назад. В этот раз, когда я скажу «стоп», замри. Не шевели ни головой, ни плечом, ничем. Если одна нога впереди, а другая сзади, пусть так и будет. Ты меня понял?

— Да, сэр.

— Даже не поворачивай ко мне лицо. Иди, как обычно идешь в кладовую. Обычным шагом. Может быть, в этот раз я тебя не остановлю, может быть, я остановлю тебя в другом месте. Я могу сказать «стоп» в любой миг, когда ты будешь идти. Тебе понятно?

Понятно, но в высшей степени загадочно. Я не мог сообразить, в чем дело, и тщетно пытался вспомнить, как я шел. Вроде бы шел как всегда, но кто знает? Разве Эссе.

В этот раз я ожидал услышать приказ в другом месте, но нет. Он раздался точно там же, и я выполнил его так, как мне было велено. Что дальше?

На лице его я увидел удовлетворение. Он откинулся и долгую минуту размышлял над моей жизнью. Наконец, он медленно кивнул.

— Что твои пальцы делают с губами?

Мои пальцы? С губами? Я быстро соображал.

Верно. Моя рука касалась губ около левой щеки. Странным образом она была влажная. Я отдернул ее: без сомнения, пальцы мои были влажные.

— Ты не помнишь, что ты делаешь каждый раз, когда проходишь мимо Умывальника?

— Нет, сэр.— Хотя в этот миг странный ритуал омовения замерцал в моей памяти. Как будто моя рука по собственной воле ползла в сторону и погружалась в таз... да, я, кажется, понял, что именно заметил за мной Эссе. Непросохшая влага на губах подсказала, чем кончалось движение руки. Когда я проходил мимо Умывальника, моя рука тянулась к тазу, погружалась в грязную воду, пальцы скользили по губам слева направо. Поймав себя на этом несколько раз, я подумал: не спятил ли я с ума.

Я грешил этим долгое время, исцеляться пришлось так же долго. Всем домашним было приказано смотреть за мной, предупреждать прегрешение криком и жаловаться, если было уже поздно. Каждый раз меня заставляли по нескольку раз проходить мимо таза. Джозеф с увлечением крался за мной на цыпочках и, подражая голосу Эссе, так неожиданно кричал «стоп», что душа у меня уходила в пятки. Если никого из родителей не было дома, Лаванле, Нуби или кто угодно из двоюродных брал на себя роль дрессировщика. Даже Тину, которая была старше меня на год и несколько месяцев. Я испытывал страстное желание запереть их всех в темном нутре Умывальника и опрокинуть на них таз с помоями.

Снова настало время дождей. До следующего года исчез из памяти харматтан, от которого трескалась кожа и мгновенно опустошались баночки с вазелином, помадой и метоланом. С харматтаном

[1] Передняя комната.

прошла и привычка омывать из грязного таза растрескавшиеся губы. Я не слишком долго задумывался над тем, как она превратилась в бессознательное скольжение руки по губам; появлялись новые привычки, те, с которыми боролись, и те, которые заменялись другими привычками прежде, чем они попадали под неусыпное око Эссе или Дикой Христианки.

Я так и не узнал, как Адесина потерял место в церковном совете и удалось ли ему вернуться на это место. Как и многие до него, он ушел из нашего дома удрученный, почти плачущий. Он бросил последний умоляющий взгляд на Дикую Христианку, которая все время стояла поодаль; вопреки обыкновению, она не ушла, потому что вопрос о церковном совете касался ее, как все церковные дела. Человеку, которому нельзя доверять казну, она выдала то, что я ожидал:

— Теперь вы знаете решение директора. Я не могу просить, чтобы он шел против совести.

V

И баобаб от времени съежился — а я воображал, что он вечно будет огромным, даже за распахнувшимися горизонтами после детства. Уменьшилась и его могучая ширина, и ветви теперь дают мало тени. У школьной колокольни было свое не то имя, не то название, помещавшее ее в семью знакомых предметов,— я вспоминаю его без труда — Дочь Церковной Колокольни. Только теперь расстояние между колокольнями сократилось. Белая, как соляной столп, церковная колокольня по-прежнему возвышается над манговыми деревьями, над оромбедже на кладбище, над кенотафом, который, хотя и стоит вне церковной ограды, все же словно принадлежит к обширному семейству церкви Святого Петра. Иногда церковная колокольня видна на фоне крутой дороги в Иберекодо, тогда она разводит в стороны далекие ржавые крыши. Аке, Ибарапа, Итоко, потом через холм Мокола, где живут хауса, и потом уже Иберекодо. Улей землистых лачуг и домов с оранжевыми и розовыми рамами останавливается перед гребнем горы, уступая место солидной стене и широким воротам конюшни вождя. За гребнем по обе стороны дороги базары — близнецы Ибарапы, ночной базар и дневной, ночной — справа, дневной — слева. Это не изменилось.

Но более близкое стало другим. Баобаб, колокольни, спортплощадки, дорожки. Даже Иона. В воскресной школе в поисках вдохновения учительница взглянула в окно, указала на близлежащие скалы, но тотчас же передумала. По другую сторону школы закрытая от нас стеной лежала скала, отшлифованная нашими пятками. Она покрывала землю по крайней мере от приготовительной школы и вверх до кладбища за Приходом, то есть дальше всего от главных ворот.

— Вы знаете место, где школьники лепят из глины? Кит, проглотивший Иону, был больше, чем эта скала.

Отличники закивали головами.

— Да, киты огромные.

— Больше, чем дома.

— Даже корабли.

— Больше, чем аэропланы.

Изредка мы слыхали гудение самолета, даже видели, как он соринкой скользит по небу. Сосед сунул мне записку: «У моего отца дом больше, чем кит». Мне было все равно, но я написал: «Врешь!»

Я не стал читать его ответ, мне и без того было худо. Это была моя скала. Моя очень личная скала. А теперь в воскресной школе учительница превратила ее в общую собственность всех врунов, хвастунов, забияк. Она вторглась в чужое жилище, одно из многих. В от-

личие от дома, в котором мы спали, ели и жили и который равно принадлежал Эссе, Дикой Христианке, братьям, сомнительным родственникам или омо одо — это неясное выражение означает что-то среднее между слугой и членом семьи,— Иона был моей собственностью и тайным прибежищем. И вот учительница воскресной школы сделала Иону чем-то библейским.

Ибо после ее слов мирное, неподвижное, безымянное место стало Ионой. Навсегда. Ибо тайна его вовлеклась в мир библейских сказаний в то время, как до того на нее не могли повлиять даже труды будничных рук, месивших глину на его необъятном теле, зачерпывая воду из частых овальных впадин. Мы спрашивали, кто их выдолбил, хотя на самом деле нам было неинтересно. Дело в том, что занятия лепкой не касались той тайной жизни, которой мы с Ионой жили по субботам и воскресеньям, ибо школьники уходили домой, а я оставался в Приходе, и лазал по его крутым бокам, и на его широкой спине погружался в глубокую неподвижность. На участке были другие скалы, скалы с рощицами бамбука, скалы с гладкими склонами, с которых мы с визгом скатывались. Иона был голый, уединенный и тайный. До тех пор, пока учительница не превратила его в сказку. Проглочен и долго был в брюхе кита! Это не казалось вовсе невероятным, но принадлежало к миру волшебных историй, воображения, аладдиновой лампы и «сезам, откройся!». А до того... Я чувствовал, что потерял ближайшего друга, лишился полного, всеобъемлющего соответствия.

Другим соответствием мне была гуава, не та роскошная, щедрая, возле водяной колонки под квадратным приземистым домом пастора. Моя, другая, росла подальше, за приготовительной школой. В нее не летели камни и палки, потому что плоды на ней висели над самой землей, и к тому же плодов на ней было мало. Зато на ней были большие темно-зеленые кожистые листья, и одна ветка склонялась почти до земли. У этой гуавы было родство с временем дождей, ничего такого особенного, просто она казалась сама собой только во время дождей. Под хмурыми облаками она одновременно жила обычной, всем видимой жизнью и уходила в таинственный мир лиственных добрых духов, мокрых и ярко живучих, молчаливых и щедро дарящих мудрость. Кроме того, рядом с ней не было времени. Почти как с Ионой, но гуава с невыразимой уверенностью поглощала время, так что его не оставалось. Утром я бочком ускользал из дому — и вдруг вечер, сумерки, и я ничего не помню, кроме того, что лежал на ветвях и смотрел, как Джозеф или, допустим, Нуби идут по дорожкам, обставленным белыми камнями. Конечно, Нуби вскоре крестили, как всех попадавших к нам нехристиан. После этого мы должны были звать ее христианским именем Мэри. Сначала она выходила по широкой дорожке к пруду, где мы часто глазели на уток или швыряли плоские камешки так, чтобы они скакали по его скользкой поверхности. Она подходила, отирая полой халата лоб, и выкрикивала мое имя. Она принадлежала к другому миру, достаточно, впрочем, реальному, в чем я убеждался, когда она умело сдергивала меня с моего насеста.

— Ну погоди, сегодня наешься розог.

Спотыкаясь, я старался поспеть за ней. Она оглянулась, на лице ее была некоторая озабоченность.

— Почему не дрожишь?

— Я не замерз.

— Тебя не спрашивают, замерз ты или не замерз.

— Ты спросила, почему я не дрожу.

— Идиот. Оде. С полудня шел дождь. На твоем месте всякий бы простудился.

— Я не простудился.— Верно, шел дождь. Я вспомнил, что спрятался от него в пустой класс. Она пощупала мою одежду.

— Ты совсем не промок. Значит, тебе будет хуже. И все-таки непонятно, почему ты после дождя не пошел домой, а сидел на дереве.

Наконец-то я понял.

— Я ведь могу сказать, что меня задержал дождь, правда?

— Какой идиот! Дождь перестал два часа назад. Поэтому мама и послала меня за тобой. Мы думали, что ты все время был дома.

— Но я сказал Джозефу, что пойду на школьный участок.

— Он ей сказал. Но ты пропадал так долго. Жалко, что у тебя нет озноба. Самое меньшее — будешь стоять в угол носом.

Я начал догадываться, что Нуби умеет хитрить. Она уже проделывала такие штуки? Я робко осведомился. Она хихикнула.

— Ты забываешь, у мамы лекарства не слишком приятные.

— Но ты уже изображала озноб?

— Послушай, дурачок. Ты задаешь слишком много вопросов.

— Нет, скажи.— Я действительно должен был знать.

— Когда я вижу, что мама хочет меня пороть, мне не надо изображать озноб. Как только я вижу, что она разошлась, я начинаю дрожать. Ты не поверишь, но она сама спрашивает: а у тебя нет озноба? Ей понятно, что можно задрожать при одной мысли об этом пасане [1].

— И ты говоришь да?

— Идиот. Конечно. А ты что бы сказал?

— Но у тебя всегда Температура,— настаивал я. «Температура» было еще одно волшебное слово. Если Дикая Христианка говорила, что у тебя Температура, значит, у тебя Температура. Так как мы готовили на открытом огне, я всегда думал, что, если пощупать лоб любого из нас в душной, горячей кухне, наверно, окажется Температура. Я иногда замечал, что на Эссе Температура не производит такого впечатления.

Нуби призналась, что и она не совсем понимает Температуру. Но очень полезно ее иметь; у нее в нужное время всегда была Температура.

— А у меня сейчас есть Температура? — Я смутно чувствовал, что это возможно, так как с трудом поспевал за ней. Она положила мне руку на лоб.

— Не надейся. Я думаю, ты отведаешь розог.

Но стены сохранили свои голоса. Знакомые голоса возвращаются, голоса с той стороны стропил. Исара — наш второй дом, родной дом Эссе. Деда и бабку звали Отец и Мать — мы произносили эти слова как бы с заглавной буквы. Стропила в их доме были закопченные, их не прикрывали потолочные циновки. Там, в углах крыши, лежало нечто, завернутое в листья или в кожу. Некоторые из этих сверточков были не слишком загадочные, потому что Отец частенько снимал такой сверточек, спекшийся от столетней засухи. В нем оказывались всего лишь орешки кола или нюхательный табак. Исара был не такой дом, как наш,— несколько шагов в прошлое. Время глядело из каждого угла, налет старины лежал на всех вещах, на всех лицах. Эти старики были древнее, чем мамины в Абеокуте. Латерит, глинобитные домики, саманный пол, индиговый тон на руках старух — мне они не нравились, я содрогался, когда ко мне прикасались руки, обезображенные индиго. И в той же Исаре мы видели много зеленоиндиговых татуировок на руках и телах женщин.

Новый год означал Исару. Копченая свинина, запах горящих дров, кирпично-красная пыль засухи, сухая солома на крыше. Новый год — это пальмовое вино, эбирипо, икокоре... более прочная, древняя, почвенная любовь и защита. Исара была полна неожиданных

[1] Хлыст.

угощений, допустим, Отец снимал со стропил еще один зловещий узелок, и в нем оказывалась сохраненная навсегда копченая птичка. В Исаре наши женщины были темнее, много темнее. Буба, халат и шаль были разных оттенков индиго, лишь иногда встречалась белая шаль или ярко-желтая косынка, от которой лицо уходило еще глубже в старинную тень.

Я не мог уяснить, отчего дедовы голые стропила в Исаре были полны неожиданностей в то время, как за занавешенными потолками в Приходе не было ничего, кроме мышей. По временам объявлялись термиты. Внезапно с потолка циновка валилась нам на головы — термиты долго молча трудились, и никто не подозревал, что они повсюду. Из-под кровати вытаскивался давно забытый ящик с бумагами, и мы обнаруживали, что все его содержимое съели термиты. Сквозь скрытую трещину в стене они взбирались под крышу и принимались за дело. Неожиданно обнажались листы железа; между циновкой и цинком крыши — пустота. Слишком часто потолок вызывал несбыточные надежды на то, что, не дождавшись нашего новогоднего посещения, Отец придет сюда сам и на время долгого ожидания разложит по стропилам таинственные узелки. Надежды дразнили, не давали покоя. В конце концов я понял, что должен провертеть дырку в потолочной циновке.

Может быть, я никогда бы не провертел дырку, хотя часто пронзал циновку безумными ожиданиями. Внезапный оглушительный грохот дал понять мне, что дело не ладно. Мир кончился. Нечто шлепнулось по циновке, и миг спустя тупой резкий звук возвестил, что это нечто ударило и пробило металл кровли.

Описание звуков пришло позднее, ибо в данный миг я лежал на полу, взрыв сбросил меня со стула. Я решил, что лишен движения, и не пробовал шевельнуться, больше того — меня застрелило насмерть, иначе как объяснить, что я на полу и прекрасно все сознаю, и не чувствую боли. Вероятно, я уже из числа живущих на небе. И еще, когда это стряслось, мистер Д. находился в своей спальне; я ждал, что он сразу выбежит, но ничего такого не произошло; и не может быть, чтобы я сейчас глядел на его дверь.

Возвращались предшествующие мгновения. Да, я сидел в передней комнате под фарфоровыми часами, сидел на том стуле, куда сажали людей, приходивших к отцу по делу. Его духовое ружье стояло возле стены, а я сидел на стуле у двери, ожидая, что он выйдет и мы отправимся. Как Иона, как гуава, как колокольня, Эссе-на-охоте был еще одним проявлением тайного бытия. Он не говорил ни слова. Я шел за ним, иногда нес ружье, подбирал подстреленных птиц, преимущественно лесных голубей. Иногда пустельга, ястреб, белка, раз даже маленький эмо[1]. А какое волнение было, когда попадалась редкая, дотоле невиданная птица, не иначе перелетная. Через пустынный школьный участок мы проходили в окрестные заросли. Перед нами вставали скалы, и он взбирался на них, сначала отдав мне ружье. Добравшись до удобного места, он протягивал руку за ружьем, и я залезал к нему. Мы сидели и ждали. Или спускались на ту сторону. Тогда мы возвращались другим путем, огибали школьную стену снаружи и входили в главные ворота. Иногда его останавливал книготорговец или законоучитель, и тогда я один нес домой добычу.

Картины наших походов мелькали в сознании, и от этого я, распростертый, еще более убеждался, что я умер. Должно быть, я гладил приклад ружья и забылся — это часто со мной случалось. Должно быть, мой палец нажал на спусковой крючок. И тут мне сделалось ясно, что я не убит, и самым естественным образом во мне поселился ужас совершенно иного свойства. Вообще только теперь я почув-

[1] Грызун вроде крысы.

ствовал страх. Примириться со своей смертью легко; другое дело — возмездие отца за небрежность.

Я кое-как поднялся на ноги. В спальне ни шороха. Что это, мне примерещилось? Я был уверен, что дверь скрипнула. Как это похоже на него — молча подглядывать и ждать, что я буду делать. Ружье по-прежнему стояло возле стены; нажав на спуск, я не сдвинул его с места. Что-то горелое шибануло мне в ноздри, и я потерся носом о стул, чтобы перебороть чих. Теперь я не сомневался — что-то шевельнулось за дверью. Я смотрел на фарфоровые часы и изумлялся, что они целы. Дуло ружья нацеливалось на их подставку. В левой стороне циферблата стояла ветряная мельница и две женщины в платьях колоколом и странных тесных чепцах. В правой стороне стая птиц летела над чужими полями. Под граненым стеклом все было очень голубое. Впервые и на краткий миг я подумал, что отец, может быть, купил эти часы из-за птиц. Фарфор такой хрупкий. Вряд ли мне избежать порки.

Он ждет, думал я. Может быть, он думает, что я ранен. Может быть, так и есть на самом деле,— я посмотрел, нет ли крови. Ни капли. И до сих пор ни шороха в спальне. Но я хорошо знал его. Он — противоположность Дикой Христианке: та бы немедленно вбежала сюда. Во-первых, не ранен ли? Ах, он цел — и на меня обрушивается вихрь ударов, в десять раз более смертоносных, чем входящая в тело пуля. И во множество раз более сводящих с ума. Мистер Д., наоборот, повел бы себя так, будто ничего не случилось. Выход на охоту, возвращение домой, ужин, разговоры, гости, дискуссии о предназначении или войне. Вечерняя молитва и потом...

— Воле!

Нет, я не пойду с ним охотиться, пусть замышляет кару какую хочет, но я не желаю томиться неизвестностью, я не понесу ружье и не стану собирать подстреленных птиц, как будто ничего не случилось. Чтобы он ни замышлял там, за дверью... Я выпрыгнул в дверь, прежде чем он успел раскрыть рот. Через две-три минуты я, отдуваясь, лежал на спине Ионы, не сводя бдительных глаз с дорожки, по которой он должен пройти, если не передумал охотиться.

В разные времена разные вещи должны были стать погибелью «этого твоего сына»— мама истово верила собственным опасениям. Самая страшная угроза моему существованию в Аке, по-видимому, усматривалась в мечтательности, рассеянности, склонности забываться. Она изображала ее степень по-разному, в зависимости от серьезности прегрешения, вызванного этой моей болезнью. Не упуская случая, она твердила Эссе, что, пока не поздно, меня надо вылечить. Я представил себе, как она отнесется к случившемуся, ведь ее пророчества чуть не сбылись. «Сколько раз я тебе говорила,— слышал я ее голос,— больше я тебе не скажу ни слова». И через мгновение тысяча слов об опасной задумчивости ребенка. В этом она была не одинока. Мы знали родителей, которые водили детей к «местным целителям», чтобы вылечить их от той же напасти.

Теперь я встревожился сам; в конце концов, может быть, Дикая Христианка права. До сих пор только одно происшествие заставило меня задуматься над ее страхами — это был случай с розовым кустом. Мы все собрались на заднем дворе, она занималась готовкой, то есть все домочадцы бегали по мелким поручениям, держали наготове ложку или чашку и получали затрещины, когда из кастрюли бежало или затухал огонь. Если меня не призывали по имени, обычно я уклонялся от вовлечения в суету, то читая в передней комнате, то просто не показывая, что кончил уроки. Считалось, что у меня в доме есть свои особые заботы. Разумеется, я что-то делал по хозяйству, но чуть-чуть, для виду, например, куда меньше, чем Тину или кто угодно из живших с нами двоюродных. Одной из таких особых забот — я сам ее выбрал и очень любил — был присмотр за садом Эссе.

Я поливал, обрезал засохшие ветки и обрывал паутину между кротоновыми кустами. Самого внимательного ухода требовали розы. Я был готов убить коз, которые иногда прорывались через заграждения и жевали цветы. Ничто, кажется, не помогало, и мы запирали коз и с пристрастием побивали их палками и камнями. Раз мы чуть не забили козла насмерть. Он лежал на дорожке к воротам окровавленный и тяжело дышал. Двоюродные перестарались и швыряли камни побольше тех, которые мы отбирали по негласному уговору.

Когда мы, наконец, открыли ворота, у козла не было сил убраться. Испуганные, мы облили его холодной водой и перетащили несчастное животное через порожек. Мы закрыли ворота и, не сходя с места, молились, чтобы козел оправился и ушел до возвращения Эссе. Он ведь хотел, чтобы мы выгоняли коз, а не запирали и убивали. Мы облегченно вздохнули, когда наконец несчастное животное собралось с силами и, шатаясь, отковыляло прочь. Назавтра козел опять пасся в Приходе. Если бы он забрел в наш садик, я бы его убил.

Ревностнее меня оберегал цветы лишь отец, в чем на горьком опыте убедился один из его подчиненных. Из ужасного столкновения с отцовской заботой о садике он вынес кличку Ле-моо — Верните-на-место! — происшествие это заставило коллег и соседей лишний раз призадуматься над характером удивительного человека, директора, который так неотступно добивается невообразимого.

Поначалу Одеджими, учитель, решил, что это обычная шутка мистера Д.— заблуждение, в которое впадали многие, ибо директор говорил слишком прямо и слишком бесстрастно. Учитель явился в школу с алой розой в петлице. Отец похвалил розу и затем как ни в чем не бывало спросил, где он ее взял.

— О директор, разумеется, в вашем саду.

У Эссе голос не дрогнул:

— Ах да. Я, кажется, узнаю ее. Я вижу, вы любите розы.

— О да, еще бы, сэр. И я вас должен поздравить. У вас восхитительный сад. Если бы я знал это раньше, я заходил бы в него почаще.

— Неужели? Так как вы узнали, что у меня есть сад?

— Я проходил мимо, сэр, и задние ворота были открыты. Я увидел цветы и не поверил глазам. Зажегши свечу, вы ставите ее под сосудом, директор.

— Благодарю вас,— сказал Эссе. И на этом дело пока что кончилось.

После уроков он вызвал к себе Одеджими.

— Да-да, я насчет вашей розы. Я плохо запомнил, кто, вы говорите, разрешил вам ее сорвать?

Одеджими растерялся и исправил ошибку:

— Нет-нет, я не говорил, что кто-то разрешил мне ее сорвать.

Отец изобразил изумление:

— Не может быть! Вы хотите сказать, что вы просто вошли в сад и сорвали розу?

— Именно так, сэр. То есть, я надеюсь, что вы не возражаете.— Смысл сказанного начал доходить до Одеджими.

— Нисколько,— заверил его отец.— Но я бы хотел, чтобы вы ее вернули на место. Знаете ли, туда, откуда вы ее взяли.

Последовало долгое молчание. Во время его Одеджими утратил связь между словами и стал заикаться.

— Гм... чтобы возвращая ее, сэр? То есть, чтобы для возвратить ее туда... в ваш сад?

— Да, пожалуйста, если вы не возражаете.

— Конечно, директор. Я гм... я весьма сожалею, прошу извинить. Мне следовало спросить у вас разрешения.

— Ничего, ничего. Просто верните ее на место, и забудем об этом пустяке.

Одеджими радостно заулыбался, видя, что обошлось без страшных последствий. Он собрал свои книги и бодро зашагал к нашему дому. Эссе подождал, пока тот пройдет полпути, и двинулся следом. Сверхъестественное чувство времени привело его к задним воротам в тот самый миг, когда из них выходил Одеджими.

— О, я вижу, вы уже управились,— заметил Эссе.

— Да, разумеется, сэр, я поставил ее в вазу.

— Превосходно. Давайте пойдем и посмотрим, как она там стоит, ладно?

Ошарашенный, Одеджими поплелся за своим начальником на место преступления. Там, привалившись к краю горшка, головкой вниз свисала вянущая роза. Эссе оглядел ее долгим взглядом и затем, вытянув шею, отыскал стебель, с которого она была срезана.

— Но ведь она была на этом стебле, не так ли?

— О да,— подтвердил Одеджими, опасаясь перечить.— Это тот самый стебель, с которого я... гм... снял ее.

— Прекрасно. Ле моо!

— Не понял вас, сэр.

— Я сказал, ле моо.— Отдав это последнее распоряжение, Эссе ушел в дом. Он спокойно принялся за дела, которыми обычно занимался в эти часы, не обращая ни малейшего внимания на учителя.

Я бегом примчался из школы и сообщил Тину и Дипо. Теперь мы втроем смотрели на злополучного учителя, молча разевавшего и закрывавшего рот, как живые рыбы, которых торговцы приносили в наш дом. Переименование его было мгновенное — он стал Ле-моо.

Наконец Ле-моо отважился. Нежно держа розу в руке, он вошел в дом. Отец был в своей спальне. Ле-моо остановился в передней комнате лицом к двери в спальню. Нам на миг показалось, что он совершит смертный грех вторжения в папину комнату, по крайности он выглядел таким обалделым, что от него можно было ждать чего угодно. И все же он только кашлянул, чтобы привлечь внимание.

— Простите, сэр. Гм, сэр... Сэр директор!

Эссе, не таясь, громко расхаживал по своей комнате. Почти час Ле-моо стоял на месте с увядшим цветком в руке. Временами он перемежал молчание словами:

— Сэр, позвольте мне объяснить, сэр... Одно только слово, сэр... Директор, прошу вас, нельзя ли... То есть если б я только мог...

Лишь через час Эссе вышел из спальни. В передней комнате между его столом и стульями вдоль по стене двоим было не разминуться. Глаза его метнули молнии из-за того, что незнакомый человек мешает ему пройти в его собственном доме. Ле-моо распластался у края стола, но Эссе и не думал проходить мимо. Он стоял и ждал. Потребовалось не меньше секунды, чтобы учитель понял, что лишь увеличил список своих прегрешений. Он отпрянул назад, исторгая поток извинений; и язык и ноги его заплетались. Не замечая его, Эссе вышел в сад. Он взглянул на цветочный горшок, взглянул на Одеджими, который тащился за ним, и улыбнулся тонкой, снисходительной улыбкой, отчего учитель в ужасе облизнулся. Мы все знали эту улыбку, она сопровождалась покачиванием головы. Мы в кладовке от возбуждения ходили на голове, ибо поняли, что для заблудшего учителя только начинается нескончаемая выволочка. Мы поудобнее уселись перед ареной, гадая, как развернутся события.

В какой-то момент следующего часа Ле-моо несомненно повредился в уме, ибо его намерением стало прикрепить срезанную розу к ее стеблю. Сначала он долго стоял и глядел в пустоту. Потом повернулся лицом к цветочному горшку, потом движениями лунатика стал насаживать розу на стебель. Когда он ее отпускал, она шлепалась на клумбу. Мы были разочарованы. Видя сосредоточенный

взгляд в никуда и непонятное шевеление губ, мы пришли к выводу, что он заклинает то ли розу, то ли Эссе. Когда он приставил цветок к стеблю, стало ясно, что он заклинает розу, и мы были готовы кричать «ура» в уверенности, что чары подействуют. Напрасно. Ле-моо поглядел еще раз в цветочный горшок, обхватил обеими руками голову и возопил от горя:

— Йе-э! Мо керан![1]

Мне вдруг стало его жалко.

В следующее мгновение он стоял прямой, вдохновенный. В глазах его вспыхнула ВЕЛИКАЯ ИДЕЯ, и он убежал от дома как черт от ладана. Мы снова были разочарованы. Одеджими, подчиненный мистера Д., должен бы вести себя поразумнее. И это его великая идея — убежать! Никто не мог убежать от Эссе, особенно тот, кто залез в его розы.

Только когда из лавки вернулась Дикая Христианка с плетущимся по пятам Одеджими, мы поняли, в чем состояло его вдохновение. Он бегал умолять маму о заступничестве, чтобы она смягчила директорский гнев. Десятиминутный путь от лавки до дому занял у них час, ибо на каждом шагу Ле-моо старался броситься к ее ногам, он заламывал руки и твердил, что он конченый человек, если только мама его не спасет. Замедленный таким образом путь привел их на задний двор, где Дикая Христианка принялась за приготовления к ужину. Она сто раз клялась, что сделает все, что может, но Одеджими успокоился бы, только если бы она привела Эссе и заставила объявить, что Одеджими прощен. Дикая Христианка разослала по меньшей мере четырех ребятишек искать Эссе; только тогда несчастный как-то пришел в себя и стал ей надоедать, предлагая делать по хозяйству все что угодно. Он даже хотел мешать ложкой суп. Его с трудом оторвали от точильного колеса и, наконец, отправили в дальний угол двора с бутылочкой лимонада и блюдцем чин-чина. Их принес ему я и, оценив его уморасположение, ласково сказал:

— Я уверен, что вы не будете есть.

— О да, нет, я хочу сказать, да, не буду. Пожалуйста, поблагодари маму, но, конечно же, да, я хочу сказать ей, нет, большое спасибо. Это благородно. Она добрая женщина. Мистер Д. до сих пор не пришел!

Тину ждала меня за углом. Мы разделили чин-чин и выпили лимонад. На мой взгляд, он уже заслужил прощение, я потерял интерес к его мытарствам. Мы не стали бы гонять его по двору, как козла.

Изможденный, покоренный, Одеджими ушел в тот день из нашего дома под полночь. Дикая Христианка не сразу приступила к спасению; сначала она подала Эссе ужин и сделала вид, что не понимает, с чего он по возвращении бегло оглядел задний двор. Не обнаружив нигде Ле-моо, он сердито поджал губы. После ужина они ушли в дом и проспорили битый час. Выйдя, она послала еду Ле-моо, который таился в своем углу. К нашему крайнему неудовольствию, она подошла к нему и заставила его есть.

Зазвонили к вечерней молитве. Я не сомневался, что Ле-моо стоит на коленях и истово молится вместе со всей нашей семьей, но за себя. После молитвы Эссе читал в передней комнате. Он не подавал виду, что знает о присутствии Ле-моо на заднем дворе. Я нарочно не засыпал. Когда все в доме стихло, Эссе прошел через гостиную во двор и позвал:

— Одеджими!

Выведенный из дремоты злосчастный учитель издали отрапортовал:

— Здесь, сэр,— и, наткнувшись на что-то, чуть не упал. Подойдя к Эссе, он повторил:— Здесь, сэр, я здесь, сэр, виноват, сэр.

[1] Эй, я в беде!

Послышался холодный, размеренный голос Эссе.

— Разве вам негде ночевать? — Последовало молчание и затем. — Итак, спокойной ночи. Не забудьте закрыть за собой калитку.

Когда издалека до меня донесся звук моего имени, похожий на первый плеск воды в трубах после долгой засухи харматтана, я знал, что на дом обрушилось невообразимое бедствие. Я вернулся на землю еле живой от страха, ибо на крыльце дома стоял Эссе и на лице его невиданным образом сменялись ужас, недоверие к собственным глазам и крайнее возбуждение. Эссе, холодный, сдержанный мистер Д., указывал на меня дрожащим пальцем, и хотя это было невероятно, я все-таки понял, что выкликнул мое имя его голос.

Я держал в руке прутик эведу[1]. Я стоял прислонясь к полубочке с землей, над новыми розовыми кустами, на которые я потратил столько времени и забот. Бутоны на них появились впервые, два-три начали распускаться. Непонятно было то, что лохмотья их лежали на земле, засеченные насмерть моей рукой. Если бы вокруг Дикой Христианки не суетились ожидавшие приказаний помощники, она увидела бы, что я творю, и привела бы меня в чувство. Но она сидела на скамеечке, увлеченная горшками и сковородками, а дети в большинстве своем стояли ко мне спиной. Когда Эссе вышел на порог столовой, его взору, устремленному выше кухонной суеты, представилось невозможное зрелище: его помощник номер один по садоводству стоит, прислонясь к полубочке, и прутиком эведу мерно сечет розовый куст, а завороженный взгляд его устремлен в бесконечность. Истерзанные юные лепестки лежали на земле, на колючих ветках. И даже листья были растерзаны. Тычинки рассечены пополам, пыльца убого лежит на пустых чашечках; молодые стебли слегка поцарапаны легкими, размеренными ударами палочки, управлявшей неясной музыкой в моей голове. Катастрофа была полнейшая. При свете дня, в присутствии множества людей, которые по прихоти дьявола — кого еще было винить? — располагались таким образом, что не могли ни увидеть, ни заподозрить, ни предупредить, я с оружием в руках напал на розы Эссе и нанес им смертельные раны.

Ле-моо по крайней мере мог пытаться что-то приставить к стеблю; тут даже такое было немыслимо.

Никогда я не любил Дикую Христианку сильнее, чем в тот момент. Услышав, что муж возопил от горя, она взглянула и сразу же поняла, что случилось. Она выдохнула негромкое «а-а», и ее глаза переполнила жалость. В следующее мгновение Эссе перелетел через двор, и пальцы его впились в излюбленное место — мочку моего уха, но на этот раз он не просто сжимал ее, чтобы сделать больно, а старался поднять меня в воздух. Дикая Христианка не медлила. Это был один из немногих случаев в ее жизни, когда она воспротивилась карательным намерениям Эссе и даже высвободила мое ухо.

— Дорогой, ты должен понять. Он забылся. Он же все свободное время ухаживает за садом. Ум его был далеко. Он не знал, что делает.

Всхрапывание Эссе перешло в тяжелые вздохи, потом дыхание стало ровным. Кажется, он успокоился. Он еще раз взглянул на истерзанные кусты, покачал головой, явно жалея себя, и ушел с места преступления.

Дикая Христианка вздохнула.

— Надо что-то делать, а то ты убьешь себя или сожжешь дом.

VI

Я лежал на циновке и притворялся, что сплю. Моим ежеутренним развлечением стало наблюдать, как он делает гимнастику у ок-

[1] Растение.

на. Возле зеркала к стене была прикноплена таблица. Эссе изо всех сил старался подражать белому гимнасту, который был сфотографирован на ней во множестве поз. Самые сложные движения получались у него отточенными и простыми. Вдох... выдох... вдох... выдох — мерно дышал он. Он наклонялся, касался носков, гнулся направо, налево, вращал тело вокруг оси. Он разжимал и сжимал кулаки, поочередно поднимал вдоль боков руки, точно к ним были привязаны гири. Капельки пота рядами выступали на лбу и регулярными ручейками сбегали вниз. Когда он вешал на плечо полотенце, это значило, что зарядка окончена.

Затем он брал с подоконника зубочистку и чашку, проходил зубочисткой по безукоризненным зубам, заглядывал в дальние уголки, шлифовал передние зубы. При этом он аккуратно сплевывал в чашку. Иногда в ответ на приветствие прохожего он издавал неясное ворчание. Раз или два, когда проходил близкий сосед, он снисходил до полуфразы из отчетливо произнесенных слов, но я чувствовал, что на это требовалось особое усилие.

Потом, закатав халат вокруг пояса или завязав полы его за затылком, с полотенцем на плече он удалялся в ванную. Я слушал, как туфли его шлепали по дому и на заднем дворе, где он осматривал розы и обирал увядшие лепестки. Иногда раздавался его голос, допустим, он просил принести секатор, чтобы срезать сухую ветку. Очень часто он просто стоял там и смотрел сквозь цветы в одному ему ведомые дали.

В комнате царила однообразная легкая затхлость — не то что в спальне Дикой Христианки. У нее сталкивались и бунтовали постоянные запахи рождения, болезней, пирогов, печений и самых разных товаров, от густого земляного духа асо оке[1] до камфары и сотни мазей и притираний. Кое-кто из домашних, включая взрослую служанку, до сих пор писался по ночам, так что в комнате всегда разило мочой. Заболевшего малыша срочно переводили с лежавшей на полу циновки на ее огромную железную кровать, матрас которой впитывал в себя выделения ослабленного болезнью мочевого пузыря. Когда-нибудь потом матрас выжаривали по целому дню на солнце, но он все равно не утрачивал до конца того едкого духа, который всегда наполнял комнату — даже когда оба окна раскрывали настежь.

Кровать Дикой Христианки была вдвое больше, чем у Эссе, или мне так казалось. Четыре ее столбика завершались большими медными шишками, а решетка в головах и в ногах на верху каждого вертикального прута имела по медному шарику, который легко отвинчивался. По какой-то причине решетку в ногах убрали, что не раз спасало нас от наказания. Когда с оставшейся решетки мы откручивали эти шарики, играли ими и, конечно, теряли, мы навинчивали на их место шарики с отвергнутой, которая лежала в большом чулане.

Огромная кровать с блестящими медными шишками и огромный комод были единственными проявлениями формы и упорядоченности в маминой спальне. Все остальное в ней решительно, даже фанатично протестовало против любых проявлений порядка и формы. Под кровать были запиханы узлы, корзины с кусками мыла, груды консервированных сардин и пачек сахара, рулоны холста, шарики камфары и квадраты завернутого в листья ори или черного местного мыла. Кувшины конфет, наших и заграничных, вроде мятных сосулек «Требор», стояли на подоконниках бок о бок с разношерстными брошюрами, библиями, молитвенниками и растрепанными книжками песнопений. Крепко-накрепко запечатанные жестянки с керосином,

[1] Ткань ручной выработки, весьма ценная.

пальмовым маслом, арахисовым маслом, глазированные горшки с гари, бобами и сушеными кукурузными зернами были составлены в угол... в поисках чего-то мой отец заходил в мамину спальню, оглядывал ее, сдавался и уходил, покачивая головой в терпеливом отчаянии.

Верх комода представлял собой то же изобилие беспорядка, только что населяли его иные вещи, чем те, что лежали в ненасытной пещере под кроватью, стояли в углах или на подоконниках. Законными обитателями здесь были коробки из ювелирных лавок, разрозненные бусины, браслеты, серьги и прочие украшения, Библия в кожаном переплете, молитвенники и сборники песнопений — все с шелковыми закладками. Здесь также имелся фарфор с рельефами, напоминавшими татуировку на лице ара-оке[1], и прочие прихотливые сувениры, множившиеся по праздникам или когда приезжали гости из дальних стран. И все-таки по ночам на полу доставало места для циновки, на которой спало все время менявшееся число детей — порой до дюжины,— ибо на свете не было более жадной собирательницы чужих и заброшенных, чем Дикая Христианка, которой молча потакал ее муж. Она ни разу не сказала «нет» родителям, опекунам, дальним родичам, приводившим кого-нибудь «учиться» или, откровенно, чтобы за ним присмотрели. Некоторые убегали, их обязательно возвращали к нам. Некоторые приходили с головами, полными вшей, со стригущим лишаем, с животами, раздувшимися от недоедания, с ногами, изъеденными фрамбезией. Другие приходили ухоженные, причесанные, с коробками новой одежды, с карманами, полными денег.

— К чему эти чемоданы? — спрашивала Дикая Христианка, на лице ее изображалось непонимание, не обманывавшее никого.

— О, это просто несколько перемен одежды.

— Понятно. Оставьте ему две рубашки и пару шорт, оставьте ему дансики для церкви, а прочее заберите назад. Что до денег, смотрите, чтобы их у него не было. Если ему понадобятся деньги, пусть возьмет у меня.

Спальня Дикой Христианки обнажала естество тех детей, которых она принимала под свое крылышко; спальня воевала сама с собой и все-таки прививала чувство родства и дома. Казалось, что спальня, а не родители произвели на свет эту ораву, спальня изрыгала ребятишек и вновь поглощала их, превращая в детей данного дома. В покое и обособленности папиной спальни я размышлял о родителях, охотно отдававших их в дом директора и его жены. Я спрашивал себя: каково должно быть моей сестре — она не может остаться наедине с собой, как я в папиной спальне. Дипо был еще совсем маленький. Он мальчик, и поэтому я ожидал, что со временем он присоединится к нам в нашей комнате, это было бы справедливо.

Затхлость здесь происходила от груд бумаги — истрепанных газет и журналов, тетрадей, папок, видавших виды кожаных портфелей и железных коробок, в которых некогда были ботинки. Дважды в год Эссе уменьшал завалы бумаги, разжигал костер, из которого мы выхватывали лоснящиеся каталоги и захватывающе интересные журналы с картинками — их мы подолгу разглядывали. Они принадлежали другому, нереальному, миру. Подняв покрывало, я бродил взглядом по картонным коробкам и ящикам, ожидавшим расправы, и думал: догадываются ли они, что их ждет костер.

Мириады пылинок плясали в луче солнца, проникшем в окно. В его свете я изучал книжный шкаф с аккуратно уставленными пол-

[1] Люди из глубины материка, считающиеся «бушменами».

ками. Из общего богатства я уже испробовал несколько штук, так что даже Эссе удивился моей страсти к книгам, но и он не подозревал, как глубоко я проник в книжный шкаф. Я взялся за подметание его спальни и освободил от этой обязанности Джозефа. Половина моего рабочего часа уходила на поглощение полок. В начале Дикая Христианка при любом случае демонстрировала меня гостям, и я не имел ничего против невинного хвастовства. Но затем она вовлекла в представление Тину, унижая ее за нехватку домашних доблестей. До этого я с восторгом читал гостям, потом я пришел в замешательство и, наконец, взбунтовался. Тину была моим самым близким другом, и узы, соединявшие нас, особенно обнаруживались, когда ей делали больно или грозили. Я помогал ей делать уроки и относился к этому так же, как к выполнению собственных домашних заданий; я не видел разницы между нами и не понимал, зачем Эссе постоянно задает ей вопросы, стараясь уличить в незнании. Но срамить ее перед посторонними — смертный грех.

Дикая Христианка к смертному греху относилась иначе, чем я. Она просто объявляла, что в согрешившем сидит «эми эсу», дух дьявола; непростительно, когда она говорила так при гостях. Перечень проявлений «эми эсу» был всеобъемлющий, он включал в себя малейшее выражение недовольства родительскими приказами. Ни собственное дитя мистера Д. и его жены, ни приемное, ни «омо одо» не смели впадать в этот грех; увы, лица многих выдавали чувства еще до того, как в них возникала мысль. Дикая Христианка постоянно напоминала мне, что я должен быть примером для грешников. Поэтому я перестал находить книги, по которым должен был демонстрировать искусство чтения, у меня неожиданно возникал озноб, чему не верили, ибо он не сопровождался Температурой. Из всех знакомых детей одна Букола умела управлять своей Температурой, и то в другом направлении — тело ее леденело. Не обладая ее талантом, я стал исчезать, когда мне приказывали найти книгу и прочесть по ней перед гостями.

У меня был союзник. Это выражение лица я уловил всего один раз, Эссе никогда не позволил бы себе дважды выказать неодобрение. Похоже, он не имел ничего против, когда меня демонстрировали «своим людям» — например, его друзьям-спорщикам,— но однажды я подметил, как он вздрогнул от чувства неловкости и отвернулся, чтобы скрыть отвращение. Я стал убегать смелее, книги пропадали, дверь спальни Эссе оказывалась на замке и неизвестно, где ключ. Я делался все отчаянней, и это было в порядке вещей.

Теперь я искал случай показать домашним, что мы с папой принадлежим к особому миру. Дикая Христианка видела, что я все меньше принимаю участие в домоводстве, но не могла ничего поделать. «Папа дал мне работу» — не терпело возражений. Все же кажущийся триумф сопровождался глубокими опасениями. Мы не воевали, но между нами пролегла граница, мне непросто было выдерживать неприязнь, возраставшую с каждым днем. Я убеждал себя, что ошибаюсь, но все равно видел, что происходит на самом деле, и худшим тому подтверждением было отношение родной сестры.

В глубине души я знал, что опрометью лечу к страшной каре. Я не мог определить ни чем я ее заслужил, ни как ее избежать. Как предупреждение мне вспомнилась песенка из сказки, которую папа рассказал мне вчера на ночь:

Игба о лово
Тере гунгун маджа гунгун
Тере
Игба о лесе
Тере гунгун маджа гунгун

Тере
Игба ми лáавун о
Тере гунгун маджа гунгун
Тере[1]

Конечно же, черепаха врет. Говорить, что она не видит ни рук, ни ног у того, что грозит ей, только изобличает лживость натуры. Сам вид тыквы, сорвавшейся с места и преследующей черепаху по скалам и через реки, должен был действовать устрашающе. Песенка весьма подходила к моему положению: каждый раз, когда Дикая Христианка объявляла, что во мне сидит «эми эсу», я с изумлением обнаруживал, что никто не сочувствует мне, виноватому без вины. Не я виноват, что у нас поселилась рознь. Я бродил по лесу, с опаской поглядывая на все тыквообразное. В Приходе ни на участке, ни в лесу не было тыкв, зато там росли баобабы с бархатистыми овальными плодами размером в мельничный жернов. Я представлял себе, как они посыплются на меня, как погонятся. Если бы Дикая Христианка хорошенечко помолилась, наверное, так бы и произошло.

Таблица упражнений перед глазами помогла отвлечься от беспокойных мыслей. Поза за позой — я стал подражать гимнасту.

— Это кем ты себя возомнил?

Лаванле самовольно вошла в комнату. Вторжение непростительное.

— Ты забыла, что, прежде чем войти к папе, надо постучать в дверь?

— С каких это пор ты стал папой? — И она сделала еще один шаг вперед.

— Это наша комната,— настаивал я.

— Была,— сказала она.— Ты не заметил, что ты вырос?

— И что с того?

— Скоро узнаешь,— она повела плечом.— А ну пошли. Мама спрашивает, что это ты до сих пор делаешь в этой комнате. Почему ты еще не умылся?

— Что я узнаю?

— Господи, да пошли же! Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? Вот в этом твоя беда, ты обожаешь спорить, ты вообразил себя вторым папой — ведь так?

— Что я узнаю?

— В доме будет перемена,— пропела она.

— Какая перемена?

— Кто-то очень скоро узнает,— Лаванле презрительно хихикнула.

— Ладно. Мне больше неинтересно. Береги свои тайны.

Загнав меня в угол гостиной, она спросила:

— Что, папа тебе не сказал, что он уезжает?

— Куда?

— Ах да. Это ошибка — отвечать хотя бы на один твой вопрос. Сам ты отвечаешь только вопросами.

— Я знал, что он уезжает, потому что вчера на ночь он рассказал мне лишнюю сказку,— соврал я.— Он всегда так делает, когда уезжает надолго. Он мне рассказал даже две лишних сказки, только я заснул в середине второй.

— Тогда он сказал бы тебе, куда уезжает.

Мы пересекли гостиную и вышли на задний двор, так что дальнейшие разговоры сделались невозможными.

В ванной мне стало худо от скверных предчувствий. Слова Лаванле еще усилили ту напряженность, которую я в последние дни

[1] У тыквы нет рук,
Тере гунгун и т. д.
У тыквы нет ног,
И все же она гонится за черепахой.

постоянно улавливал,— скажем, нечто срывалось с маминого языка и повисало недосказанным. Или намек на одобрение привилегий, которые предоставлял мне Эссе, поджимание губ, когда я относил свою циновку в мамину комнату, где Тину, двоюродные и все прочие спали на общей циновке. Я неожиданно осознал, что ненавижу эту общую циновку; дело даже не в том, что в спальне Эссе я сам по себе. Я ненавижу ее со страстью, которая выше того обстоятельства, что многие старше меня писались по ночам. Я просто желал независимости.

Папа уехал; меня перевели в спальню Дикой Христианки. Я ждал его возвращения со смешанным чувством, ибо знал, что оно — испытание. В первую ночь по его приезде я стал собираться на мое нормальное место, но меня удержал мамин веселый голос:

— Воле, почему ты не хочешь сегодня спать со всеми? Не оставляй их из-за того, что папа вернулся. И твой маленький брат так привык спать рядом с тобой.

В темноте я обдумывал тон ее слов. Быть может, она желает, чтобы я добровольно остался с другими? Я ни на миг не поверил, что Дикая Христианка печется о чувствах Дипо; и все-таки я позволил себе надеяться, что мое возвращение лишь откладывается на одну ночь. А назавтра нормальное положение восстановится.

Назавтра я лежал в темноте на общей циновке и плакал. Мое перемещение оказалось постоянным. Иначе нельзя было истолковать почти виноватую улыбку отца.

Дипо быстро вырос из детской кроватки. Он появился на свет с шумным избытком сил, что было еще одной причиной убраться из маминой спальни. Он давно задумал сбежать из кроватки, и это ему удалось раз или два, в результате чего он грохался на пол — так ему не терпелось спать на общей циновке. Я подумал, что если этот младенец торопится променять укромное место на мешанину тел, то, должно быть, он от рождения плохо соображает. На общей циновке снились самые дикие сны. На меня рухнуло дерево, я стараюсь выбраться, пока не просыпаюсь,— это меня придавила чья-то рука или нога. Некоторые из спящих были закаленными воинами сновидений — они засыпали только ради джарунпа, чудовищных войн, которые за ночь перебрасывали их на противоположный конец циновки; по дороге они передвигали и разбрасывали тела и просыпались утром головою в ногах или даже, необъяснимым образом, на первоначальном месте. По ночам я просыпался, стараясь освободиться от удавов, обвивших мне руки и ноги, задыхался под тяжестью склизких чудовищ из баснословного прошлого, неспособный издать вопль о помощи, вставший комком в горле.

Ничто не могло потревожить блаженный покой как воинов, так и жертв их сражений. Они мирно спали и громко храпели, их храп возглавлял громогласный фагот Дикой Христианки. Когда я просыпался среди ночи, звуки в спальне напоминали рев на консервной фабрике имени Блейза, куда нас однажды водили смотреть, как при помощи множества гильотин, моторов с хлопающими ремнями, поршней и кипящих, шипящих, плюющих, рыгающих и гудящих котлов апельсины, грейпфруты, гуавы и груши очищаются, нарезаются, превращаются в кашу, выжимаются и разливаются равными порциями в бутылки и жестяные банки.

По утрам начинались споры о том, кто оставил лужу-две на циновке. Дикая Христианка была мастерицей по разгадыванию этих недолговечных загадок. Детективные умозаключения она произносила с легкостью, которая граничила с мистикой, особенно если учесть непредсказуемые места и позы, в которых подозреваемые оказывались по пробуждении. Постепенно я пришел к выводу, что, должно быть, у каждого ребенка свой запах и форма лужи, и эта тайна известна только родителям, хотя бы приемным. Что до приемных, то мне хо-

телось бы знать, передается ли эта тайна по волшебству или сообщается настоящими родителями, приведшими очередного «двоюродного».

— За ним нужен глаз да глаз, мэм. Он не крадет, нет, никогда на этом его не ловила. Но он ленивый, ах, он ленивый. Вон та папайя на дереве, она не может увернуться от птичьего клюва, так даже она вдвое меньше ленивая, чем этот негодник, вот он стоит перед вами.— И она тыкала пальцем в голову ошарашенного мальчишки.— Вон видите, полусклеванная папайя — такими станут его мозги, если он не научится шевелить ими. Мы говорим ему: учись! — а он не учится. Ты хочешь стать алаару, который на станции Иддо таскает ящики за полпенни. Послушай, у тебя нет головы, так что тебе не на что будет поставить ящик. Если не будешь упражнять мозги, голова у тебя развалится, твои мозги превратятся в кашу, их склюют птицы, как вон ту гнилую папайю...

Таким образом мать в последний раз исполняла общественные обязанности и умывала руки. Уходя, она, однако, спохватывалась, вспомнив что-то существенное, что надо сказать напоследок шепотом. Как ни старались мы с Тину, нам ни разу не удалось подслушать тайну, которая пребывала строго между родителями. Избавляющаяся от обузы мать, почти виновато, почти испуганно озираясь, отводила Дикую Христианку в сторону, за чем следовал краткий страстный монолог с поглядыванием на отпрыска. Я столько раздумывал об общей циновке, что мне оставалось единственное предположение — тайна, которую одна мать передавала другой матери, заключается во всестороннем описании свойств лужи нового члена нашей семьи.

События на улицах города часто затрагивали Приход. Первыми доносились звуки; мы определяли их путь и в несколько минут могли вычислить, пройдет ли толпа мимо нас. Если да, то мы устремлялись к лестнице и прочим возвышенностям, с которых над церковной стеной, однажды чуть не погубившей меня, открывалась широкая панорама Аке. Теперь я мог вместе со всеми взобраться на лестницу. Если зрелище из Итоко переваливало через хребет жующей небо дороги, оно огибало церковный участок и направлялось к дворцу; проходило у кенотафа великого воина Окенлы и, повернув возле книжной лавки, уходило в сторону Игбеина и гимназии Кути; или — лучше всего — проходило прямо под носом по неасфальтированной дороге между церковным участком и нашей стеной и поворачивало налево к Аафину или направо к больнице. Иногда шумное шествие заглядывало в Приход; однако похоронные процессии визитов нам не наносили, хотя они весьма часто походили на свадьбу или выступление танцевальной группы.

Впереди всех могильщики тащили за собой катафалк, иногда, не слишком часто, на их место впрягали лошадь. Гроб утопал в венках, свитых из пальмовых листьев, в которые вплетались цветы. Если он направлялся к Святому Петру, за несколько минут до появления шествия церковный колокол начинал бить торжественно, редко, между ударами полминуты, даже минута. Мы почти ощущали, как содрогается земля от тяжелой поступи ног, сопровождаемой скрипением колес. Часто они появлялись молча, на каждом лице горе, сочувствие или сознание важности происходящего. Последних мы выделяли легко, они шествовали, поджав губы, они суетливо поправляли ленту на венке и с равными промежутками времени что-то шептали родным усопшего. У церкви гроб снимали с повозки и вносили внутрь. Я всегда удивлялся, что у Святого Петра было столько похорон, а люди так и не научились, не спотыкаясь, поднимать гроб на несколько ступенек, нести его по проходу между скамьями и ставить на возвышение перед алтарем. Каков бы ни был покойный, гроб всегда казался

непропорционально тяжелым, несшие гнулись под его тяжестью, и мы всегда ждали, что кто-то из них оступится, и гроб с грохотом полетит наземь. Такого не произошло ни разу.

Некоторые процессии приближались к церкви с пением и молитвами и бормотанием причетника в рясе, который шел или впереди, или сзади всех. Пели тихо и, соответственно случаю, заунывно. Это было ничто по сравнению с тем, что следовало после отпевания и погребения. И мрачные, и рыдавшие, и сознававшие важность происходящего вдруг срывались с места и рассеивались по улице в неистовом плясе. Руки, которые только что были торжественно сложены на груди, теперь весело приветствовали каждого встречного, точно он был воскресшим покойником. Ниоткуда появлялись трубы, кларнеты, барабаны, бубны, тромбоны — в числе, зависевшем от возраста и значительности усопшего. Безумный вихрь захватывал даже опустевший катафалк, ибо оба могильщика, тянувших его за дышло, яростно вступали в пляску. У них был свой, особенный танец — несколько шагов вправо, несколько шагов влево, несколько шагов назад, кверху взлетало дышло, и пока оно падало, они успевали повернуться кругом и дальше с плясками пятясь, тащили повозку. Легкие женщин все исступленней вливали энергию в песню, при этом ягодицы их ходили ходуном.

Иле о иле о
Иле о иле о
Баба Ийа реле ре
Иле ло ло тарара
Баба реле ре
Или ло ло ко сина[1].

Были шествия, не приносившие нам радости. Вообще такие шествия вызывали ликование лишь у бежавших следом мальчишек. Они отличались разнообразием, но непременной их принадлежностью был юный грешник или грешница с доказательствами преступления на голове или на шее. Сзади шагала опекунша или родственница, по временам взмахивавшая воспитательной плетью. По мере следования вдоль улиц в шествие вовлекались все новые бездельники и мальчишки, глумившиеся и во всю глотку оравшие песни. По пути они подбирали жестянки и ящики и яростно отстукивали ритмы, в которых грешник или грешница должны были танцевать; зачастую песню пел сам обвиняемый, а толпа подхватывала припев. В большинстве случаев усталой, униженной жертвой оказывалась молодая женщина, что производило особо тягостное впечатление.

Это был тот единственный раз, когда добрая миссис К. заслужила мой безмолвный упрек. Ее служанка страдала таким же недержанием, какому было подвержено большинство двоюродных и домашней прислуги. Однажды утром нас вытащили на улицу знакомые постуки палок о жесть в самом Приходе. Они доносились с участка книготорговца, и вскоре мы различили слова:

Тооле Гооле а фоко ито бори
Сууле сууле фоко нуди[2].

И тут мы увидели жертву. Обвинительная циновка была свернута в рулон и водружена на ее голову, шествие переходило от дома к дому, и перед каждым девушку заставляли плясать танец позора. Затем миссис К. останавливала музыку и восклицала:

[1] Домои, домой,
Старейший ушел домой,
Прямым путем
Старейший ушел домой,
Он идет домой, не собьется с пути.

[2] Ты писаешься ночью, ты писаешься ночью
И с горшком на голове какаешь на циновку.

— Смотрите на нее! Ей шестнадцать, а она писается, как новорожденная. Я не знаю, что с ней делать, я ума не приложу, что с ней делать. Она такая взрослая, что ей пора готовиться к брачному дому, но куда она пойдет с мокрой циновкой? Смотрите на эту нескладную уродину. Кто на такую позарится, кто такую введет в свой дом? Она до сих пор не знает, что рынок мужей для таких закрыт... Замолчи! — Плеть прошлась по подрагивающим плечам, по спине, по ногам, так что она подпрыгнула, и в такт прыжку громыхнул оркестр.— Я просила тебя реветь? Пляши, атооле! Ты думаешь, твои слезы кого-нибудь тронут? Ну пой же! Которые барабанят, годятся тебе в сыновья, они перестали писаться сто лет назад. У тебя нет стыда, так пляши, пока музыка!

Продолжительность церемонии зависела от выдержки опекунши или от случайной встречи на улице или в доме с красноречивой заступницей. Когда они подошли к нашему дому, Дикая Христианка стояла и выжидала, пока не сочла, что миссис К. склонна к умиротворению. Тогда она движением руки остановила барабаны и пение и велела служанке подойти поближе.

— Разве это хорошо? — грозно спросила она.

Служанка не понимала, чего от нее хотят, может быть, она не слыхала вопроса. Миссис К. подняла плеть.

— Кажется, она притворяется глухонемой. Давайте-ка приоткроем ей уши.

Дикая Христианка удержала ее. Миссис К. опустила плеть, и назидание возобновилось:

— Разве это хорошо? В твоем возрасте идти по улицам в таком виде. Взрослая женщина, а до сих пор писается — разве это хорошо? Вот об этом я тебя спрашиваю.

— Нет, ма, это нехорошо.

— ГОВОРИ ГРОМЧЕ!

Служанка вздрогнула и призвала свой отдалившийся голос:

— Нет, ма, это нехорошо. Это нехорошо.

— Ладно. Но ты понимаешь, что это делается для твоего же блага? Что тебе помогают, чтобы ты не опозорилась в другом доме?

— Да, ма, я понимаю, это для моего блага.

— Ты сделаешь все, чтобы исправиться?

— Я исправлюсь, ма. Клянусь Богом, я исправлюсь.

Урок закончился краткой проповедью. Затем Дикая Христианка попросила у миссис К. разрешения «взять остаток вины на себя». Миссис К. сделала реверанс, служанка со словами благодарности упала на колени; мальчишки, видя, что потеха окончилась, начали расходиться. Я смотрел, как миссис К. и сзади нее служанка идут домой в тишине, вновь спустившейся на Приход, и думал, не описается ли служанка и этой ночью. Лаванле сказала, что это лечение всегда помогает, если только вдобавок изжарить и съесть гнездо богомола с яйцами. Лаванле утверждала, что ее двоюродный брат съел не меньше дюжины гнезд с яйцами богомола и пил особый отвар, приготовленный по рецепту одной старухи из Ибарапы. Сама Лаванле излечилась таким способом несколько лет назад. Все сходились на том, что у нас в доме Дикая Христианка поступает неправильно. Оставлять провинившихся без обеда ничего не дает — они только больше съедят за ужином, который не дозволялся позже пяти часов. Да и как уследить, чтобы они на ночь не заглушали голод водой? Такими делами должен заниматься бабалаво[1], а он, по мнению Лаванле, предписал бы тот самый способ, к которому прибегла миссис К.

Приведя свое уличное представление в наш дом, миссис К. по-настоящему оправдалась в моих глазах. Не напрягая зрения, можно было понять, что она боится больно хлестнуть плетью. Если бы я

[1] Предсказатель.

и усомнился, один взгляд на Дикую Христианку подтвердил бы, что карающая десница миссис К. явно ее забавляет. Так или иначе уж она-то знала, что представляет собой миссис К. Если бы плеть была у Дикой Христианки, служанка не подпрыгивала бы, она выскочила бы из собственной кожи и не перестала плясать, даже если бы ей приказали.

Когда прегрешение было серьезнее — например воровство,— мальчишки по наущению старших тоже хлестали преступника. Украсть мясо из суповой кастрюли считалось особо чудовищным злодеянием, я не мог понять почему. Если пойманный вор уже проглотил предмет своего преступления, ему мазали рот суповым жиром и заставляли нести кастрюлю на голове. Шествие могло затянуться на дни и дни. Возмущение стражей супа умерить не удавалось. Я же думал, что раз мясо съедено, никакая пляска, никакая порка не возвратит его в суп. И кусок мяса всегда казался мне слишком мелким, ничтожным поводом для столпотворения. Когда Дикая Христианка под вечер готовила ужин, а мы торчали вокруг, приносили и подавали разные разности, разговор зашел об утреннем представлении. Дикая Христианка пообещала вылечить писающихся по ночам и других негодяев тем же средством. Она сказала так потому, что, как и ждала, прочитала в моих глазах неодобрение.

— Воле не одобряет этого средства, потому что сам собирается запустить руку в кастрюлю.

Я отрицал, что не одобряю.

— Или, может, он уже так делает, только мы его еще не поймали.

— Если бы вы его поймали, он крючкотворством нашел бы выход,— выразил мнение Джозеф.

— Только не у меня,— пообещала Дикая Христианка.— Это у отца достает на него терпения. Пусть только раскроет рот, я его так огрею, что он поймет, что со мной шутки плохи.

— И все же,— пустился в рассуждения двоюродный,— Воле скорее стащил бы конфету, или сахар, или молочный порошок, или овальтин, или что-нибудь в том же роде.

Я испытующе посмотрел на двоюродного. Его лицо было непроницаемо, неужели он знает? Конечно нет. Он давно занимался бы вымогательством, если бы знал, что я постоянно лазаю в банку с лактогеном. С тех пор как Дипо отняли от груди и он стал есть твердую пищу, в углу кладовой лежала забытая большая жестянка с лактогеном. Я воспылал страстью к восхитительному порошку, считал, что на свете нет ничего вкусней. Он был тонкий, легкий, таял на языке. Речь не о том, что я однажды стащил пригоршню; я присвоил целую банку, о которой забыли все, спрятал ее среди старого хлама и время от времени предавался безумным пиршествам.

Банку обнаружили не раньше чем через месяц. Кто к тому времени помнил, сколько в ней было год назад, когда открывали в последний раз? Не пристрастись я столь безоглядно, я бы понял, что Дикая Христианка заподозрит неладное и будет следить за уровнем порошка в банке. Утвердившись в своих подозрениях, она собрала всех, расспросила и предупредила. Казалось бы, мне следовало остановиться. Она не только вступила на путь войны, она явно замышляла образцовое наказание для упрямого вора. Может быть, она уже знала, кто он, молочный вор, и понимала, что воровство у него стало привычкой. Дикая Христианка славилась вдохновенными догадками. Но я не мог победить пристрастие. Я боролся с собой неделю, потом махнул рукой, высмотрел, кто где в доме, и набросился на жестянку. Дикая Христианка, которая только что готовила овощи в дальнем углу двора, приоткрыла дверь кладовой и кивнула:

— Прекрасно. Значит, это ты. Я так и думала. Я всегда это знала.

Я ей поверил. Обычно она давно бы уже затопила весь мир потоком затрещин. На этот раз она была непривычно спокойная. И она явно торжествовала, что настал долгожданный миг. Ее самодовольство меня встревожило, оно превышало размеры моего проступка. К тому же меня брала досада, что я как дурак попался в ловушку.

— Подождем, когда придет твой отец. Когда он разделается с тобой, ты придешь ко мне и съешь мое наказание.

Оставшись один в кладовой, я стал подумывать о побеге. Дело не только в том, что я попался, все сложилось как-то слишком уж гладко, как будто кто-то злорадно ждал этого мига и даже малость его подготовил. Одно было ясно: я не буду зрелищем ни для кого — ни для Прихода, ни для улиц Аке. И вновь меня удивила несоразмерность значения, придававшегося банке молочного порошка, о которой забыли все. Я опекал ее чуть ли не два месяца и привык считать своей личной добычей. Итак, я решил — я убегу из дому, но сначала, как прощальный протест, доем лактоген до дна.

Я украдкой выбрался из кладовой в спальню, затем в переднюю комнату, где лежало большинство моих книг, связал их в тючок и стал ждать подходящий момент. Эссе вернулся из школы, и, как я и думал, Дикая Христианка немедля закрылась с ним в его комнате, чтобы сообщить об ужасном открытии. Это был подходящий момент, и я прошел на цыпочках в гостиную и в переднюю комнату. Через минуту меня бы уже не было, но из спальни доносились громкие, отчетливые голоса, и я заколебался и даже присел послушать. Мама явно возмущалась нежеланием Эссе разбирать преступление. Я слышал, как он ворчит:

— Просто выпорола бы его. Зачем приставать с этим ко мне?

— Но он, наверное, съел целых полбанки,— сказал мамин голос.— Я помню, сколько там было, когда я перестала кормить Дипо. Она была почти полная. Я только открыла ее, перед тем как он перестал есть молоко.

Невозмутимый Эссе стоял на своем:

— Тогда накажи его за целую банку. Я все же не понимаю, почему ты не отлупила его на месте.

Дикая Христианка знала, когда слова ее не ведут ни к чему. Она так быстро выскочила из комнаты, что я едва успел выбросить свой тючок за наружную дверь. Она тащила меня на задний двор, а я думал только о том, что мой предательский тючок с любимыми книгами и нарядами валяется на мостовой перед домом. Она крикнула, чтобы ей принесли палку, но и до палки я заплясал по двору, уклоняясь от диких затрещин и пинков, то сбивавших с ног, то кативших меня по земле. До последнего мгновения я боялся и вместе надеялся, что она перенесет казнь за пределы заднего двора; мысленно я готовился ускользнуть, подхватить тючок и затем — пробег через весь Приход, по улицам и далее никуда и куда угодно, подальше от дома, чья мелочная враждебность начинала меня доканывать. Теперь я винил всех домашних в том, что меня погнали из спальни Эссе. Множество странных мыслей мелькало в сознании под ударами. Одна из них выделилась и подтвердила, что я совершенно прав, предполагая, что в этом доме мне больше нет места. Эта уверенность пришла и осталась, в то время как прочие мысли беспорядочно толклись в голове и не старались обрести форму, видимо просто помогая мне отвлечься от боли. Только в результате мысли оказались болезненнее побоев. К тому моменту, когда избиение прекратилось, я пришел к выводу, что следует осуществить намеченный план, взять мой тючок и поискать счастья подальше от Прихода.

Когда позже, немного позже, я выглянул, тючка перед домом не было. Джозеф обнаружил его и разложил содержимое по местам. Он сам сказал мне об этом, и я не знал, как отнестись к его поступку, хотя понимал, что он поступил просто как хороший слуга.

Той же ночью, когда весь дом спал и Дикая Христианка сотрясала своим храпом крышу, я на цыпочках прокрался в кладовую и набил рот молочным порошком. Через секунду я снова лежал на циновке. В темноте порошок таял на языке, растворялся и постепенно, по каплям, скользил в горло. Наутро после побоев у меня ничего не болело.

VII

Перемену немыслимо предсказать. Некий темп жизни, некое настроение воцаряется в доме, охватывает гостей, родичей, случайных посетителей, бедных родственников, двоюродных, приблудных — взаимные чувства окрашены явно по-новому,— и почему-то что-то случается! Незначительное событие, чаще вообще никакого события, ничего, что я мог бы заметить и осознать, и вдруг — все переменилось! Знакомые люди иначе выглядят, иначе поступают. Нечто неотделимое от нашей жизни исчезает со своего места и возникает там, где его не было. Каждый человек, с которым мы с Тину постоянно имеем дело, вдруг ИЗМЕНЯЕТСЯ! Даже Тину менялась, и я подумал: а не меняюсь ли и я, как все, сам того не замечая?

— Если я начну изменяться, ты мне скажешь, ладно?

— Ты о чем? — спросила она.

— А ты не заметила? Джозеф, Лаванле, Нуби — все изменяются. Папа и мама изменились. Даже мистер Аделу изменился.

Мистер Аделу был один из самых частых посетителей нашего дома. В нем не было ничего примечательного. Поэтому становилось особенно не по себе оттого, что даже мистер Аделу меняется. И конечно, ничего другого теперь я не ожидал от книготорговца.

Временами я распознавал причину. Например, рождение Дипо привело к ПЕРЕМЕНЕ, больше того, она началась задолго до его появления на свет. О Дикой Христианке, пожалуй, сказать было нечего, кроме того, что она перестала быть дикой и начала расти втолщину. Я не спрашивал, больше ли она ест, ибо полагал, что взрослые способны расти куда захотят. Я сам надеялся сравняться ростом с папой — когда-нибудь, пока что я не спешил. Удивительно, что Эссе — по крайней мере в привычках — изменился больше, чем Дикая Христианка, которая просто разбухала и разбухала. Воющий, наделенный избытком сил братик своим появлением сразу объяснил все предшествовавшие изменения. Озабоченность на лице Эссе сменилась радостью и нескончаемыми улыбками. В доме во всех смыслах стало свободнее. К нам устремились гости, и, чтобы не слышать их зычных голосов, я все чаще и чаще сбегал к Ионе.

Иногда перемены бывали домашние, бытовые. Дикую Христианку вдруг раздражала мебель в гостиной; тогда ее выносили, потом вносили назад и ставили по-иному. В промежутке шла охота на клопов, которые селились в диванных подушках. Тщательно изучали швы, на свечке калили иглу, затем шипящий звук — и конец клопу. К гнезду подносили свечку, клопиные яйца лопались, вспыхивали, и оставались точечные угольки. Когда возвращались кресла и табуреты, ПЕРЕМЕНА была налицо. Что-то из гостиной изгонялось в сарай на верхнем заднем дворе, что-то попадало в переднюю комнату, где посетители дожидались Эссе. Даже неизменные вышитые изречения в рамках и под стеклом перемещались по стенам. Я поднимал глаза на «ПОМНИ СОЗДАТЕЛЯ ТВОЕГО В ДНИ ЮНОСТИ ТВОЕЙ» и неожиданно видел «АВЕНЕЗЕР: ДО СЕГО МЕСТА ПОМОГ НАМ ГОСПОДЬ».

Иногда гвоздь, на котором висело изречение, передвигался на фут-два от передней комнаты. Последствия были нешуточные. Мы больше не видели отражения Эссе с того мига, как он выходил из двери начальной школы на широкую дорожку, которая почти прямо вела к воротам Прихода. Теперь он появлялся в стекле, лишь пройдя две трети этой дорожки, тут его подхватывало «ПОЧИТАЙ ОТЦА

ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ», и в этот момент следовало бросать все проказы. Когда он выходил из спальни, вечные занавески у двери хлопали, фигура его вплывала в «ПОМНИ СОЗДАТЕЛЯ ТВОЕГО» — и наши проделки в столовой кончались на время еды. Мы часто делали уроки в передней комнате, и то, чем мы действительно занимались, исчезало в ящике письменного стола в тот момент, когда кончивший садовничать на заднем дворе Эссе в обрамлении буйно разросшихся у окна столовой кротонов показывался в рамке «ГОСПОДЬ—ПАСТЫРЬ МОЙ». Мы изо всех сил старались вернуть спасительным изречениям их шпионские функции. Гвоздя мы не трогали, зато подвигали раму и уравновешивали короткую сторону бечевки осиным гнездом. Будучи обнаружены, куски сухой глины не вызывали удивления, ибо осы строили гнезда под потолком, и эти гнезда мозолили глаза, пока кто-нибудь их не сбивал.

ПЕРЕМЕНИЛОСЬ место сна. Не у меня одного. Неожиданно всех изгнали из спальни Дикой Христианки. Нашей новой спальней стала гостиная; стулья поставили вдоль стены, стол отодвинули в угол, расстелили циновки и разложили подушки для тех, кто спал на подушках. Эссе по ночам, чтобы выпить стакан воды, пробирался сквозь разметавшиеся тела. Перемена была приятная. В гостиной много просторнее, никто теперь не просыпался, уткнувшись лицом в куль пестрой фасоли.

Иногда ПЕРЕМЕНЫ происходили от новостей. Даже не желая подслушивать, мы все равно слышали разговоры во всех частях дома. Посетители приходили, говорили, спорили или льстили, что-то предлагали, о чем-то просили Эссе, обычно Эссе, но часто и Дикую Христианку. Некоторые из них были совсем чужие, они однажды втягивались в орбиту мистера Д. и исчезали навеки. И все же они уносили с собой толику постоянства, привычных движений, установлений и заповедей, которые обеспечивали наш покой в стенах директорского дома: Сначала все было как будто по-прежнему, но вдруг мы замечали, что на кого-то из нас не обращают внимания или усиленно обращают внимание. Приходилось осваивать новый язык, новые физические отношения между вещами и между людьми. Раз или два я чувствовал, что весь дом вот-вот двинется в путь и навеки порвет связи с Аке. Но никто не сообщал мне, куда, как, почему, и мы так и остались на месте.

И все-таки даже в ПЕРЕМЕНАХ я подмечал непоследовательность. До рождения Фоласаде я полагал, что Перемена появляется и проходит у одного или нескольких человек — как Температура. Перемена с Фоласаде была постоянной. Она родилась после Дипо, в отличие от него она была тихим ребенком. И вдруг с утра до ночи она плачет, мечется в кроватке и держит весь дом на ногах. Она не отказывалась от пищи, но ела с трудом. Мы видели в ее глазках усилие; ей было едва десять месяцев. Когда мы протягивали сквозь перильца руку, она цеплялась изо всех сил за палец — и вдруг ее сводила судорога, и она вновь заходилась от крика.

Родители часами говорили в спальне Эссе; слов мы не различали, они говорили тихо. Они вызвали и расспросили служанку. Ее голос был достаточно громкий, она отрицала все, о чем ее спрашивали. Она была непреклонна, призывала Бога в свидетели и повторяла:

— Ничего не было, совсем ничего, сэр.— Она вышла из спальни, лицо напряженное, оскорбленное ложным подозрением, даже обвинением.

Фоласаде отнесли в больницу. Она вернулась домой к вечеру. Ее тельце от подмышек до ягодиц было в гипсе. Дикая Христианка принесла ее не на спине, а на руках, завернув в шаль.

По-прежнему она иногда плакала. Но много ночей она пролежала с открытыми глазками. Я поднимался с циновки, вставал на колени перед кроваткой и вглядывался в безмолвные заводи глаз. Она как

будто не узнавала меня. День за днем Фоласаде лежала на спине; ее кормили, перепеленывали и клали назад в кроватку или все чаще на мамину кровать, где подпирали с обеих сторон подушками. Она была такая недвижная, что, казалось, подушек не нужно. Фоласаде лежала молча, уставившись в потолок.

Как-то я набрел на служанку — она сидела и плакала. Уже какое-то время я замечал, что она постоянно одна. Люди не хотели с ней разговаривать. Возле нее стояла нетронутая миска с едой. Когда я спросил ее, что случилось, она зарыдала так громко, что я испугался. Между всхлипами я с трудом разобрал:

— Клянусь, я не роняла ее. Клянусь Богом, я ни разу ее не уронила. Я хорошо смотрела за ней, ни разу она не падала из моих рук, клянусь.

Она сидела на ступеньках, которые вели к сараю в верхнем заднем дворе, против окна маминой спальни. Неожиданно окно открылось и показалась Дикая Христианка; она глядела на рыдающую служанку. Никогда — ни до, ни после — я не видал на ее лице такого безумия, горя и ненависти. Окно распахнулось громко, она не скрывала чувств. Должно быть, она услыхала служанку, должно быть, она давно следила за ней. Не иначе звук моего голоса заставил ее с немой яростью уставиться на служанку. Та подняла голову и увидала ее, слезы мгновенно высохли.

Тем же вечером служанку вызвали снова. На этот раз допрос шел несколько часов. Я заснул до того, как он кончился. К утру служанки в доме не было — ни ее самой, ни ее вещей.

Не было ни Эссе, ни Дикой Христианки. Не было и Фоласаде. То, что они, наконец, извлекли из служанки, послало их прямиком в католическую больницу в Ита Пади.

Когда они возвратились, во внешнем виде девочки не было ничего нового, ее, как и прежде, положили в кроватку. Дикая Христианка почти не выходила из спальни Эссе, даже когда он был в школе. Она просто лежала на кровати или, стоя на коленях, молилась. Молилась она много.

Однажды утром действия ее обрели некую целенаправленность. Человек по имени Плотник — его мастерская была на углу дороги возле церковной стены — принес в наш дом небольшой деревянный ящик. Отец проводил его в спальню Дикой Христианки.

Через дверь я слышал, как он сказал:

— По-моему, надо, чтобы на нее посмотрели дети, как ты думаешь?

После короткого приглушенного разговора нас всех собрали.

Фоласаде лежала в длинном белом платье, закрывавшем и гипс, и ноги. Глаза ее были закрыты, она лежала так же недвижно, как несколько последних недель. Я посмотрел на Тину — она стояла спокойно. Грустная блаженная улыбка на лице Дикой Христианки говорила, что чего-то важного нам не понять и что мы не должны печалиться, потому что Фоласаде больше не мучается.

— Вы видите, ей нисколько не больно.

Я снова взглянул на Тину. Я ждал, что она что-то скажет или сделает, лучше сделает — она старшая. Но Тину не сводила глаз с Фоласаде, я видел, как она долгим взглядом посмотрела на маму и папу и вновь углубилась в бесстрастное, бессловесное изучение нашей сестренки.

И тут что-то во мне лопнуло. Сила ниоткуда швырнула меня о кровать, и я дико взвыл. Я вырывался, я старался перекричать утешающий голос папы и утопал в слезах. Меня обуревало чувство утраты — я не знал ни причины ее, ни названия. Я еще не умел ее осознать, лишь видел сквозь слезы изумление Дикой Христианки и слышал ее голос:

— Но что он может понять? Что он может понять?

После ухода Фоласаде не было ПЕРЕМЕНЫ, совсем никакой. Я каждый день ожидал катастрофу невообразимых размеров, но она так и не произошла. Я бы не удивился, если бы дом вырвал себя из земли и поплыл к небу, но дом стоял по-прежнему. Обыденность угнетала меня, и я заподозрил, что теперь, когда ПЕРЕМЕНА была объяснимой, даже необходимой, родители сговорились, чтобы ничего не случилось.

Как будто все равно, как будто ничего не значит, что Фоласаде не просто умерла, но решила уйти от нас в самый первый свой день рождения.

Хрупкие городские домишки из кирпича-сырца не выдерживали июльских и августовских дождей. Ветер проникал под рифленое железо, швырял листы на соседние крыши, а дождь находил уязвимое место в стенах, растворял глину и затоплял весь дом. Иногда дождь обходился без ветра, он обнаруживал трещину в тонкой цементной обмазке и подмачивал основание дома, который затем обрушивался на жильцов. Уцелевшие от гибели, мокрые, дрожащие, с растущей лужей у ног, стояли в нашей передней комнате и рассказывали о своих злоключениях. Их отводили в заднюю комнату, переодевали в старые одежки, которые Эссе срочно выискивал в сундуках, а Дикая Христианка подавала им по дымящейся чашке густого переслащенного чая с молоком и ломтю белого хлеба, щедро намазанному маслом.

Хотя дом обрушивался в самом Аке, вдали от Прихода, пенившаяся у нашей приподнятой мостовой агбара проносила мимо нас все обломки дома, все лики его жертв. Бутылочки из-под лекарств бились о закопченные стропила. Верхом на ночном горшке, задрав ногу и указывая рукой в небо, проплывала белая, льняноволосая голубоглазая кукла.

Безутешная миссис Адетунмби примчалась от самого Икереку. Даже в передней комнате она бегала с места на место и выкручивала шаль — со стороны это выглядело, как будто она моет руки.

— Э гба ми, э гба ми...[1]. Она сказала, что пошла за дровами и не вернулась. Уже четыре часа, как перестало лить, а она до сих пор не вернулась... Э гба ми о, директор, э гба ми...

— Что тебе надо от директора? Лить, может, и перестало, но агбара по-прежнему мчится и распухает. Мама, я видел, как перед нашим порогом проплыло лицо твоей дочки; я ничего не сделал, я не остановил ее.

— Ты куда? — Дикая Христианка распахнула окно, как раз когда я хотел проскользнуть мимо.

— На школьный двор.

— Зачем?

— Собрать гуавы. Их там посшибало дождем.

— Пошли Бунми. Ты простудишься.

— Она не умеет. Это моя гуава.

— Ты спятил! — Дикая Христианка чуть не взорвалась.— Я сказала, что ты никуда не пойдешь. Иди сюда!

Я вернулся и встал перед ней, широко расставив ноги. Она продолжала смотреть на меня, и я сложил руки за спиной.

— Ты слышал, что я сказала?

— Я слышал, ма. Я вернулся и буду читать книгу.

— А что надо сказать, когда к тебе обращаются?

— Да, ма.

Долгий, уничтожающий взгляд.

— Прочь с моих глаз!

— Да, ма.

[1] Спасите меня, спасите меня...

Я поймал Бунми у задних ворот.

— Если ты тронешь мои гуавы, к тебе ночью придет ивин.

— Иди, иди, что ты понимаешь в духах? В деревьях живет не ивин, а оро.

— Дотронься до гуавы и увидишь, кто прав. Я тебе сказал.

— Ты просто злишься, что мама не пустила тебя собирать гуавы.

— Даже до тех, которые на земле. Дотронься и увидишь.

Вернувшись домой, она наябедничала Дикой Христианке. Когда Эссе кончил ужинать, она уставилась на меня и громко заявила:

— А теперь я хочу с тобой обсудить...

— Да ладно...— заворчал Эссе.

Бунми ткнула пальцем в мой нос.

— Посмотрим, кто сегодня попробует палки.

— За что? Что такого я сделал?

— За упрямство. Когда я сказала ей, что ты сказал, она сказала, что ты стал слишком упрямый. Она сказала, что скажет папе.

— За то, что ты ей сказала, ночью к тебе придут и ивин и оро.

Я пошел читать в переднюю комнату. Я ждал, что меня призовут в любую минуту, и обнаружил, что это не слишком меня тревожит.

— Ты на что уставился?

— На твой нос.

— Я скажу маме, что ты снова грубишь.

— Грубить можно только старшим. А ты кто такая?

— Грубить — значит грубить. Мама сказала, что мы должны говорить, если ты снова будешь грубить.

— Что, я к тебе приставал? — потребовал я ответа.

Бунми смотрела на меня с прежним удивлением.

— Воле, что с тобой? Почему ты хочешь со всеми поссориться?

— Оставь меня в покое!

В покое меня не оставляли. Вроде бы им так велели, но в покое меня не оставляли. Хорошо мне было только с Буколой. При первой возможности я сбегал в дом книготорговца. Букола умела молчать. Даже говоря, она излучала тот мир безмолвия, в котором мне было уютно. Она поднимала цветные камешки и задумчиво взвешивала их в ладонях. Она ела так, словно ест с другими. Я внимательно наблюдал за ней в надежде найти ответ на смутно копившиеся вопросы. Она скользила по земле, едва снисходя к присутствию людей. С ней мне было спокойно.

Волна враждебности безошибочно предупреждала меня, что Дикая Христианка готовится толковать обо мне с Эссе. Не колеблясь, я шел и подслушивал. Иногда меня предупреждала Тину. В других случаях, радуясь возможности, меня пугали Нуби или Джозеф. Я небрежно проходил мимо них и прилипал ухом к дверной занавеске.

— Тут ничего нового,— говорила Дикая Христианка.— У него всегда была склонность задумываться и забываться.

— Тогда о чем беспокоиться?

— Это нездорово. Это неестественно в ребенке. Когда он играл с одной Тину, было не страшно. Но вот уже несколько лет, как он забывается и выпадает. И сегодня...

— Это из-за Фоласаде,— объяснял Эссе.— Это пройдет само.

— И потом, он столько времени бывает с тобой. Это отдаляет его от семьи.

— Значит, я виноват...

— Я не обвиняю тебя, дорогой мой. Я просто хочу, чтобы мы его больше не баловали. Из-за этого он такой упрямый.

— Я не заметил, что он упрямый.

— Большую часть дня тебя нет дома, поэтому ты и не заметил. И конечно же, дети не придут к тебе и не расскажут.

В конце Эссе обещал посмотреть за мной повнимательней.

— Мы должны вытащить его из себя,— настаивала мама.

— Ладно, ладно.

В гости к нам приехали Одуфувы, но и это не слишком меня обрадовало. Хотя только самый слепой человек с самыми грубыми чувствами не согласился бы, что миссис Одуфува просто, без всяких споров, самая красивая женщина в мире. Я ничего не имел против ее мужа, в конце концов он мой крестный и поэтому не помешает мне жениться на этой богине, когда я вырасту. Она прогуливалась с мужем в саду, я шел за ней по пятам.

Для всех у нее были прозвища, ибо, будучи «мужней женой», она не могла называть именами детей, особенно тех, которые родились до того, как она сделалась хозяйкой своего дома. Поэтому Тину стала «Обинрин Джеже», смирная женщина — меня поразила точность прозвища, подтвердившая ум и наблюдательность миссис Одуфувы. Я стал «Лагилаги», дроворуб. Еще не научившись орудовать овощным ножом, я пристал к Джозефу, чтобы он дал мне топор рубить дрова. Богиня слышала мои просьбы — и родилось прозвище. Мы только теперь начали ощущать стремление Гитлера к мировому господству. Германская раса ныне выглядела воинственной, устрашающей, и естественно, Дипо мог получить одну кличку — Джермани!

Богиня и ее муж медленно прогуливались вдоль клумб, я не отставал от них. Джозеф поблизости отбирал поленья для рубки. Где-то подальше находилась Дикая Христианка. Я шел по пятам, останавливался, где останавливалась миссис Одуфува, касался стеблей роз, которые она только что понюхала, гладил кротоновый куст, по которому скользнул ее рукав. И тут ниоткуда возник Джермани и все испортил — он то важничал, то ходил колесом, то выскакивал прямо перед гуляющей парой, то отставал и тотчас выныривал далеко впереди. Я глядел на его выходки со снисходительной улыбкой старшего брата.

Миссис Одуфува повернулась ко мне:

— Лагилаги, говорят, ты вместе с папой ухаживаешь за цветами?

Я медлил, наслаждаясь звуками ее слов, и вдруг раздался визгливый тенор Джозефа:

— Какой Лагилаги? Мадам не следует называть его этим именем. Он не может ничего ла. Он такой ленивый, что не сгонит с собственного носа муху, пока она не начнет плодиться.

Первым делом я удивился, что Джозеф, бенинец, извергает такие густые уличные выражения. Он был кобокобо [1], даже прожив у нас несколько лет, говорил на йоруба со странностями. И вот он хлещет меня языком, как заправская базарная торговка. И ни за что. Я глазел на него раскрыв рот.

— Это правда, мой Лагилаги?

Дипо выскочил на дорожку, и Джозеф показал на него:

— Посмотрите на его брата, он почти на три года моложе. А он покрепче того, кого вы зовете Лагилаги. Да что там — Дипо может хоть сейчас взять топор и рубить дрова.

Без колебаний я двинулся в сторону, взял топор и с размаху вонзил его в ближнее полено.

— Он только и делает, что прячется по углам и читает, всегда читает,— вступила Дикая Христианка.— Он делает вид, что его так занимают книги, потому что ни с чем больше не может справиться.

Я обиделся. Что я такого сделал? Почему они унижают меня перед моей будущей женой? Я смотрел то на Джозефа, то на Дикую Христианку, а они надо мной потешались, они хохотали.

Ниоткуда явилась Нуби. Что-то собиралось, что-то готовилось и окружало меня.

[1] Оскорбительное слово, означающее того, кто не владеет местным наречием.

— Когда он видит драку, он убегает,— сказала Нуби.— Прикоснитесь к нему, и он закричит, как будто все хотят его бить.— Она захихикала.— Троньте его пальцем, и он упадет в обморок и умрет. Кому охота стать убийцей? Мне? Нет, спасибо. Пусть он сидит под юбкой своих книжек.

«О ком это они?» — думал я. Все сказанное над моей головой звучало как выводы серьезного исследования какого-то человека и его дел или безделья. Этот человек, по всей вероятности, был я, и все же я не узнавал себя в том, что они говорили. Джозеф неожиданно придержал выплясывавшего Дипо и повернул его лицом ко мне:

— Клянусь, Дипо его побьет.

— Конечно, побьет,— сказала Дикая Христианка.— Он будет бить его, пока он не запросит пощады.

Меня заботило только, что думает миссис Одуфува. Верит она хоть чему-нибудь? Она с мужем стояла у карликовой гуавы, и на лице ее изображалась улыбка недоумения. Неприлично разыгрывать перед ней такое позорное представление, думал я.

— Давайте посмотрим,— предложила Нуби.— Сейчас Дипо ему покажет.

Дипо не надо было дважды просить. Он сжал кулаки, принял воинственную позу и заплясал боевой танец собственного сочинения. Никогда я не видал на его лице такого задора! Его подначивали со всех сторон, я же драться не собирался и по-прежнему глядел на его выходки со снисходительной улыбкой. Он был как гном, резвый, преисполненный радости жизни и внимания старших. И без предупреждения, при словах Джозефа «А ну дай ему, Дипо», малыш набросился на меня с кулаками. Стремительность натиска отшвырнула меня назад, и больше я не различал причин звона в ушах.

Откуда-то издалека до меня доносились голоса, крики, увещевания. Я не знал, сколько прошло времени. Во мне была полная пустота, я ничего не помнил, только ярость гудела в жилах. И вот я ощутил чьи-то руки под мышками, сильные, напряженные руки, даже дрожащие, и я стал отчаянно вырываться. Я узнал голос Джозефа, его странный бенинский выговор:

— Воле, о то, о то! [1] Ты хочешь его убить?

И голос Дикой Христианки, такой утешающий, такой растревоженный, какого я в жизни не слышал.

— Воле, мы только шутили. Ты забыл, это твой младший братик. Ах-ах, да что бы ни случилось, нельзя так на него сердиться.

На меня обрушились небеса. Я задрожал так неистово, что Дикая Христианка обхватила меня и приложила ладонь ко лбу. Где-то вдали слышался рев Дипо. Его унесли в столовую и утешали конфетами и соком. Дикая Христианка взглянула в сторону рева, и снова в глазах ее появилось необычное выражение. В них были глубочайшая боль и смятение, и мне показалось, что я увидел в них страх. В общем, мама была не такая, как перед моей дракой с Дипо.

— Но почему? — говорила она скорее себе, чем мне.— Мы только шутили. Ты хотел его убить? Ты же знаешь, он маленький. Разве можно так на него сердиться?

Вопли Дипо утихли, и Джозеф вышел из дому. Должно быть, мне это кажется, но нет, он нарочно обходит меня подальше. Его слова развеяли все сомнения. Чтобы быть как можно язвительней, он говорил куда-то в сторону.

— Я думаю, старший брат доволен собой,— он обращался ко всем и ни к кому.— Не понимаю, с чего это мы всполошились. Надо было позволить ему убить брата — он ведь хотел! Шши-о? — зашипел он.— Некоторые люди не умеют себя вести как старшие.

Дикая Христианка утихомирила его, но я не видел разницы в их отношении ко мне. Меня потрясло одно-единственное обстоятель-

[1] Хватит, хватит.

ство — в мире взрослых не было ни логики, ни справедливости. Я-то считал, что обиженный — я. Я до сих пор не вполне сознавал, что произошло. Разве что меня с силой оторвали от визжащего комочка, который был моим братом. Но я достаточно ясно помнил, что столкновение вызвал не я. Вместе со всеми я улыбался проделкам Дипо, пока он не бросился на меня как ракета. В чем же я виноват? И все-таки, несомненно, весь мир сообща обвиняет меня в попытке братоубийства, и мне негде искать сочувствия.

Что бы там ни было, случившееся послужило поводом Дикой Христианке сделать мне соответствующие внушения. После обычных вечерних молитв она призвала меня в свою спальню, и, как всегда, когда кто-либо из детей нагрешил по мелочи или чудовищно, поставила меня на колени, и заставила еще раз молиться вместе с собой. Потом она предупредила меня, что нельзя позволять дьяволу становиться между человеком и природной любовью к семье. Так легко сделаться одержимым, сказала она. Она столько раз повторила «эми эсу», что я подумал: а и вправду не вселился ли в меня дух дьявола. Был же момент, когда я себя не помнил.

Дипо всегда был нашим с Тину любимцем. Его веселость и сила неустанно нас забавляли. Кроме того, он считался слишком маленьким для наказаний, и мы навешивали на него много наших грешков. Он всегда был готов признать, что это он разбил вазу, которую в драке уронили я или Тину, или что это он не закрыл калитку, в которую вошли козы. Очень быстро он поумнел и стал требовать мзду — кусок мяса, конфету или лишний ломоть ямса. Он так навострился вымогать вознаграждение — предпочтительно, наперед,— что мы решили, что он вскоре станет заправлять лавкой Дикой Христианки и сядет в тюрьму за спекуляцию. Неужели же этот Дипо так разъярил меня, что я не сознавал, что делаю? Эта мысль меня не на шутку тревожила.

Наконец, от Джозефа и других я услышал, что я избивал Дипо долго после того, как он плача упал и перестал защищаться. Все это я с жаром отрицал. Но ведь был во мне «эми эсу», которого Дикая Христианка изгоняла непрестанными молитвами; мог он без моего ведома овладеть мной? Если бы знать, что в тебя вселяется дьявол, можно было бы сопротивляться? Я давно утратил веру в действенность молитв Дикой Христианки. О некоторых из своих подопечных она молилась денно и нощно. Она водила их в церковь и молилась о них вместе с ними, изобретала предлоги, чтобы вытащить их вперед и помолиться над ними у алтаря. Они продолжали красть, врать, драться и делать все то, против чего возносились молитвы. Если грешник и опекунша располагали целой церковью и Господа Бога не отвлекали голоса других людей, тогда, должно быть, неисправимость была могущественнее молитв. Я не сомневался, что самой Дикой Христианке молитвы весьма помогают; сияя, она утверждала, что ни одна из них не осталась без ответа. Другое дело все мы, допускающие в себя «эми эсу», так что даже она не может его изгнать.

Я решил впредь быть осмотрительнее и по меньшей мере удерживаться от самозабвенной жестокости. Разумеется, мне в голову пришло и менее тревожное объяснение — я набросился на целый мир мучителей, и несчастный Дипо с неуместным танцем войны лишь подвернулся мне под руку. Было и другое утешение. Я нетерпеливо ждал мнения Эссе о случившемся. Ему ничего не сказали. У меня осталось твердое убеждение, что было сделано все, чтобы он ничего не узнал.

VIII

В дом пришли рабочие. Они вбивали в стены ряды тонких гвоздиков с узкими шляпками. Провода на гвоздиках огибали углы и двери и, выйдя на улицу, соединялись с проводами на высоких столбах. Рабочие к нам вторгались не в первый раз. После первого раза нам по край-

ности в доме больше не нужны были керосиновые лампы, коптилки и свечи. Мы нажимали на выключатель — и комнату заливал свет. Эссе строго-настрого запретил прикасаться к выключателю — только по приказу его или Дикой Христианки. Я вспомнил, что мы не сразу связали сияние лампочки с выключателем, ибо Эссе тщательно оберегал тайну. Он делал вид, что это колдовство, обращал наши взгляды на стеклянную лампочку и бормотал заклинание. Потом он торжественно провозглашал:

— Да будет свет.

Потом он дул в сторону лампочки, и свет гас.

В конце концов мы поймали его. Нетрудно было заметить, что он всегда стоял на одном месте и что это место находилось рядом с черно-белой штучкой, которая осталась на стене после ухода рабочих. Строгости все равно продолжались. Волшебный свет дорогой, и пользоваться им надо с умом.

И вот рабочие снова тянут шнуры по стенам, и мы гадаем, что принесет нам новое колдовство. Нет ни лампочки, ни новых выключателей. В дом внесли большой деревянный ящик и поставили его на комод, вытеснив граммофон, которому пришлось довольствоваться нижней полкой. Передняя стенка ящика была затянута как бы толстым складчатым шелком.

Делал он то же, что граммофон. Правда, теперь не нужно было ставить пластинку, накручивать ручку или менять иголку — чтобы появился звук, требовалось только слегка повернуть круглую шишечку. В отличие от граммофона ящик отказывался говорить или петь в любое время дня. Он начинал рано утром с «Боже, храни короля». После полудня он умолкал и вновь начинал ближе к вечеру, а в десять или одиннадцать еще раз играл «Боже, храни короля» и засыпал.

Из-за того, что ящик все время говорил и вроде бы не нуждался в ответе, он скоро заработал имя асоромагбеси[1]. К стишку, сочиненному при появлении электричества, прибавилась еще одна строчка. Стишок с изрядным опозданием отдавал дань Лагосу, который первым нарушил монополию царей на зонтик [2]:

Электирики ина оба
Амбрелла элóко
Асоромагбеси иро ойинбо [3].

В определенные часы ящик передавал ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ. Последние известия вскоре стали объектом поклонения для Эссе и его друзей. Что-то случилось с дискуссионным клубом. В урочный час члены его, что бы они ни делали, устремлялись в наш дом слушать Оракула. Достаточно было взглянуть на лицо Эссе, чтобы понять, что шкуру спустят с любого ребенка, который подаст голос во время Последних известий. Когда при этом присутствовали его друзья, наша темноватая гостиная напоминала святилище — завороженные вслушивающиеся лица, затаенное дыхание. Голос из ящика умолкал, и лица одновременно поворачивались к жрецу. Поразмышляв с минуту, Эссе кратко или пространно комментировал сообщения, и начиналось возбужденное гудение голосов.

Граммофон впал в немилость. Голоса Денге, Айинде Бакаре, Эмброуза Кемпбелла; голос такой глубокий, что я заподозрил фокус с «Голосом ее хозяина», но отец сказал, что это настоящий голос черного человека по имени Поль Робсон,— все они были преданы пыли, собиравшейся на граммофонной полке. Рождественские гимны, песни Ма-

[1] Тот, кто говорит и не ждет ответа.

[2] Зонтик для защиты от солнца раньше носили только члены местных царских семей. *(Прим. перев.)*

[3] Электричество, правительственный свет,
Зонтик для лагосской элиты,
Радио — вранье белых.

риан Андерсон; курьезы вроде пластинки, на которой с начала до конца кто-то хохотал; и единственное исключение для европейских голосов — «Хор Аллилуйя»,— все навсегда были сосланы на нижнюю полку. Теперь непрошеные голоса пели из нового ящика. Однажды сквозь ткань на лице ящика пробился наш старый друг «Хор Аллилуйя», и нам пришлось признать, что он звучал чище и полноценней, чем на граммофоне. Самым непонятным из того, чем кормило нас радио, были семейные перебранки, которые каждое утро передавались на потеху толпе, сотрясавшей хохотом ящик. Мы пытались представить себе, как это происходит. Что это — семья выносит свои бесконечные свары на улицу или это толпа бездельников окружила их дом, глядит в окна и подливает масла в огонь? Мы пытались вообразить, что в таком положении находится одна из семей Аке — невообразимо, немыслимо. Лишь по прошествии времени и в результате внимательного слушания я заподозрил, что эти ежедневные сцены не так непохожи на короткие пьески, которые мы разыгрывали в школе в дни раздачи наград. И до меня постепенно стал доходить их чужестранный юмор.

В ящике монополистом был Гитлер. У него была отдельная собственная программа, и как ни далека была устроенная им война, она все больше и больше втягивала нас в свою грозную орбиту. С каждым днем Гитлер приближался к нашему дому. Очень скоро «Мы победим!» вытеснило все приветствия, какими, встречаясь, обменивались Эссе и его друзья. Местные парикмахеры изобрели военную стрижку, которая присоединилась к «Бентиго», «Девушки, за мной», «Оджу-Аба», «Миссионерской прическе» и прочим. Женщины вплетали «Мы победим!» в косы, а на базарах в ответ на крики о нехватке продуктов научились выкликать то же «Мы победим!». Эссе и его корреспонденты изощрялись в многократном использовании одного конверта. На окна повесили черные шторы с маленькими отверстиями в углу, наверно, чтобы загодя увидать, что по дорожке идет Гитлер. Глав семейства тащили в суд и штрафовали за незанавешенное окно. Усиливая напряженность атмосферы, над Абеокутой пролетел первый самолет; его грузный гуд говорил об Армагеддоне и загонял христиан бегом в церковь молиться об отвращении гнева Господня. Другие просто закрывали двери и окна и ждали конца света. Только заранее знавшие о чуде да толпы мальчишек с восторгом глядели в небо, бежали по полям и дорогам, следуя за летящим чудом насколько было возможно, выкрикивали приветствия и махали ему рукой долго после того, как оно скрылось, и дома ждали его нового появления.

Однажды утром Последние известия сообщили, что в лагосском порту взорвался корабль, причем погибло сколько-то человек команды. Взрыв сотряс остров, повыбил окна и снес крыши. Вся лагуна была в огне, лагосцы толпились на берегу, удивляясь странному предзнаменованию -- высокие языки пламени бешено плясали на поверхности воды. Гитлер вправду был недалеко. И все же никто точно не знал, что делать, когда он наконец появится.

За исключением Паа Адатана. Каждое утро Паа Адатан приходил в лавку Дикой Христианки напротив Аафина, чьи стены он обходил целый день. К его поясу было прицеплено длинное мачете в ножнах и связки амулетов. Небольшой кинжал хауса, тоже в ножнах, был привязан к левой руке выше локтя, а на пальцы были надеты черненые кольца из витой медной проволоки — мы знали, они разных видов и назначений — онде, акараба и другие. Если бы Паа Адатан ударил противника одной рукой, тот должен был бы упасть к его ногам с пеной у рта. Другая рука предназначалась для тех случаев, когда врагов было много. Тогда Паа Адатан ударял одного или двух, и все нападающие тотчас же начинали биться друг с другом. Связки амулетов у пояса делали так, что пуля отскакивала от него и поражала стрелка в то место, в какое он хотел поразить бессмертного воина Адатана.

Паа Адатан ходил дозором в районе Аафина; он возмущался, что

никто не берет его в армию и не посылает на личное противоборство с Гитлером, чтобы кончить с войной раз и навсегда.

— Ах, мама Воле, эти люди-англичане хотят всю славу себе. Они не хотят, чтобы человек — черный одним махом пришиб дурака Гитлера, ей-ей! Ну подумайте, мама. Гитлер бомбит нас — Лагос, а они не могут нас защитить.— Он яростно плевался красной от колы слюной.— Пусть придут, мама, они узнают, что есть черный человек — колдовство. Я положу их тела вдоль стен этого дворца. Они еще узнают — скажут, что мы здесь за них победили — раньше, чем они победят за свою дурацкую страну. А-гм, мама...— Он рылся в глубоких карманах.— Мама Воле, я забыл кошелек, гм, послушайте, я, большой человек, забыл кошелек в доме. И я не ел ни куска со времени утра...

Из руки в руку переходило пенни. Паа Адатан извлекал свой меч и проводил им черту перед лавкой.

— Это если они придут, когда я ем эба на бука. Когда они перейдут черту, их ружья станут метлами. Они будут мести эту землю, пока я приду. Пусть метут — позовите меня.

Один раз я пошел за Паа Адатаном посмотреть, как он завтракает. Торговка заранее знала, что ему нужно, и поставила перед ним миску с четырьмя непомерными завертками эба и маленький кусок мяса, возвышавшийся, как островок, над морем подливки. Паа Адатан не трогал мяса, пока не съел эба,— каждая завертка больше, чем то, что я ел на завтрак. Подливки тем временем тоже не стало больше. Паа Адатан кашлял, перхал, но женщина не обращала внимания. Наконец он не выдержал:

— Гм, Ийаво.

Молчание.

— Ийаво.

Торговка сердито повернулась к нему:

— Ты хочешь меня разорить. Каждый день одно и то же. Если бы каждый глотал подливку, как ты, на что жила бы торговка эба, как я?

— Ах, не сердись, Ийаво. Тут просто мало подливки для «Мы победим!».

Она повернулась на стуле, черпак уже полный, и выплеснула содержимое в его миску.

— Чтоб ты не плакался. Каждый день одно и то же.

— Господь с тобой, Господь с тобой. Ох этот выродок Гитлер! Ты увидишь, когда война кончится. Ты увидишь, какой я сам себе человек!

Женщина фыркнула — она это слышала много раз. Расправившись с эба, Паа Адатан поднял мясо, и швырнул себе в рот, и поймал зубами, точно собака. Пока он жевал, на его скулах гуляли желваки и шея вздувалась. Потом он стукнул кулаком по столику и бросил вызов:

— Пусть приходит! Подойди ко дворцу алаке, и я откушу тебе голову!

Он встал и подтянул веревку, державшую штаны.

— Кстати, Ийаво, если они придут, ты не бойся. Я ем свой бука и защищаю Аафин, лавку жены директора, «Дворец Столетия», моего друга парикмахера и табачную лавку Ийа Анивуры. Если какой-нибудь Гитлер-человек подойдет к тебе, он понюхает перца. Скажи им, что говорит папа Адатан.

Голова гордо поднята, грудь колесом, он снова пошел дозором.

Однажды на улице перед лавками остановилась колонна армейских грузовиков. Тотчас же дети и женщины разбежались во все стороны, матери хватали в охапку своих и чужих малышей. Мужчины отступили в дома и лавки и выглядывали оттуда, готовые броситься в бегство или молить о пощаде. Ибо в грузовиках были не регулярные солдаты из казарм в Лафенве. Судя по фуражкам, в них были «боте» — они имели дурную славу. Говорили, что они из Конго, что они дикие и буйные. Божились, что они нападают на лавки, хватают все что им нужно и не платят, похищают женщин и детей, женщин насилуют, а детей

едят. Назвать кого-нибудь «боте» было непростительное оскорбление, ждать, что они приблизятся,— верх безрассудства.

Я находился в лавке с Дикой Христианкой, которой, разумеется, не было дела до того, что говорят о боте. Так как лавки поблизости были закрытые или пустые, они все пришли к нам и попросили продать им печенье, сигареты, консервы, выпивку и конфеты. Я залезал на высокие полки и передавал кувшины Дикой Христианке. Неожиданно до меня донесся звук, похожий на рыкание дюжины разъяренных львов. Над солдатскими головами вверху дверного проема я увидел Паа Адатана, «Победа или смерть» изображалось на его лице. Он был голый до пояса, его необъятные штаны были задраны выше колен. В правой руке он держал меч, в левой — сере [1]; он бормотал заклинания и описывал сере медленные круги.

Солдаты повернулись, уставились на него, начали переглядываться.

Дикая Христианка прекрасно все слышала и понимала, но не обращала внимания.

— Выродки! — проклял их Паа Адатан.— Звери из никакого народа! Боте банза. Вы не лучше Гитлера. Выходите из лавки, бейтесь со мной как мужчины!

Солдаты вроде бы не понимали ни слова, но жесты были красноречивые. Они перешептывались на своем непонятном языке, поднимали брови, пожимали плечами. Потом они вернулись в лавку и вновь принялись за покупки. Трое или четверо остались на страже на мостовой перед лавкой.

Перед Дикой Христианкой стеной стояли солдаты, и она не видела Паа Адатана. Его проклятия встревожили ее, и она послала меня посмотреть, что происходит.

— Сейчас он пляшет,— доложил я.

Действительно, Паа Адатан начал танец войны. Он пел во всю глотку:

Огун Гитила д'Аке
Эни ла о па боте[2].

Несколько солдат у дверей наблюдали за ним, остальные скупали в лавке все съедобное. Дикая Христианка подняла цены, по меньшей мере в два раза, но солдаты не возражали. Более того, они даже подарили мне пачку своего собственного печенья, оно было толстое, сладкое и хрустящее. Мы говорили на языке знаков, вовсю улыбались друг другу, размахивали руками и поводили плечами.

Беда произошла, когда они выходили из лавки. Паа Адатан оборвал песнь, провел на земле черту и предложил им ее перейти. Сам он то отскакивал от черты, то с занесенным мечом подбегал к ней, ставил на нее ногу, несколько мгновений покачивался, затем отскакивал назад, и все начиналось сначала.

Солдаты не понимали, что делать. Дикая Христианка протиснулась сквозь них и стала увещевать Паа Адатана:

— Хватит, Паа, хватит! Это наши друзья. Они едут воевать с Гитлером, а ты им мешаешь.

— Они боте,— ответил Паа Адатан.— Они и Гитлер — одно и то же. Посмотрите на них. Трусы! — Он угрожающе потряс сере.— Воры, верните все, что украли, а то я вам дам что передать Гитлеру.

Все кончилось быстро. Двое из солдат, остававшихся в грузовиках, подкрались к Паа Адатану сзади. Они схватили его за руки и отняли меч и сере. Паа Адатан сопротивлялся как подобает настоящему воину. Он сбросил их, попытался пробиться сквозь захлестнувшую его волну тел, упал и других потащил за собой, но даже на земле не прекратил сопротивления. Кулаки в ход не шли, это борьба, титани-

[1] Маленькая тыковка, наделенная волшебными свойствами.

[2] Гитлер привел войну в Аке,
Сегодня убьем этих боте.

ческая борьба. Паа Адатан сознавал, что безопасность всего Аке зависит от его рук, ног и груди. Его захватывали, как пересеченную местность,— дерево за деревом, холм за холмом, скалу за скалой. Они уселись на его руках и ногах, потные, тяжело дышащие, они отдавали приказы и ругались на непонятном языке. Они принесли веревку и связали его. Но и тут он не сдался.

Солдаты стояли кольцом, они отирали лбы и смотрели на него. Они удивлялись, качали головами, искали объяснение на лицах, которые одно за другим высунулись изо всех углов, окон и дверей, когда Паа Адатан начал представление. Но никто не знал их языка, и некоторые лишь кивали, когда солдат касался пальцем лба и поднимал брови.

Связанный Паа Адатан ухитрился сесть, он посмотрел на победителей и покачал головой:

— О ма се о[1]. Слава эгба лежит в пыли.

На шум из дворца выбежали огбони. Их вид показал солдатам, что они имеют дело с какой-то властью, поэтому мимикой и жестикуляцией они передали им ответственность за Паа Адатана, равно как его меч и сере, залезли назад в грузовики и уехали.

Тут начались споры. Надо ли звать полицию? Безопасно ли развязывать Паа Адатана? Не отвезти ли его в сумасшедший дом в Аро? Люди кричали во весь голос, а связанный Паа Адатан бесстрастно сидел на земле.

Наконец Дикая Христианка не выдержала. Она вышла из лавки и, призвав меня на помощь, стала развязывать Паа Адатана. Люди тотчас же закричали от страха и возмущения. Один мужчина попробовал помешать физически. Она выпрямилась, подбоченилась и предложила ему дотронуться до нее еще раз. Я ощетинился у ее юбки и обзывал мужчину такими словами, за какие при других обстоятельствах схлопотал бы от Дикой Христианки хорошую оплеуху. Вождь огбони отогнал мужчину и сам развязал оставшиеся узлы.

Освобожденный Паа Адатан медленно поднялся на ноги. Толпа отступила на несколько шагов. Он протянул руку за мечом и вложил его в ножны. Затем он взял сере, бросил его на землю и с размаху наступил на него. Взрыв был громкий, испуганная толпа отступила еще дальше. А он медленно пошел прочь. Он шагал с грустным, спокойным достоинством. Он уходил по направлению к Ипоро, уменьшался на дороге, изгибавшейся вниз, и исчез за поворотом у «Дворца Столетия». Больше я его не видел.

Примерно в это же время навсегда исчез еще один персонаж. Эссе и Дикая Христианка собирали приблудных. Словно в Аке так полагалось. Без предупреждения, ниоткуда к нам являлся взрослый человек, входил в нашу жизнь и потом исчезал без объяснений. Иногда к внезапному исчезновению приблудных Эссе имела касательство мама.

Большую часть дня Дикая Христианка проводила в лавке, и некоторые из приблудных Эссе находили разумным досаждать другу своему и покровителю именно в эти часы. Перед уходом она проверяла, стоит ли на столе завтрак мужа — шарики акара и оги; мойн-мойн и агиди; хлеб, яичница, чай, или вареный ямс с яичницей, или жаркое из рыбы — одно или несколько этих блюд составляли завтрак. Но самое вкусное блюдо, самый редкий деликатес был леки — пюре из очищенной пестрой фасоли с маслом из дынных семечек. Из-за одной чайной ложечки леки среди нас возникала вражда на неделю. Домашние признавали — если я занимаю свой наблюдательный пункт за комодом, мне полагается все, что останется в его миске. Пока он не позавтракает, еда считалась неприкосновенной. До той поры, когда к нам явился То-Есть-Я-Сам.

Мы все выучились передразнивать его ни с чем не сравнимый выговор, чем забавляли себя и Дикую Христианку, а что до ее подруг, то они от хохота падали. Странным образом, я считал появление Я-Са-

[1] Какой позор!

ма в нашей жизни достаточной наградой за исчезновение лакомых кусочков, которые отец оставлял в миске, видя, как я гляжу из-за комода. Конечно, было особенно тяжело, когда подавался леки, но в общем постоянное обновление нашего репертуара за счет изысков его произношения и хлопания глазами более чем окупало приносимые жертвы. Мы с Тину, двоюродные и потом Дипо боролись за право воспроизвести новые вариации испуганного удивления обычным любезным вопросом:

— Вы завтракали?

— Я сам? Нье-ет.

Он был низкорослый, с довольно светлой кожей, с маленькой, кубиком, головой. По заведенному распорядку дня мистер Д. каждое утро присутствовал при начале занятий в школе, и затем возвращался домой, и неторопливо завтракал. К этому времени Дикая Христианка уже была в лавке. Я-Сам заявлялся перед отходом отца в школу и в доме ждал его возвращения. Он сидел под фарфоровыми часами в передней комнате и почитывал с пятого на десятое случайную книгу или журнал. Когда мамы не было в городе, он возникал еще раньше, даже в то время, когда папа занимался гимнастикой. Мы прятали наши смешки подальше от мистера Д., прекрасно зная, каковы будут последствия неуважения к гостю. Потом, конечно, мы передразнивали его в открытую.

И вот из спальни, из ванной, от розовых кустов или из школы отец приходил в переднюю комнату, учтиво приветствовал гостя и приступал к делам. Иногда, особенно во время каникул, он подолгу просиживал за письменным столом и только потом приступал к уже остывшему завтраку. Иногда он беседовал с гостем, шутливо или с чувством обсуждал с ним политические события, военные новости или слухи и какие-нибудь местные беспорядки. Мы терпели. Иногда, не дождавшись действий Я-Сама, мы посылали кого-нибудь напомнить отцу, что завтрак готов. Или спросить, не надо ли подогреть его оги или бобовую похлебку. Конечно, мы не сомневались, что он понимает причину нашей заботливости, тем не менее он реагировал как ни в чем не бывало, осведомлялся, что сегодня на завтрак, и потом, прежде чем заказать еще одну порцию мойн-мойна или акары, спрашивал гостя:

— Вы завтракали?

Пока Эссе планировал завтрак, Я-Сам все глубже зарывался в журнал; теперь он резко вскидывал испуганное лицо и глядел в любую сторону, только не туда, откуда донесся вопрос. Неожиданно он осознавал ошибку, поворачивался к вопрошавшему и наглядно осознавал, что вопрос удивительным образом обращен к нему. Такого вопроса, несомненно, он отродясь не слыхал, у него спирало дух, а на лице появлялось огромное удивление. Лишь теперь раздавался долгожданный ритуальный ответ:

— Я сам? Нье-ет.

Первая половина ответа звучала отрывисто, несмотря на длинные гласные. Вторая половина, «нье-ет», наоборот, уплывала вверх, как мяуканье нашей кошки, и, должно быть, именно это заставляло нас умирать от хохота и утыкать лица в мягкие спинки кресел, за которыми мы прятались. То-Есть-Я-Сам опять погружался в чтение, отец — в работу, пока не объявляли, что вторая порция подана. Тогда Эссе поднимался и вместе с гостем торжественно проходил в столовую, где, демонстрируя манеры, столь же изысканные, как у хозяина, Я-Сам доказывал, что элегантность в еде отнюдь не мешает лютой прожорливости — эту ложную идею чуть не поселило в нас поведение Эссе за столом. И тут я снова спрашивал себя: стоит ли эфемерное развлечение таких материальных жертв — особенно в дни, когда мы лишались остатков фасолевого пюре с маслом из дынных семечек.

Дикая Христианка обычно накладывала еду себе и мужу в одну миску, даже когда она ела раньше. В еде у нее была своеобразная

эстетика. Определенные блюда шли только в предназначенную для них посуду, и леки всегда подавался в лодкообразном светящемся от белизны фарфоровом блюде с цветочками. Она заполняла его на три четверти и, прежде чем подать на стол, аккуратно отирала края. Так как в лавке она была с раннего утра, завтрак ей приносили туда, настоящий завтрак. Ибо Дикая Христианка с желудком своим не шутила. День ее начинался с пробного завтрака, предзавтрака, который количественно равнялся тому, что отец съедал за все утро. Затем по подробным инструкциям служанка готовила ей настоящий завтрак. Часами двумя позже она приступала к закуске, так сказать, к подкреплению завтрака. Закуска состояла из всего, что оставалось от папиного завтрака плюс все, что привлекало ее у соседних торговок едой. В дни леки она с нетерпением ожидала третьего, подкрепительного завтрака.

Увы, в один прекрасный день подкрепительного завтрака не оказалось — из-за Я-Сама.

До сих пор То-Есть-Я-Сам был домашней шуткой. Дикая Христианка, которая то торговала в лавке, то собирала долги, то разъезжала по окрестностям за товарами, всерьез с ним не познакомилась. Наше передразнивание его причуд до того вошло в домашнюю жизнь, что Дикая Христианка даже звала Эссе посмотреть на нас. И вот все переменилось. Дикая Христианка была терпеливой. Она завела разговор без нажима, между прочим, как всякая жена, у которой почему-то нарушился распорядок дел и которой просто любопытно узнать, отчего это произошло. Ближе к концу ужина она спросила:

— Надеюсь, сегодня утром леки был вкусный?

Тем утром отец вернулся из школы, но, прежде чем он сел за завтрак, его призвали назад. За столом он оставил гостя, который доел весь леки и даже вылизал блюдо. Возмущенная Нуби наябедничала о беспредельном обжорстве Дикой Христианке.

Мистер Д. даже не знал, что было на завтрак.

— О, разве был леки? Я сказал детям, чтобы они дали мне что-нибудь. Мне пришлось бежать в школу...

Она изобразила удивление.

— Какие они глупые. Я приготовила для тебя леки. Джозеф!

Вбежал Джозеф.

— Джозеф, где тот завтрак, который я приготовила для твоего отца? Почему его не было на столе?

Папино «гм-гм-гм-гм-гм» заглушил звонкий голос Нуби:

— Мы поставили его на стол, ма. Папин гость все съел.

Ее глаза округлились:

— Что? Ты не сказал мне, что у тебя был дорогой гость. Я бы приготовила побольше.

— Ничего-ничего. Когда я вернулся домой, есть мне уже не хотелось.

Они вновь принялись за ужин. Через несколько минут она спросила:

— А кто это был, дорогой мой? Я его знаю?

— А-гм... старый друг. Ты его не знаешь.

— Это какой-то странный друг,— она добродушно покачала головой.— Ты хочешь сказать, что твой друг съел твой завтрак и не оставил тебе ничего?

— О, это неважно.— Эссе пытался прекратить разговор.— Дети меня накормили.

Дикая Христианка была слишком дипломатична, чтобы распространяться на неприятную тему. Она сделала предупреждение. Когда она соберется с силами, она разделается с обнаглевшим другом.

В летние каникулы он торчал у нас целыми днями. Дожди служили ему оправданием — если он в нем нуждался,— иногда лило безостановочно по неделям. Никому бы в голову не пришло выставить гостя в такую погоду, да и Я-Сам не слишком стремился уйти. Он оставался

на обед, потом на ужин — когда мама была в отъезде или не поспевала к ужину Эссе. Но тут наступил конец.

Дикая Христианка оставила обед для Эссе, себя и одного-двух неожиданных посетителей. Я-Сам к этому времени не был в наших глазах гостем, поэтому, когда она пришла домой, увидала пустые миски и спросила, кто приходил к Эссе, мы искренне сказали: «Никто». Самого Эссе еще не было дома.

— Вы, дети, что, хотите сказать, будто папа один съел все, что было во всех мисках? — угрожающе спросила она.

Подняв брови, как делал Я-Сам, мы пропели хором:

— Папа сам ? Нье-ет.

— Ясно,— выдохнула Дикая Христианка.— Опять он.

И мы пустились в новейшие вариации на тему:

— Вы не желаете пообедать?

— Я сам? О, не, правда-а. Но может быть, вы-ы...

— В таком случае давайте пообедаем.

— О, гм... да-а, директор.

— Не подумываете ли вы об ужине?

— Я сам... о, гм... нье-ет, но если...

— Посмотрим, что дети поставили нам на стол...

Дикую Христианку это больше не забавляло. В ее глазах вспыхнул огонь войны, и нам стало жалко Я-Сама, который из-за безмерной жадности лишил нас того удовольствия, какое мы извлекали из его чудачеств. Дело даже не в том, что он не дал ей отведать ее собственной готовки. Она знала, что Эссе сам ест мало, а с гостями отменно предупредителен. Из этого вытекало, что он явно недоедает. Когда они уселись вдвоем за стол, она взглянула на отца и спросила:

— Дорогой, ты уверен, что тебе хватает еды?

— Конечно. Что, я кажусь голодным?

— Нет, но... Вот что, завтра я сделаю тебе ямсовое пюре, которое ты так любишь. Что ты скажешь?

— Какое пюре?

— С окорой, жидковатое. И, конечно, с копченой свининой, которую Отец прислал из Исары...

— Ах да, да.

— Дорогой, ты меня слушаешь? Я хочу, чтобы ты наелся досыта.

— Хорошо. Ладно. Завтра я никуда не собираюсь. Да, это хорошая мысль.

Короткое молчание. Она приступила к сути:

— Ты ждешь кого-нибудь завтра к обеду?

Наш шепот был нарочито громкий:

— Я сам? Нье-ет.

Мистер Д. сделал вид, что не слышит.

— Не-е-ет. Никого. Конечно, может зайти мистер Аделу, но... Нет, я никого не жду.

— Хорошо, если все же кто-нибудь будет к обеду, пошли за мной в лавку, ладно? Я тогда что-нибудь быстро приготовлю, а пюре оставлю на вечер. Я делаю его специально для тебя, и, в конце концов, свинину прислал из Исары Отец!

— Да-да, разумеется. Как хочешь.

И еще она пошепталась с Нуби. Как только Я-Сам явился, Нуби стремглав помчалась за мамой и осталась за нее в лавке. Мы выжидали в передней комнате, уткнувшись в домашние задания. Мы не перевернули ни единой страницы. Пришла Дикая Христианка. Я-Сам подпрыгнул в кресле, образец старомодной учтивости. Он низко склонился над ее рукой:

— Доброе у-утро, мадам.

С легкой улыбкой мама ответила на приветствие. Эссе на другом конце стола подавил намек на улыбку — он прекрасно распознавал мамины игры. Мы поняли, что он пустит дело на самотек.

— Я подумала, что лучше сама подам тебе это пюре,— объяснила она.— Дети все могут испортить, а Отец прислал эту роскошь тебе, а не кому-то.

— Но лавка...

— А, Нуби теперь справляется почти со всем. И вообще, какая сегодня торговля — в такой дождь. Ладно, я сейчас все приготовлю.

Ничто не выдало заинтересованности Я-Сама, он сидел, глубоко погрузившись в книгу. Под столом мы щипали друг друга. Каков стратегический план ее действий?

Кухонные звуки и ароматы доносились до передней комнаты, но вряд ли у кого из нас текли слюнки. Мы склонились над учебниками, а глаза наши были устремлены на человечка, сидевшего в кресле. Наконец из кухни громко позвали:

— Воле-е!

— Ма.

Пока я выбирался из-за стола, меня со всех сторон подталкивали локтями, как бы говоря: вот оно, началось. Проходя столовую, я увидел накрытый стол на двоих. В стороне стоял подносик с блюдцем печенья и стаканом.

— Пойди спроси джентльмена, что он предпочитает — эль или апельсинный сок.

Я сделал как было велено. На этот раз изумление было искреннее.

— Я сам? Эу, не важно-о. Скажи мадам, что угодно, благодарю.

Дикая Христианка сделала выбор за него. Она передала мне подносик и пошла следом. Это было ни на что не похоже. Я-Сам опять выпрыгнул из кресла. Я поставил подносик рядом с ним.

— О, мадам добрая, такая добрая. И вы должны мне помочь поблагодарить и директора. Мистер Шойинка самый очень гостеприимный, истинный джентльмен.

— Ну что вы, стоит ли,— сладко улыбнулась она.

— Нет, я должен, я должен. Сострадательная душа редких достоинств.

Мама позволила ему пуститься в любезности еще минут на пять, а потом перебила:

— Я надеюсь, вы его извините, он скоро освободится...

— Конечно, мадам, разумеется...

— Нам надо обсудить некоторые семейные дела...

— О-о-о, о-о-о...

— Семейные дела,— она улыбнулась и взглянула на отца. — Дорогой мой, я знаю, сегодня ты очень занят, может быть, мы обсудим все за обедом?

Я уже сидел на своем месте. Двоюродный написал в своей тетрадке 10/10 — оценив ее работу на сверхотлично, с чем мы все согласились. Эссе встал и, признавая поражение, пробормотал: «Простите». Я-Сам опять вскочил на ноги: «Что вы, что вы» — и не садился, пока они оба не вышли из комнаты.

Она продержала Эссе в столовой почти два часа, вырывая из-под земли все возможные темы. Я-Сам с обычной изысканностью жевал печенье — оно исчезло с противоречащей его манерам быстротой, тайну которой мы безуспешно пытались понять долго после его исчезновения из нашей жизни. Конечно же, он не сдался сразу. Он объявлялся и завтра и послезавтра, но его противница распорядилась, чтобы немедленно посылали за ней. Она теперь входила через заднюю дверь, так что Я-Сам узнавал, что она дома, лишь когда она выкликала кого-то из нас. За этим следовал подносик с печеньем и апельсинным соком. Она больше не появлялась в передней комнате, а просто передавала отцу, чтобы он «уделил ей минутку». Я-Сам до конца был воплощенной любезностью, рассыпался в благодарностях и принимал то немногое, что ему перепадало, как маленькую радость

жизни. Наконец он исчез окончательно, и в доме сделалось как-то скучнее.

Впервые мы узнали о существовании дяди Дипо, когда у нас во дворе неожиданно появился щеголеватый молодой офицер в очках. При виде его мы разбежались. Ничего подобного до сих пор не бывало, и, постоянно слыша тревожные вести с войны, мы не сомневались, что это пришел сам Гитлер, чтобы продать нас в рабство. Эссе был в отъезде, Дикая Христианка — в лавке; никто не предупреждал о возможном госте. Мы не слышали, как он проходил через парадную дверь, переднюю комнату и гостиную; мы умчались на верхний задний двор и забаррикадировались кто в сарае, кто в общей уборной. Мы с двумя двоюродными взбежали по приставной лестнице и распластались на крыше, готовые спрыгнуть на улицу, если Гитлер за нами погонится. Пока что мы на животах подползли к краю крыши и заглянули во двор.

Чужой человек никого не преследовал. Он стоял на месте и как будто слегка пошатывался. Глаза его сливались со стеклами очков, так что лицо его словно светило в две фары, как автомобиль. Его плавное покачивание только усиливало ощущение нереальности происходящего, и я подумал, что он, вероятно, призрак. И тут он задрал голову, более явственно покачнулся вперед и назад и выкрикнул:

— Выродки! Где вы?

Незнакомый сделал несколько шагов по двору, ошибки быть не могло: пьяных мы видывали и раньше. Гитлер, призрак или сам дьявол,— незнакомый был несомненно пьян. Он двигался туда, куда мы убежали, и вдруг на глаза ему попался один из больших, врытых в землю кувшинов. Это был наш любимый кувшин. Его защищала стена и два роскошных кротона, в любое время дня вода в нем была прохладная, освежающая. Незнакомый подошел к нему, покачнулся, расстегнул брюки и стал мочиться в кувшин.

Невиданное кощунство исторгло из нас вопль возмущения. Такого мы не в состоянии были даже вообразить. Бывало, подгулявший гость сбивался с дороги между двух розовых кустов, пытался попасть в переднюю комнату через кухонную дверь или даже терял равновесие, пытаясь расстегнуть ширинку в уборной. Но мочиться в питьевую воду!

Мы слетели с лестницы так же мгновенно, как и взлетели. Крича самые страшные ругательства, мы потащили его в сторону и изо всех сил замолотили по нему кулаками. Свободной рукой он легко стряхнул нас:

— Прочь, бирманские бесы!

Такого выражения я никогда не слыхал, но мне было некогда думать, кто такие бирманские бесы. Я с размаху прыгнул ему на спину, и он упал лицом прямо в кувшин, с которого соскочила крышка, я же перелетел через него и рухнул кучей между кувшином и стеной. Двоюродные схватили его за ногу и с воплями о помощи потащили назад. И соседи, и остальные дети, прятавшиеся на верхнем дворе, появились одновременно. Увидев распростертого над кувшином человека в военной форме, они отшатнулись. Я выбрался из опасного места и заорал во всю мочь:

— Это Гитлер! Он писает в наш кувшин!

Но «Гитлер» не шевелился. Когда соседи, набравшись храбрости, подошли и подняли его голову, он не подавал признаков жизни. Они оставили его лежать и поставили караул.

Вскоре из лавки примчалась мама — кто-то за ней сбегал. Она сразу узнала незнакомого и воскликнула:

— А я думала, он до сих пор в Бирме!

Соседи разогнали нас для соблюдения мало-мальской благопристойности и перенесли его на кровать. За ужином Дикая Христианка трясла головой и отказывалась отвечать на наши расспросы.

— Он ваш дядя,— заявила она.— Он пошел в армию, хотя вся семья возражала... Он всегда был дикий.— Она так и не назвала нам его имя.

Наутро, когда мы проснулись, дядя Дипо давно встал. Даже в штатском он выглядел элегантно и очень начальственно, он сидел на стуле Эссе и завтракал. Когда мы вернулись из школы, его уже не было. На все наши расспросы Дикая Христианка ответила только, что он неожиданно заехал к нам по пути на новое назначение. Из кувшина вылили воду, оттерли его песком, затем извели на чистку целую бутылку «Деттола» и оставили на несколько дней. Потом его заново вымыли мылом, хорошенько ополоснули и положили на солнце. Лишь после этого он вновь стал вместилищем прохладной воды, но я не мог пить из него без внутреннего содрогания.

Наш собственный Дипо, вырастая, делался все здоровее и непослушнее. И в один прекрасный день он исчез. В течение нескольких часов его отсутствия не замечали. Дома полагали, что он в лавке с Дикой Христианкой; она, разумеется, думала, что он дома. Он исчез вскоре после завтрака, когда его за какую-то провинность небольно отшлепали. Нашему братику открылся новый мир, мир, в котором били, ставили в угол носом и «унижали». По приказу «Унижайся!» провинившийся задирал левую ногу назад, наклонялся вперед и касался пола пальцем правой руки. В усугубление наказания левая рука была заведена за спину. Еще одно любимое наказание — стоять с руками, вытянутыми параллельно земле. Стоило руке дрогнуть, как на нее со свистом летела розга,— так же, как если «унижающийся» пытался незаметно сменить ногу, он получал несколько ощутимых ударов по спине. Одного из наших двоюродных за прегрешения постоянно «унижали». Он так привык к неудобной позе, что, будучи «униженным», засыпал.

То, что всех детей в доме подвергают разным наказаниям, Дипо считал совершенно естественным. Запуганные умоляли его признаваться в чужих грехах, потому что для наказаний он был слишком мал. И когда он достаточно вырос, он не сразу осознал, что это конец его неприкосновенности. Поэтому первое наказание он, должно быть, счел за ошибку. Его наказали еще несколько раз, и он понял, что заколдованное существование кончилось навсегда. Дипо исчез. В доме воцарился ад, пока через несколько часов его не привел назад некий пассажир. Пробродив полдня по Абеокуте, Дипо набрел на автостанцию. Когда он попытался влезть в кузов грузовика, и водитель и пассажиры не могли не заметить, что он маловат для самостоятельного путешествия. Началось дознание, послали за полисменом, заманили путешественника в соседнюю лавку и, наконец, отправили домой в сопровождении сердобольного пассажира.

Что об этом подумали родители, мы не знали и не стремились узнать; для всего остального дома Дипо немедленно стал героем. Когда Эссе и Дикая Христианка ввели его в комнату, мне сделалось за него страшно. Такого беззащитного подвергли таким опасностям! Неужели же и теперь родители по каждому пустяку будут пускать в ход розгу? Ничего не переменилось. Что касается Дипо, то назавтра он неутомимо отплясывал по всему дому как ни в чем не бывало. Ни само приключение, ни его последствия не повлияли на его привычную веселость. Мы стали смотреть на него как на существо особое, неукротимое, непобедимое. Примерно через год, через много месяцев после посещения таинственного дяди, Дикая Христианка объявила, что Дипо переименовывается в Феми. Она объяснила, что давно об этом подумывала, потому что мальчики по имени Дипо вырастают

дикие и непокорные. Перемена имени мало кого взволновала, я же снова скрыл беспомощное изумление. Знают взрослые, чего хотят? Давно ли эта самая Дикая Христианка с помощью Джозефа и Нуби науськивала Дипо на меня? А теперь она меняет ему имя из-за того, что он слишком усердно следовал их советам! Я много недель размышлял над этой загадкой; новое имя брата непрестанно меня озадачивало.

Зато наш дядя-вояка наконец обрел имя. Пусть Дикая Христианка молчит — мне ясно, что его имя может быть только Дипо. Так же, как некто новый по имени Феми включился в нашу семью, дядя Дипо включился в шествие незнакомых людей, которые своим ярким появлением оживляли на миг нашу жизнь и навсегда исчезали. Его появление было самое краткое, но как у всякого настоящего Дипо непредсказуемое и бурное.

IX

Сопровождавшие нас женщины объясняли, что дети директора при встрече со старшими не припадают к ногам. Во избежание смертельной обиды объяснение повторялось во всех домах, которые мы обходили, приехав в Исару на рождество и Новый год. На улицах мы встречали родичей, друзей семьи, согбенных старцев, вождей, царедворцев, жрецов и жриц, старейшин осугбо — они насквозь пронзали нас взглядами и отступали на шаг, ожидая положенное приветствие. Нас представляли — дети Айо,— наконец-то мы были в таком месте, где имя Эссе произносилось как нечто само собой разумеющееся,— дети Айо, они только что приехали праздновать одун. Старец ждал, сопровождавшая нас женщина объясняла с улыбкой:

— Они не научены припадать к ногам, прошу вас, не обижайтесь.

Относились к этим словам по-разному. Некоторые трепетали при виде детей, которые, по слухам, разговаривают с родителями на языке белых; они спешили заверить, что и не думали ждать от нас старомодных приветствий. Другие — их было меньше,— особенно старики, чья кожа приобрела лоск темной эту [1], выпрямлялись, фыркали и уходили прочь. Когда их жалобы доходили до слуха одемо, царя Исары, он как мог успокаивал их. Может быть, родство с царским домом как-то оправдывало нашу невоспитанность, во всяком случае когда мы снова встречали тех же старцев, они были куда снисходительнее, не хмурились, а улыбались при виде странных созданий, которых сын их земли наплодил в чужой стране. И, может быть, они уже слышали о неприятном происшествии во дворце.

В первое воскресенье по приезде после церкви я пошел с Эссе во дворец одемо. В приемной комнате уже сидело несколько вождей и незнакомых, включая увешанного бусами человека в халате из асооке, явно не из Исары. Он держал себя и разговаривал так, как будто был братом старшим вождям и ровней одемо.

Мы вошли, одемо посадил меня на колени и стал расспрашивать, как я учусь.

— А-ах, омо Шойинка, ва нубе ва гбово [2],— как всегда, закричали люди и стали протягивать руки.

Кабийеси спустил меня на пол, и я пошел по кругу, пожимая руки. Увешанный бусами, подчеркнуто царственный человек стоял у буфета, лениво обмахиваясь веером. Он взглянул на меня с высоты своего огромного роста и рявкнул так громко, что я шарахнулся:

— Что это? Омо тани? [3].

— Омо Шойинка,— ответил хор голосов, указывая на папу, ко-

[1] Ткань ручной выработки, весьма ценная.
[2] Ах, сын Шойинки, иди сюда, пожмем друг другу руки.
[3] Чей это ребенок?

торый что-то уже обсуждал с одемо. Губы чужестранца искривились в усмешке. Тем же ошеломляющим басом он приказал:

— Добале![1]

Комната принялась добродушно увещевать:

— ...конечно, вы не знаете, они «ара эгба», дети учителя, они не научены припадать к ногам.

Глаза чужестранца метали огонь. Он посмотрел на меня, потом на Эссе, потом на вождей, опять на меня и в конце на одемо:

— А ПОЧЕМУ?

Я уже оправился от страха, который вызывали его вид и голос. Мне было просто неприятно, что он стоит предо мной и что он избрал врагом Эссе. До того я не слишком задумывался над припаданием к ногам; разве что на покрытых красной пылью и усеянных детскими и собачьими фекалиями улицах Исары припадание казалось мне не слишком чистоплотной церемонией. Я бы с радостью припал к ногам Отца, или одемо, или некоторых из старейшин, или людей, которые приходили к Отцу выпить, хваля богов за наш благополучный приезд. Но я прибег бы к любой уловке, только бы не простираться на улицах, чья красная пыль и без того въедалась в одежду, волосы, кожу; только бы не тыкаться носом в человеческую или конскую мочу. Но ни Эссе, ни Дикая Христианка не заставили бы меня припасть к ногам заносчивого чужестранца!

Ответ, пришедший мне в голову, наверно, был вызван воскресным богослужением; во всяком случае, я не придумал его заранее и не слышал как довод в спорах. И вот раздался мой голос, указывавший на очевидное:

— Если я не припадаю к ногам Бога, почему я должен припадать к вашим ногам? Вы всего-навсего человек, как мой папа, ведь правда?

Такого долгого молчания я никогда не слыхал в собрании взрослых. Наконец, одемо присвистнул:

— О-о-о-о-о-оро баба о! — и повернулся к Эссе: — Э ми су во ре ко?[2]

Папа покачал головой и развел руками. Голос одемо заставил меня взглянуть на него, потом на других в приемной — у всех было поразительно одинаковое выражение лица. В замешательстве я бросился прочь из дворца и бежал всю дорогу домой.

В конце каникул Эссе заявил, что впредь мы должны припадать к ногам — не только в Исаре, но и дома в Аке.

Одемо часто бывал у нас в Аке, для нас его посещения означали неограниченную свободу. Чего мы только себе не позволяли, зная, что Эссе так занят гостем, что для нас у него нет ни минуты. Из всех гостей один Даоду так же безраздельно поглощал внимание Эссе, только он никогда у нас не ночевал. Мы были уверены, что одемо — просто ближайший друг Эссе, и ничего другого не подозревали. Атмосферу, запахи, ощущение Исары к нам в Аке приносили женщины-торговки. Они часто прибывали к нам ночью, измученный жарой или ливнями караван, до отказа набитые корзины и джутовые мешки на головах. Они приносили копченое мясо, домотканую одежду и местные притирания, гари, ямсовую муку и даже жестянки пальмового масла. Они появлялись близко к полуночи, разжигали костры на заднем дворе, что-то готовили и не требовали ничьего внимания. Дикая Христианка относила им еду, а Эссе получал от них новости и посылки из дому. Их замкнутость производила на нас глубокое впечатление; в отличие от других посетителей, они не стремились войти в нашу жизнь. Только две из них заходили в переднюю комнату поговорить с Эссе; потом мы узнали, что они — его тетки. Невозможно было поверить, что у Эссе есть тетки, казалось невероятным, что у него может быть многочисленная родня. И вообще, он никогда никому не говорил «тетя».

[1] Пади к ногам!

[2] Клянусь моими предками оро! Это ты его научил?!

До дому доносились непривычные звуки, грудной говор иджебу — мы изо всех сил старались ему подражать. Когда Эссе разговаривал с гостями, нам в лучшем случае удавалось понять фразу-две. Они словно бы говорили на другом языке, не на том йоруба, который давался нам естественно и без труда. Звуки, рождавшиеся у костров во дворе, наполняли ночь, как таинственные причитания, чем-то похожие на песни огбони, иногда долетавшие до нашего дома из-за стен близ Аафина. Для посетительниц на верхнем заднем дворе освобождали сарай, но если не лило, они стелили свои циновки на земле и спали под открытым небом.

Утром они уходили задолго до нашего пробуждения. Они возвращались с пустыми корзинами и мешками, распродав все товары в базарный день, к которому был приурочен их приход в город. Назавтра они кружили по лавкам и скупали все, что можно продать в Исаре. На рассвете третьего дня они уходили, оставив в воздухе привкус индиго и дыма.

Я ожидал, что мы пойдем в Исару пешком; вместо этого на автостанции мы с вещами влезли в грузовик. Грузовик, правда, направлялся не на Исару, он высадил нас в Иперу, откуда было еще семь миль пути. Прождав попутной машины полдня, Эссе решил идти пешком. Все мы получили свою долю вещей и пустились в дорогу. Только теперь я сообразил, почему мне казалось, что от Абеокуты до Исары всего прогулка: торговки ведь к нам приходили под каждый базарный день! С тяжелой ношей они отправлялись в путь на рассвете и прибывали к нам поздно ночью. Это показалось мне невозможным. Я спросил папу, правду ли говорят торговки, и он сказал: да, они ходят пешком. Иногда, сказал он, они идут два дня, особенно когда у них очень много товара. Тогда они ночуют в селении у дороги. Я попытался сообразить, сколько нас вез грузовик, но не смог. Я уже не ощущал усталости. Дипо был привязан к спине служанки. Возбуждение во мне росло по мере того, как мы приближались к нашему другому дому, дому темных женщин, которые целый день тащатся по дороге, чтобы продать копченое мясо и домотканые платья, и разговаривают на языке причитаний. Грузовик догнал нас, когда мы почти дошли до Исары, и все равно мы с благодарностью взгромоздились на него и въехали в Исару в клубах пыли, самой красной на свете.

Именно торговки, наши призрачные гостьи в Аке, вдруг сделались нашими провожатыми, объяснявшими нам свой мир. Они явно гордились общением с нами у нас дома, они рассказывали про нас удивленным и истолковывали наши манеры обиженным. Они даже ссорились из-за обладания нами. Они бы кормили нас с утра до ночи, но Дикая Христианка категорически запретила нам есть что-нибудь за стенами дедовского участка. Это была не просто борьба с ЖАДНОСТЬЮ. Она смертельно боялась, что нас отравят.

Наши родственники иджебу вроде бы славились как искусные отравители; больше того, у них был сто один способ навредить врагу колдовством. Нас учили всячески уклоняться от рукопожатия, ибо сглаз передается и через ладонь. Человек приходит домой и начинает чахнуть. И встречая знакомых, мы кланялись, заложив руки за спину; чем настойчивее протягивали нам руки, тем решительнее мы сцепляли руки за спиной; мы почтительно кланялись и не отрывали глаз от земли. Это стало игрой, мы с Тину потом обсуждали сравнительные достоинства разных приемов.

Когда женщины приходили в Аке, никакие запреты не ограждали нас от их караван-сарая. Дикая Христианка не подозревала, сколько раз по ночам мы выбирались на задний двор, какими вопросами засыпали торговок, как радовались копченому мясу и весьма копченым историям, которые немало отличались даже от самых увлекательных из запаса Эссе. Теперь я видел их у себя дома и с грустью замечал, как развеивается былая таинственность. В глинобитных домах Отца обхо-

дились почти без мебели, гардероб его состоял из двух-трех агбад, несколько буб и штанов на каждый день, шапок и облачений вождя — но заношенные и залатанные были только рабочая и охотничья одежда. Дома́ знакомых торговок нас угнетали, нищету в них скрыть было нельзя. Они радовались нам, а мы ощущали неприкрытую борьбу за существование, жизнь, состоящую из сорокамильных переходов с тяжелой ношей. Когда они заходили за нами, на них было их единственное «торжественное платье», которое они надевали в главный праздник, день Нового года, а потом прятали до следующего торжества.

Исара не самое гигиеничное место на свете. В большой чистоте соблюдались саланги, общие уборные с глубокими ровиками. Зато считалось, что детские какашки могут валяться повсюду — все равно их сожрут голодные собаки, бесчисленные и беспородные. Если собак поблизости не оказывалось, в них роились мухи, на них наступала ночью опрометчивая ступня, их разрезали велосипеды и расплющивали шины случайного грузовика. Кроме того, экскременты вываливали из сосудов в заросшие пустыри между домами, там же, не стыдясь, приседали взрослые. Мы не уставали изумляться, что взрослым с голыми задами при свете дня все равно, что на них смотрят. Я проводил часы в мастерских златокузнецов; улицы и переулки Исары оскорбляли зрение, только что участвовавшее в пиршестве красоты и искусства. У ручных мехов я заменял подмастерьев, подавал тигли для плавки золота и серебра. Тишина и точность движений выгодно отличались от уличного гама и смрада. Часто мысль, что идти по улице — значит все время глядеть под ноги, удерживала меня у нас или у Отца. Его простой глинобитный дом был всегда чистый, что нам представлялось нормальным. Раз я спросил Эссе, почему бы нам, хотя бы пока мы здесь, не позвать сюда тех санитарных инспекторов, которые без предупреждения заходят в дома в Аке. Эссе нервно огляделся, словно желая убедиться, что никто меня не слыхал. Он взял с меня клятву не говорить об этом до возвращения в Приход.

Отец не раз обещал сводить меня на ферму, но его задерживали предпраздничные обязанности, и он предложил, чтобы на свою ферму меня сводил Брода[1] Пупа. Жизнь Броды Пупы сделалась казнью, я не отставал от него, пока он не упросил Дикую Христианку отпустить меня на день. Он был наш сосед, то есть держал цирюльню поблизости от дома, в котором мы останавливались. Дикая Христианка знала, что колдовство передается и через голову, но она так доверяла Броде Пупе, что отправила всех нас к нему для новогодней стрижки. И все же уговорить ее оказалось делом нелегким, однако его гибкое чувство юмора быстро выявило ее уязвимые стороны. Конечно, немало значило и мнение Отца, поскольку в нужный момент он оказался рядом. Она подстраховала меня настоящим двоюродным братом, который отнюдь не был старше моих сотоварищей по Исаре, и наконец на ранней заре мы отправились на ферму Броды Пупы.

— Пошли, ара Аке,— кричал он, приближаясь к двери.— Я отведу тебя в школу.— Он дал мне нести мачете.— Вот твой карандаш. Пройдемся часок, а там увидишь тетрадку. Ты готов?

Никогда я не был готов больше. Я выпрыгнул в дверь, встал между ним и Йеми и втянул в легкие утреннюю росу. Уличная пыль еще лежала непотревоженная, роса харматтана скрывала запахи улиц — они проявят себя к полудню.

Брода Пупа правильно рассчитал время, шли мы не больше часа. На его ферме была хижина и в ней — все для скорого завтрака перед трудами. Мы расчистили новый участок земли, промотыжили грядки и собрали фрукты в большую корзину. Харматтан несет засуху, я не мог понять, почему здесь все такое зеленое, а почва рыхлая, жирная.

[1] Искаженное англ. «brother» (брат). *(Прим. перев.)*

Брода Пупа объяснил, что неподалеку течет большая река — ее приток мы перешли по дороге.

Брода Пупа меня пугал. Он вдруг вскрикивал: «Скорпион!» — и я чуть не выпрыгивал из своей кожи. Когда я привык и перестал пугаться, он из-за куста скользкой веточкой пощекотал мне шею.

— Хорошо,— сказал я.— А вдруг я решу, что это змея и отрублю ей голову?

В тот день со змеей столкнулся один Йеми. Он полез за орехами на высокую колу. Он еще пробирался к ветке с тяжелыми стручками, когда мы вдруг уловили его едва слышный голос:

— Брода!

— Ты меня звал? Йеми!

Несколько мгновений была тишина, затем мы различили движение Йеми среди ветвей — явно опасливое и в обратную сторону. Удивленный Брат Пупа сердито крикнул:

— Что ты делаешь? Орехи не там!

Еще несколько мгновений, и мы услыхали Йеми, полностью скрытого пышной листвой:

— Там змея, чудовище, она обвила ту ветку, на которой стручки. Я думаю, это агбаду.

В панике я взглянул на Броду Пупу. Он был невозмутим. Он спросил Йеми:

— Она шевелится?

— Нет, но она все время глядит на меня.

— А чего бы ты от нее хотел? — засмеялся Брода Пупа.— Чтобы она увидела, как ты к ней лезешь, и задремала? Так вот, скажи мне, ты далеко от ствола?

— Еще бы,— Йеми говорил с раздражением.— Она по ту сторону.

— Хорошо. Слушай меня. Не возвращайся к стволу. Погляди вниз и скажи, есть под тобой ветка, которая тебя выдержит?

Какое-то время Йеми шуршал листвой, раздвигая ветки.

— Да, есть.

— Прекрасно. Тогда тебе не придется прыгать и ломать шею. Спустись на нижнюю ветку — плавно. И так, как будто нет никакой змеи.

Йеми последовал указаниям. Мне было за него страшно и обидно. Хорошо Броде Пупе посмеиваться, когда он не на дереве.

То ли Йеми оступился, то ли ветка оказалась не такой крепкой — с шумом и треском он пролетел сквозь листву. К счастью, упал он на мягкую землю, вскочил на ноги и забормотал:

— Брода, она огромная. Это чудовище! Это не змея, это колдунья. Клянусь, это колдунья.

— Да ну? — Брода Пупа фыркнул.— Набери-ка мне побольше камней. Но сначала покажи, где она там.

Йеми привел нас на место прямо под стручками с орехами. Он оказался прав. Я довольно быстро ее разглядел, она была точно как толстая ветка, но только черная, иссиня-черная, и мне показалось, что тело ее пульсирует.

Брода Пупа удовлетворенно кивнул.

— Хорошо. А то я думал, что мы будем есть на обед с ямсом?

Я решил, что он шутит:

— Никто не ест змей.

Он взглянул на меня, и тут до него дошло.

— Ах, я совсем забыл, омо учитель. Дети учителя не едят змей. Они едят хлеб с маслом.

— Нет, мы не едим хлеб с маслом. Но никто не ест змей.

— Что ж, это мы очень скоро увидим. Йеми, дай мне мачете, а ты, омо учитель, смотри за змеей. Я пока нарежу палок. Йеми, иди собирать камни.

— А если она спрыгнет? — спросил я.

— Тогда поговори с ней по-английски,— сказал Брода Пупа и оставил меня одного.

Все десять минут их отсутствия я созерцал змею. Она была толстая, гладкая. Вроде бы она не спешила прыгать на землю, но я не знал змеиных повадок. В Аке я не видал живых змей — взрослые сразу их убивали. Только раз мимо меня проскользнуло что-то, и я побежал докладывать. Убитые или живые — в Аке они не бывали такие огромные.

Наконец они возвратились, и Брода Пупа приступил к приготовлениям. Он готовился к поединку со змеей так же обстоятельно и искусно, как уговаривал Дикую Христианку отпустить меня на день на ферму. Эссе был по горло загружен общественными делами: то к нему в дом шли люди, то он посещал собрания; так что Дикая Христианка по своему усмотрению разрешала и запрещала что угодно. Но Брода Пупа не отступал, да и я не давал ему передышки. И теперь он со знакомой методичностью готовился сбить змею с ветки. Сначала он разобрал камни, некоторые отверг, мелкие ссыпал в кучку — как выяснилось, для меня. Так же он поступил с палками, взвесил в руке каждую, укоротил тяжеловатые и отложил в сторону длинную основательную дубинку.

Затем он выбрал позицию и объяснил:

— Нам не нужно, чтобы камни Воле отскакивали от ветки и ударяли нас по лбу, верно?

Я повернулся было к нему, но он цыкнул:

— А кто будет смотреть за змеей?

Убедившись, что все готово, он указал мне на кучку камешков и сделал последние распоряжения:

— Первый бросаю я. Йеми меня поддерживает, Воле добивает змею. Кидаем до тех пор, пока она не упадет к приемной комиссии. Все понятно?

Я кивнул, уже входя в азарт.

Брода Пупа швырнул первую палку. Она полетела в просвет между листьями и шлепнулась об середину змеи, так что она сразу утратила самодовольство. Испугавшись, она рванулась вперед, но камень Йеми ударил ветку прямо перед ней. Почти тотчас же, не дожидаясь моей очереди, просвистела вторая палка Броды Пупы:

— Не мечтай, учитель.

Я бросил камень одновременно с Йеми — мой едва долетел до нижней ветки.

— Отлично. Отлично. Когда с нами большой английский охотник, мясо у фермеров будет всегда.

Брода Пупа и Йеми непрестанно бомбардировали змею. Змея сбилась с толку, она бросалась вперед, назад, лезла на верхние ветки, но камни и палки настигали ее везде. Я давно уже не участвовал в охоте, понимая, что Брода Пупа положил мне камешки для утешения. Все мое внимание теперь поглощали безуспешные попытки змеи скрыться. В конце концов, она плюхнулась наземь. Я заметил, что Брода Пупа держал наготове в левой руке дубинку. Когда змея упала, он схватил дубинку правой рукой и рванулся вперед, пока змея не очухалась. Удар по туловищу, следующий удар точно по голове. Она извивалась с немыслимой силой, билась оземь во все стороны. Брода Пупа еще раз стукнул ее по голове и отошел на несколько шагов.

— Дай мне мачете,— приказал он.

Йеми двинулся было к мачете, но он сказал:

— Нет, пусть подаст Воле.

Мне не нравилось, что он стоит так близко к корчащейся змее. Я поднял мачете и остановился. Конечно, он был между змеей и мной. Прежде, чем змея бросится на меня — а этого она и хочет,— ей при-

дется иметь дело с Бродой Пупой. И все-таки, подавая мачете, я вытянул руку.

— Нет, омо учитель,— он покачал головой.— Когда ты даешь кому-нибудь нож или мачете, держи за лезвие. Конечно, не так, чтобы порезаться, но все же протягивай не острие, а рукоятку. Так поступают на ферме.

Я повиновался.

— Молодец. Мы еще сделаем из тебя фермера.

— Я хочу быть доктором,— сказал я.

— В этом нет ничего худого,— одним ударом он отсек змее голову.— При этом у тебя может быть ферма. Я ведь цирюльник, а вдобавок и фермер.

Я никогда об этом не думал. Я вспомнил про Эссе:

— Папа директор, но он также садовник.

— Вот видишь. Его воспитали в наших краях.— Он бросил мачете Йеми, который без слов знал, что делать. Он поддел змеиную голову на лезвие, отнес ее в сторону и принялся рыть ямку.

— Зачем ты ее сажаешь? — осведомился я.

— Запомни навсегда. Даже отрубленная голова змеи опасна. Кто-нибудь наступит на нее, и яд попадет в тело, как будто его укусила живая змея. Всегда зарывай глубоко и подальше от хоженых троп.

Йеми выбрал место между корнями большого дерева. Брат Пупа набрал в сарае ямса и протянул его мне:

— Ты умеешь чистить ямс?

— Дома я иногда готовлю. На всю семью.

— Прекрасно. Йеми разведет костер, а я сниму со змеи кожу. Раз ты не ешь змеиное мясо, ты будешь есть ямс с пальмовым маслом.

Мы занялись обедом. Нарвали перца, приготовили овощи, из обильного сарая появились приправы и бутылка пальмового масла, и через час шипящее благоухание змеиного рагу победило запахи зелени. Когда все было почти готово, Йеми вдруг спохватился:

— Брода, мы забыли ступку.

— Почему мы не сделали пюре? — Брат Пупа изобразил удивление. Йеми кивнул:

— Я знаю людей, которые за ямсовое пюре готовы избить лучших друзей.

— А я ничего такого не знаю. Но уж если готовить, так, правда, по правилам. Сегодня кто-то впервые на ферме.

— У нас тоже есть ферма за городом, по пути в Осиеле,— возразил я. Я был там с Эссе раз или два — для работ на ней нанимали крестьянина.

— Я же сказал, что твоего отца воспитали в наших краях. Он сын фермера. Но я знаю, работа не позволяет ему тратить время на ферму. Ты когда-нибудь жил там неделю-две?

Я замотал головой.

— Вот видишь. А ночевал хоть раз?

— Никогда,— признался я.

— А когда-нибудь ел там жаркое или ямсовое пюре?

— У нас там нет абуле[1], как здесь.

— Вот об этом я и веду речь. Если бы жена учителя согласилась, мы могли бы здесь заночевать.

— Мы и так можем,— я уцепился за идею.— Завтра ты скажешь, что стало слишком темно, и мы решили остаться здесь на ночь.

Брат Пупа покачал головой.

— Если мы не вернемся к ночи, она пошлет за нами толпу людей. Помоги Йеми с горячей водой. И пора толочь ямс. Я проголодался.

Конечно, я тоже проголодался. Когда мы сели есть, я был уверен, что не прикоснусь к змеиному мясу. Но когда жаркое перевалили в

[1] Хижина.

блюдо, я с удивлением обнаружил, что мясо не скользкое и не пятнистое, но приятно белое, нежное и упругое, как у курицы или кролика. Я решил попробовать маленький кусочек и опять с удивлением обнаружил, что и на вкус оно как у курицы или кролика. Я молча порадовался, что поспешными заявлениями не лишил себя радости отведать неожиданный деликатес. И, естественно, будет чем похвалиться, когда я вернусь в Аке,— кто из моих одноклассников ел змеиное мясо? Видя, как я набросился на змею, Брода Пупа одобрительно кивнул и подвинул еще несколько кусков на мою сторону блюда.

После обеда мы полежали, чтобы «дать солнцу перегореть», а потом допололи заросший травой маниок. С узлами ямса, корзиной апельсинов, овощами и перцем мы пустились в обратный путь.

Однако школа моя на тот день не закончилась. На полпути домой, поблизости от перекрестка, до нас донесся человеческий вой. Брода Пупа остановился, призвал нас к молчанию и прислушался. Это был непрерывный вой, как от боли. Медленно, точно бессильно, он приближался к нам. Я слышал, что он плывет по тропинке, пересекающей нашу тропу, что это мужской голос и что он похож на вой выпоротого ребенка, долгий протяжный стон после острой боли.

Стонущий наконец показался, и мы ахнули. Его лицо, шея и руки распухли, должно быть, вдвое. И не равномерно, а сплошными волдырями размером с авудже[1]. Человек еле волочил ноги. Он тащился, глядя вперед, и, кажется, не замечал нас. Из его полуоткрытых губ струился сплошной вой, словно рот и голосовые связки были поражены.

Брода Пупа сочувственно покачал головой:

— Он из верхней деревни. Он почти дома.

— Что с его лицом? — спросил я.

— Пчелы,— хором ответили оба.— Он, наверно, от них побежал,— пояснил Йеми.

— А что он должен был делать? — спросил я.— А ты бы не побежал?

— Нет. Этого делать нельзя. Скорей бросайся на землю и скорей откатись от пчел.

— А если там густые кусты и нельзя откатиться?

— Прижимайся к земле,— учил Брода Пупа.— Изо всех сил прижимайся к земле и откатывайся. Не вставай, не беги. Припади к земле и катись — даже если там сплошные колючки.

В конце нашей жизни в Исаре, сказав, что я у наших родственниц, торговок, я умудрился попасть на настоящую детскую охоту. Как обычно, товарищи были изрядно старше меня. Оружие наше было рогатки, камни, палки и все, что попадало под руку. Руководил всеми Джимо. Он поделил нас на загонщиков и стрелков; мое место, конечно, было среди загонщиков. В Аке из рогатки я раза два попадал в ящериц и раз в птичку. Здесь я не претендовал на равенство с Джимо и его друзьями, которым ничего не стоило из рогатки сбить бегущую белку. Поэтому я решил отличиться в загонщиках. Мы двигались цепью, и я совал палку в каждую дырку, тряс каждый сомнительный куст и молоденькое деревцо. Я во всю мочь кричал, подражая соседям:

— Гбо, гбо, гбо, гбо, гба, гба, гба, гба.

Джимо и стрелки с рогатками, камнями и палками наготове стояли на противоположном конце участка. Я тряхнул очередной куст и был немедленно вознагражден адским укусом в лоб. Еще укус, и я увидал их. Гнездо разозленных шершней набросилось на обидчика. Падая наземь, я чувствовал, что Брода Пупа может гордиться мной. Его наставления звучали во мне, и я выполнял их, как на учебном занятии, и думал, какое счастье, что какие-то две недели назад мы повстречали

[1] Крупный круглый боб.

несчастного с распухшим лицом. При этом я восторженно ощущал, что нахожусь под некой особой защитой; ничто не могло повредить мне всерьез или по мелочам — это ощущение не покидало меня в Исаре.

Джимо тотчас же отменил охоту. Я получил всего два укуса и возражал, но тщетно. Он сказал, что от этого может быть лихорадка, и тогда ему попадет. Казалось, никто не хотел отвечать за детей учителя. Это досадное обстоятельство, впрочем, не так много значило, ибо меня распирало сознание, что я спасся благодаря уроку, своевременность которого граничила с волшебством и чудом. Я гордо принес свои раны домой и продемонстрировал их, но не учителю и его жене, а Отцу — он участвовал в моих тайных затеях и, больше того, воплощал для меня мужскую половину Исары с ее первозданной таинственной мощью, так же как женскую половину воплощали давние знакомые торговки.

Голова у Отца была почти такая же, как у каноника, только меньше, что он возмещал еще большей жизненной силой. Она выглядела цельной, непробиваемой, я полагал, что любая пуля отлетит от такой крепости. Несмотря на густые волосы, она казалась гладкой-гладкой, точно броня. Он был также куда меньше ростом, чем его сын, но все в нем изобличало такое могущество, что в любом собрании людей он без усилий был главный. Об этом не говорили, но я знал, что он придерживается таких же верований, что и огбони из Аке, что и жрецы и жрицы странных культов и таинств, против которых Дикая Христианка и ее единоверцы в определенное воскресенье устраивали демонстрации и проповедовали слово Господне на базарах, на улицах и в домах. Делалось это по случаю годовщины прибытия миссионеров в страну эгба; они продолжали дело этих миссионеров и старались привлечь язычников в объятия христианства.

В глубине души я побаивался за Отца. Я не представлял себе, как он избежит религиозных преследований из Аке,— Эссе утверждал христианство примером и нечастыми тихими разговорами, Дикая Христианка подчеркнуто обходила некоторые вопросы и напоказ готовилась к рождеству, которое принадлежит одним христианам. Новый год касается всех, а у рождества свое, особенное сто одно собрание, молитва, причастие, богослужение — как дома, так и в других помещениях и на открытых местах, куда посторонних не допускают. Дикая Христианка умела «обойтись» без неверующего, особенно из родни.

Мне казалось, Отец безразличен к слову Господню. Когда я рассказал ему про шершней и заблаговременное предупреждение, он не воскликнул: «Пути Господни неисповедимы!» — как воскликнула бы Дикая Христианка. Вместо этого он заметил:

— Огун защищает своих.

Это имя я уже слышал. Поэтому я сказал:

— Огун — языческий дьявол, он убивает людей и со всеми враждует.

— Так тебя учат? — спросил он.

— Да. А это неправда?

Отец почесал подбородок, пронзил меня взглядом и задал самый неожиданный вопрос:

— Твои товарищи когда-нибудь тебя били?

— Иногда,— сказал я.— Обычно они боятся меня тронуть, потому что я сын директора.

— И ты это им говоришь, когда они хотят с тобой драться? Не трогай меня, потому что я сын учителя?

— Нет, я не говорю, они говорят это сами.

— То есть как? Что они говорят?

— Они щелкают пальцами перед моим носом и говорят: «Тебе везет. Если бы ты не был директорским сыном, ты бы сегодня понюхал

перца». Я думаю, они боятся, что их исключат из школы, если они меня тронут.

— А ты, ты думаешь, Айо их исключит?

— Нет. Некоторые из них не знают, что, когда мы деремся, нас наказывают. Если мы приходим домой с разорванной одеждой или кто-нибудь скажет, что мы дрались, нас наказывают.— И тут я осекся — что же должен он думать о том, что всегда казалось мне явно несправедливым? — Отец, что ты об этом думаешь? Нас бьют на улице, мы приходим домой, и нас за это опять бьют. Ведь это неправильно, да?

Глаза Отца засверкали от сдерживаемого веселья. Его глаза были много больше и светлее, чем у каноника, но когда что-то его веселило, от уголков глаз до полдороги к ушам точно так же бежали лучи морщинок. Он встал и извлек из прохладного угла бочонок пальмового вина. Не дожидаясь просьбы, я достал из буфета две тыквенных чашки. Я продолжал объяснять:

— Нам говорят, что дерутся те, кто плохо учится, что это сатанинское наваждение. И еще хуже — весь Аке знает, что, если мы подеремся, нас порют, поэтому те, кто не ходит в школу, ничего не боятся. Им не страшно, что их накажут в школе. Они пристают и говорят: «Ага, ты боишься». Они стукнут нас и убегают. Или мы убегаем.

Он внимательно посмотрел на меня:

— А может быть, ты убегаешь потому, что они старше?

— Да, они всегда старше. Наверно, я никогда не дрался ни с кем моего возраста.— Я вспомнил и прибавил: — Только один раз с Дипо.— Мне было неловко вспоминать.— Они сами подбивали меня, и мама тоже.— Происшествие пронеслось перед моими глазами, и я рассказал о нем.— Отец, они ведь сами не знают, чего хотят, правда? — спросил я.— Наказывают нас, когда мы деремся с чужими, а потом натравливают брата на меня!

Отец снова почесал щетину на подбородке.

— Ты это поймешь попозже. Они неправильно делали правильное дело.

Он наполнил мою чашку до половины, а свою дополна, сдунул пену и выпил до дна. Я отхлебнул вина и взглянул на него, ожидая суждений. Он поморщился.

— Этот человек обленился. Я ему говорил, если он не будет ходить за вином выше по речке, я пошлю за вином другого. Это вино из усталого дерева, вообще все деревья внизу Ларелу устали, а ему лень подняться на полмили.— Он покачал головой.— Ладно, я ему скажу. Алакори![1]

Все равно он снова налил себе чашку, вынул орогбо[2], раздавил пальцами тонкую скорлупу и надкусил.

— Чтобы отбить привкус. Так продолжим. Твой отец собирается отправить тебя в школу белых в Ибадан. Ты это знаешь?

— В Правительственный колледж? Да, он мне говорил. Но я только закончил третий класс. Так что до этого еще долго.

— Не так уж долго. Айо не считает, что, прежде чем напрягать мозги, ребенок должен созреть телом.— Неожиданно он нахмурился.— Погоди. Ты говоришь, ты в третьем классе?

— Я перешел в четвертый.

Его бронированная голова вытягивалась на шее, как голова ящерицы.

— Да. Об этом и говорит твой отец. Через год ты разделаешься с четвертым. После этого он хочет, чтобы ты закончил среднее образование. Он говорит, что в новом году, в том, который скоро начнется, ты будешь держать испытания в новую школу.

[1] Неисправимый.

[2] Орех, обладающий тонизирующими свойствами.

— Да, я буду сдавать экзамены и в Абеокутскую гимназию, и в Правительственный колледж.

Он снова кивнул.

— Если память мне не изменяет, тебе сейчас ровно восемь с половиной — верно?

— Да, Отец.

— Так что, если ты попадешь в Правительственный колледж, тебе придется уехать из дома и жить в общежитии. В первый раз в жизни, девяти с половиной лет, ты будешь сам по себе, без родителей — я не ошибаюсь? Я правильно сосчитал?

Я подтвердил, что правильно, я уже видел, куда он клонит. Я собирался спорить с ним, заверять, что не боюсь покидать родной дом, больше того, что стремлюсь, мечтаю покинуть дом. Я не хотел, чтобы он говорил Эссе, что я слишком маленький.

— Отец, ты ведь думаешь, я слишком маленький, чтобы уехать из дома?

— Нет. Дети уезжают из дома по разным делам, не ради одних книг. Нет, я просто думал о том, что твои товарищи будут для тебя слишком взрослые. Смотри, даже в Абеокуте, где белые открыли людям глаза много раньше, чем здесь, в школе Айо у тебя сотоварищи много старше тебя, ведь так?

Я согласился.

— Но все равно я учусь лучше всех,— заверил я.— Мне нисколько не трудно.

— Да, твой отец говорил мне. Но ты пока что меня не понял. В наших краях люди не переходят прямо из начальной школы в среднюю. Им это не по карману. Очень часто они доучиваются до шестого класса и получают аттестат, который называется «савимени».

«Современный аттестат» вошел в школьный фольклор как конечная цель книжной премудрости для будущих учителей начальной школы, санитарных инспекторов, проводников на железной дороге и так далее. Я улыбнулся, Отец истолковал мою улыбку неверно.

— Улыбаться тут не над чем. Люди с «савимени» идут работать, откладывают деньги и потом идут в среднюю школу, где стараются, стараются, стараются закончить восемь классов. На этом большинство останавливается. Мало кому удается выучить все десять книг. Теперь ты меня понял? Ты видишь, что твои соученики в начальной школе старше тебя,— подумай, какие они будут в средней школе. Взрослые люди — гарапа-гарапа! Кое-кто даже женатый, с детишками за углом. Ты будешь сидеть за партой не с мальчишками, а с мужчинами! — Он опять почесал щетину на подбородке и засмеялся.— Они придут в школу с кисточкой для бритья.

Он снова заговорил серьезно:

— Айо готовит тебе большое будущее. Он хочет послать сына в бой, и поверь мне, мир книг — это поле боя, и бой этот много упорней, чем бои, какие мы знали в прошлом. И как он готовит сына? Он набивает ему голову книгами. Но книжная премудрость, особенно успехи в книжной премудрости, только приводят к новым боям. Ты это знаешь? Ты думаешь, эти мужчины, которые почти годятся тебе в отцы, будут рады, если ты победишь их в ученье? Ну? Скажи мне. Об этом Айо хоть раз говорил с тобой?

Я не на шутку встревожился. Такое простое занятие, как чтение книг и сдача экзаменов, приобретало зловещие свойства. Отец заметил это и налил мне еще вина.

— Пей, оно совсем слабое. Если даже ты выпьешь целую бутылку, и то Эниола не сможет пожаловаться, что я тебя спаиваю.

И это было необыкновенно. Отец принадлежал к тем немногим, которые звали Дикую Христианку по имени. Так ее звали оба Рэнсом-Кути, Даоду и Беере, так одемо или Мороун ее звал и одна-две родственницы — время от времени они неожиданно появлялись и

так же неожиданно исчезали. Для остальных она была мама Тину, мама Воле или ийаво директор. Отец не сводил с меня глаз.

— Люди — везде люди. Одни добрые, другие злые. Некоторые прибегают к злу от отчаяния. Зависть... гм, не забывай, что от зависти люди способны на многое. Это болезнь, и она повсюду, повсюду. Твоя мать знает об этом. Я с ней говорил. Беда, что она вдолбила себе в голову, будто знает, как с этим бороться. Как будто я уже ни за чем не нужен.

Я ничего не понял и честно признался. Он набычил шею и потряс хохолком, как боевой петух.

— Ага, ты думаешь, я вас всех пригласил на Новый год просто так? Ого, если в Аке ни о чем не думают, у нас тут с жизнью не шутят. Мир состоит не только из мира христианства или мира книг. Хорошо, на сегодня хватит. Завтра у нас с тобой дело.

Я ощутил трепет предвкушения. Может быть, новый поход на ферму, на этот раз на ферму Отца? И, как всегда, я не мог не спросить:

— Какое дело, Отец?

Он поднялся.

— Ах да, я совсем забыл. Мне же говорили, что ты всегда задаешь вопросы. Иди и играй с ребятами. Я обо всем договорился с твоим отцом, я только не выбрал день. Так вот, я думаю, почему бы не завтра.

Он прочел на моем лице, что я не в силах уйти без каких-либо объяснений, но покачал головой и сказал:

— Завтра. Но сегодня ты будешь спать у меня. Иди.

В Исаре у нас был отдельный дом. То есть у Дикой Христианки с детьми. Эссе ночевал в доме Отца. С момента нашего прибытия в Исару, он, по сути дела, переставал быть частью семейства из Аке, мистер и миссис не существовали на лоне Исары и под грузом обязанностей по отношению к родному городу. Происходили постоянные совещания, городские и семейные собрания, заседания церковного совета, царские поручения... сотни дел ожидали его чуть не по году. Много времени он проводил у одемо — не только из чувства долга. Одемо и еще один-два человека, таких, как мой крестный, муж моей будущей жены, явно спасали Эссе от той узости интересов, которая окружала его в Исаре. Я часто спрашивал себя, а не томится ли сам одемо без соответствующего общества.

В этом не было ничего необычного; часто один или несколько наших ночевали в доме Отца. В общей комнате у него доставало циновок и места на саманном полу. Несмотря на посланцев Дикой Христианки, половину ночей в Исаре я проводил у Отца. Сегодня впервые это мне было приказано. Раззадоренное любопытство не давало заснуть до глубокой ночи.

Проснулся я рано — надо мной склонился Отец с керосиновой лампой. Еще не рассвело, но в углу комнаты я различил очертания двух человек. Один был явно старик, другой — мальчик, повыше меня. Естественным образом, я оглянулся, чтобы увидеть папу — его не было. Я подумал, что он еще спит во внутренней комнате.

Я по-прежнему был настроен на путешествие и спросил:

— Куда мы сегодня пойдем?

— Ты уже проснулся? — Я кивнул.— Тогда пойди и умойся. Ведро во дворе.

Я повиновался. Проходя мимо двух незнакомцев, я заметил на полу между ними глиняную миску, бутылку пальмового масла и несколько жестяночек с разноцветными, по большей части темными порошками. На плоском блюде лежали металлические инструменты и что-то вроде обломка раковины. Озадаченный, я умылся, подрагивая от утренней свежести и скверных предчувствий.

Вернувшись, я заметил, что стулья и табуретки зачем-то пере-

ставлены. Подпорку из пальмового ствола перенесли от стены в середину комнаты. Перед ней на ипеку, низкой скамеечке, сидел незнакомый старик. Стоя рядом с ним на коленях, мальчик расставлял бутылки, кувшин и подносы со странными инструментами.

— Сядь сюда,— приказал Отец, указав на стул возле подпорки. Я повиновался.

Он подошел и взглянул мне в лицо:

— Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили вчера?

— Да.

— Хорошо. Тогда слушай меня внимательно. То, через что ты пройдешь, причинит тебе боль, но... ГЛЯДИ МНЕ В ГЛАЗА!

Я оторвал взгляд от зловещего блюда и взглянул в его пылающие глаза.

— Вот так лучше. Всегда отвлекай ум от источника боли. Смотри, этот мальчик — он твой ровесник. Если ты заплачешь от боли — опозоришь себя перед ним.— Он умолк, продолжая сверлить меня взглядом. Я подумал, что он ждет ответа, и сказал:

— Я не заплачу.

— Я знаю, что ты не заплачешь. Я просто хотел напомнить тебе, чтобы ты не забылся. Конечно, тебе будет больно, ты не деревянный, поэтому тебе будет больно. Но ты не должен плакать.

Я оцепенел от страха, что не мешало сердцу бешено биться. Я ждал самого худшего. Я понятия не имел, что со мной будет, разве что я не могу плакать, как больно бы ни оказалось. И тут я припомнил нечто.

— Когда умерла Фоласаде, я плакал.

Отец, ходивший по комнате, остановился. Совершавший приготовления незнакомец тоже остановился и с удивлением посмотрел на Отца. Я видел, что Отец в замешательстве, что он не знает, как мне ответить. И наконец:

— Фоласаде? Ах да. Гм...— Он углубился в раздумья.— Эта девочка была абами. Я тогда сказал Айо — абами гиди![1] Так уйти, в свой первый день рожденья, гм... Это было совсем другое. Своей душе не прикажешь. Ибанудже ко момоде ко магба[2].

Он резко кивнул незнакомцу. Моя правая лодыжка оказалась в железной хватке, стопа припечатана к полу. Так же мгновенно рука скользнула к пятке и надежно приплюснула ее к полу. Мальчик протер лодыжку влажной ватой, и старик тотчас же схватил самый зловещий из инструментов, обмакнул его в глиняную миску, и острая боль, начавшись в лодыжке, подпрыгнула в мозг. Я вскрикнул! Левая рука уверенно прижимала мою ногу к земле. Вскрикнув, я, наверно, дернулся бы, но две сильные руки, руки Отца, прижимали мои плечи к спинке стула.

Как во сне, я смотрел вниз и видел, как лезвие погружается в миску и вылетает из нее, боль во мне уже не исчислялась отдельными мгновениями. Укусы лезвия слились в одно целое, и я как завороженный глядел на дугу надрезов, на кровавый браслет и кровь, стекающую по лодыжке. После первого вскрика тело мое погрузилось в безмолвие, я скрежетал зубами и подавлял каждый звук, но вырвавшиеся наружу слезы бурно лились по щекам. Пальцы Отца все глубже впивались в плечи, а тело мое сжималось с каждым надрезом. Больше я не мог смотреть вниз. Я зажмурил глаза, стиснул зубы и ждал конца мучений. Слезы бежали неукротимо.

Лодыжку нежно обхватила успокоительная повязка. Я открыл глаза. Это была часть широкого бинта, лежавшего в целебном отваре. Не успел я прочувствовать счастье избавления от боли, как лезвие впилось в другую лодыжку. Потрясение, однако, прошло, и боль меня не удивила. После лодыжек точно так же мне надрезали за-

[1] Нездешнее дитя. Поистине нездешнее.

[2] Горе не различает детей и стариков.

пястья. Временами я вздрагивал, но стискивать зубы больше не приходилось. Я следил за каждым движением, даже стал восхищаться безукоризненной точностью искусного ножа.

Когда все было кончено, я не поверил себе, увидев, как мало на это ушло времени. Солнце едва начинало отбрасывать тень за порог дома. В углу незнакомец что-то говорил тихим голосом, а Отец кивал и издавал звуки одобрения. Потом старик стал собирать вещи; мальчик выплеснул отвар на улицу, старик вычистил лезвия, всыпал остатки порошков назад в жестяночки и положил все в бездонный мешок, который, как я теперь заметил, висел у выхода. Отец проводил их и закрыл дверь.

Он подошел ко мне и сел на освободившуюся скамеечку:

— Воле, ты... молодец. Ты вел себя как настоящий акин. А теперь слушай меня. Слушай меня внимательно, что бы тебе ни говорили, КТО БЫ ни говорил... Если тебе будут говорить другое, объясни, что это сказал я.

Медленно, осторожно, словно это было самым опасным делом на свете, он дотянулся до нижней полки столика, достал жестянку нюхательного табака, открыл, потряс над левой ладонью, сложил пальцы в горсть, чтобы не просыпать, закрыл крышку, поставил жестянку на нижнюю полку и затем отправил в каждую ноздрю по равновеликой понюшке. Почему-то, может быть, потому, что я только что прошел через неожиданное испытание, мое зрение было болезненно заострено, каждое его движение занимало целую вечность, и вообще я словно видел его впервые.

Мой слух дико усиливал звуки. Когда он чихнул, я чуть не слетел со стула, каждое его слово по нескольку раз отдавалось в моей голове.

— Кто бы ни угощал тебя, ешь. Ешь. Не бойся, пока твое сердце говорит тебе: ешь. Если твой ум усумнится хотя бы на миг, не ешь и никогда больше не входи в этот дом. Ты понял, что я сказал?

Я беззвучно кивнул.

— Я сказал, кто бы ни предлагал тебе еду и питье — если твой ум не колеблется — ешь и пей. Это я тебе говорю. Но если хотя бы на миг ты усумнишься, повернись к этому дому спиной и никогда в него не входи. И еще: никогда не беги от драки. Там, куда ты пойдешь, может быть, через год, может быть, через два. Может быть, тебя не привезут сюда до того, как ты поступишь в ту школу, но это уже не важно. Где бы ты ни был, не уклоняйся от драки. Твой противник, наверно, будет старше тебя, в первый раз он тебя побьет. В другой раз встретишь его — опять предложи драться. Он снова тебя побьет. В третий раз — это я тебе обещаю — ты или победишь его, или он убежит прочь. Ты слушаешь, что я тебе говорю?

— Да, Отец.

— В первый раз, во второй раз — не бойся, что он побьет тебя. Возвращайся на прежнее место. В конце концов, ты его опозоришь — или ты его изобьешь, или он от тебя убежит.

Он встал.

— Я послал твоих родителей и остальных детей в Сагаму. Наверно, они уже ушли, им надо проведать много народа. Так что мы с тобой одни в доме.

Я кивнул в сторону внутренней комнаты:

— Я думал, что папа там.

Он улыбнулся и покачал головой.

— Нет, это наша с тобой тайна. А теперь я должен идти во дворец. Кто-нибудь принесет тебе завтрак. Не ешь ничего другого. Сегодня и завтра не ешь ничего, кроме того, что тебе пришлю я. Ты меня понял?

Я заверил, что понял. Я чувствовал себя опустошенным, мысли в голове путались, запястья и лодыжки пульсировали от боли. Руки,

казалось, были так далеко, что почти мне не принадлежали. И тут я услышал собственный голос:

— А папе тоже надрезали лодыжки? Когда он был такой, как я?

— Может быть,— Отец поднял глаза к стропилам.— Айо очень просил меня, Эниола тоже. Когда я сказал, что им надо сегодня оставить тебя со мной, они просили меня быть поосторожнее. Они еще замучают тебя расспросами.

Он ушел в свою комнату. Я слышал, как он там, покряхтывая, переодевается; раз до меня донесся длинный, красиво взлетевший ввысь возглас изумления. Я долго сидел неподвижно, стараясь сообразить, выдержат ли меня надрезанные лодыжки, не упаду ли я при первой попытке встать на ноги. Мои мысли словно передались ему, ибо он из своей комнаты тотчас ответил:

— Старайся ступать на внешнюю сторону стопы, потом на внутреннюю. Когда и то и то не удастся, попробуй идти как обычно — ступай прямо на обе ноги, только малость полегче. Это самый лучший способ.

И тогда я встал и вдруг понял, что я ухмыляюсь, потому что Отец, конечно, не ожидает, что я пойму его шутку.

X

Запахи пропали. Вместо них теперь, как правило, звуки, и даже они — бредовое искажение скромных задушевных голосов, которыми люди и предметы наполняли Аке с рассвета до заката,— приглушенные варианты их мы пытались угадывать, лежа на циновках и сопротивляясь сну. Даже самый гнусный запах, слабый, сладкий и тошнотворный запах раздавленного клопа, слившийся с камфарой,— она вроде должна бы его заглушить,— даже он входил в разветвленное многообразие жизни, формировавшее истинное лицо Аке; это был тот же порядок вещей, что и ночные вскрикивания Сорованке, сумасшедшей, которая жила под манговым деревом и громко разговаривала во сне. Это манговое дерево стояло на площади, почти против церкви. Во мраке мы слышали, как она гонит злых духов или пререкается со своим юродивым любовником Йоколу. Дикая Христианка вела ночные битвы с клопами, шипение раскаленной иглы вливалось в хор сверчков и цикад, соперничавший с запоздалым хором из церкви Святого Петра, где репетировали, по-видимому, накануне праздника. Внезапными воплями и хлопанием по тощим ляжкам Сорованке нарушала плавное течение гимна; часы на колокольне торжественно били полночь. И над всем, когда нас уносило в сон, плыли: едкий запах забродившей молотой кукурузы из темного угла кухни, запах оджоджо со сковородки женщины, обслуживавшей запоздалых путников, запах пальмового вина, которое подавали к эко и оджоджо, и, в особенности по субботам, ленивое рокотание струн Дайиси, гитариста из джуджу-банда, возвращавшегося с выступления или просто одаривавшего ночь серенадами.

Запахи пропали. Их победитель, звук — не размеренный бой церковных часов, не шествие эгунгуна, не полицейский духовой оркестр, не крики торговок и велосипедные звонки, но мешанина электронных ансамблей и хриплое брякание колокольчика, возвещающее об очередной распродаже импортного барахла. Пыльная дорога, некогда широко разделявшая наш задний двор и церковную стену, теперь съежилась; стену Прихода облепили лавчонки, предлагающие изделия всемирной мусоропромышленности — засиженные мухами шали, гребенки, зеркальца, блестящие радиоантенны, хромированные или поролоновые игрушки для автомобилей, фляжки с орнаментами, рюмки в виде цветов, восточные скатерти с клеймом Манчестера, часы, украшения из американского золота, рюмочки с фотографиями белых чувственных тел... Рэкел Уэлч, Мэрилин Монро,

Дайана Дорс, Джейн Рассел, Грета Гарбо. Иногда это томные мужчины, тоже звезды целлулоидного мира. Они принимают обдуманно мужественные позы, но, несмотря на воинственные усы, все равно похожи на гермафродитов. По полуночному пути гитариста Дайиси теперь бежит уличный торговец, звоня в лица прохожим мелодичным дверным звонком «мейд ин Гонконг».

На Пути Дайиси когда-то пел и я, когда поздно вечером меня посылали в сторону Аафина, или Ипоро к Па Солатану, или к кому-то еще из родительского кружка, или к нашей тетке миссис Лиджаду. Я пел для поддержания духа во тьме, где роились опасности, где таились тени, которые могли оказаться духами или похитителями детей. После того как я исполнил роль мага в день раздачи наград в третьем классе, в моем арсенале появилось могущественное оружие. Даже если самые опасные духи не понимали по-английски, они не могли не убояться яростной силы, шагавшей по Пути Дайиси и горланившей во всю мочь:

Вам пора услыхать,
Что я чародей,
Меня знают везде,
Мое имя висит на улице,
Я даю представленье за курицу,
Энтони Питер Закари Георг
Всех людей приведет в восторг...
Я приглашаю всех людей
Взглянуть, какой я чародей,
Дружной толпой
На меня глядите
И громко меня хвалите...

Почему за курицу? Эта деталь детской оперы приводила меня в замешательство. Во власти мага не было ничего необычного, хотя она относилась к миру таинственного.

Во «Дворце Столетия» выступали бесчисленные маги, причем все они «обучались в Индии». Они курили ладан, пронзали шпагами добровольцев из публики и разрезали своих помощников пополам. Однажды произошел ужасный поединок между магом и одним зрителем, который выглядел точной копией Паа Адатана. Он вышел из публики — маг собирался продемонстрировать на нем силу гипнотического внушения. Однако злобный мускулистый доброволец не поддавался гипнозу. Доктор магии извел на него все свои силы, он жег ладан колечко за колечком, бормотал сотни абракадабр, произносил ужасающие заклинания из — кто-то шепнул рядом со мной — седьмой и девятой книги Моисея; доброволец приподнимался на кушетке, глазел на публику и глумливо хихикал. Доктор обрызгал кушетку волшебной иерусалимской водой, щелкнул пальцами и стал обмахивать лицо добровольца ладонями; упорный эгба все не засыпал. Но в конце концов, глаза его все же остекленели, дело сделано, и доктор торжествующе выпрямился над распростертым телом. И вдруг лицо его исказилось. Он понял, что сопротивление уронило его искусство и положение в глазах публики, и он в бешенстве заметался по сцене. Он выкрикивал, что схватка была не на жизнь, а на смерть, и поэтому один из них должен погибнуть. Публика как будто занервничала. Неожиданно он подскочил к спящему и задрал его дансики. Разумеется, пояс был весь в амулетах. Он сорвал его и продемонстрировал публике; мы поняли, что доктор объясняет причину затяжного сопротивления. И тут случилось самое страшное. Он схватил длинный меч, которым разрезал помощника пополам, и рванулся к кушетке — ясно, с какой целью. Кто-то из публики побежал прочь, большинство закрыло глаза и закричало. Я сидел, раскрыв

рот от ужаса, не в состоянии поверить, что выступление мага может кончиться смертоубийством. Паника в зале была всеобщая, так что я никогда не узнал, чем кончилось дело.

С самого начала я усмотрел в состязании обычный поединок между магом и осо, колдуном или кудесником. Маг представлял собой таинственный Восток — Индию, Египет, Трех волхвов, Моисея, Фараона и Казни египетские. Колдун был один из наших, бороться с чуждыми силами Востока помогало ему наше, отечественное чародейство. Но он был побежден и, по всей вероятности, рассечен пополам разъяренным восточным магом. При воспоминании об этом поединке я всегда слышал запах ладана, непостижимым образом связывавшийся с Тремя волхвами, которые принесли в дар младенцу золото, ладан и смирну. Без сомнения, магия было злое, мстительное начало, устрашающее и безжалостное. Когда я исполнял роль мага, то вообразил себя и «магом», и «колдуном», что было явным противоречием, но заклинания мои от этого делались только могущественнее. Я пел на языке двойной власти, которой должны покоряться ведьмы и похитители детей. Песни из детской оперетты охраняли меня, когда я бежал от заднего двора к церкви, а мне угрожали мрак и близкое кладбище, не говоря уже об огромном манговом дереве, в чьих корнях легко разместилась бы сотня эвеле, оро, ивинов и прочих анджонну!

Из-за разучивавшихся в церкви гимнов прорезался и мой голос. До меня явственно доносились напевы, но не слова. Слова казались немыслимой мешаниной из английского, йоруба и того небесного языка, на котором говорят разве что херувимы,— они кружатся на разноцветном стекле вокруг святых и архангелов, и из уст их произрастают листья и целые ветки. Непонятные тексты вели к невероятным истолкованиям, и однажды, напевая что-то таким образом вычисленное, я налетел на органиста мистера Ориджу — он выходил из боковых ворот. Мой бег задержало появление человека, у которого всегда был такой вид, как будто он сломя голову мчится в церковь, а до начала службы остались секунды. Я остановился, испуганно выговорил: «Добрый вечер, сэр» — и бросился прочь. Я не помнил, какую именно тарабарщину из пасхальной кантаты я горланил, и мог только надеяться, что она не была чрезмерно кощунственной и мистер Ориджа не придет жаловаться.

Увы, назавтра, не успел пропеть петух, как мистер Ориджа постучал в дверь. Но он пришел не жаловаться, он просил, чтобы Эссе разрешил мне поступить в хор. Последовала довольно длительная дискуссия — я подслушивал с той минуты, как нескладная фигура органиста переступила порог. Эссе полагал, что я еще маленький, мистер Ориджа утверждал, что у меня хорошее сопрано. В конце концов они договорились. К должному времени мне сошьют подобающую одежду, пока же я немедленно приступлю к репетициям.

Эдун, который жил по ту сторону утреннего базара в Ибарапе, очутился в хоре таким же образом. Мы отпраздновали это как еще один шаг к освобождению от домашних обязанностей. К урокам, бойскаутским сборам и чтению книг прибавилась новая законная лазейка. И хотя рядом с церковью жил я, все смирились с тем, что я огибал церковь, шел от площади в Аке до базара в Ибарапе, проходил базар, проталкиваясь между агболе, и возвращался с Эдуном на репетиции, а когда нам сшили одежды, то и на богослужения.

Мы разнообразили наш путь. Вечерний базар был не по пути — он находился по другую сторону дороги в Иберекодо, а утренний базар ко времени репетиции был пустой и скучный. Чтобы зайти на вечерний базар, требовалось лишних десять—пятнадцать минут, и я стал выходить из дома пораньше. Ароматы базара вздымались в сумерках и призывали нас истратить накопленные за неделю онини и полупенсовики. Ибо здесь были все: торговка джоги, которая с лири-

ческим призывом проходила утром под стеной заднего двора, за ней следовала торговка акарой, чьи поджаренные бобовые лепешки медленно оседали, наполняя воздух благоуханием арахисового масла. На базаре мы глазели, как искусные ладони старух и их учениц зачерпывают из ступок строго размеренные порции белого бобового теста и бросают их в глубокие сковороды с кипящим маслом. Комок погружался в масло на дюйм-два, тут же всплывал на поверхность и начинал розоветь. Из него разлетались жирные брызги — чем больше воды было в тесте, тем выше они летели. Над печеным бобовым хлебцем с зеленым и красным перцем и молотой раковой шейкой медленно затвердевала коричневая хрустящая корочка.

Даже когда акару жарили без лишних затей, ее маслянистый дух заполнял базары и требовал нашего внимания не меньше, чем касада, маниоковые лепешки с ломтиками кокоса, чем до хруста зажаренное жесткое мясо тинко, чем огири, остро пахнущее пикантным сыром, чем жареная кукуруза, свежие овощи или гбегири. Женщины, ежедневно сочинявшие новые хвалебные песни, возвышались над огромными тыквами на глазированных блюдах; из этих тыкв в жадные миски разливалась акаму, вечерняя кукурузная кашка. Ни онини, ни полупенсовик не могли удовлетворить все наши мечты, но любование и обоняние было бесплатно. Репетиции хора сделались неотделимы от обязательной прогулки по Ибарапе, где ежевечерне воскресали роскошные запахи. Когда через несколько месяцев ученичество кончилось и мы стали полноправными хористами, каждое воскресенье, каждый праздник, к утренней или вечерней службе я, как прежде, пораньше шел за Эдуном. Утренний базар по воскресеньям не торговал, но всегда находилась женщина, словно собравшая все вкусы и запахи утреннего и вечернего базара в горшке, где рис и ямс утопали в подливке из рожков и раков. Если не считать нескольких лотков со свежими овощами, она одна бросала вызов воскресенью, притворявшемуся благовоспитанным несуетливым днем. Последствия было легко предсказать. Завтракали мы дома отнюдь не скудно, так что дело было не в голоде. По воскресеньям завтрак подавали особый — ямс, жаркое из рыбы, яичница, хлеб с маслом и неизменный чай или настой лимонной травы. Но я не считал, что позавтракал, пока с рясой и стихарем на плече я не проходил мимо рядов в Ибарапе, вызывал Эдуна и, отняв у Бога те медяки, которые нам давали на церковь, получал от старухи дымящееся, наперченное, клейкое месиво из печени и говяжьих потрохов — а колокола уже напоминали, что до предстания перед Богом осталось всего полчаса. Раз, два, может быть чаще, нас охватывали опасения, что Бог возмутится еженедельным отчуждением положенного ему по закону. Кажется, я утешался тем, что после жирной еды на базаре мы пели лучше, чем после домашних деликатесов. Во всяком случае, мы ждали, но так и не дождались знаков неодобрения со стороны ограбленного владельца воскресных пенсов.

Когда я спросил Ибидун, племянницу нашей тети миссис Лиджаду, отчего тетино жаркое такое особенное, она ответила: от пасменджи. Это странное слово прекрасно передавало аромат того, что готовила тетя, которая, как мы решили, принадлежала к далекой бразильской родне кого-то из наших. Ось вкусов и запахов образовалась между нею и нашей бабкой, сестрой Даоду, которая жила одна в Игбеине почти на противоположном конце Абеокуты. Во время наших нечастых посещений я чуть не вздрагивал, сознавая — не только в часы еды,— что я не у миссис Лиджаду, а в доме бабушки с маминой стороны, загадочной сестры преподобного А. О. Рэнсом-Кути. Она так и осталась одной из загадок в родственных связях, которые Дикая Христианка, не щадя времени, пыталась нам втолковать. Можно ли считать Олуби нашими двоюродными братьями, родственники они нам или свойственники? Я слушал и не мог понять ничего из хит-

росплетений семейной истории. Связи образовывала лишь более грубая существенность. На мой взгляд, наша игбеинская бабушка не имела ничего общего со своим потрясающим братом Даоду. Да, такая же строгая и, наверно, такая же любящая, но все равно, уж очень было похоже — и я в это долгое время верил,— что она мать Беере. И еще я считал, что она и миссис Лиджаду — сестры, потому что обе готовили с пасменджой, и дома у обеих были навеки пропитаны пасменджой. Даже их булочки и чин-чин одинаково пахли; что до настоящей еды в обоих домах, ее могли приготовить не просто сестры, но женщины, бывшие сестрами всю свою жизнь. Беере, жену Даоду, я никогда не связывал с готовкой. Другое дело — еда.

Беере обожала мойн-мойн, она приходила в такой восторг от мойн-мойна Дикой Христианки, что частенько присылала к нам в Аке из Игбеина за мойн-мойном кого-нибудь из своих старших детей, Койе или Долупо. Когда она являлась к нам собственной персоной и садилась за стол с родителями, крик ужаса срывался с ее уст, если служанка, перестаравшись, выпрастывала дымящийся деликатес из листьев. Ибо для нее изысканнейшей частью мойн-мойна были тонюсенькие пластики, образовывавшиеся между листьями. Она неспешно снимала их ножичком, после чего обсасывала листья или чередуя их с собственно мойн-мойном, или в довершение удовольствия. Злосчастная служанка демонстрировала мойн-мойн в клубящейся, но обнаженной славе, и Беере настоятельно требовала, чтобы принесли листья. Никто не подвергался опасности; она прекрасно знала, что листья не в помойном ведре. Мы наблюдали, как заинтересованно она обрабатывает каждый лист, как с тщательностью хирурга разъединяет слипшиеся, как с испеченных прожилок небрежно снимает маслянистые светящиеся пластики и с показной радостью облизывает полные губы. Если она была в настроении, она отвечала на наши протестующие взгляды громким заявлением, что только дурак или англичанин оставляет такие лакомые кусочки детям. И лукаво глянув из-под очков, она отрезала кусок из сердцевины мойн-мойна и, подмигнув, продвигала его к нам со словами, что лучше отдать весь мойн-мойн, чем некие неуловимости из потаенных мест, ибо в них весь аромат и сок и искусство Дикой Христианки.

Песни торговок мойн-мойном еще слышны в Аке и в других частях города, но на Пути Дайиси уже есть лавка, в которой мойн-мойн достают из стеклянной витрины с неоновой лампой цвета морской воды. Мойн-мойн лежит там бок о бок с гамбургерами Макдональда, цыплятами по-кентуккски, сосисками и пирожками. Мойн-мойн готовят здесь в жестянках из-под молока и нарезают правильными кусками, как мыло. А нувориши дóма начиняют его яйцами, португальскими консервированными сардинами и аргентинским консервированным мясом. Из прочих лакомств вара не существует даже в таком сомнительном качестве — огромные тыквы, в которых плавал сладкий творог, вытеснены хромированными коробками со склизкими носиками, из которых в хрупкие конусы вытекает желтоватая смесь. Добро бы это было мороженое! Озабоченные быстрой наживой импортеры мгновенной, как растворимый кофе, техники всучают юным потребителям месиво на сахарине и глядят, как те шумно его пожирают, вгрызаясь все глубже в вафельный конус. Даже в воскресной школе у Па Делумо дети были умнее; они бы низвергли такое мороженое и вновь посадили на трон законную царицу вару.

Наши зубы были отточены на робо, жареных шариках из молотых дынных семечек, и на гугуру-и-эпа, друге и помощнике рабочих в критические дни перед получкой. Горсть гугуру запить водой, пальмовым вином или пито, и голод не ощущается до конца дня. Вечером на выручку приходит семини, клейкая бобовая похлебка с темным пальмовым маслом и перцем. В соединении с гари она оправдывала искаженное слово «цемент», которым ее окрестили. Продававшие

гугуру женщины хауса тщательно сортировали кукурузные зерна; мы покупали то пережаренные зубодробители, то пушистые белые пузыри, то серединка на половинку и соединяли их то с ломтиками кокоса, то с пригоршнями арахиса. И сегодня на Пути Дайиси челюсти тоже утруждены — жевательной резинкой. В одном из прихотливых магазинчиков, освещенных неоном и разноцветными лампочками, автомат выдает пакеты одинаково воздушного попкорна. Уличные мальчишки швыряют пакеты в лица автомобилистов, когда машины сбавляют скорость на повороте. Рев гудков пытается перешибить многодецибеловый рок, панк и прочий фанк-фанк из стран мгновенно готовых, как растворимый кофе, кумиров культуры. Остекленели глаза, челюсти беспрестанно и машинально жуют, новые завсегдатаи жрут мешанину песен, несущихся из каждого магазина, руки взлетают и бьют по бокам, как крылья раненой птицы. Поодиночке или идентичными близнецами, двойнями, тройнями, четвернями они забредают к стереооборудованию, оглаживают конверты новейших пластинок и воздыхают. Появляется трио с гигантским кассетником на всю железку, и начинается состязание с уже озверевшим от шума рядом витрин.

Они проходят мимо косметики и сувениров, челюсти перемалывают корыта синтетической жвачки всех видов; у Макдональда они погребают во ртах трупики тощих сосисок и заливают их кока-колой. Девица, наконец, решается приобрести один из конкурирующих «тонов» и уже видит, как кожа ее стала светлее, как будто реклама способна выполнить обещание. Наконец, послышалось что-то родное — или так показалось. Увы, это всего-навсего местное подражание иностранному попу, неподобающе расцвеченное благолепными изречениями и обломками старых пословиц и поговорок. Эти музыканты великолепно знают свою аудиторию — нуворишей, подрядчиков и импортеров, управляющих «группами компаний». Эта публика купается в растворимом мгновенном эстетстве; примитивные линейные мелодии и одинаковые для всех целей аккорды не утруждают ни ум, ни сердце; слушатели приемлют и напоказ опекают новую музыку, едва догадываясь об идентичности «нью-фудзи», «фудзи-рока», «апола-диско», «афро-регги» и их равно плоских предшественников.

Так же не утруждают себя выбором, так же слушают иноземных менторов дети новой элиты — врачей, адвокатов, инженеров, чиновников и священников. Они идут за Приходом по Пути Дайиси, впиваясь в кассеты «из заграницы», и потом делятся впечатлениями над цыпленком по-кентуккски. Девушка заходит к парикмахеру, и в звуки диско вливается шипение и вонь горелых волос — фен разогревает мозги, не воспламеняя воображения. Красотка Святого Петра изучает в зеркале журнальную волну на голове, несколько раз притрагивается к ней кончиками пальцев и остается довольна. Пора присоединиться к друзьям у «Полковника» ради своей доли новейших деликатесов.

Иногда Путь Дайиси омрачали неожиданные жестокости. В пору манго Главную площадь Аке распирало от одуряющих запахов. Пахло не только плодами, хотя, едва они поспевали, в них летели камни и палки, и на сбитых, источавших медовый дух роились мухи и бабочки. Дерево в эту пору обладало такой изобильной тенью, что под ним с радостью устраивались торговки. С утра до ночи рабочие, служащие из соседних правительственных учреждений, школьники и пассажиры с грузовиков сидели среди корней на самодельных скамейках или просто стояли, сочиняя себе кушанья из сотни ингредиентов. Публику сюда привлекала и Сорованке. Иногда ей давали еду, даже одежду, иногда над ней издевались или добродушно посмеивались, иногда в нее летел камень.

Сороване соорудила себе лачугу в кустах неподалеку от манго — несколько узких полос рифленого железа, картонные коробки и рваные тряпки на палках. У Йоколу, ее любовника, не было постоянного места жительства; в любое время дня его можно было встретить в любой части Абеокуты. Однажды мы увидали, что он ест с Сороване. Он стал приходить все чаще; среди тряпья, сушившегося после стирки, мы заметили что-то явно мужское. Йоколу меньше бродил по городу, большую часть дня он теперь сидел в тени манго — Сороване делилась с ним тем, что ей подавали.

Его появление вызвало замешательство среди обитателей манговой тени. Учащиеся каждый день приносили в школу Святого Петра известия о сожительстве двух изгоев и о реакции торговок и покупателей. Поначалу неуловимо, но толпа под деревом стала рассасываться, хотя тень делалась только гуще и шире. Оставшиеся торговки передвинулись от ствола к краю тени в сторону церкви. Сороване и ее любовник заняли освободившееся место. Их жестянки, коробки, дырявые корзинки валялись среди корней, где когда-то сидели покупатели с кушаньями. На нижних ветвях повисло стираное белье. Сороване и Йоколу поселились под деревом. В полдень они дремали, прислонившись спиной к стволу; их очаг занял удобное место в развилке между голыми корнями, запахи их готовки соперничали с запахами жареной свинины и ямсовой похлебки, леки и множества прочих яств, которые предлагали торговки. Кое-кто ворчал, но, в общем, с новым территориальным размежеванием примирились без споров.

И тогда живот Сороване начал расти. Он становился все больше и больше, а Сороване говорила все меньше и меньше, даже во сне, когда, свернувшись калачиком среди корней, она все глубже и глубже погружалась в тени. Теперь она ни о чем не кричала вселенной, как бывало, когда Йоколу уходил в загадочные странствия по земле; теперь она бормотала заклинания самой себе, так что никто ее не понимал. Однажды ее сожитель исчез. Сороване еще больше ушла в себя. Бормоча, она всегда глядела вниз, и казалось, что это она говорит со своим животом. Внезапно, в одно прекрасное утро мы услыхали крики, визг, стук камней по железным листам. Я вместе со всеми взобрался на лестницу, и мы увидели наших школьных товарищей, осыпающих Сороване камнями и палками. К ним присоединились торговки, а несколько мужчин, направлявшихся на работу, остановились, глазели, глумились и обзывали ее ведьмой. За несколько дней до этого она необычайнейшим образом отлучалась на несколько часов и, вернувшись, обнаружила, что лачуга ее сгорела, вещи разбросаны — и подальше от дерева. С тех пор она не шевелясь сидела на месте, бормотала и почти ничего не ела. Вряд ли у нее было много еды или денег — может быть, поэтому она и уходила на те злополучные несколько часов. И вот в нее летели камни. Увесистая дубинка сбила стоявшую на огне жестяную банку, и из нее пролилась простая вода. На виске ее проступила кровь, она взмахнула рукой, словно отгоняла от лица муху. Но это были не мухи, а камни и палки, и Сороване неожиданно поднялась, цепляясь за ствол, и, шатаясь, пошла прочь. Мальчишки раскидали ее костер, забросили тряпки и картонные коробки в кусты, где когда-то стояла ее лачуга. Торговки докончили дело, они начисто подмели площадь вокруг дерева и вернулись на прежние места. Не прошло и недели, как в Аке полностью позабыли о брюхатой безумице Сороване.

(Окончание следует)

ТОММАЗО ДИ ЧАУЛА

Голубая спецовка

■

Перевод с итальянского Г. СМИРНОВА и Н. ЖИВАГО

Завод, где я работаю, находится в шести километрах от Бари. Этот завод был построен лет пятнадцать назад в одном из самых прекрасных сельских уголков в окрестностях Модуньо, округ Парадизо. По прямой море отсюда очень близко, его можно увидеть, если влезть на железную крышу цеха. Синее, грозное, могучее море. Когда оно волнуется, можно разглядеть пенящиеся валы, от одного вида его становится весело, но стоит подойти поближе, сразу станет ясно, что море это мертвое: нечистоты, деготь и нефть убивают его день за днем — нет рыбы, нет крабов, нет моллюсков, которых мы ловили в детстве, тогда море было еще чистым. Я и мои сверстники приезжали сюда на велосипедах, часто приходили пешком. Помню, кое-кто даже тащил сюда козленка на выпас.

Правда, я козлят не пас, когда жил в деревне у деда с бабкой, но по хозяйству помогал много. Работали до ночи; о конце работы давал знать дед, загоняя в хлев скотину. По крику совы запирали двери на засов, закрывали окна, и в доме было не продохнуть от удушливого запаха спелых фруктов, засыпанных в мешки. Особенно терпко пахли груши. Пламя керосиновой лампы дрожало от непонятно откуда взявшегося сквозняка, ночные бабочки так и падали в лампу, поджариваясь на огне. На следующий день приходилось отмывать стекло от приставших к нему крылышек и тонких лапок. Старики храпели на своей железной кровати; дед, выпростав руки из-под одеяла, вздрагивал во сне и крушил кулаками спинку кровати, на которой были нарисованы цветочки и птички, давно уже почерневшие и засиженные мухами.

Вот уже почти четырнадцать лет, как я работаю здесь. На штанах моей спецовки — штамп «Катена-Зюд», на блузе, на куртке — повсюду «Катена-Зюд». Моему деду крестьянину лучше. Хотя у него на заду заплатки, да и все тряпье латано-перелатанно, но зато без надписей. У стариков все было заштопанное: одежда, простыни, стеганое одеяло, занавески, парусина для сбора оливок, мешки. В воскресенье к мессе дед принаряжался; черный костюм висел на нем, как на пугале, ворот белой рубашки был протерт, галстук напоминал все что угодно, только не галстук. Уголки воротничка все время топорщились, как усики антенны.

Я впервые надел «фирменную» куртку. Холодно, уже октябрь. Вчера вечером нахлестывал дождь. Крестьяне при свете красноватых лампочек (все краснее становятся и виноградники) бесновались, глядя на ливень,— пинали стулья, кошек, детей, кастрюли и проклинали всех святых. Дождей не было с июня.

Опять рабочий день. Так было, кажется, целую вечность. Сегодня тоже придется ломать голову, как добраться до работы: местечко, где я живу, никак не сообщается с заводом. Аньелли[1] не сумел сбыть мне одну из своих душегубок и наказывает

© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano 1978.

[1] Один из крупнейших итальянских капиталистов, владелец фирмы «ФИАТ», производящей легковые автомобили. «Катена-Зюд» — предприятие, построенное «ФИАТом» на юге Италии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

меня за это. Жители поселка знают, что у меня нет прав, и смотрят на меня как на дефективного: глядите-ка, не умеет даже водить машину.

До моего «Шаблина»— это легкий и скоростной токарный станок — не дотронешься, такой он холодный. Собранное из металлических листов помещение цеха — настоящий ад, мы подыхаем и летом, когда железо накаляется, и зимой, когда оно выстывает. Пробуем немного согреться — со вчерашнего дня осталась еще тысяча штук тефлона. Тысяча — не так уж много, иногда их собирается до десятка тысяч, все как один красивые, чистые и такие маленькие, что, пожалуй, могли бы уместиться в кармане. Эти детали как грибы: чем больше их собираешь, тем больше их вырастает. Вот я и вкалываю как одержимый. Не знаю, что и придумать, чтобы на них не смотреть. Мне кажется, из глубины пластмассовой красной коробки они надо мной смеются. Десять тысяч штук! Пробую положить поверх коробки бумажный лист, проделываю в нем дыру и через нее достаю эти проклятые детали, так по крайней мере я их не вижу и они не гложут мне душу.

Может, я мало работаю и много витаю в облаках. Я представляю себе, что происходит за стенами цеха, как хорошо прогуляться по полям с хорошенькой девушкой. Конечно, послушать мастера, так я всегда работаю недостаточно: выработка, где выработка? Он приближается, добренький и благообразный, как монах, но тут же превращается в стервятника, едва речь заходит о выработке. Я говорю ему: здесь все из рук вон плохо, и вне завода — тоже. Выглянул бы он за ворота «Катена-Зюд» — вся Италия, похоже, страдает от неполадок, мешающих рабочим «вкалывать».

Теперь, когда я согрелся, от куртки идет пар. Токарь, работающий на вертикальном станке, тот, что обтачивает детали выше своего роста, кожухи величиной со шкаф, смотрит на мои малюсенькие детальки и улыбается. Спрашивает: «Кончил свои четки?» Моя продукция похожа на зернышки, на бусинки, из которых нижут четки, чтобы отмечать, сколько раз ты прочел «Отче наш».

Сегодня в уборной обнаружили рабочего, лежащего на полу. Он объяснил, что хотел вытянуть ноги. Причем был так счастлив, словно попал в рай. Пусть в дерьме, зато сам себе хозяин. Порой, когда спина вот-вот переломится от боли и некуда голову приклонить — вокруг сплошь масло, стружка, все колется и режется,— лучше уж растянуться в уборной, среди вони, положив под голову вместо подушки рулон туалетной бумаги.

Иногда мне мерещится, что вокруг деревянных помостов бегают странные существа, крошечные чудовища, кажется, их породил шум, корявый пол, грязь, накопившаяся здесь за годы. Особенно много их зимой, они вылезают погреться у работающих моторов.

Выработка, выработка, все время выработка, а я вот что скажу: если мне, несмотря на мою подготовку, сноровку и ум (а Аньелли их отрицает!), не удается выполнить работу по наряду, то я зверею и посылаю всех к чертям собачьим. Как, говорю я, бездушная материя может меня дурачить, изнурять, высасывать из меня силы и валить с ног? Ну нет, дудки: я плюю на время, предусмотренное нарядом, бочком-бочком выхожу наружу подышать свежим воздухом и, расстегнув рубашку, загораю.

Сегодня к моему станку подошел мастер, показывает на ящик для инструментов и спрашивает: что значит эта надпись? Я прикидываюсь дурачком. «Какая надпись?» — спрашиваю. «Вот эта»,— говорит он и хватает меня за рукав. На ящике написано: «Да здравствует революция, перестроим общество и выгоним всех сволочей и воров!» Тут же начинается выволочка: Ди Чаула, это дело твоих рук, пора кончать с такими надписями, а нет — придется сходить к начальнику по кадрам. Пора с ними кончать раз и навсегда, не валяй дурака, это твои проделки, я знаю, только ты этим занимаешься и уже перешел всякие границы, понял, всякие грани-и-и-ицы, ты по-о-о-о-нял, границы. А я ему в ответ: «Эй ты, потише, что́ я — убил кого или изувечил, а? Может, сломал какую штуковину? Нечего базар тут устраивать, и голос на меня не повышай! Когда мы своим по́том и кровью, настоящей красной кровью, поливаем вот эти ящики и этот пол, то все прекрасно, все в порядке, но стоит написать невинную фразу, высказать свои мысли, как вас тут же начинает корчить. Проваливай-ка отсюда, никто не заставляет тебя читать эту надпись, а для меня она много значит, она мне под стать, она поднимает настроение, придает смысл жизни, она — часть меня самого. Вам всем

бы хотелось, чтобы мы, стоящие у этих машин, были болванами, роботами, но у нас пока что голова на плечах, мне эта надпись доказывает, что я все же мыслящее существо и не стану жевать чужую жвачку, так что давай двигай отсюда».

Иногда бродишь по дорогам Юга, вокруг полуразрушенных убогих поселков. И за кактусами, растущими вдоль грязных каменных заборов, открываются неожиданные и невероятные вещи — настоящие миражи в пустыне. Какой там нищий Юг! Ты увидишь конюшни, где бьют копытом веселые и сытые кони, увидишь роскошные бассейны, экзотические растения, зеленые, ухоженные лужайки... И все это на виду у рабочих, у всего выжженного и нищего края. Вот так стоишь, уткнув нос в колючки, и, пораженный, взираешь на всю эту божью благодать! Но стоит повернуть голову в сторону, и перед тобой снова другой Юг — Юг бедняков, душный, погибающий от жажды, озлобленный Юг.

Праздники перестали быть праздниками. Раньше они были сытые и благодатные. Можно было жить одними праздниками. Если ты участвовал во всех торжествах, то тебе всегда перепадал даровой кусок. Прошел праздник — занимайся каким-нибудь ремеслом. Приходилось, конечно, и туговато, но была достойная жизнь — бедняцкая, зато здоровая и свободная. Когда в Мола-ди-Бари устраивали праздник по случаю улова моллюсков, можно было отправиться туда и поесть их досыта. В Грумо-Аппула был обычай — не знаю, может, он сохранился и по сей день — угощать бедняков жареной чечевицей, хлебом, вином. В других селениях, например в Тури, был праздник сбора черешни, и тогда можно было смело пускаться в путь и быть уверенным, что вдосталь поешь черешен; потом еще был праздник луковичной поджарки в Аквавива-делле-Фонти, в Мариотто — праздник винограда, в Сан-Микеле — праздник свиной ножки. В одном поселке был праздник пшеничных лепешек (любопытно, там их мерили аршином). Потом начиналась массовая торговля пряниками и так далее. Можно было в любое время года прокормиться, путешествуя по Апулии вслед за праздниками и ярмарками; разъезжаешь себе на велосипеде и ни перед кем не отчитываешься. Теперь и праздники уже не праздники, за все приходится платить. За все и сполна.

У входа в уборную и раздевалку скопилась целая гора грязи, но никто не замечает. Она высится там годами, пока кто-нибудь не вляпается в нее, и тогда ассенизаторам из «Люченте» приходится немало попотеть. Они готовы сожрать нас, рабочих, потому что им приходится очищать уборные от наших нечистот и потому что мы, на их взгляд, находимся в привилегированном положении. Им невдомек, что рабочих насилуют больше, чем их.

В этом году опять разразилась эпидемия — они вспыхивают как молнии там и сям на этом восхитительном Юге, о котором только и поют «О солнце, о море!». Смех разбирает, когда начинают рекламировать Юг ради привлечения туристов; Юг теперь — сплошная мерзость, пляжи — просто свалки, все захламлено, залито цементом, побережье застроено уродливыми виллами в стиле бог весть каких далеких стран. А море все никак не вздыбится, чтобы смыть эти дворцы, их обитателей и землемеров, еще более тупых, чем хозяева. Какой уж там прекрасный Юг, тарантелла и прочие пикантные удовольствия! А в сельскую местность то и дело наведываются князья да маркизы, собирают арендную плату за землю. С ума можно сойти, человек уже ступил на Луну, а до сих пор еще не вывелись всякие там князья и бароны. Всем бы им головы поотрезал!

Хочется закурить сигарету, но руки такие грязные, что не покуришь. Со всеми этими эпидемиями поневоле будешь беречься... так и кажется, будто мы вернулись в средние века.

Ужасное событие потрясло жителей всеми забытой Мурджи, что неподалеку от Альтамуры. Бесследно исчез пастушок Микеле Колонна. Потом отыскали еще теплое тельце, лежащее ничком на земле среди скал, рядом — ружье, к спусковому крючку привязан шпагат. Восстановить случившееся нетрудно: укрепив ружье между двумя камнями, Микеле навел его на себя, привязал к курку шпагат, а с другого конца — камень, потом бросил камень подальше, тот дернул шпагат, и пуля разнесла мальчику грудь. Когда карабинеры нашли его лежащим на земле, казалось, он спал. Левая рука впилась в землю — от отчаяния. Он не мог больше сносить одиночества, издевательств

и всего такого. Кто навязал ему это жалкое, мучительное, нищенское существование? Таких мальчишек помещики покупают, как рабов, устраивают им настоящий медосмотр, щупают мускулы, смотрят в зубы, лезут в штаны. Оплата производится натурой. Кто протестует — ответ один: по шеям.

Трулли[1] продолжают исчезать. Они обречены на вымирание; между тем как грибы растут огромные коробки с жуткими, похожими на склепы квартирами, от которых кровь леденеет. Наверно, мастеров, которые строили трулли, и в живых-то не осталось. Что делать, времена изменились, и никто уже не сумеет построить их по всем правилам старинного искусства.

Налоги, налоги, налоги, вычеты из зарплаты ради капиталовложений. Какие еще капиталовложения? Диоксин из Севезо — тоже капиталовложение? Мышьяк из Манфредонии — тоже капиталовложение?

Сегодня я вернулся на завод, отболев целую неделю. Температура все время прыгала, харкал я чем-то черным, как каракатица. О горле лучше и не говорить — казалось, у меня там два камня, а не гланды. Нос постоянно заложен. Я мог бы еще поболеть, но предпочел вернуться на завод. А еще говорят, будто рабочие бессовестно прогуливают. Клевета, есть у нас и совесть, и терпение. На заводе мы вкалываем в таких условиях, от которых последняя скотина пришла бы в ужас. Насколько я знаю, коров и кур часто содержат в чистоте, летом у них прохладно, зимой тепло; бывает, и музыку им включают. У нас же ни черта нет. Этим летом нам наконец-то поставили большие вентиляторы, которые отсасывают горячий воздух. Мы ждали их лет двенадцать, а толку от них почти никакого, один только шум — «ру-у-у-у, ру-у-у-у, ро-о-о-о», как от самолетов.

Сегодня на завод явился заведующий отделом внешних сношений. Привел на экскурсию туристов. Он всех сюда приводит: англичан, французов, славян, турок, японцев, марокканцев. Сегодняшние показались мне немцами, уж очень дотошные. Один все стоял и стоял около моего станка.

Время от времени кто-нибудь у нас калечит себя. Если рана пустяковая, ее заматывают тряпкой и продолжают работать. Если человек сильно поранился, тоже ничего особенного, чаще всего он теряет сознание, его кладут на носилки и уносят вон. Носилки все время под рукой, в углу, возле уборной. Когда мы проходим мимо, трижды плюем, чтобы отвести от себя напасть.

Как-то я услышал крик и увидел бегущую толпу. Спросил у рабочего, выбежавшего из цеха, что случилось. Вместо ответа он показал мне обрубок пальца, который сжимал в руке.

Ходят разговоры, что нефтеперегонный завод «Станич»[2] должны перевести в другое место, а тут останется только хранилище. Итак, нам больше не придется глядеть на это угрожающее пламя, которое полыхало повсюду, даже если не обращать на него внимания. Я видел его, когда лежал на траве и когда спал у себя в комнате, оно мрачным светом озаряло стену и одеяло. Видел его с мокрых, замшелых террас. Теперь оно исчезнет, никого не будет пугать, будем надеяться, что его не заменят чем-нибудь пострашнее.

Я работаю изо всех сил, тысячи железных стержней, покрытых антикоррозийной смазкой, ждут меня в контейнере — все их необходимо обработать.

Присев на гору коробов, разминаю затекшие конечности. Снова как безумный набрасываюсь на работу, потом останавливаюсь и думаю о своей злосчастной жизни. Под задницей у меня три или четыре коробки — у нас ведь нет удобных и мягких стульев, как в управлении, надо приноравливаться. Скоро одиннадцать вечера, пора уходить, мы стоим под часами со своими карточками, ждем, когда стукнет ровно 23.00. Я пробиваю свою карточку, но иду не к выходу, а возвращаюсь назад. Я в полном сознании и здравом уме. В голове у меня ясно, будто сейчас утро и вот-вот пропоет петух,

[1] Трулло — тип апулийского крестьянского дома с купольной крышей.

[2] Акционерное общество нефтеперерабатывающей промышленности Италии, тесно связанное со «Стандард ойл компани» (США).

я возвращаюсь к станку, захватываю пригоршню стержней, прохожу через тяжелую дверь, и вот я на улице; впереди тянутся поля. Я втыкаю один за другим стальные стержни в землю, всего их будет штук тридцать. Уже поздно, но собак еще не спускали. Бросаю взгляд чуть дальше, туда, где несколько дней назад посадил немного бобов. Будем надеяться, что их не обнаружат.

Часто мне снится родное селение. Два дерева красного тутовника и одно — белого в моих воспоминаниях выросли до гигантских размеров. Стоило влезть на эти деревья, и ты оказывался словно на другой планете. Под деревьями никогда не было ни травинки из-за козы и мула, которые часами паслись в тени ветвей. Вечером, когда мы шли спать, постепенно затихало эхо наших детских голосов, нашей беготни, и земля наконец могла отдохнуть. А днем все вокруг было в густой красной пыли. С наступлением ночной прохлады возвращался дядюшка Марко. Он все еще злился на своего мула и осыпал проклятьями всех святых.

Мастер снова при исполнении — требует повышения производительности, а я опять посылаю его куда подальше. Когда я возвращаюсь домой, у меня нет сил даже приласкать сына, а мастер хочет, чтобы я еще больше ишачил.

На днях двух токарей хватила кондрашка. Они побледнели, стали задыхаться. В медпункте им дали кислород, кто держал их за ноги, кто за руки, потому что они дергались как заводные. Вот вам и награда за всю ту несправедливость, что мы терпим изо дня в день. Сегодня тянешь из себя жилы, завтра тянешь — глядишь, они и оборвутся.

Хотел бы я посмотреть, случаются ли такие приступы с начальством: оно ведь то и дело шастает в отпуск! Для боссов отпуска никогда не кончаются. Наши профсоюзные деятели время от времени ездят на семинары — в Римини, в Ариччу, в Манфредонию. Черт возьми, говорю я, почему бы им не устроить семинар с нами, прямо на заводе, среди станков?

Сегодня утром в цехе появился начальник, а с ним профсоюзный вожак какого-то подозрительного вида. Мы подали друг другу знак и, не прекращая работы, стали завывать, как волки, или потихоньку скандировать: «Бездельники! Американцы!» Они сделали вид, что ничего не слышат, опустили головы и быстро прошли через цех.

Все идет наперекосяк, ничего нельзя понять: хозяева нас не выносят, мы не в силах больше выносить хозяев, сами рабочие не могут выносить своих же товарищей — слишком много накопилось ненависти и мало человечности, во всем страшная путаница, чересчур много партий, все пропитано эгоизмом. Католики своими молитвами отметают любые требования, их ханжеством, фальшивым целомудрием люди сыты по горло. Скверная порода эти ревностные католики, особенно когда делают вид, будто не видят разницы между христианской моралью и моралью христианских демократов.

Что же это за христиане, если они со спокойной душой убивают, воруют, разрушают и притом еще разглагольствуют о любви к ближнему. Какая там любовь, какое право на жизнь, если жизнь эту они превратили в ад!

Возвращаясь из столовой, прохожу мимо гелиографического цеха. «Привет трудящимся»,— говорю я ребятам, которые собираются идти обедать. (Нас много, почти восемьсот, и мы ходим в столовую посменно.) Тут я увидел, что один старый рабочий из Гравины, что в Апулии, которого считают неотесанным, потому что еще лет пятнадцать назад он крестьянствовал и пас овец, плетет большую корзину из оливковых и ольховых прутьев. Я остановился, потрясенный, потом подошел к нему и с восторгом стал смотреть на искусные руки, под которыми на наших глазах вырастала корзина. Я вернулся в цех только после того, как вырвал у него обещание обучить меня этому ремеслу. Так обнаруживается, что в самом последнем человеке на заводе столько ума, поэзии, таланта, что никому с ним не сравниться. Моя бы воля, я бы посадил его на место директора завода. Когда я вижу хорошую вещь, сработанную вручную, я чувствую себя ненужным, потому что сам не могу сделать такое, у меня ощущение, будто я прожил свои годы впустую и не нашел себя — ведь я уже не мальчик, и мне теперь слишком поздно учиться.

Чтобы сделать станок, необходимо столько сложных вещей: проекты, чертежи, сырье, пот, проклятья, кровь, деньги, обман; а чтобы сделать вот такую корзину, нужно немного: несколько ольховых и оливковых прутьев и пара рук. Фрукты надо хранить именно в такой корзине, а не в жутких пластиковых мешках, от которых веет смертью.

Черт возьми, ну и движение на наших улицах! Для поселка с населением всего в пять тысяч человек чересчур интенсивное. А ведь цены на автомобили взлетели до небес. Лет десять назад, если студент мог немного подработать после занятий, а рабочий — остаться на сверхурочные, этого хватало, чтобы заиметь машину, пусть подержанную, побитую, но все-таки машину. Это были относительно легкие годы, лира чего-то стоила, денег в обращении было больше, а теперь мы похожи на обезумевших ящериц: бегаем, бегаем и в конце концов кусаем себя за хвост.

Вокруг нашего цеха — почти нетронутый сельский пейзаж. Я говорю «почти», потому что здесь легко наткнуться на куски железа, металлических конструкций, на кучи стружек, сваленных в кустах среди лютиков и шафрана. А потом вдруг перед тобой открывается английская лужайка, тщательно подстриженная садовником. Директор любит зелень, всякие там растения, особенно хвойные, около них даже стоят таблички с латинскими надписями. Надо признать, атмосфера здесь приятная, не то что на заводе. Директор, к сожалению, любовно пестует лишь растения, а о рабочих так не заботится. Обожает зеленый, но плохо переносит красный цвет.

Токарный станок. В нем есть подвижная и неподвижная часть. Заготовку закрепляют муфтой и обрабатывают режущим инструментом, закрепленным на каретке, которая ходит по направляющим планкам, как поезд по рельсам. Каретка с резцом движется вперед и доводит вращающуюся деталь до нужных размеров. Чем медленнее движется каретка, тем лучше, тем тщательнее обрабатывается деталь. Резец должен непременно быть тверже самой заготовки. В давние времена, когда мы только начинали работать на заводе, нас, ребятишек, все время преследовало искушение устроить тут разгром: мы еще не забыли себя, не забыли свои беззаботные, резвые игры на воле. От этих воспоминаний было мучительно простаивать за станками долгие часы, особенно когда снаружи доносились крики ребятишек поменьше, поднимавших на улице столбы пыли. А ведь достаточно было вставить какой-нибудь предмет между движущейся кареткой и неподвижной частью станка, и через минуту болт не выдерживал, резьба срывалась, станок останавливался. Поди потом найди, отчего он сломался, тем более что любой поломке можно найти объяснение: станки порядком изношены, покрыты ржавчиной. Когда станок ломался, то в ожидании, пока он снова заработает, можно было бездельничать, слоняться по территории завода, приставать к работающим. Однако чаще всего хозяин находил тебе работу. Например, помогать сварщику — поддерживать металлический брус или же лить смазочное масло, когда другой рабочий делает нарезку. Уже тогда хозяева поняли, что рабочего можно перемещать с места на место.

В одном из углов гигантского цеха, этой чудовищной конструкции из ржавчины и дыма, вони и рева, в железной колонке спрятана зеленая пластмассовая бутылочка с пульверизатором, выпускающим зеленоватую пахучую жидкость. Из колонки можно также достать тончайшие бумажные салфетки Если у кого загрязнятся или запотеют очки (дирекция позаботилась и об этом), достаточно нажать на пробочку — и на очки брызнет зеленая вода. Очки потом можно протереть салфеткой, чтобы лучше видеть. Конечно, так мы видим лучше, особенно то дерьмо, которое нас окружает.

Сегодня, пока мы мыли руки, в уборной между двумя рабочими вспыхнула ссора. Один назвал другого капиталистом, потому что у того собственный дом. Другой ответил первому, что тот у тещи нахлебник. Еще немного — и дело дошло бы до кулаков. Окажись при этой ссоре Аньелли, Леоне или Павел VI, уж они бы не нарадовались. Им того и надо — разобщить трудящихся, и это часто им удается. Только у кого-нибудь завелась в кармане лишняя лира, тут же рождается зависть; и никто из нас не думает о тех, кто пускает по ветру миллиарды, о тех, кто наживается за нашей спиной, а потом переправляет капиталы за границу.

Начальник цеха попросил меня поработать сверхурочно. Он сказал: «Ди Чаула, ты давно не выходил на сверхурочные, завтра можешь выйти, завтра суббота, в воскресенье отдохнешь. Поработай с семи до часу. Приходи, деньги-то небось нужны». Он

в упор сверлил меня взглядом, а я и бровью не повел, уткнулся себе в деталь, которую обрабатывал, и только буркнул: «Ладно», отвяжись, мол.

Назавтра я почему-то проснулся раньше обычного, вышел на балкон и глубоко вдохнул свежий воздух. На улице приятно пахло дикой горчицей, с оплетенных виноградной лозой террас свисали золотистые гроздья спелого винограда, от них шел душистый запах. Я сказал себе: стоит ли идти на завод и заживо гнить там за десять тысяч лир? Кто мне еще подарит такое утро? Десять тысяч лир, что такое десять тысяч лир, стоят ли они дуновения этого ветерка? Я вернулся к себе, взял бутылку вина и отправился бесцельно бродить по полям. Зашел довольно далеко от поселка. Чем дальше я шел, тем больше земля благоухала ромашками, дикой горчицей, мхом. Бьюсь об заклад, что ни одна ищейка ни одного хозяина в мире, ни один сторож на всем белом свете не нашел бы меня среди этого благоухания.

Сегодня утром я встретил в городе нескольких рабочих из своей смены. Утро у нас свободное, нам выходить после обеда, а мы как идиоты не знаем, чем заняться, и бестолково шляемся по поселку — не люди, человеческие обломки. Работать в ночь тяжко, да к тому же эта работа монотонная, однообразная — ни уму, ни сердцу. Завистники говорят, что нам хорошо платят. Да, черт побери, триста тысяч лир, но разве их когда-нибудь хватает?

Сегодня начальник цеха выступил с нелицеприятным заявлением. Сначала просто сыпал словами, а потом ни с того ни с сего выкладывает: производительность, мол, упала, а винить, кроме нас, некого, потому что, дескать, мы мало работаем. Эти мерзавцы как будто и не подозревают, что, если дела не идут, виной тому плохая организация труда, непроизводительные расходы, высокооплачиваемые паразиты, которые сами ничего не производят, а загребают не в пример больше тех, кто непосредственно занят в производстве. Стоит, однако, нам заикнуться об этом, увязать положение на заводе с каким-нибудь политическим или культурным событием, как начальство тотчас поднимает крик: завод, мол, не место для политики. А я в ответ: черт побери, где же мне заниматься политикой, если не на рабочем месте? Но мы говорим с ними на разных языках; послушать их, так они всегда правы — видать, им промыли мозги, и они готовы послушно исполнять все, что велено. Из них вышли бы прекрасные надсмотрщики, коменданты концлагерей. Пусть читателя это не шокирует, так было, есть и будет, пока живут на свете штампованные болваны, которые действуют как приводные ремни.

Возвращаясь к речи начальника цеха по поводу упавшей производительности и ответственности рабочих, я вспоминаю: виноват всегда стрелочник.

НИСБ — Национальный институт страхования от болезней. На самом деле ни от чего он не страхует, а только травит нас лекарствами. Между тем мы все чаще болеем артритами, бронхитами, фарингитами, гастритами, нервными расстройствами и так далее. Это наиболее распространенные заболевания. Пойди в профсоюзную поликлинику, в эту крысиную нору, тебя осмотрят в обойме с двумя-тремя другими больными (эта процедура длится секунды), потом сунут в руки розовый рецепт, и дело в шляпе. Надеяться больше не на что. Несколько дней принимаешь лекарство без всякой веры в него, но недуг не проходит, из года в год тебе становится все хуже и хуже. И вместе с болезнью растет тоска и злоба.

У меня жутко болит горло, и уже не первый год. Показывался я своему врачу и специалисту из НИСБ, но горло болит как болело. Скажите, что мне делать, к кому еще обратиться? Врачи это или не врачи? Почему они плохо выполняют свои обязанности? Я рабочий, когда ко мне поступают заготовки, я должен их обработать быстро и хорошо. Несдобровать мне, если я ошибусь или не успею. В древнем Китае врачам платили, только если пациент выздоравливал; при такой системе оплаты врачи из профсоюзных клиник померли бы с голоду.

Вот так и жду, пока моя глотка совсем не выйдет из строя. К вечеру часто повышается температура. Остается одно: обратиться к специалисту, который принимает на дому и дерет три шкуры, по пятьдесят — семьдесят тысяч лир только за осмотр. У него дома длинная галерея, увешанная множеством прекрасных картин, столик, на котором разложены журналы «Оджи» и «Фамилья кристиана», и очень соблазнительная медсестра.

Мы хуже рабов, подопытные кролики. Хозяева тянут из нас жилы, здоровы мы или больны. Мне вспоминается одна старинная кубинская песня протеста. В ней поется: работай не работай, хозяин все равно тебя доконает.

У нас на заводе был один выдающийся врач, настоящее сокровище, такой учтивый, говорил тихо, вкрадчиво. Профессор, да и только. Но мерзавец каких мало: придешь к нему в амбулаторию полумертвый, с огромной раной, а он восклицает: «Ничего страшного, дорогуша, это простуда, пропишем тебе изумительную мазь — задаром, разумеется». Ну и сволочь!

Аспирин, хинин, мазь были, по его мнению, средствами от всех болезней: приходишь к нему с температурой, а он сует тебе термометр под мышку и мигом вынимает обратно (тварь, подонок!). Термометр, разумеется, ничего не показывает. И наш милый доктор гладит тебя по головке и отправляет на работу. Ты весь в лихорадке, лицо багровое — так он говорит, что это признак здоровья: ты, мол, кровь с молоком.

Этой осенью будет перезаключаться коллективный договор. Профсоюзы отпечатали листовку со своими требованиями. А мы чего ждем, почему не выдвигаем своих, рабочих, требований, настоящих, которые исходили бы от нас самих? Листовка — это только так говорится, на самом деле — целая газета, и написана очень даже профессионально. Я, по правде говоря, ничего в ней не понял, но нутром чую: дело здесь нечисто. Уж так заковыристо пишут эти профсоюзники — толкуют о каком-то паритете, о декларациях и тому подобных вещах. Часто они забывают, что говорят с рабочими, им кажется, будто они имеют дело с Ла Мальфой или Чефисом. На черта нам эти высокопарные слова? Нам нужны ясные, четкие требования, чтобы все их поняли.

Жаркая осень 1969 года уже далеко. С помощью заключенного тогда договора мы многого добились. Хозяева не ожидали такого натиска со стороны рабочих и потерпели поражение.

Теперь хозяева лучше организованы. Я бы сказал, что мы сами дали им время и возможность прийти в себя. Жаркой должна была бы стать не только осень, но и зима, и весна, и лето, а следующей осенью нам надо было бы задать им такого жару, чтобы уж больше они отдышаться не могли, раз и навсегда.

Теперь же у нас, рабочих, нет ясности в мыслях, слишком многие стараются нас запутать.

Завод все разрастается и разрастается. Все дальше отступает сельский пейзаж. В первые годы завод казался крошечным, затерянным среди бескрайних полей. Летним днем на заводской территории, там, где раздевалки, можно было запросто наткнуться на змею, вечером — на лягушку. В сумерках с деревьев кричали совы, перелетали с ветки на ветку сороки. Летом столовая буквально утопала в зелени, а в зашторенные окна врывался терпкий запах ромашек. В раздевалках по-свойски шныряли ящерицы, гуляли между грубыми резиновыми сапогами и невозмутимо выскальзывали наружу. На заводе я уже скоро пятнадцать лет. В первый день работы я радовался, что получил место, и все же в душе не переставал сожалеть о прошлом. Помнится, я даже сочинил стихи:

Не плачь, дедушка, не плачь,
Может, и сегодня у нас будет ужин —
Поджарка из фасолевых бобов,—
Пусть сготовленная в доменной печи,
На жесткой плитке наступающего на нас цемента.
У меня нет плуга,
Я не объезжаю лошадей,
Я не выгоняю овец и собак на пастбище,
Я на перепутье в этой голубой спецовке,
Стою и думаю: а не махнуть ли к тебе.
Но завод под боком,
А у меня к тому же нет воска,
Чтобы заткнуть уши и не слышать заводского гудка.

Рабочий класс, похоже, совсем сбился с пути. Профсоюзы притихли. А между тем на нас то и дело валятся всякие невзгоды. Дождь несчастий. Никому и в голову не придет призвать нас к борьбе, протесту, словно все идет хорошо, все в порядке, и все же,

спрашиваю я, долго ли нам еще быть вьючным скотом? По-моему, надо проводить какую-то твердую линию, протестовать, невзирая на исторический компромисс. У нас теперь, насколько я понимаю, революцию никто не собирается делать, так давайте же по крайней мере открыто заявим: то немногое, чего мы добились в борьбе, не отдадим ни за какие коврижки.

С какой стати столько бороться, а потом дать себя одурачить?

•

Двоюродный брат пригласил к себе в гости родственников, в том числе и меня. Он отмечает рождение первого сына — до этого у него народилось шесть дочерей. В доме большой праздник. Двоюродный брат — один из немногих близких, который остался крестьянствовать. Дом у него старый, но чистый и добротный — такие всегда вызывают у меня зависть. У брата есть все: печь, колодец, очаг, толстые каменные стены, за которыми прохладно летом и тепло зимой, бочки, оливковое масло, отхожее место с вырытой в земле ямой, всевозможные запасы, скот, огород, любящая жена — словом, все. Случись ледниковый период, ураган, засуха, холера, война, здесь, по крайней мере какое-то время, можно отсидеться. Итак, теперь у двоюродного брата отличный бутуз и шесть девочек — они рядком уселись за стол. Жена брата — крупная женщина с выразительными и говорящими глазами, быть может, потому, что сама она говорить не умеет: немая.

Пиру нет конца. Ешь, ешь и все никак не наешься, пища радует рот и желудок. Проникая внутрь, она будто расползается во все стороны — направо и налево, попадает по венам в голову, в руки, в живот, который, того и гляди, лопнет от переполняющих его калорий. Вино! Белое, прозрачное, оно так и ударяет тебе в голову всеми своими градусами. Нас человек тридцать, мы сыты, немного пьяны, лица раскраснелись, от очага пышет приятным жаром; девчушки в разноцветных фартучках смотрят на нас почти с испугом, широко раскрыв большие глаза. Мать покачивает младенца в стоящей рядом люльке. Кто-то поет, еще один двоюродный брат рукой отбивает такт по столу, другой постукивает стаканом, стоящим на столе рядом с бутылкой, еще один катает хлебные шарики, а тот, отодвинув занавеску у стойла, где стоит мул, пытается влезть на него.

На улице тишина, ночной воздух обжигает лицо; раздается звонок велосипеда — это проезжает сторож. Возвращаюсь в дом и чувствую, что клонит ко сну. Решаем, что пора бы и по домам, но двоюродный брат настойчиво оставляет у себя: ведь уже поздно.

Нам отводят большую комнату с широкой постелью; здесь ничего не изменилось со смертью деда и бабки. В ноздри ударяет запах старины, наверно, это от пыли, изъеденного дерева и плесени,— странный запах, сродни запаху копченых колбасок или маленьких красных перчиков. Мы валимся все вместе на кровать прямо в одежде. Нас шестеро, а может семеро, поди подсчитай, укладываемся кто поперек, кто вдоль кровати. На пол с глухим шумом падает обувь, один уже храпит, другой кашляет, этот курит, тот почесывается. А потом я больше ничего не слышу.

Сегодня меня снова вызвал начальник. Он сидит за письменным столом на возвышении. Это прекрасный наблюдательный пункт, отсюда видно все и всех. Он опять заводит свою песню. Ди Чаула, мне надо с тобой поговорить, отчего ты такой озлобленный, может, у тебя в семье неладно? Семья — вещь важная, в семью надо верить. Может, тебе не хватает духовного наставника, почему ты не обратишься к своему приходскому священнику? Я вижу, ты места себе не находишь: все время раздражен, вступаешь в пререкания, какого рожна тебе надо? Ты думаешь, мало людей умирает от голода? Я отвечаю, что с удовольствием обратился бы к Че Геваре, жаль, его убили, черт побери, его убили люди, которые рассуждают так же, как ты. Тогда начальник входит в раж: хватит языком молоть, Ди Чаула, из всего цеха ты один не даешь выработки, твой табель — это же кошмар, сплошные потери времени, а ведь другие на том же станке давали сорок процентов прибыли. А теперь, говорю, за этим станком стою я: сколько могу, столько и вырабатываю.

Возвращаюсь на рабочее место почти в приподнятом настроении: я говорил с начальником так, как он того заслуживает, но все же удовольствие небольшое: ведь он заставил меня тоже поволноваться. Голова трещит, я вновь обдумываю сказанное и не сказанное в пылу перепалки. Я возбужден и снова озлобился. Что ни день — то отрава, хуже всего, что и домой приносишь в душе отраву. Подумать только — впереди еще

двадцать пять лет такой вот отвратной жизни, двадцать пять лет придется жить по горло в дерьме — с ума сойти!

Да, у нас действительно общество потребления. Знаю, что не скажу этим ничего нового. В моем поселке, в доме, где я живу, с балконов, особенно по воскресеньям, клубами валит дым — это жарят мясо на вертеле, сосиски, рыбу. Когда мы можем себе позволить, то едим столько, что давно должны бы стать великанами, силачами, сверхчеловеками, а нас одолевает апатия и болезни. С чего бы это? Я думаю, мы мало пищи даем мозгу. Мы большие эгоисты, мы безразличны ко всему происходящему. Но, в конце концов, не сами же мы отказались от политики, от культуры, от истории: это нас оттолкнули, оттеснили, и кое-кто пользуется нашей темнотой, чтобы обделывать свои грязные делишки, диктовать законы. Политические деятели не желают с нами якшаться, они далеки от нас. На выборах они широко улыбаются, гладят по головкам малышей, дружески хлопают нас по плечам. Но стоит собрать голоса, как они прячутся в кусты, становятся недосягаемыми, обходят нас стороной, словно боятся чего-то или хотят что-то скрыть. А потому они начинают сыпать цифрами и говорить на тарабарском языке.

Довольно много рабочих с нашего завода учится. Те из них, кто получил дипломы много лет назад, ходят уже в белых халатах. Они очень гордятся своими халатами, а мы, рабочие, гордимся ими, своими товарищами. Но последней группе выпускников дирекция заявила: сейчас кризис, и вам придется по-прежнему носить голубую спецовку. Теперь им вроде бы уже и все равно, они не думают больше о несбывшейся карьере, а крутятся возле станков и убеждают себя, что диплом ничего бы им не дал, не даст, да и вообще людям диплом ни к чему.

А дома их жены, невесты, матери растравляют незажившую рану: спрашивают, как дела, перевели ли их наконец в служащие. В ответ они только глядят злобно, устало вздыхают и валятся на кровать.

От уборных исходит зловоние, но здесь хотя бы есть двери — расхлябанные, без задвижек, но все-таки двери. В Калабрии и таких не было...

А в мастерских «Ласорса» уборная была просто темной дырой, и приходилось быть осмотрительным, чтобы не свалиться вниз,— ищи тебя потом в дерьме!

Когда я был моложе, то на работу из Модуньо в Бари ездил на велосипеде. Пути километров десять. Ехать было приятно, особенно в хорошую погоду: помню прозрачные рассветы, сверкающие от изморози поля, трулли, стога соломы, пение утренних птиц, всходившее в конце дороги багрово-красное солнце. А когда возвращался, во всем теле была разлита боль, казалось, дороге нет конца, все вызывало отвращение, от усталости слипались глаза, и мы уже ничего не видели, не могли любоваться ни полями в лучах заходящего солнца, ни восходом луны, похожей на тонкий голубоватый ломоть.

Кто знает, сколько прекрасных вещей мог бы я сделать за один день, но вместо этого я стоял у станка и обтачивал болты: тысяча, две тысячи, десять тысяч болтов. Мне было бы приятней, вооружившись пращой, отправиться на ловлю ящериц или же подкатиться к одной из тех женщин, что, расставив ноги, сидят у заброшенного сеновала.

Однажды в воскресенье я и в самом деле пошел. Уже издалека, едва увидев меня, она начала зазывно размахивать руками из зарослей цветущего миндаля. Мы устроились на каком-то ящике. На ней была одна блузка, а дул холодный ветер, и бледное солнце совсем не согревало. Я еле-еле потом набрал тысячу лир.

В поисках своей первой работы я вынужден был уехать из дома. Жил я тогда в Малье, в провинции Лечче, а нанялся на небольшой завод на окраине Бари. Оставил все — семью, друзей, девушку, места, где прошло детство. Оставил все за три тысячи лир. Столько я зарабатывал в неделю — три тысячи лир. Мне было чуть больше пятнадцати.

Меня приютили мои старики в сельском домике. Дядя не был еще женат, он спал около хлева, в маленькой каморке из туфа, где дышать было нечем, такая она маленькая и вся завалена сливами, грушами, айвой, яблоками... В первый рабочий день старики дали мне булку и большущие тяжелые часы. Это были первые часы в моей жизни; как я их потом возненавидел!

Я уже стоял на пороге, и ко мне подошла бабушка. Она озабоченно отряхивала крошки с передника и приговаривала: «Прошу тебя, будь послушным на работе, будь умником, уважай начальника, постарайся, чтобы тебя полюбили». Я сказал «ладно», уже поворачивая за угол, в конце тропинки,— на этом углу цвел куст диких роз. Она любила меня, потому и говорила мне так: «Прошу тебя, внучек! Постарайся, чтобы тебя полюбили!»

Она не понимала, что мне горько это слышать. Она хотела, чтобы я стал овцой — овцой в мире овец, овцой наподобие других овец.

На сварку смотреть больно. Попробуйте задержать взгляд на слепящих искрах, которые вырываются из стержней (электродов),— в глазах померкнет.

Когда я в первый раз взялся за сварку, у меня не было еще нужных навыков, и мне пришлось смотреть на сноп огненных искр. А ночью был ад. Началась резь в глазах, как будто их пронизывали тысячи игл, я ворочался в кровати и не мог заснуть. Говорили, что есть чудодейственное средство — картошка. Картофелину надо нарезать ломтиками и положить на глаза. Это якобы снимает жжение. Так и прошла у нас в доме вся ночь: я проклинал завод, сварочный аппарат и проклятый сноп искр, а мать резала ломтиками картошку. Этот случай я вспоминаю как какой-то кошмар.

До чего тоскливо работать вечером, во вторую смену — с пятнадцати до двадцати трех. К обеденному перерыву совсем обалдеваешь. Мы идем по аллее, освещенной неоновыми лампами. Это какая-то призрачная, жуткая дорога. Хотя по бокам ее свежая зелень газонов, оливковые деревья, агавы, ели, но все это кажется сделанным из пластмассы. Мысленно мы в поселке, там шумно, светятся огоньки, там, должно быть, сейчас развлекаются наши друзья... Развлекаются? Черта с два! Они там дуреют, это ближе к истине, поселок все равно что пустыня: бар, охотничий кружок, бильярд, игральные автоматы, чтобы еще больше обалдеть, словно и без того мы недостаточно обалдели. Но именно такими мы и нужны хозяину.

На заводе попадаются молодые красивые ребята, в чистеньких, ладно сшитых спецовках цвета хаки они похожи на летчиков или инженеров, на самом же деле занимаются уборкой помещений. Жаль, что им приходится изнурять себя на такой работе. Вот они, жертвы прогресса, этого никчемного прогресса! Частенько это парни со средним образованием. А был даже один из университета.

В первый день на заводе я трясся, как ягненок. Мрачное помещение с тусклыми лампочками показалось мне огромным, страшным чудовищем. Хозяин тоже смахивал на чудовище: высокий, толстый, с лысым черепом, руки черные, волосатые, походка как у гориллы. Запорешь деталь — в ноги тебе летит молоток, а то получаешь под зад коленом. Так тебя гоняют пинками по всему цеху. Когда я оставался один в этом зловещем цехе (остальные отправлялись монтировать гидравлический насос), то чувствовал себя потерянным, мне хотелось плакать. Правда, дочери у гориллы были добрые, хотя и важничали немного. Меня они любили и, если я не справлялся с какой-нибудь резьбой, всегда подходили и утешали. В конце работы устраивались чуть не рукопашные схватки перед бидоном со смесью жидкого мыла, песка, опилок и черт знает еще чего — для очистки рук от масла.

Скольким я пожертвовал для того, чтоб получить профессию,— ну не глупо ли! Тебя ни во что не ставят, почти на дух не переносят, куда бы ты ни заявился — в учреждение ли, на почту, в кассу взаимопомощи, в магазин,— везде тебе фыркают в лицо, грубят, только что ноги об тебя не вытирают! И для этого я потратил годы на обучение — куда лучше было бы собирать цикорий на склонах Мурджи.

В конце октября стоит восхитительная погода — днем по-весеннему пригревает солнце, закаты райские, по вечерам уже холодно. В поселке все выглядит по-праздничному: 10 ноября — праздник святого Трифона, самое большое торжество. Прибыл балаган со сталкивающимися автомобильчиками и песенками по крайней мере десятилетней давности. Их привозили в прошлом году, наверняка привезут и в будущем.

Уже установили музыкальный автомат и высокие столбы, на которых позднее развесят множество электрических лампочек. Миллионы лампочек засияют и на фасаде ЭНЭЛ [1], и на фасаде нашего завода. Три вечера подряд будут пускать фейерверк, кото-

[1] Общенациональное предприятие по производству электроэнергии.

рый развеет нашу тоску и одиночество, а пока мы будем есть барашка, запивать его молодым вином и чувствовать себя почти счастливыми, денежки наши будут вылетать в трубу.

Все вносят свою лепту в празднество, поступают доллары от американских братьев, которых зовут уже не Никола и Джузеппе, а Ник и Джо. Приходят деньги из Швейцарии, Германии, Франции, раскошеливаются и жители поселка. Не моргнув глазом они вносят по пять — десять тысяч лир в праздничный комитет. А вот поди-ка попроси у них денег на какое-нибудь общественное предприятие, например на больницу, детские ясли или водопровод,— только нос воротят.

Годы идут, деревня приходит в запустение, люди складывают чемоданы и уезжают с помощью все тех же мафиози, которые остаются хозяевами положения, шантажируют, тиранят, богатеют, сорят деньгами.

Покупаю газету, пробегаю ее глазами: новости хуже некуда, преступность растет. По малейшему поводу люди убивают, истязают, калечат друг друга. Поговаривают о сильном правительстве. Сильное правительство — это хорошо, но оно должно быть еще и справедливым. К тому же в Италии сильное правительство всегда означает одно и то же: будут прижимать бедняков, трудящихся и помогать капиталистам. Это единственная разновидность сильного правительства, которая нам известна. А стоит нам выступить в защиту священных человеческих прав и социальных нужд, как власти словно с цепи срываются, посылают против нас наших же братьев, таких же эксплуатируемых и еще более несчастных, чем мы. Они дают им в руки бомбы со слезоточивыми газами, автоматы, дубинки, науськивают на рабочих. Дело в том, что ключевые посты в государстве, в суде, школе, административных службах по-прежнему занимают фашисты, настоящие фашисты в джерсовых костюмах, с крестом в петлице, что ежедневно изливают на исповеди черную от преступлений душу.

У нас же внезапно прозрели глаза, слишком долго ничего не видевшие из-за рабства и религиозного дурмана. Мы привыкли повторять: «Слушаюсь, синьор. Извольте, синьор»,— и покорно умирали на полях сражений за нашу проклятую родину, которая чуть не с пеленок хватает тебя за глотку и дурит мозги. «Слушаюсь, синьор»,— говорили мы даже отцу, ведь он первый сделал из нас овечек, еще более жалких и угодливых, чем он сам,— всегда одно и то же: «Слушаюсь, синьор».

Теперь мы прозрели и заметили, что до сих пор жили как болваны. Мы ждем рая небесного, а ловкачи уже выстроили себе рай на земле, в двух шагах от нашего дома.

Только что открыли автостраду Бари — Таранто. Смотреть на нее одно удовольствие, но вскоре понимаешь, что раз уж ее построили, то, значит, нам придется покупать больше автомобилей, воздух будет сильней загазован, наши товарищи у сборочных конвейеров совсем ошалеют. А мы еще глубже залезем в кабалу и будем делать стойку на ушах, чтобы содержать эти автомобили. Не помню, кто из философов говорил: чем больше потребностей, тем больше мы становимся их рабами.

Позавчера на улицы Бари вышла большая колонна молодежи, слышались призывы: «Рабочие и солдаты, объединяйтесь на борьбу!», «Полицейские, объединяйтесь в профсоюз!» Накануне утром арестовали и отправили в тюрьму солдата за неподчинение командиру. В воздухе чувствуется накал близящихся боев. Скоро на улицы выйдут три великана: химики, строители и машиностроители.

В прошлое воскресенье я сделал порядочный круг на велосипеде. Кто теперь ездит на велосипеде?.. Во время энергетического кризиса по воскресеньям нельзя было ездить на машине, и тогда начался велосипедный бум, вследствие чего резко подскочили цены на велосипеды.

Никогда не забуду наши велосипедные прогулки. Целой группой мы ехали сквозь голубой туман по тропинкам, залитым лунным светом, а вокруг квакали лягушки и кричали ночные птицы. Деревья были усыпаны плодами, и мы, наевшись до отвала, собирали их кто за пазуху, кто в карманы. Один мой приятель как-то раз напихал апельсинов в майку и, перелезая через забор, сорвался. Хозяин отдубасил его палкой. А то мы набирали с собой хлеба и вина и всю ночь пировали под открытым небом. Кто-то, не выдержав, засыпал, кто-то рассказывал всякие страшные байки, кто-то бродил вокруг, собирая сушняк для костра. Когда всходило солнце, нам казалось, что это

первое утро на свете, и мы были по-настоящему счастливы. Будь проклят завод и тот, кто его придумал,

Проклятый завод! А ведь я так мечтал о нем. Придя туда впервые, я мысленно перебирал всю ту черную, неблагодарную работу, которой занимался прежде, вспоминал, как приходилось колоть дрова, дергать лук, ходить за скотом, собирать горох. Вспоминал и смеялся. Ведь цех — совсем иное дело, разве что немного шумновато. Какой-то плешивый в сером халате сунул мне в руки рашпиль и пригласил сесть. Я смотрел на него, не веря собственным глазам, еще немного — и у меня бы вырвалось: и это все? Так вот в чем моя работа. Не тяжелая лопата, а маленький, легонький рашпиль; и не надо больше гнуть спину под солнцем, сиди себе на удобном стуле, а локти можно упереть в верстак. Конечно, с того дня многое изменилось. Рашпиль в конце рабочего дня становился пудовым, и со злости хотелось его воткнуть кому-нибудь прямо в сердце.

И вот таким рашпилем ты должен обеспечить выработку. Все дело в выработке. По какому праву они требуют от нас выработку, что значит «выработка»? Мэр нашего городка дает выработку? Священник из нашей церкви дает выработку? Почему я должен производить столько, сколько они мне укажут, а не сколько я сам считаю возможным? Как они это определяют? Что я, станок? Даже стальной станок и тот портится, чего уж говорить о человеке. Кто и на каком основании может установить, сколько и как я должен работать?

Чертовски душный день. От сырости не зажигаются даже спички. Едва чиркнешь — желтая головка отлетает. Как тут прикуришь? Способ есть. Достаточно взять стальной диск и прижать его к шлифовальному кругу, он тут же раскалится, и ты легко зажжешь сигарету.

К вечеру у меня трещит голова. Чувствую себя опустошенным. Будто впал в детство, и в голове у меня вата. Пора уходить, а я все стою как вкопанный у станка. Смотрю на станок, буравлю глазами деталь. У нее весьма странная форма. Заготовку удерживают в зажимной муфте болты разного размера, шайбы, противовесы. Внезапно меня охватывает леденящее душу сомнение: хорошо ли я закрепил болты? Я бы не хотел, чтобы завтра утром, когда мой сменщик заступит на работу и пустит станок, заготовка из-за плохо закрепленного болта выскочила из зажимной муфты.

Открываю ящик с инструментами и вынимаю гаечный ключ на 24. Проверяю все болты один за другим. Потом для пущей надежности проверяю еще раз. Стою, одурев, возле станка и верчу в руке ключ.

Я волнуюсь: такого со мной не бывало давно. Меня мучит страх, как бы чего не случилось — и не только с моим сменщиком. Но прежде всего меня приводит в ужас мысль, что я могу подвести его. Несколько лет назад меня посещали вот такие же навязчивые идеи: я часами проверял, выключен ли рубильник, хорошо ли закреплена деталь. И отходил от станка с неизменным ощущением: что-то я упустил. Это было невыносимо. А самое страшное, что подобные сомнения одолевали меня даже ночью, во сне. Мне снилось, что я не выключил главный рубильник станка или не закрепил как следует один из болтов. По вечерам, когда я оставлял сменщику записку с уведомлением о полученном задании, я старался писать до предела ясно. Боялся пропустить какую-нибудь подробность, которая могла оказаться решающей.

Дома я тоже не мог успокоиться: закручен ли кран в ванной, в кухне, перекрыт ли газ. Вставал ночью и тихо-тихо, чтобы родители не услышали, все проверял. При виде блуждающего призрака они, конечно, забеспокоились бы и своей тревогой только еще больше бы меня взбудоражили. Это продолжалось несколько лет, но никто так и не узнал о моих страхах. Я их всячески подавлял. Лежа в постели, я старался задушить подушкой терзавшее меня сомнение — закрыл я кран или не закрыл? — и в темноте рядом с комнатой, где храпели мои родители, чувствовал себя ничтожной пылинкой.

«Бессонные ночи и дни на свободе...» — это слова из одной французской песни, которую я слышал несколько лет назад. Я написал эти слова на ящике, куда убираю свои инструменты; мастер хотел, чтобы я их стер, но я пригрозил набить ему морду, если он их сотрет. Пусть делает что хочет, но оставит в покое эту надпись. К сожалению, ящик все время двигали, и в конце концов он оказался повернутым к стене той стороной, на которой были написаны эти слова, и никто больше не мог их прочитать. «Бессонные ночи и дни на свободе...» Ночи, проведенные в кутежах, за стаканом вина,

в прогулках по полям, и потом — дни на свободе, когда можно делать все что захочешь, скажем, всласть отоспаться в залитой солнцем комнате, а за окном кудахчут куры, бродят овцы, девчонки сидят по домам, наводят марафет к вечеру. Бывают ночи, когда просто грешно спать, но мы как ослы тащимся в постель, чтобы утром свеженькими предстать перед хозяином.

Когда я злюсь, один парень, очень уж ревностный католик, старается успокоить меня, приучить к терпению: Томмазо, земная жизнь скоротечна, не поддавайся злобе. А я ему: черт побери, именно потому, что она скоротечна, мы должны прожить ее самым лучшим и справедливым образом!

Здесь — гроши, там — сдельщина, тут — производительность, там — выработка, доносчики и мастера повсюду. Однако все, что нас окружает,— наше, все куплено за наши деньги, и завод тоже построен на деньги, которые государство крадет из наших карманов, оставляя нам лишь прожиточный минимум.

Сколько прирожденных наушников и проверяльщиков на этом заводе! Мастера (их трое или четверо) и помощники мастера, начальник цеха и помощник начальника цеха, главный инженер и директор, да еще вахтеры. Есть тут и здоровые, ростом с теленка, собаки, но они, к счастью, привязаны. Да, совсем забыл — в нескольких метрах от нашего цеха имеется еще один, и там тоже полно доносчиков, лизоблюдов, начальников и прочих тварей. И все следят за нами, все нас проверяют. Даже у стен есть уши.

С балкона не окинешь взглядом полей. Здесь все засажено виноградом, длинные шпалеры столовых сортов,— вот оно, богатство нашего края. Адельфию никакие перемены не тронули — ни жилищное строительство, ни связанная с ним спекуляция,— но я думаю, это ненадолго. Южные поселки, по крайней мере в старой их части, на редкость красивы. Здесь остались только женщины, дети и старики, но именно на них и держатся старые кварталы, узкие, извилистые улочки с высокими каменными заборами, с дворами, где выставлены кастрюли, метлы, бродят кошки и где на белых каменных стенках сушатся помидоры. Только иногда встретишь здесь какую-нибудь блондиночку или увидишь механика в промасленной спецовке. А на пороге дома и над дверью — замшелые камни.

Теперь повсюду строят: у кладбища, у заводов, у окружных дорог. Первый этаж выходит прямо на шоссе, и когда-нибудь в гостиную или в спальню въедет автомобиль.

Я бегу, посмотрели бы вы, как я бегу,— чувствую, что комок подкатывает мне к горлу, но бегу, бегу к своему станку; рано или поздно я извергну содержимое своего желудка на станок, на часы хронометриста в новеньком белом халате — издали он «словно распустившийся цветок боярышника»...

Сегодня ночью мне приснился деревенский дом моих стариков. Я будто бы сижу в большой комнате с толстыми циновками на полу. В воздухе сильно пахнет гарью, а я сижу и вроде жду кого-то или чего-то, а вроде и нет. Вдруг на меня находит страх, и я иду в соседнюю комнату: здесь когда-то стояла большая железная кровать деда с бабкой; в углу, напротив зарешеченного, как в тюрьме, окна, возвышался комод, а на комоде — фигурка мадонны и коробка, постоянно наполненная иголками, пуговицами и окурками. Дальше — комната девочек (девочкам теперь под пятьдесят). Здесь на полу я спал рядом с теткой на набитых кукурузными листьями матрасах. Я боялся темноты, и тетка крепко прижимала меня к себе; за окном раздавались шорохи и шелест, а порой что-то постукивало в стекло. Хорошо, что на окнах были решетки, хорошо, что была тетушка, которая прижимала меня крепко-крепко: я такой маленький, а она такая большая, теплая. На столе мигал фитиль керосиновой лампы, а вокруг него сотнями кружились ночные бабочки. Фитиль был прикручен, но потом в комнату вихрем врывался дядюшка, пропахший табаком, мятой и нафталином, прибавлял света, и в комнате начинали плясать огромные тени.

Моя любимая тетка страдала зубной болью. Однажды она готовила пищу, и вдруг у нее ужасно заболели зубы. Она бросила все и ушла к себе в комнату. Через некоторое время я пришел проведать ее; из-под одеяла неслись стоны и сильный запах чеснока и петрушки. Она все стонала и стонала, я помню, как мне было ее жалко. Тетка меня любила, повсюду таскала за собой. Взявшись за руки, мы вместе навещали ее подруг на ближайших хуторах. Она брала меня с собой и на праздники; мы возвращались уже ночью, и она все время напевала: «Ты светишь мне, зеленая луна» или «Демон

с голубыми глазами». Подруги то и дело спрашивали ее: «Кто этот сопляк?», а она отвечала: «Мой племянник».

Сегодня на выборах в рабочую комиссию мы голосовали за нового делегата, надеемся, он будет лучше прежнего. У нас ведь так: чем чаще мы их меняем, тем хуже они становятся. Делегат хорош для рабочих, только если ему удается добиться повышения разряда или если он собаку съел на вопросах заработной платы. Неважно, что он не читает газеты, не в курсе политических и культурных событий в стране — на наш взгляд, все это мелочи. Прежде всего деньги, заработки, гроши.

Они хотят, чтобы мы раньше времени впали в детство. Сегодня на заводе был адский день, и я вернулся домой в паршивом настроении. А тут еще дети чего-то не поделили и устроили рев. Жена не выдержала и говорит: «Забери одного из этих сорванцов да и сам иди с глаз долой: сил нет смотреть на твою тупую физиономию». На улице был собачий ноябрьский холод; скоро праздник — в городке уже установили карусель, сын принялся канючить, ему хотелось покататься, но я не пустил его: все эти огни, шум еще больше действовали на нервы. Я гулял, дышал воздухом, но на душе легче не становилось. Злость, обуявшая меня утром после ссоры с мастером, сменилась печалью и безразличием. Малыш семенил рядом, а меня едва держали ноги.

Все идет из рук вон плохо, а вину за это постоянно сваливают на рабочих. Техников, что ходят в белых халатах, никто не заставляет помогать нам как следует наладить работу. Вы спросите: с какой стати я так пекусь о заводе? Отвечу: я бы с удовольствием подложил под него бомбу, но раз уж он существует, то нужно сделать так, чтобы и человек мог существовать в его стенах. Итак, повторяю, техник своей работой не занимается, его вместо этого призывают шпионить, натравливают на рабочих, чтобы легче было выжимать из них соки. А среди рабочих мало кто понимает, что главное для нас — солидарность и сотрудничество, что чем меньше будет доносчиков и фашистов, тем лучше рабочему человеку.

Интересно, какие средства используют хозяева, чтобы натравить на нас своих лакеев? Уколы, электрошок или клистиры?

Сегодня мне понадобилась медицинская помощь — я довольно сильно повредил себе колено. На аллее осталась моя кровь, капли казались рубиновыми зернами граната. В медпункте уже сидел молоденький паренек, лет восемнадцати, черноволосый и кудрявый. Ему обрабатывали поврежденный палец, и по щекам у него градом катились слезы.

Мой ушиб оказался серьезней, чем я думал, и, несмотря на жгучие свечи и притирания, боль не проходила. Иду к заводскому врачу — говорят, это гиена, не человек. Между нами вспыхивает яростная стычка: он утверждает, что все в порядке, что хожу я отлично, а я ему в ответ: «Неужели я должен литрами проливать кровь и скособочиться, как полный калека, чтобы вы признали производственную травму?» Я все время твержу одно и то же: «У меня болит колено». Наконец он решает отправить меня в НИППП [1].

Там происходит еще более любопытная сцена. Врач из кабинета № 1 укладывает меня на клеенку и, закатав до колена мою штанину, начинает как одержимый орать на диалекте, что ничего с моим коленом страшного нет. Еще немного, и я бы схватил за грудки этого мерзавца. А он тем временем швыряет мне в лицо справку: сегодня же, сию минуту приступить к работе.

Иду в ближайшую консультацию — это НИСП — ИКПТ [2]. Я в ярости, колено болит, а хромать приходится под дождем. Объясняю регистратору свою историю и при этом сдерживаюсь, чтобы не завыть; через некоторое время меня уже осматривает врач. Он говорит, что травма серьезная. Все так же хромая, я опять возвращаюсь в НИППП. Попадаю на осмотр к другому врачу. Измерив меня портновским сантиметром от макушки до пят, он дает мне освобождение от работы на пятнадцать дней. Мне, говорят, надо сделать рентген, вталкивают в маленькую комнатку и делают снимок, потом назначают пятнадцать сеансов физиотерапии, первый — завтра.

---

[1] Национальный институт помощи пострадавшим на производстве.

[2] Национальный институт санитарной помощи при профсоюзе католического направления.

На следующий день прихожу в НИППП за результатами рентгена — в приемной полно изуродованных людей, как будто началась война. Врач заявляет, что с коленом у меня все в порядке. Я требую показать письменное заключение, хочу сам проверить: они ведь на все способны. А он говорит: нельзя; я спрашиваю почему, а он: это, мол, врачебная тайна. «Какие, к черту тайны!— ору я. — Диагноз касается меня лично, а я не могу на него посмотреть. Ишь какие важные птицы, можно подумать, только что делали рентген жене президента Республики!»

Для подстраховки я в тот же день сходил к платному специалисту. Тот нашел у меня повреждение коленного сухожилия и сказал, что если боль после физиотерапии не пройдет, то придется делать уколы прямо в колено, иначе неизбежна операция.

Не удовлетворившись его заключением, я обратился к другому платному специалисту. Он сказал: надо резать. Я пугаюсь, чуть не плачу, спрашиваю, нет ли другого выхода. Есть, говорит, хотя результаты бывают разные, но можно попробовать гипс. Итак, решаю лечь в больницу для наложения гипса.

Я уже дома. Гипс снимут через двадцать дней. Колено сильно ноет в гипсовой броне. но зато я вдыхаю свежий воздух в моем маленьком садике и чувствую, как под лучами горячего солнца у меня пышут жаром щеки, словно от высокой температуры. Я втягиваю носом аромат оливковых ветвей. В душе я даже рад: ведь из-за несчастного случая с коленом я смог остаться здесь, вместо того чтобы, как обычно, вкалывать в дыму, вони и потемках. Носком ботинка раскапываю землю — отваливаю большие влажные комья с белыми корнями и пустыми раковинами улиток. Проходя мимо розового куста, я наколол палец о шип; он еще острее, чем стальная стружка, которую я центнерами вырабатываю на заводе.

В детстве по вечерам мы усаживались с бабушкой у огня. Особенно зимой. Она рассказывала разные истории, а мы шалили. Каждый норовил вытащить из-под другого стул или ущипнуть, а еще мы выхватывали из печи тлеющие прутики и размахивали ими в воздухе. Занятно было следить за искорками, которые вычерчивали в воздухе кружки, овалы, восьмерки и другие причудливые сверкающие фигурки. Правда, бабка ругалась, когда мы затевали эту игру: она была уверена, что если долго смотреть на огонь в темноте, то ночью не миновать мокрых постелей.

Сегодня суббота, выходной день; я встаю немного позже обычного, включаю радио как раз на сигналах времени: полвосьмого. Слушаю новости. Затем начинается программа, наверняка очень приятная для Аньелли: нас всячески стараются убедить, что итальянец без тряпок, мотоцикла и навесного мотора — не человек, а вошь.

Аньелли со своей автомобильной промышленностью делает из нас недоносков: заманил в ловушку мнимого комфорта и обеспеченности и играет на нашем самолюбии, на желании почувствовать себя независимыми, «важными» людьми. Да, эта ловушка для дурачков дорого нам обходится!.. Не говоря об ущербе, причиняемом природе и своему здоровью, многие тратят пятьдесят — шестьдесят тысяч лир в месяц, чтобы содержать свой дом на колесах, который в конце концов становится невыносимым бременем, одной из форм рабства.

Ставленники Аньелли отлично рассчитали, им не впервой вола вертеть, а мы как дураки, потому что своими дерьмовыми машинами они заставляют нас жить впроголодь и постоянно плясать под свою дудку. Для них все средства годятся: рост цен на бензин, подорожание автомобилей, обязательная страховка и повышение дорожных сборов.

Иногда на работе мы напеваем, чтобы веселей было. Не потому, что в самом деле весело, а потому, что зло берет, как говорится в знаменитой басне про птичку в клетке. Бывает, мы распеваем во всю глотку, чтобы заглушить адский шум в цехе. Поем всё: вольные куплеты, душещипательные неаполитанские песни, «Бандьера росса» (последнюю уже без прежней убежденности — я по крайней мере). Этот исторический компромисс как-то меня не убеждает. Разве можем мы, трудящиеся, договориться с теми, кто всегда толкал нас в яму и всегда будет стараться нас задавить? Не сможет примириться ягненок с волком — разве только оба превратятся в ягнят или волков! А расплачиваться за все, как всегда, нам, муравьям в голубых спецовках.

Мастер, как заигранная пластинка, твердит одно и то же: выработка, выработка, выработка. Мы бы дали ему выработку, да время поджимает. Не так страшен черт, как его малюют, но когда эти проклятые наверху назначают совсем уж абсурдное время на обработку детали или урезают его то и дело, как тут ни вертись, все равно не уложишься. Тогда ты мрачнеешь и ругаешься на чем свет стоит. Казалось бы, ерунда — обработать деталь на сотую часа быстрей, но ведь их часто бывает тысяча, две тысячи, три тысячи — вот и помножьте сотую часа на три тысячи. Не так уж мало, верно? Ни минуты нет, чтобы передохнуть, выкурить сигарету да и просто поработать спокойно.

Зима еще в полном разгаре, но стоит солнышку пригреть, как в доме появляются мухи. Они еще сонные, но уже садятся повсюду, одна так и крутится возле моего уха. Поэтому мы раньше времени начинаем пользоваться «Флитом»[1], теперь он ароматный, его настаивают на мяте, розе, гвоздике, мимозе. А раньше он дико вонял и был вреден из-за содержащегося в нем ДДТ. Дед и бабка вместо него пользовались полотенцем: закрывали дверь, оставляя полоску света, потом начинали махать полотенцами и выгоняли мух на свет, на солнце. В деревнях Апулии мамаши, чтобы отогнать от младенца мух, комаров и других насекомых, клали на подушку веточку мяты.

Вот проект нового коллективного договора, однако в нем ни шиша не поймешь. Кто понял, пусть сделает шаг вперед. Нам вручают большой лист со следующим текстом:

ЕДИНСТВО И БОРЬБА.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ — ЗАНЯТОСТЬ — РЕФОРМЫ — ДОГОВОР — КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА.

Переворачиваю страницу, ничего, говорю себе, дойдем и до главного — какую платформу предлагают профсоюзы,— и вот читаю:

ПРОЕКТ ДОГОВОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ

I. Капиталовложения — Контроль за использованием рабочей силы — Децентрализация производства.

а) Капиталовложения

Заводской совет и отраслевой профсоюз имеют право на получение информации и на контроль за программами капиталовложений с целью всестороннего их изучения в плане:

1. местонахождения;
2. последствий для занятости;
3. квалификации и производственных целей;
4. условий работы;
5. экологических и бытовых условий.

б) Организационные и технологические изменения производственного процесса

Заводской совет и отраслевой профсоюз имеют право...

в) Децентрализация и побочные процессы.

Заводской совет и отраслевой профсоюз имеют право...

г) Труд на дому

Право на совместное рассмотрение...

д) Сокращение рабочего времени

Заводской совет имеет право...

е) Подряды

Преодоление конъюнктурных подря...

ж) Текучесть

Право на закрепление договорным пут...

Я устал. Чем больше я читаю, тем меньше понимаю, пусть простят мне профсоюзные руководители, пусть простят мне товарищи, но здесь я — полный профан. После того как я прочел этот набор слов, мне трудно избавиться от впечатления, что все права — у заводского совета, а у нас — никаких. Правда, предлагается повысить зарплату на тридцать тысяч лир каждому, но хлеб и так уже вздорожал на сорок лир, скоро подско-

[1] Разновидность инсектицида.

чат цены на бензин, страховые организации собираются повысить сборы на сорок процентов; потом надо сообразить, что означает предложение ввести три смены по шесть часов каждая,— ну, пожалуй, и все. А в остальном — все права принадлежат заводскому совету и профсоюзу. Говорят, профсоюз — это мы сами, но руль управления всегда у одних и тех же — выгони их в дверь, они влезут в окно.

Как бы там ни было, договор этот — сплошная иллюзия. Я бы составил его иначе: пусть бы лучше действовала «подвижная шкала», это важнее, чем повышение зарплаты. Добившись справедливой оплаты труда, я бы перешел к существенному сокращению рабочего дня. Мы слишком много времени проводим на заводе, да еще дорога туда и обратно. В результате по приезде домой ты уже ни на что не годишься, спишь как убитый, чтобы наутро снова вернуться на завод. Потом я снизил бы пенсионный возраст. При таких темпах кто доживет до шестидесяти лет? Мы уже сейчас не лучше половых тряпок. Один рабочий (ему пятьдесят пять) — совершенно больной человек — жаловался мне, что больше не в силах тянуть лямку: у него сын, первоклассный механик, три года мается без работы, приходится давать ему каждый день по тысяче лир на расходы. Парень иногда от стыда не хочет за стол садиться. Почему бы не отправить домой отца и не взять на его место сына?

Потом я бы занялся социальными службами. Мы веками бастуем, но если бы по истечении каждого коллективного договора мы требовали — не говорю полного, хотя бы частичного — улучшения социального обеспечения, может быть, сейчас у нас бы что-нибудь и было: больницы, школы, вода, транспорт, конкретные мероприятия в области сельского хозяйства. А мы требуем только денег: нам дают одну лиру, а государство отбирает четыре. Через сто лет дети наших детей все еще будут бастовать — бороться за капиталовложения, реформы, занятость.

Сегодня, направляясь, как обычно, в столовую, мы увидели на аллее капли свежей крови: с кем-то опять несчастье. Жуткое зрелище, но мы равнодушно проходим мимо — привыкли. Более того, кто-то шутит, говорит: никак свинью зарезали? Однажды я пошел по кровавым следам и добрался до места происшествия, затем повернул назад и увидел, что следы ведут к выходу, но дверь, куда направился пострадавший, была заперта. Наконец капли крови привели меня к другой двери, за ней была амбулатория.

Как-то один мой товарищ по работе размозжил себе палец: станок вдруг взбесился, никто не мог понять отчего. Я быстро отвел беднягу в амбулаторию. Он потерял много крови, все вокруг было красным-красно: станок, деталь, которую он обрабатывал, деревянная станина, ящик с инструментами. Когда я вернулся, мастер приказал мне намочить тряпку, вытереть кровь и встать за станок моего товарища, потому что работа была срочная и кому-то надо было ее закончить.

В следующий раз беда случилась с Николо. Мы только что вернулись с ужина, ровно в половине восьмого, и вдруг раздался дикий крик — рука у него застряла между резцом и деталью. Несмотря на прочное крепление, деталь вышла из зажимной муфты. Все было в крови, ему наложили несколько десятков швов по всей руке.

Несколько лет назад погиб молодой рабочий — ему едва исполнилось восемнадцать; он был из Милана, работал по подряду на строительстве цеха для гальванического производства. Он упал с крыши, с высоты пяти-шести метров. И уж больше не встал, бедняга.

На понедельник назначена четырехчасовая забастовка в поддержку коллективного договора. Забастовка пройдет по всей области. Из разных деревень Апулии в районный центр поедут автобусы. Демонстрация пройдет по главным улицам города, надеюсь, она даст конкретные результаты, а то мы так устали от болтовни: мы хотим дела, хотим, чтобы нам все было ясно, как тогда, «жаркой» осенью 1969 года, когда рабочий класс добился больших успехов. А потому вперед, молодцы, становитесь в шеренгу и слушайте, как привести хозяев в чувство. Черт побери, с 1969 года прошло шесть лет, а они все еще «никак в чувство не придут»; давайте же, товарищи, сделаем так, чтобы они опомнились и нам же загнали кол в одно место.

Нынче вечером идет снег. Впервые за многие годы здесь, в Апулии, в ноябре выпал снег. Листаю газеты: «Пирелли» увольняет 1380 трудящихся, «Инноченти» в Ламбрате вообще закрывается, другие крупные предприятия колеблются: посадить рабочих на пособия по безработице или просто выбросить их на улицу. Это похоже на эпидемию.

По всему Аппенинскому полуострову хозяева играют в кошки-мышки: кто закрывает производство, кто открывает, кто прикрывает, кто приоткрывает, кто прячется, кто появляется вновь. Зима обещает быть суровой, а хозяева готовятся выставить нас за ворота. Они хотят выгнать нас с работы, потому что мы им не нравимся. На заводах мы подыхаем, нас травят, шельмуют, сосут нашу кровь и все же собираются закрывать заводы, будто это райские кущи. А политиканы между тем устраивают «круглые столы». Километры и километры слов — говорят, а сами млеют. Утирают пот со лба, облизывают губы, точно сласти ели.

А на улице идет снег, да такой, какого мы давно не видывали. Месяц назад мы еще ходили в рубашках с короткими рукавами. В городском саду на лавках под фонарями спали ночью люди. Лето было сухое и очень жаркое — ни капли дождя; полевые тропинки покрылись густым слоем пыли, приумолкли цикады. Не слышно было даже тех, которых выгоняют из поселков зловоние, нечистоты, выгребные ямы и помойки. Бедный Юг, превращенный в сточную канаву мерзавцами, что пользуются нашей нерешительностью, нашим замешательством, нашими неудачами, нашим скоропалительным гневом, нашей недолгой минутной яростью.

Сегодня я не пошел в столовую, а предпочел прогуляться вокруг завода — воздух такой свежий, бодрящий, вот только консервный завод неподалеку отсюда отравляет его запахами тунца и сардин.

Я усаживаюсь на траву прямо перед кучей земли среди корней и пауков. За стеной оливковых деревьев — автострада, оттуда доносятся странные звуки: сигналы автомобилей, лай собак, гудки локомотивов, грохот сгружаемого металлолома. Сорная трава жадно сосет землю, ту самую землю, что ждет семян, которых никто в нее больше не бросает.

Высокая труба завода «Станич» (он совсем близко, если идти напрямую) то и дело выбрасывает длинные языки пламени; в этих огромных факелах сгорают нефтяные отходы. Порой, когда ветер дует с моря, до нас доносится сильный запах газа. Я приближаюсь к территории завода. За высокой, почти в три метра, сеткой раскинулись поля, частично они обработаны, кое-где крестьяне собирают маслины; я машу рукой, на меня смотрят, но не отвечают.

Выбрали нового делегата в заводской совет. Время от времени делегатов меняют. Все они начинают с благих намерений, но кончают тем, что перестают нас информировать о делах заводского совета. А потом уже и вовсе схлестываются не с начальством, а с самими рабочими. Они говорят: нам нужно быть более сознательными, повышать производительность труда — одним словом, дуют в ту же дуду, что и начальство. Такого делегата мы обзывали сволочью, продажной тварью и выбирали нового. Дело в том, что когда наши делегаты входят в обитую бархатом комнату с кнопками и телефонами, то перед лицом большого начальства пугаются, делают в штаны, говорят «да-да» и кивают головой как ослы.

Мы должны хорошенько усвоить: нечего посылать туда шута горохового, нам надо сообща принимать решения, учитывать все проблемы — большие и малые... даже недомогание простого рабочего — не шутка. Импровизированные собрания гораздо важнее организованных, заранее подготовленных. Они естественнее, потому что обходятся без микрофонов, президиумов, профсоюзных боссов. Все должны высказаться, а после обсуждения сообща подготовить документ и представить его кому следует — представить со всей решительностью: вот, дескать, наше Евангелие, вот голос всех.

Другое средство, по-моему,— это сменный делегат, мы все должны пройти через этот опыт, каждый понемногу, не на длительные сроки, потому что пока очередь дойдет до последнего, пройдут годы.

Ошибку в выборе делегата мы совершаем часто, например во время местных выборов, когда голосуем за того, кто бегает туда-сюда, выклянчивает поддержку: все-то мы ему друзья, кумовья, даже братья, всем-то он нам улыбается, но стоит пройти выборам, как победитель выпячивает грудь, напускает на себя важный вид, возносится чуть ли не до небес. Идешь в муниципалитет — ломай шапку, кланяйся. Они запираются у себя в кабинетах и обделывают свои делишки, а мы каждый раз уходим несолоно хлебавши, и на местах дела приходят в упадок. Все, повторяю, все должны участвовать в политической, культурной, общественной жизни — следить за событиями, выдвигать

предложения, ходить на заседания муниципального совета, а если помещение не позволяет, пусть проводят заседания на открытом воздухе, чтобы все могли слушать, понимать, предлагать, выбирать.

Местечко, где построен наш завод, называется Парадизо — Рай. Судя по названию и по некоторым другим признакам, здесь когда-то была отменная плодородная земля с оливковыми рощами и фруктовыми садами, должно быть, здесь росли гигантские миндальные и рожковые деревья высотой с дом. Кто знает, сколько раз мой дед, который был возчиком, проезжал по этим местам, сколько навоза перетаскал, сколько камней Дорогой мой усатый дед, ты так любил женщин и вино. Допивая стакан, ты усердно обсасывал усы, облизывал их, чтобы ни одной капли вина не пропало.

Он умер несколько лет назад. Ему было девяносто два года, он весь был скрюченный от работы, страдал бесчисленными недугами и носил такое тряпье — еще пострашней, чем раньше. После смерти бабушки он оставил деревню, где жил больше сорока лет, и был вынужден перебраться в поселок с дочерью Анджелиной, моей теткой. Он весь исхудал сник и в последние годы все чаще прикладывался к рюмке, но чтобы не попасться и избежать укоров зятя, доливал бутылку водой.

Сколько воспоминаний связано с этим старым сельским домом, в котором жили дед и бабка: просторные комнаты с циновками на полу, кухня с огромным очагом, бак для воды и большое окно, выходившее в апельсиновую рощу. В комнатах сильно пахло фруктами, парным молоком, свежим сыром. Бабушка, или, как ее называли, кума Мариэтта, когда терла сыр, обязательно откладывала хорошие кусочки, чтобы сунуть их в рот нам, внукам. Тут же рядом было стойло мула, под ногами у него сновали куры и целая армия кроликов и мышей. Помню, как в удушливую полуденную пору дедушка лущил бобы на террасе, молотя их большой палкой. А уж когда кололи миндаль, это был настоящий праздник — на железные козлы клали дощатый настил, вокруг собиралась вся семья: дети, внуки, дядья, тетки, даже соседи. Дед, у которого был красивый низкий голос, пел шутливые припевки:

Лучше нет моей жены,
Сундуки у ней полны,
И, глядишь, за две весны
Смастерит себе штаны.

Еще было гумно с каменным столом и стульями, с навесом из винограда, садишься за стол, и под ногами крутятся ящерицы. Вечером читали молитвы, на маленькой приступочке была укреплена восковая свеча и фигурка мадонны, бабушка вытаскивала из кармана четки, вместе с ними выпадали семена цикория, горох, хлебные крошки. На столе горела керосиновая лампа, вокруг летали ночные бабочки. Прежде чем лечь в постель, бабка непременно отправляла меня на улицу — «за угол». Я боялся темноты и выбегал из дому с замирающим сердцем; на улице светили звезды, квакали лягушки, кричали ночные птицы, в яслях била копытами лошадь, а в глубине гумна мерцал огонек дедовой трубки. Дед неподвижно сидел в темноте и думал бог весть о чем.

Мой дядя тогда ходил в женихах и вечерами всегда отправлялся пить с друзьями пиво, а потом — к девчонкам. Я удивлялся: как ему не страшно ехать на велосипеде в темноте. Я глядел ему вслед, пока он не сворачивал за розовый куст и не скрывался на тропинке, по обеим сторонам которой росли гигантские рожковые деревья. А тетка, наоборот, оставалась дома, поджидая своего парня. К вечеру она начинала прихорашиваться — красила губы, пудрилась. Потом я слышал, как он целовал ее, а она кудахтала, как наседка. Те времена давно прошли: дядя стал железнодорожником, тетка перебралась в Палезе и сюда больше не наведывается. Она теперь настоящая синьора; другой дядя пошел в карабинеры, как и мой отец.

А я вот работаю механиком — кто знает почему? Тогда на такие профессии был настоящий бум, вокруг как грибы росли курсы токарей, наладчиков мотористов. Я тоже записался на какие-то курсы: отец все разузнал и сказал, что токарь—неплохая специальность, хорошо оплачивается и в Италии, да и за границей большой спрос на токарей. И вот я здесь, в Парадизо, который превратили в ад, в центр промышленной зоны. Там, где когда-то можно было гоняться за сороками, цепляться за телеги, где мы с приятелями воровали фрукты по садам и охотились с рогаткой, теперь понастроили фабрик и заводов. Куда подевались тропинки, которые вели к трулло, к сараю,

к красному тутовнику? Туда-сюда снуют грузовики, мотороллеры, повсюду заводы — большие, маленькие и вообще бутафорские,— решетки, подъемные краны, навесы, алюминий, пластмасса. Но внешность обманчива: многие из заводов закрываются, через некоторое время они откроются снова — может быть, в другом месте, в другом районе, они все равно откроются, чтобы потом снова закрыться.

По дороге в Палезе для родного «ФИАТа» пробурили несколько артезианских колодцев, а вот для нужд сельского хозяйства пробурить их оказалось невозможно. Мы теперь уже не знаем, кто мы такие: люди-машины, полулюди-полумашины... Мы — жители ко всему безразличного, мертвого поселка, звери, готовые растерзать друг друга. Растрепанные мальчишки гоняются за чудом уцелевшими коровами, пинают их, бросают в них камни. Из грузовиков, катящих по поселку, сыплются гравий, цемент, трубы. Заводы закрываются, воды не хватает, лифты застревают, чиновники из налогового управления, как пираты, подступают с ножом к горлу. Цены растут. Обсуждается новый трудовой договор, сколько надежд, сколько энтузиазма связано с ним, но, похоже, и на этот раз дело попахивает «липой».

Сегодня вечером один парень предложил нам выпить «Монастырской настойки» — нечто вроде ликера или эликсира долголетия. Он угощал, потому что его взяли наконец в рабочие. До этого он служил в баре при столовой, у него был белый пиджак и шейный платок; улыбаясь во весь рот, он подавал кофе, сухарики, сливки. Днем он появлялся в цехе, катил меж токарных и фрезерных станков тележку, полную булочек, шоколада, конфет и банок с фруктовым соком,— на тележку тут же налипала стружка. Но его мечтой было стать рабочим. Сначала он добился, чтобы его взяли чернорабочим, и вот теперь надел голубую спецовку. Вечерами учился на токаря. После долгого ожидания мечта его сбылась, но работает он пока не токарем, а сверловщиком. Сверлит тысячи отверстий, так же как раньше подавал тысячи чашечек кофе. Этот парень вытаскивает из чехла калибр, словно держит в руках шпагу Зорро, его счастливое лицо отражается в сверкающих деталях. Он так счастлив, глаза смеются, ему кажется, что он рукой дотронулся до неба. Не будем его расхолаживать.

Возвращаюсь домой голодный, сажусь за стол; жена готовит, дети шумят, адски грохочет стиральная машина. Тогда и я беру пустую тарелку и начинаю стучать ею по столу. Мне не хочется шуметь, но я стучу все громче — я почти счастлив. Для полноты счастья включаю телевизор. Теперь порядок: чем тут не завод! Привычка к шуму толкает на необъяснимые, бредовые поступки.

Сегодня воскресенье, я на седьмом небе, радость захлестывает меня: сегодняшний день — только мой. Тянет в город, хочется побродить, почувствовать себя наконец свободным... Иду на вокзал, прибывающий поезд весь в моем распоряжении. Приезжаю в Бари, выхожу на привокзальную площадь с фонтаном; передо мной трамвай, толпящийся народ — и все это мое!

Но блаженство длится недолго. Лезу в карманы за сигаретами. Первая всегда кажется горькой — может, потому что у меня горько во рту: нынешней ночью я плохо спал. Сразу подступает апатия, тоска, город уже кажется враждебным, ненавистным, он тяготит меня. Повсюду зловоние, тротуары загажены, из подъездов несет гнилью. Меня тошнит.

Покупаю газету, типографская краска пачкает руки. Черные руки, прямо как на заводе. Завод близко, десять минут на трамвае, он зовет, тянет меня, машинально сажусь на седьмой номер, тот, что идет в промышленный район,— и вот я здесь. Колючий воздух, железные листы кровоточат ржавчиной, четыре бродячих пса роются в помойке.

Перехожу дорогу. За спиной остановка трамвая, идущего в Калабрезе. Надо быть осторожнее: недавно здесь грузовик сбил рабочего. На земле тогда осталась только куча кровавых тряпок. Сокращая себе путь, иду полями: навстречу попадаются тощие деревца и грязные лужи. Короткий подземный переход под железной дорогой — и я уже на подступах к Модуньо. Брошенные картонные ящики, следы шин, желтые листья, пластиковые пакеты. Вот и бензоколонка «Аджип», уже видны эвкалипты, что растут возле завода. И прямо у заводских ворот большой луг, на нем растут ели, эвкалипты, бугенвиллеи, но я останавливаюсь: ноги не идут! Сил нет глядеть на железную крышу завода, на забор, на красный нос вахтера, на свер-

кающий чистотой особняк дирекции, на аллею, ведущую в цех, где каждый день для нас, для трехсот рабочих, оборачивается адом. Не хочу идти дальше, не хочу ничего видеть, завод что порченое яблоко: красота снаружи, гниль внутри. Выкуриваю еще одну сигарету, сую руки в карманы и поворачиваюсь спиной к ветру и к цеху.

Снова начинается рабочая неделя — опять в пекло! И выходные-то дни отвратны, чего уж говорить о рабочих. Ты заранее знаешь, что тебя ожидает, и так в течение многих дней, месяцев, лет,— в этом весь кошмар: каждый день — одни и те же движения, одни и те же надоевшие рожи. А бывает и хуже: кто-нибудь переедет тебя на машине или выкинет из дома за то, что не внес в срок возросшую квартплату.

Можно ли забыть о мелочах, которые делали нас счастливыми: о том, как осенним туманным утром выходили пораньше, чтобы набрать дикого цикория, как после дождя искали улиток, выползавших на каменные ограды вдоль сельских дорог; как до позднего часа при огромной луне болтали на крылечке под стрекот сверчков; как не думали о том, что завтра придется пробивать заводскую карточку. Кто теперь слушает сверчков и нежное кваканье лягушек летними вечерами на болотах? А заварное вино... из него с первым снегом, который заносило к нам холодным ветром с Мурджи, готовили мороженое. Мы брали самый чистый нежный и пушистый снег, что скапливался на балконных перилах. Как забыть эти мелочи, которые ничего не стоили, но объединяли нас, делали лучше. Они и это уничтожили, они все хотят в нас убить, даже воспоминания. Да, понемногу лишают нас памяти с помощью адских темпов, сдельной оплаты, массовой пропаганды общества потребления всеобщей неразберихи. Не знаешь, откуда ждать удара, поскреби красное — найдешь черное, поскреби черное — и найдешь красное, все только и думают, как бы нас запутать.

С чего начать? Дел так много! Мне кажется, начинать надо с молодежи, надо бороться за все активные силы, которые плесневеют в провинциальных городках. Не успеешь родиться, как ты уже старик и в жилах у тебя вода. Надо поднять молодежь, которая загнивает в школе от никому не нужной болтовни, загибается под гнетом латыни, риторики, извращенной истории, сомнительной литературы, надо вовлечь ее в борьбу за спасение Юга, его морей, приходящих в упадок крестьянских хозяйств, скудеющей земли... надо вызволить молодежь, спасти ее, направить.

Наше общество гниет изо дня в день, политические партии не в силах добиться реформ, создать основу для упорядоченной, свободной для всех жизни. Они боятся потерять голоса, ради которых живут, они просто в ужасе, что могут потерять голоса: ведь если они поведут себя так, то выиграют правые — это не годится; если иначе, то выиграют левые, а это тоже не подходит; если же совсем наоборот, то выиграет центр, следовательно, и это ни в какие ворота не лезет... А между тем вся система распадается, растет напряженность, насилие.

Я живу в новом многоэтажном доме, большинство обитателей из рабочих и служащих стали синьорами, по крайней мере с виду. Женщины нарочно оставляют двери открытыми, чтобы можно было позавидовать их квартирам. Холл с непременной аркой,— сейчас поветрие на арки, чем больше у тебя арок, тем больше ты чувствуешь себя синьором. В холле зеркало стиля ампир на венецианской подставке; повсюду навалом безделушки, у каждого их по горло. Люди захламляют дома множеством бесполезных вещей, чтобы вознаградить себя за недавнюю бедность, и покупают, покупают изо всех сил, так что потом становится не на что жить, зато каждый считает, что перехитрил другого. А на самом деле мы обкрадываем самих себя. В квартирах ревут электрополотеры, на балконах с утра до вечера жарится на электрогрилях мясо, под балконами впритирку стоят машины. Люди хватают все, самое последнее барахло, и думают, что они в выигрыше. Не понимают они, что их выигрыш — это более реальные вещи долгосрочного назначения: общественные службы, транспорт, школы, вода для сельского хозяйства, больницы, ясли...

Одна моя соседка с большим трудом купила квартиру, заставила ее множеством отвратительных безделушек и рада, что повергает в зависть куму, которая живет в старом районе. В новой квартире все сверкает, все натерто до блеска. Сами хозяева живут в старом доме, а сюда приходят только ночевать, и если ночью кому-нибудь

приспичит, то, чтобы не пачкать туалет, отделанный дорогой керамикой и кафелем, они могут взять газету, наделать в нее и выбросить из окна на улицу.

Мы едем привычной дорогой, которой ездим каждый день из дома на работу, с работы домой. Нас пять человек из поселка Адельфия, расположенного в восемнадцати километрах от завода; чтобы сэкономить бензин, каждый по очереди возит остальных, по неделе каждый. Все время ездим одной и той же дорогой: вокруг Адельфии, потом через Битритто и к заводу. Машина едет быстро, мы устали, нет сил, но это не мешает нам любоваться осенними полями. До чего же я люблю осень! С каждым днем виноградники меняют цвет, сначала они зеленые, потом желтые, потом красноватые, фиолетовые, темно-коричневые, потом листья опадают; появляется трава, поля превращаются в луга, кажется, будто весна пришла: цветут желтые ромашки, крокусы, повсюду белые цветы, похожие на снежные хлопья; гигантские рожковые деревья гостеприимно принимают на своих ветвях сорóк, а те кричат, машут крыльями; крестьяне собирают оливки, жгут костры, чтобы согреться, едят жареные оливки, хлеб, сыр. Неплохо бы остановиться, потолковать с ними, расспросить об урожае, но мы спешим и на большой скорости пролетаем мимо; мы почти рядом, стóит только руку протянуть, но асфальтированная дорога неумолимо влечет нас все дальше.

Несколько лет назад на заводе работал служащий, заполнявший специальные таблицы. Карандашом он ставил множество галочек в таблице, отмечал карточку рабочего, проставлял нормативное время, отпущенное на определенную операцию, фактически затраченное время, номера табелей, час их открытия, час закрытия и так далее. Эти таблицы после заполнения идут сначала в перфорационный, а затем в вычислительный центр для проверки — сколько мы работаем и сколько стóим. Так вот, этот тип взял себе за правило чуть ли не каждый вечер к концу рабочего дня, когда голова уже не варит, подходить к станкам и нахальным, отвратительным голосом спрашивать: к чему это, к чему то, сколько деталей обрабатываешь, почему не работаешь быстрей. Почти каждый вечер одна и та же песня. Я не знал, что придумать, как от него избавиться.

К счастью, однажды вечером, как только он подошел ко мне, его внимание привлекла блестящая, но неровная и со множеством заусениц деталь; он прикоснулся к ней, стал водить пальцем по сверкающей поверхности, слегка нажал — и, конечно, порезался, дурак. Видели бы вы его: припустил по аллее как заведенный, подняв кверху кровоточащий палец. С того вечера он больше не подходил ко мне, хотя издали я его зазывал: «Иди, иди же сюда, красавчик». Но он ни в какую — в самом деле испугался. Сейчас он работает старшим кассиром, а на лице у него все то же унылое, подозрительное выражение. И такой же худой, похож на палку от метлы, несмотря на всю ту благодать, которой он заведует: чеки, зарплату, деньги во всех видах.

Вернувшись с ужина в половине восьмого, я расположился, как паша, в кресле начальника. По-американски взгромоздив на его письменный стол ноги в тяжелых, каждый по два кило, башмаках, я закурил очередную сигарету. Вдруг откуда ни возьмись является начальник. Этот мерзавец, оказывается, еще здесь: он просто притворился, что уходит, и внезапно вернулся, чтобы посмотреть, что мы делаем в его отсутствие вечером. Увидав меня в такой позе, он подходит и устраивает мне нагоняй. Я говорю ему: «Успокойся и послушай: во-первых, я так расселся не из презрения к твоему глубокоуважаемому столу, а чтобы дать отдых ногам, они болят, я чувствую, как они распухли, рано или поздно у меня начнется варикозное расширение вен, подумай, ведь мне еще стоять на ногах три с половиной часа. Во-вторых, я присел немного потому, что в самом деле устал. Ты каждый божий день с утра до вечера рассиживаешься в этом кресле и лишь на короткое время отрываешь от него задницу, чтобы шпионить за нами и нас донимать. А теперь убирайся или я душу из тебя выну».

Третьего дня тот же начальник взбеленился, потому что я превысил время на обработку деталей; ему снова кое-что пришлось от меня выслушать. Время на обработку рассчитано неправильно, сказал я, его недостаточно, поэтому, если вам нужна производительность, увеличьте нормативы, и я увеличу производительность на сколько угодно: на двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят процентов... Я прихожу сюда ра-

ботать, а не надрываться так, чтобы еле до дому доползать. Я хочу приходить домой здоровым, по возможности бодрым, с зарядом энергии, чтобы в постели быть на что-то способным. Вы и без того все жилы из нас вытянули — оставьте хоть это.

На нашей линии работы не хватает, несколько рабочих здесь явно лишние, их должны перевести отсюда в другой цех, где работы прибавилось. Разумеется, в число рабочих, которые должны переменить климат, непременно попаду я, потому что я спорщик, подрывной элемент, зануда. Мне не впервой менять цех. А жаль — я уже стал сближаться с товарищами, привык к станку, ко всем этим трубочкам с крышечками, к сотням и тысячам мельчайших деталек — таких маленьких, что все они могли бы уместиться в кармане.

С грустью достаю из шкафчика свои личные вещи: пару давнишних газет, несколько листовок, таблетки от головной боли, лекарство в аэрозольном баллончике для моего вечно заложенного носа, две пуговицы, собственное изобретение для захвата трубок (что-то вроде крючка, который привязывается к пальцу, отчего я становлюсь похожим на знаменитого пирата капитана Унчино). К подобным уловкам прибегаем мы, рабочие люди, чтобы не слишком тоскливо было выполнять монотонные операции. Разумеется, никто не платит нам за всякие такие немудреные изобретения, но зато приятно сознавать, что твой котелок еще варит. Собираю свое добро. Здесь две ручки, которые уже не пишут, но я почему-то все время таскаю их с собой, обломок карандаша, совсем крохотный, но, если его приложить к другому такому же крохотному обломку, получится вполне приличный карандаш; здесь и трехмиллиметровый ключ, с которым я не расстаюсь никогда, потому что такие ключи у нас на вес золота, днем с огнем не найти, мы их всегда держим при себе в кармане и, будь наша воля, домой бы носили, хранили бы ночью под подушкой. Тут у нас много чего не хватает из запчастей и инструментов. Начальство уверяет: мол, заказывали, но инструментов нет как нет, хоть на свои деньги покупай в Бари. Нас, рабочих, называют наглыми, безответственными лентяями, на самом же деле как раз наоборот, и это хорошо известно хозяевам, но они знают и другое: чем больше притесняешь и обвиняешь рабочих, тем проще превратить их в бессловесных рабов.

Исследователи рабочего движения, горы книг о рабочем движении, написанных до того заумно, что самим рабочим не под силу в них разобраться, конференции, дискуссии, «круглые столы» и все такое прочее. А что в результате? В результате рабочие сидят в дерьме еще глубже, чем раньше. Потому что всем наплевать на то, как и чем живет рабочий, каждый заботится только о себе, и мы — лишь трамплин для их прыжка. Пришла пора ясных и понятных слов, и все должны говорить так, чтоб было ясно и понятно. Хватит речей с двойным смыслом. Кто говорит сложным языком, пусть катится к чертовой матери, кем бы он там ни был: депутатом, президентом, адвокатом, ученым, профсоюзником... Долой кастовый буржуазный язык, долой болтовню, мы требуем конкретных дел. Слово должно быть предоставлено настоящим рабочим, из тех, кто с утра до вечера надрывается на производстве. Только они в состоянии по-настоящему рассказать о проблемах рабочего класса. А кто не держал в руках мотыги и молота — не разберется, хоть убейся, в истинных проблемах труженика.

О своих проблемах имеет право говорить каждый, даже тот, у кого нет ни диплома, ни аттестата, ни прочей такой бодяги. Пусть все и говорят, хоть с ошибками, хоть с ругательствами, хоть на диалекте — главное, чтобы твой голос прозвучал и был услышан, особенно когда речь идет о твоих же проблемах. Но сегодня, если человек недостаточно образован и вдобавок не пишет, то говорить о своих проблемах ему стыдно и боязно; в то же время образованный и пишущий человек присваивает себе право писать от имени других.

Дела рабочих все хуже и хуже. На заводах нас эксплуатируют, отравляют, убивают и, словно этого мало, выгоняют, вышвыривают на улицу, когда и как хотят. От нас непрерывно требуют жертвенных усилий, хотя мы и без того постоянно чем-нибудь жертвуем. Мы от рождения обречены на жертвы. О нашем существовании вспоминают, когда требуется «приложить все усилия», — это единственное выражение, с которым к нам обращаются. К тому же мы сами никогда не доводим до конца свою борьбу с правительствами и голодаем, когда им заблагорассудится. Какие же мы рабочие, если не имеем права называться рабочими в полном смысле этого

слова! И ремесленниками нас не назовешь, ведь мы ничего толком не умеем сделать. Мы роботы, обезьяны, машины. Можно ли назвать рабочим человека, который, стоя у станка, гонит на протяжении двадцати лет одну и ту же деталь? Мы просто рабы, лодки без руля и паруса. Даже ИКП с профсоюзом не решаются сказать нам всю правду о нас самих. О том, что рабочая женщина позволяет эксплуатировать себя на производстве, как лошадь, но в итоге приобретает шубу за 10 миллионов лир; что ее муж, тоже рабочий, преподносит ей в подарок брильянтовое кольцо за два миллиона (в то самое время, когда существуют миллионы безработных и совершается несчетное количество убийств и самоубийств от отчаяния и нищеты); что рабочий наизусть знает, о чем пишут в спортивной газете, но понятия не имеет о смысле партийного символа, за который голосует, да и о своем кандидате тоже. Мы здесь, на Юге, все плачем, жалуемся, но до сих пор ничего не поняли. У нас же есть море — так давайте его разрабатывать; у нас земля — так давайте возьмемся за землю; у нас солнце — значит, и о нем следует подумать; у нас овощи, фрукты и так далее и так далее...

Что же мы за рабочие такие, если горстка шакалов помыкает нами, как хочет, заставляя всю жизнь гнуть спину и харкать кровью, всю нашу единственную, неповторимую жизнь! Всякие сделки с совестью, обещания, «совместимость»— это одна пустая болтовня.

Иду в супермаркет. Брожу взад-вперед, обалдев от света и изобилия. Выхожу, нагруженный, как мул, зеленью, фруктами, мясом, рыбой, сырками, напитками... Чуть не падая под тяжестью поклажи, добираюсь до дома и набиваю продуктами буфет, холодильник, кладовую. Чувствую себя уверенно, словно богач, еще бы — как минимум на неделю вперед обеспечен припасами. Но это ощущение очень скоро проходит: почистив гору зелени, которую притащил домой, убеждаюсь, что ее едва наберется на пару тарелок. Дети смотрят на очистки голодными глазами. Мясо вначале едва умещалось в сковороде, а теперь скукожилось до того, что его без увеличительного стекла не разглядишь. О фруктах и говорить нечего: вместо апельсинов одна кожура, а бананы и вовсе зеленые да кислые. Что за дела?! Или земля перестала родить, или всех нас кто-то водит за нос.

Послезавтра, двенадцатого декабря, всеобщая забастовка, а точнее, как пишут газеты, «почти» всеобщая. Не понимаю я этого «почти»: по мне, или всеобщая, или нет. И расшаркивания эти мне не нравятся, и недомолвки в переговорах между профсоюзами и правительством: гнилое все какое-то. Мол, уважаемое правительство, мы тебе сейчас надаем по загривку, и поделом, но ты не бойся: слишком больно не будет.

Демонстрация состоится в Неаполе. Сегодня мы сложились, чтобы оплатить автобусы, а всего профсоюзы наскребли свыше двухсот тысяч лир. Выезжаем из Бари в пятницу, в три пятьдесят, сбор у секретариата профсоюза машиностроительных рабочих на площади св. Антония. Тем временем стало известно, что первая встреча между профсоюзами и Конфиндустрией будет проведена восемнадцатого декабря.

Ночь. Небо черным-черно от туч. Холодно. Поехали. Тесно прижавшись друг к другу, распеваем песни. В автобусе отогрелись; сзади сложены плакаты, флаги, пакеты с бутербродами и пивом. Кого-то уже сморил сон, особенно тех, кто, как и я, накануне вернулись домой за полночь после вечерней смены. Кто-то играет в карты, кто-то пробует умыкнуть у соседа бутылку хорошего деревенского вина. Распевает свою песню и мощный мотор автобуса, несущегося по асфальтовой ленте автострады к солнечному приморскому городу, к панораме залива, холере и сальмонеллезу, строительным спекуляциям и отравленной морской воде.

Неаполь встречает нас хорошей погодой. Это приятно, потому что ветер с дождем, промозглая сырость — все осталось в Бари, а здесь вот-вот проглянет солнышко. Везет же местным профсоюзам: их мероприятия всякий раз приходятся на погожие дни. Колонна получилась внушительная — более трехсот тысяч демонстрантов, даже страшно смотреть. Этакой силище да взорваться разок — только улицы с домами задрожат. Но она никогда не взорвется: всем раздали свистки, и мы свистим.

Время от времени кто-нибудь выкрикивает в мегафон: ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО, ГРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО! По обеим сторонам улицы — блюстители порядка в черных плащах, гладкие и откормленные... Нас щелкают фотографы, а мы глядим в объектив с выражением геройской решимости на лицах и посвистываем. Каждому из нас профсоюз перед отъездом выделил пару бутербродов, бутылку пива, апельсин, яблоко.

Чего еще желать? ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО, ТРУ-ДО-УСТ-РОЙ-СТВО! Левые ультра скандируют: ВЛАСТЬ РА-БО-ЧИМ, ВЛАСТЬ РА-БО-ЧИМ! А женщины из числа ультралевых — они всегда какие-то мелкие и бледные — лишь вид делают, что кричат, а сами только шевелят губами. Куда уж там кричать такими ротиками, голосками да еще в таких пальтишках!

Мы проходим по улицам Неаполя, дисциплинированные, как школьники. Все нами гордятся, улыбаются нам, даже блюстители порядка. На площади Плебишито установлен высокий, как гора, помост, с которого уже выступает Лама, затем очередь Ванни, последним выходит Сторти. Они парят там, в вышине, прекрасные, словно ангелы, мы громко скандируем: «ЛАМА — СТОРТИ — ВАННИ», размахиваем руками, бутербродами, колокольчиками.

Сегодня мы возвратились на работу после праздников (так называемых!). Чуть ли не с дракой отвоевываем себе места возле батарей парового отопления (они едва теплые), поверх которых на несколько минут кладем спецовки, чтобы хоть немного согрелись: не холодные же напяливать! Достойное зрелище: мы в трусах и майках стоим босые на листе картона, так как даже обувь засунули под радиатор. От спецовок поднимается пар, ноги покрылись пупырышками, и мы похожи на ощипанных кур, точнее, на индюков. Еще три дня с сегодняшним, и прощай 1975 год. К сожалению, нам придется работать и в последний день года; хорошо еще, что на этой неделе у меня утренняя смена. А каково тем беднягам, кому в вечернюю?

Накануне Нового года мы, четверо болванов, кроем на чем свет стоит и счета, и последние гроши, и детали, и стружки. Один из нас собирает деньги на покупку кекса и шампанского, чтобы проводить старый год прямо в цехе, вот какие мы идиоты. Воображаем, что находимся в Кортина-д'Ампеццо или на озерах: прием — в честь рабочего, кекс с шампанским — рабочему, да здравствует рабочий, да здравствует новое повышение цен! Никто не помнит о семи сотнях рабочих-индусов, похороненных в одной из шахт Индии, о последних кровавых событиях, которые произошли в Нью-Йорке, а могли произойти в любом другом месте. Все мы ощущаем себя сильными и богатыми, хитрыми и могущественными. Да здравствует старый год! И Новый год, в котором всех нас по-крупному надуют, как всегда, тоже да здравствует!

Фабрики закрываются каждый день. Нас вышвыривают с заводов точно так же, как уже долгие годы вышвыривают с полей крестьян. Идет свертывание сельского хозяйства всеми возможными средствами. Мы больше не нужны хозяевам нигде. Вон с заводов, вон с полей! Неужто они вздумали отказаться от наших услуг и поработать сами? А может, решили предоставить нам возможность гулять себе, сидеть дома, наслаждаться жизнью и при этом получать зарплату?

Однако, думается мне, дело здесь в другом, а именно в возврате к латифундиям. Земли больше ничего не стоят; крупные капиталисты скупают их за бесценок, чтобы завтра вновь собрать здесь и крестьян и рабочих. Вот тогда земля и войдет в цену: и семена появятся, и вода, и удобрения — все появится словно по мановению волшебной палочки.

Английская фирма «Лейланд», закрывшая в Милане завод «Инноченти», заключила контракт на строительство завода грузовых автомобилей в Нигерии, среди пальм и крокодилов. Наши рабочие обходились фирме слишком дорого, а там рабочие почти ничего не стоят, их можно эксплуатировать и калечить сколько душе угодно. Когда же тамошние рабочие прозреют, «Лейланд» нахально переместится еще куда-нибудь.

Сегодня, 15 января, машиностроители провели четырехчасовую забастовку. Собралось порядка сотни машиностроителей, остальные — студенты. Беспорядочной толпой прошли мы по улицам Бари, выкрикивая старые, привычные лозунги. По правде говоря, забастовки в том виде, в каком они происходят, мало кого волнуют, да и не пугают больше никого. Демонстранты скандируют: «Даешь трудовой договор!» Или: «Альмиранте [1] — палач!» Или еще что-нибудь в том же роде...

Единственное, что мне понравилось,— это огромный транспарант с надписью: «НА ПЕНСИЮ В 50 ЛЕТ — 35 РАБОЧИХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ — ПРИБАВКУ В 50 ТЫСЯЧ ЛИР К ЗАРПЛАТЕ».

[1] Один из лидеров неофашистской партии.

Когда много-много лет назад мы собирались в доме у деда и бабки, двоюродные братья приходили пешком из деревни или с ближайшей фермы. Больше всех нам досаждали дети покойной тетки Марии, особенно белобрысый Стефануччо. Подберется к тебе, прикинувшись дурачком, и, когда ты меньше всего ожидаешь, ущипнет так, что шкура потом облезет. Тем же занималась и его сестра Мариэлла, дикарка какая-то. Днем мы вместе с дедом поливали огород, таскали воду из цистерн, лили на грядки, девочки помогали бабушке готовить в просторной кухне с пылающим очагом. После обеда все ложились спать прямо на земле. Клали большой брезент, который в другое время применялся для сбора оливок, и поверх брезента — одеяла. Простыни были все в дырах и заплатах, но на земле так хорошо спится, хотя, по правде, мы и не спали вовсе, потому что кругом заливались цикады, кудахтали куры, а собаки, те лаяли без передышки, поскольку через дедов участок пролегала тропинка, которой все пользовались, чтобы сократить дорогу, когда шли с полей в деревню. Мимо дома постоянно кто-нибудь проходил, и собаки, охрипшие от лая, едва не обрывали цепь.

Теперь там, где жили когда-то дед с бабкой, нет больше ни дома, ни тропинки. На расстоянии ружейного выстрела оттуда построены жилые кварталы с замечательными квартирами по двадцать два миллиона лир каждая, хотя черта с два они замечательные, скорее похожи на тюрьму. Деревце посадить и то негде, в сортире спокойно не посидишь: все время кто-то стучится в дверь. И не поспишь, как бывало прежде, крепко и безмятежно, потому что все время кто-то кричит и колотит сверху и снизу, справа и слева. Тех, кто проживает в этих квартирах, считают важными синьорами. А я все думаю о своей тетке Аделине, которая носит платок, а в сарае у нее коза да куры. Соседи ее невзлюбили за то, что она не режет козу и кур; для соседей она не синьора, они с ней словом не перемолвятся.

Помню, тропинка, что тянулась возле дома, брала начало у дороги, шла мимо крыльца, потом через гумно и кончалась у школы, почти в центре Модуньо. Время от времени по ней кто-нибудь проходил: старик со связкой хвороста за спиной, старушка с пучком травы, пара охотников, местный придурок, что летом и зимой разгуливал босиком. Все они задерживались около дома, садились на каменную лавку и наслаждались летней погодой, прохладой камня и навеса, увитого виноградом.

В любой мало-мальски значимый с политической или социальной точки зрения вопрос систематически вмешивается церковь. Время от времени она выдумывает новые средства для того, чтобы нас парализовать, сделать несчастными, запуганными идиотами. Павел VI издал указ о контроле над рождаемостью. Снова папа лезет не в свои дела. В 1969 году он строжайше запретил пользование противозачаточными таблетками. По его мнению, к половой связи следует прибегать только для того, чтобы плодить детей — этаких придурков, которые должны обожать его, выглядывающего, словно филин, из палат Ватикана. Эти святоши могут втоптать в грязь самое прекрасное, и уж меньше всего они заботятся о том, чтобы люди были счастливы.

Пугают. Опять пугают. Размахивают жупелом увольнения и безработицы для трех тысяч рабочих и служащих. Разработан план реконструкции предприятия с одновременным сокращением штата сотрудников с 3400 до 2100 единиц. Предприятиям нужны деньги: или деньги, заявляют они, или мы выбросим на улицу две тысячи человек. Государство скребет свою вшивую голову в раздумье, где взять деньги, но, к сожалению, деньги на земле не валяются, тогда государство влезает в долги или же облагает дополнительными налогами все тех же болванов. Добытые таким образом деньги поступают промышленникам, вследствие чего неожиданно появляется работа, но ненадолго. Когда правительственные субсидии истрачены — либо вышла осечка с капиталовложениями, либо деньги перекочевали в Канаду,— снова начинается шантаж: деньги на стол, или мы вышвырнем три тысячи человек. А мы, рабочие, стоим как дураки и смотрим, что будет дальше. Нас берут за шиворот и ставят к станку, потом оттаскивают и выставляют вон, потом снова волокут к станку.

Мое рабочее место — двенадцать квадратных метров площади. Мой станок. Мой шкаф. Мои полки для инструментов. Моя стружка. Моя ругань. На работе я злой, как бешеная собака... Рычу, завидев приближающуюся «белую тень». Требую, чтобы меня оставили в покое. Все делаю сам и решаю за себя тоже сам. Огромное это удовольствие — самому решать, когда, сколько и как работать. Поработать, сесть, встать, определить время обработки детали (они-говорят-мы-покупаем-и-продаем-сырье-но-я-го-

ворю-плевал-я-на-ваши-махинации), сесть, почесать в затылке, внести, если нужно, поправку в чертежи...

На мелких фабриках все было по-другому, не так монотонно, серо и уныло, как здесь, где приходится делать тысячу одинаковых деталей. Там все операции выполняешь сам, от начала до конца: режешь, строгаешь, обтачиваешь, отпиливаешь, собираешь, мастеришь инструменты или привариваешь к ним накладки из сверхпрочных сплавов.

РА-БО-ТАТЬ. Они хотят, чтобы я ползал на карачках. Я, может, и поползу. Но тогда пусть боссы хоть немного поинтересуются мною, моими детьми, женой, нашим здоровьем, а то они лишь швыряют мне гроши и умывают руки. Человек возвращается домой и будто в паутину попадает. Проблем тысячи.

Сегодня вечером, в самом конце телевизионного журнала, после потока новостей со всех фронтов (скандалы, убийства, ограбления, изнасилования, падение лиры, повышение цен...) наступает очередь завершающего удара: появляется всем известная тупорылая башка на спортивных плечах и демонстрирует последние газеты с заголовками на полстраницы: «РИВЕРА УСТАЛ!», «РИВЕРА УХОДИТ!», «РИВЕРА ПОКИДАЕТ СПОРТ!»

Вот она, самая настоящая национальная трагедия. Падение лиры, чудовищные скандалы, закрытие фабрик — все ничто перед Риверой, который собрался покинуть спорт. А я так думаю: чем скорей уберется куда подальше Ривера вместе с такими же, как он, бездельниками, тем лучше. Хоть бы вообще их не было, паразитов. Что мне Ривера и вся миланская команда, арбитры и эти сукины дети спортивные журналисты, которые по окончании телевизионных новостей, где говорится о подлинных человеческих трагедиях, сообщают нам: Ривера, мол, закапризничал, и делают это с такими похоронными физиономиями, будто объявляют о конце света. Уходит, ну и пускай катится. Он себе играет, делает деньги, и девицы от него сходят с ума. А мы, рабочие, вкалываем, по-настоящему отдаем концы у станков, и на нас никто смотреть не хочет. Тем более девушки. Собственные жены и те нас едва переносят, ведь мы раньше времени впадаем в детство.

Ищу в старой части Модуньо помещение, пригодное для собраний. Возле какой-то двери на верхотуре лестниц и переходов читаем объявление о сдаче в аренду. Спрашиваем у женщины, видно собравшейся делать домашнюю лапшу, чья это комната. Она говорит, что хозяин такой-то и он (как и следовало ожидать) в Америке. Ключи у нее. Женщина отпирает замок. Перед нами грязная, неопрятная комната, вся в пыли, источенный жучком стол, замызганный белый буфет, рваная обивка на диване. Женщина нараспев сообщает: тут проживала целая семья — муж с женой и одиннадцать детей. Одиннадцать. Какие ж они все были грязные, уж такие грязные, страх какие грязные. Маленькие спали в ящиках шкафа. Даже стульев у них не было. Я сама своими глазами видела, как детишки ловили на стенах мух и ели.

Сегодня я попросил день отпуска. За свой счет, понятно. У начальника сразу же недовольное лицо. Я ему говорю: чего ты дуешься? Мне же за этот день не заплатят, стало быть, что хочу, то и делаю. Ясно? Ви — нет платить деньги мне, я — посылайт вас к чертофа мать! У меня срочное дело, отложить которое я не могу. Сделай скользящий график, придумай еще что-нибудь, только жить не мешай.

Все время работать. Мой отец, бывший карабинер, сейчас на пенсии. Ушел на отдых, чтобы спокойно пожить, но не хватает денег. Каких только профессий он в жизни не перепробовал, да и по сей день работает, чтобы свести концы с концами. Родился отец в 1910 году. Торговал оптом макаронами в лавке на улице Принчипе Амедео, потом бросил, потому что убыточно. Сдачи, что ли, больше давал, чем надо? Пошел мойщиком вагонов на железную дорогу, мыл окна и сортиры, чтобы прокормиться,— он, всеми уважаемый у нас в округе сержант. Зато, возвращаясь домой, много чего приносил: газеты, журналы, еженедельники, забытые в вагонах пассажирами с Севера. Из этих-то газет я и набрался культуры. А еще он держал развлекательное заведение с бильярдом, настольным футболом и прочими штуками, среди

которых были автоматы с американским названием slot-machines [1]; их потом вовсе убрали. В отверстие нужно было сунуть двадцать лир и потянуть за железную рукоятку сбоку. Если на вращающихся роликах при этом появлялась комбинация: три апельсина, три вишни и три колокольчика,— из дырки сыпались деньги; если же набирались три прямоугольника с надписью MINTS [2], высыпалась целиком вся касса, то есть около полутора тысяч лир. Тогда это были деньги.

Потом он служил «дамой-компаньонкой» при богатом, но очень больном старике; потом, когда поспевали оливки, подряжался на сбор оливок; потом работал сторожем на строительстве. Бывало, темной ночью я возил ему на велосипеде ужин куда-то на окраину Модуньо. Вокруг его костра вечно крутились десятки собак, он звал их по кличкам: Чу-Чу, Блэк, Дьявол, Кеккина, Мерзавка, Мустафа и т. д. Я бы оставался у него на ночь, потому что такая жизнь мне нравилась, но негде было спать. Там стояла хижина, где гулял сквозняк и, несмотря на лето, по ночам было холодно. Поверх затоптанной травы повсюду валялись доски, гвозди, куски застывшего раствора, цемент, обломанные ветки вишен, только одно какое-то дерево еще торчало из земли. Тогда, десять лет назад, окраины Модуньо представляли собой одну огромную стройплощадку — повсюду шло строительство. Мы с замиранием сердца наблюдали за этими переменами, но теперь (когда у нас открылись глаза) мы понимаем, что там ломалось и уничтожалось больше, чем возводилось. Так вот, я оставлял отцу ужин, а сам на велосипед — и домой по едва освещенным переулкам. В сумке гремели вилки с ложками, стаканы, алюминиевый котелок.

У нас в Италии, если ты не проф., не д-р, не адв.,— грош тебе цена. В школе хочешь не хочешь меня научили писать собственное имя. А культурой я овладел сам, по газетам. Набирался сознательности, читая всевозможные листовки с прокламациями, которые внепарламентские деятели распространяли у фабричных ворот, затем перешел на газеты политического и культурного содержания. Подумать только, лучшие мои годы прошли на ненавистной школьной скамье, в классе, где всякая бестолочь, еще бестолковее меня, допрашивала учеников так, словно те совершили убийство. Я жил в страхе перед экзаменами, в страхе перед табелем, в страхе перед отцом, который бил меня до крови, в страхе, что все лето придется зазубривать по учебнику год рождения Нино Биксио, формулу сернокислого натрия или латинское выражение типа «разбитая армия». При мысли об этом хочется страшной мести: кто возвратит мне прекраснейшие годы, те ясные весенние дни, когда за окном чирикали воробьи, пахло ромашкой, а сосновые ветви заглядывали прямо в класс, словно приглашая вскарабкаться на самую макушку сосны. Помню, в третий раз провалившись на экзамене, я ощущал себя полным ничтожеством рядом с моим другом Себастьяно (кто знает, где он теперь, этот круглый отличник?), который ответил на все вопросы. А я вот провалился и чувствовал, как на голове вырастают ослиные уши, и сгорал от стыда. Ничего не хотелось — ни играть, ни есть, ни пить. До сих пор живут во мне эти раны, хотя я сам себя уговариваю: мол, к чему тебе ученость, Томмазо, ты уже вырос, тебе под сорок, у тебя жена, дети. Себастьяно всегда учился хорошо — котелок у него варит; отец его был служащий, мать — учительница, один из братьев — монах, сестры работали в театре. Меня же отец драл нещадно да еще приходилось помогать матери мыть полы, посуду, убирать со стола и нянчить малышей (из нас четверых я старший) — словом, доставалось как следует.

Ко мне будто прилипло прозвище «осел». ОСЕЛ! ОСЕЛ! ДУБИНА! ПОЙДЕШЬ У МЕНЯ ЗЕМЛЮ КОПАТЬ! Отец и в самом деле послал меня в сельскохозяйственную школу, где тоже не ученье было, а мученье. Потом я на токаря учился. Слышали бы вы, как мне расхваливали эту специальность, как будто я не в токари шел, а во врачи: «Золотое ремесло, деньги лопатой можно грести». Тоже мне, золотое! Дерьмо грести, а не золото. Много шума из ничего...

Завершился съезд ИСП[3]. Послушать этих господ — будто ангелы с трибуны выступают: мы хотим радикально изменить всю страну, обновить ее, очистить и т. п. По-моему, чтобы эту страну обновить, необходимо первым делом посносить добрую половину недвижимости: незаконно построенные дома, заводы, которые нас отравля-

[1] Игральные автоматы *(англ.)*.
[2] Здесь — монеты *(англ.)*.
[3] Итальянская социалистическая партия.

ют и душат; взорвать к чертовой матери миллиарды кубометров бетона. Не говоря уже о чистоте и порядочности самих людей. Для них не хватит всех тюрем страны, и придется под тюрьмы реквизировать школы, учреждения, детские сады.

Новости в газетах все мрачнее и мрачнее. Лира падает, валится, рушится, тонет в нечистотах; курс доллара дошел до тысячи лир. Разные там министры появляются на телеэкране с постными физиономиями, объясняют, что еще есть надежда снизить потребление и увеличить производство, иными словами, нам необходимо лишить себя хорошей тарелки макарон, а у них будут продолжаться приемы и обеды стоимостью в сотни миллионов; нам необходимо увеличить производство, а им придется увеличить спекуляцию и мошенничество. И это подтверждается фактами: скандалы, взятки, увеселения в высшем обществе, икра, шампанское и зеленые столы, где господин такой-то из высших финансовых кругов спускает за вечер ни много ни мало — шестьсот миллионов. Когда я был еще молодой, к нам в деревню на рождество привозили из Лечче что-то вроде рулетки. Проиграв тысячу лир, я готов был повеситься от отчаяния. И знаете почему? Потому что тысячу лир мне платили за целую неделю работы, причем в отдельные дни приходилось трубить по полсуток подряд (и это не в девятнадцатом году, а меньше пятнадцати лет назад).

Мой старший сын весь извелся. Его страдания начались с рождением младшего брата. Они погодки: одному три, другому четыре, и старший ревнует, стоит матери приласкать младшего. На ночь мы подкладываем ему бумажные пеленки, а маленькому промокашки уже не нужны. Я давно подметил, что старший обезьянничает, во всем подражая малышу: тоже тянется к матери, как и его пухленький и впрямь более симпатичный братик. Это напоминает мне случай из детства: мой младший брат неизменно пользовался любовью родственников, а меня в расчет не принимали еще и потому, что я был замкнутый, задумчивый. Тогда я стал во всем подражать братишке: капризничал, орал, как Тарзан. Однажды дядя не выдержал и влепил мне хорошую оплеуху, после чего, обернувшись к отцу, сказал: «Этот обалдуй уже большой, а ведет себя как младенец». С тех пор я смирился: лучше сидеть в тени, чем получать оплеухи, на которые мой отец и без того был слишком щедр.

Сегодня, 20 марта, купил газету и на первой странице читаю написанное крупными буквами: «Стоимость лиры вновь поднялась на 3,7 процента». Вчера еще лира падала, рушилась, проваливалась; сегодня ее статус магическим образом восстанавливается. Главная заслуга в этом, разумеется, принадлежит съезду христианско-демократической партии. В огромном зале съезда над многочисленными венценосными головами порхают святые с ангелами, поэтому все, несомненно, идет к лучшему. Когда наступит очередь съезда ИКП, вот увидите, та же лира скатится на самую низкую ступень, как это произошло с франком, когда левые собрали на выборах 51 процент голосов. Все рассчитано, ничто не происходит случайно; сколько голов, столько ушлых умов. Хозяева+ХДП+Ватикан заставляют нас плакать горькими слезами в отместку за «жаркую осень», за 12 мая, когда проголосовали в пользу развода, за 15 июня и так далее, за самую малую победу левых сил и рабочего класса. С этой целью они прибегают к стратегии напряженности, увеличивают безработицу; бензин на вес золота, цены взвинчены до безумия, и, словно этого мало, постные рожи по телевизору продолжают требовать от нас новых усилий и жертв. Ради ясности, ради справедливости и честности мы действительно готовы на любые усилия, в противном случае одолевают сомнения: зачем все это нужно и кому? Неужели ради дальнейшего откорма большой свиньи?

Иногда слышу в свой адрес презрительное: вон, мол, «поэт» наш пошел. Мечтатель! А я думаю: черт вас побери, ведь все люди на свете мечтают. С той разницей, что у одних мечты злые и эгоистичные, а у других — добрые и человечные. Что ж здесь плохого?

Сегодня вечером, выйдя с работы, решаю прокатиться в Бари. Рейсовый автобус в мгновение ока заполняют пассажиры — рабочие и служащие завода, где я тружусь. Следующая остановка у консервного рыбозавода. Там почти что одни женщины. Многие из них — немолодые, грузные, с землисто-серыми, унылыми лицами. Их появление в автобусе сопровождается тяжелым запахом тунца пополам с крепкими

духами, что вызывает тошноту. Бедняги, чтобы перебить тунцовую и сардинную вонь, льют на себя флаконами дешевые духи — по две монеты за литр. Самое интересное, что вечером по телевизору показывают рекламу упомянутой консервной фирмы, где все блестит и сверкает: бесконечные пляжи с золотым песком, морские глубины с таинственным колыханием водорослей, бегущие наперегонки девушки, похожие на лилии. Нередко при сильном ветре рыбная вонь доносится до нашего завода.

Злосчастные земли Юга! Они нуждаются в человеческой щедрости, любви и преданности. Однако наши политики только осыпают нас словами, тысячами ничего не говорящих слов. Я, может, что-нибудь не то скажу, но, по-моему, многие наши правительственные деятели-южане — подлинное бедствие для Юга.

Первое предприятие, куда я устроился работать в Бари, представляло собой длинный и узкий барак. Мой ветхий токарный станок с приводными ремнями располагался в угловой части барака, в метре от стены, откуда торчали длинные ржавые гвозди, а на них чего только не висело: болты, шестерни разных размеров, покрытые плотной, словно подвенечное платье, застарелой паутиной, масленки, гайки, тиски... К стене были прибиты технические таблицы, фигуры всевозможных святых, среди которых главенствовал святой Николай. Бывало, вечерами, когда хозяин уезжал к клиенту собирать какой-нибудь механизм, я чувствовал себя потерянным среди старых чудовищных машин; тогда, опустившись на колени перед стеной с шестернями и фигурками святых, я рыдал от тоски и молился.

Экономический бум. Едва в наших карманах завелись лишние пять лир, как мы словно обезумели: холодильник, цветной телевизор, автомобиль, брильянтовое колечко невесте, шубка жене, горы векселей... Словом, потихоньку стали превращаться в вонючих мелких буржуа. Вот, оказывается, цель нашей революции — подражание буржуазии. С той разницей, что у нее имеются средства, а у нас нет. Хозяин время от времени дает их тебе понюхать и даже полизать, но ты потом дорого за это платишь. Нам следовало быть осторожнее, лечить застарелые раны и бороться против вечной несправедливости.

Продолжается борьба вокруг закона об аборте. Это чрезвычайно болезненный вопрос. Христианская демократия и Ватикан охвачены кризисом и ни на что не способны, но сдаваться не желают и не понимают, что необходимо двигаться вперед, а не назад. Вчера наверху в очередной раз воспользовались голосами фашистов, чтобы протолкнуть закон в своей формулировке. Эти недоноски понятия не имеют о страхах, об ужасном предчувствии, что у жены в положенное время не будет обычного недомогания; не ведают мучений и бессонных ночей: ведь если не будет, значит, надо добывать кучу денег. Но это цветочки по сравнению с тем риском, которому подвергаются женщины, попадая в руки «матушек-специалисток», выскабливающих внутренности, словно стены дома во время ремонта. Ты живешь в постоянном кошмаре, то и дело с надеждой вглядываешься в лицо жены. А дни летят. По ночам тебя мучит бессонница, больше всего на свете хочется стать импотентом, и ты в бессильной злобе проклинаешь всех святых и весь этот сброд — мерзавцев, консерваторов, лицемеров и мошенников.

Вот уже несколько месяцев группа молодежи ищет помещение с намерением приспособить его под культурный центр, где можно собраться, поговорить, поспорить, принять какое-то решение, дабы сдвинуть с мертвой точки эту страну, которая страдает и не умеет выразить свои страдания. Но все без толку. Одно помещение обойдется чересчур дорого, другое расположено слишком далеко, третье — какой-то сарай, и переоборудовать его надо за свой счет. А тем временем всякие дерьмовые спортивные общества получают лучшие удобные помещения в самом центре. На дверях вешают полосатую афишу с нарисованным ослом или петухом, а под ней надпись: «Клуб «Голубой петух», «Клуб «Зеленый апельсин» или что-нибудь в этом роде.

Сегодня, слава богу, пообедали, говорит жена. Вчера мы с ней собирали дикий цикорий. Потом сварили его, полили настоящим оливковым маслом, и получилась вкусная и здоровая пища. Приправив салат, я тщательно облизал бутылочное горлышко — ни капли не должно пропасть. Так поступал мой дед, так же делает мой отец, вот и

я выучился. Это не от скупости, а из уважения и почтения к маслу, такова традиция.

На набережной в Палезе торгуют рыбой и всякой прочей морской живностью. Есть здесь и черные ракушки из Таранто. Спрашиваю, почем кило, говорят: тысяча лир. Я так и обмер: на эту всегдашнюю пищу бедняков взвинтили цены, как и на другой бедняцкий продукт — картошку. Покупаю полтора килограмма. «Настоящие, прямо из Таранто»,— твердит рыбак. Уж я-то поел улиток на своем веку, особенно в родительском доме: мать частенько готовила их с соусом. Иногда я вдруг вспоминаю нашу дымную кухню. Мать любила все жарить: перец, баклажаны, цикорий, цветную капусту, картошку, артишоки; водилось и мясо, жесткое, с душком, при случае мать швыряла его прямо в лицо скупердяю отцу; в те времена пища была простой и дешевой. Теперь мы снова бедные, но вдобавок избалованы. Деньги больше ничего не стоят, цены на мясо немыслимые, а картошка, зелень, ракушки, скромные кильки и треска стали дорогим удовольствием.

Разнорабочий, в чьи обязанности входит убирать стружки и опилки, приближается с метлой к моему станку. Он глядит на меня с восхищением и даже завистью, так как считает меня привилегированным рабочим. Это оттого, что ни ИКП, ни профсоюз не втолковали ему, что мы, рабочие, все как один обманутые. Потом в его глазах появляется ирония, он произносит: «Нас роднит единая утроба, но не единые взгляды»— и показывает мне мозолистые руки, жесткие, как камни. Закуривает, криво улыбается, вновь берется за метлу и, откашливаясь, уходит.

На сегодня объявлена двухчасовая забастовка по всей области. Забастовки не прекращаются: двухчасовые, трехчасовые — самая настоящая забастовочная эпидемия, в котел которой бросают кто что может: борьбу за индустриальное преобразование, борьбу за трудоустройство, за транспорт, за сельское хозяйство и т. д.— словом, получается сборная солянка, и чем больше лозунгов, тем удачнее забастовка. Мероприятия эти довольно двусмысленны, потому что их организаторам и участникам не хватает ни последовательности, ни смелости открыто заявить о главной цели забастовки: правительство недееспособно, его необходимо убрать, и потому бастовать следует вплоть до полного и безжалостного свержения такого правительства.

На мелких забастовках мы напрасно потеряли миллионы рабочих часов. Если сложить вместе всю их ударную мощь, можно было бы силой склонить правительство к осуществлению более справедливой, человечной политики. Люди не каменные, и в один прекрасный день их терпению придет конец. Постараемся же не быть лицемерами в тот день, когда оно действительно истощится. Люди устали слушать одни обещания.

Затачиваю резец. Этот предназначенный для работы с алюминием инструмент страшно капризен, и нужно в точности выдержать все углы: угол режущей кромки, угол заточки... Обработку приходится выполнять вручную. Грань шлифовального круга стесана, и к канавке стружколома не подберешься. Нажимаю больше, чем следует, резец неожиданно вырывается, и рука попадает на шлифовальный круг. Честно говоря, я должен был работать в перчатках, но пользоваться ими не всегда возможно, потому что рука должна быть чувствительной, особенно когда требуется точная работа, а в перчатке она ничего не чувствует. Раны от шлифовального круга хуже других: долго не затягиваются, ведь круг не режет, а истирает ткань.

Карабинеры еще не поняли, что поддерживают порядок, угодный богачам, не догадались, что столь усердно защищают не принадлежащее им самим достояние. Карабинерам бы присоединиться к рабочим да сообща и раздавить хозяина — этого паука с длинными черными лапами.

Десятки и сотни заводов продолжают закрываться. Общество больше не знает, как поступать с рабочими: эксплуатировать их дальше или выставлять на улицу. Заводы и фабрики прогорают; мы трудимся до седьмого пота, вкалываем на сдельщине, расходуем у станков свое здоровье, калечимся, сходим с ума, стареем, а они все равно прогорают. И это несмотря на то, что из нас выжимают все соки, что мы работаем во вредных условиях, что бóльшую часть своего существования рабочий проводит у станка. В то же время политическое и экономическое состояние страны становится все более безнадежным, и весьма вероятно, в июне проведут досрочные выборы, чтобы сопоставить силы. Опять дерьмо сопоставят с дерьмом, как обычно.

Сегодня понедельник, 26 апреля. Начинается новая неделя. На душе паршиво, потому что придется работать в вечернюю смену. С утра не знаю, куда себя деть; сажусь на велосипед с намерением сделать что-нибудь полезное. Решаю поехать к хозяйке дома заплатить за квартиру. С меня берут по-божески — тридцать пять тысяч лир в месяц: еще действует ограничение арендной платы, и хозяйка, хотя и дерет против закона лишние семь тысяч, больше требовать не решается. Она болтает и болтает без остановки, и все ее разговоры заканчиваются тем, что в Бари арендная плата достигла сумасшедших размеров. Наконец спрашивает, почему мы не переедем жить в Бари; я отвечаю: не хотим, мол. Она продолжает гнуть свое, и я понимаю, что надо уходить, пока не взорвался. Нахожу предлог и исчезаю. Погода на улице еще не устоялась: то дождь, то солнце, то вдруг холодно, то жара. Конец апреля, а кажется, будто середина марта.

Нынче буду вновь лицезреть три тысячи заготовок, с которыми расстался в пятницу. При мысли, что новые миллиарды деталей ждут меня на протяжении еще двадцати пяти лет, кровь ударяет в голову и хочется все кругом разнести на куски. В самом деле с ума сойдешь и от этой монотонной работы, и от безобразий, которые творятся на каждом шагу. В 1973 году перед утренней сменой один рабочий, вместо того чтобы пробить свою карточку, встал возле контрольных часов скрестив руки. Бедняга сбрендил: вообразил себя хозяином и свирепо вращал глазами, глядя на входивших рабочих. Его немедленно отвезли в сумасшедший дом, и больше ни слуху ни духу. Это случилось на заводе «ФИАТ — СОБ».

Как подумаешь, что только на своем заводе я работаю уже пятнадцать лет, меня в дрожь бросает. А все остальные и не упомнить. Например, мастерская на серой и унылой окраине Бари — туда вели забрызганные грязью дороги, а по обочинам торчали нелепые скелеты деревьев. Четыре неоштукатуренные стены из туфа, да железные ворота, да грязь — вот тебе и весь завод. У одной стены куча железного лома, у другой — допотопная, ржавая, похожая на гильотину лебедка и бочка с темной водой.

По молодости в перерывах выбегали на улицу, потные, все в мазуте, и гоняли в футбол. Мяч делали сами из ветоши, служившей для протирки станков. Единственной колоритной фигурой среди этого мрака была жена хозяина, «хозяйка», как мы ее называли. Она иногда появлялась в дверях с бесстрастным, глуповатым выражением на лице, словно у мумии, и спустя несколько секунд с тем же выражением исчезала неслышно, как кошка.

Я учился в дурацких школах — сперва в начальной, потом с сельскохозяйственным уклоном. Так хоть бы там лук с картошкой учили сажать или деревья. Ничего подобного. Голую теорию долбили, а ведь вокруг простирались необозримые поля. Я пошел в школу с сельскохозяйственным уклоном, а не с гуманитарным: в те времена, чтобы перейти из начальной школы в среднюю, нужно было сдавать экзамены, и я трижды провалился по итальянскому.

Сразу после окончания школы отец повез меня в Бари продавать, как барашка, на работы. Мы долго таскались по грязным улицам окраины, где полно строений из профильного железа — мастерских. Отец в конце концов сжалился и купил мне лепешку. Было странно, что он купил ее в магазине, я-то думал, лепешки только бабки делают, и вообще городская жизнь мне была в диковинку. Мы заходили в эти убогие мастерские, спрашивали хозяина, и, завидев его, отец начинал плакать самыми настоящими слезами, как заправский актер. Он причитал: «Умоляю, возьмите парня, он уже извелся от безделья. Прошу вас, возьмите его, хоть бесплатно. Сделайте это в память о покойных ваших близких... Мальчишка ни на что не претендует, положите ему сами сколько захотите».

Потом отец объяснял, кто он — «сержант карабинеров, уважаемый человек». Хозяин мрачнел: видно, не желал терять времени. Не преувеличиваю, мы полгорода обошли. Я повесил нос, а у отца от частых излияний и жалоб опухли глаза. В тот день мы не нашли ничего. На следующее утро, едва протрещал будильник, отец позвал меня к себе и сказал, что теперь дорога мне известна и ходить в поисках работы я буду один.

В нашем районе почему-то отключили свет, и видно, как в окнах напротив загораются свечи. Мне вдруг вспомнились давние годы. Жили мы тогда близ Лечче, в

местечке под названием Триказе, если не ошибаюсь, на первом этаже сырого дома, в больших комнатах с очень высокими потолками. Холодными зимними вечерами собирались вокруг жаровни у окна, выходившего на улицу. Первым делом выключали свет. Так хорошо было сидеть в темноте и говорить обо всем на свете, о прекрасном и страшном. Я даже невольно оборачивался в страхе: мне виделись какие-то тени, и казалось, чудовищный кот своими жуткими когтями сейчас вцепится сзади мне в голову. Пробирала дрожь, я бы даже сказал — сладостная дрожь; а пылающая жаровня, и сидящие вокруг братья с сестрами, и мама, и даже соседки по дому — все внушало уверенность. Чтобы увлажнить воздух, ставили на жаровню кастрюльку. Время от времени на улице, едва освещенной двумя-тремя тусклыми лампочками, появлялась какая-нибудь живая душа: собака, кошка, человек на велосипеде, старушка в шали, парень с сигаретой в зубах. А бывало, что за весь вечер никто не проходил. Совсем никто.

Сегодня утром три автобуса привезли к нам на фабрику большую группу посетителей. Это учащиеся промышленного училища из одного маленького, как наш, городка неподалеку. Они, будто масляное пятно, растеклись по всем закоулкам: по аллеям, в столовую подкрепиться, потом в цеха. Осторожно ходят вокруг станков, с изумлением глядя на все вокруг, робко задают вопросы техникам и рабочим. Небольшая группа останавливается около меня. Закрепляя очередную заготовку, успеваю их разглядеть. Несмотря на современный вид и длинные волосы, сразу видно: ребята деревенские. Их добрые, простые, наивные лица меня трогают. Они спрашивают, что за работу я выполняю, для чего нажимаю на эту кнопку, зачем пользуюсь этим рычагом. Понемногу разговор переходит на политику, социальные проблемы. Иного я не ожидал. Сразу же говорю им, чтобы не слушали инженера, который водит их по цехам. Это мошенник, и его слова — пустая болтовня. У нас на заводе все пришло в запустение, организации никакой. Самое организованное здесь — неорганизованность. Так что не слушайте начальников и техников в белых халатах. Здесь все отвратительно, здесь люди медленно умирают — день за днем. Бегите отсюда, пока не поздно, ребята, бегите. Меня тоже в вашем возрасте возили на экскурсии по большим заводам, и я тоже, как вы, широко раскрывал глаза перед чудом этой вонючей техники. Потом они заморозили мое удивление и восхищение. Бегите скорее: вы в дьявольской ловушке. Возвращайтесь в свои деревни, если можете, пока еще не поздно.

Опять поругался с мастером, который потребовал, как обычно, сведений о выработке. «Да отстанешь ты от меня, наконец? — огрызнулся я.— Чего тебе надо, чего ты добиваешься? Чтобы предприятие получило прибыль, а из меня выжали на сотню лир больше? Где ты был, когда фирмачи прикарманивали десятки миллионов? Может, спал или делал вид, что оглох? Вспомни Чефиса из ЭНИ, который обеспечил себе шикарное будущее. И отойди от моего станка. Ступай лучше сам поработай. Попроси себе станок и подавай личный пример. А то за тридцатку в месяц к зарплате из тебя сделали шпиона, шакала, тюремного надзирателя...»

Самое интересное, что, когда все понемногу улеглось, многие товарищи открыто выразили мне свое возмущение. Так, видите ли, не разговаривают с начальством. Да, действительно, так с начальством разговаривать нельзя, потому что начальник—это бог, сошедший на землю, бог в белом халате, а в бога положено верить, обожать его и лизать, лизать...

Министр внутренних дел Коссига нес на своих плечах гроб с телом полицейского, погибшего в вооруженном столкновении с грабителями. Министр труда Тина Ансельми никогда не носит на себе рабочих, погибших в результате несчастных случаев на производстве, хотя они гибнут в несметном количестве. Полагаю, она не занимается этим, потому что иначе не смогла бы заниматься ничем другим. Много гибнет нашего брата, только говорят об этом мало, очень мало, разве что в самом крохотном уголке газеты. Зато спортивной жизни всегда посвящены две полные страницы с бесконечными подробностями.

Несчастные случаи на производстве — огромная проблема. К сожалению, ее пытаются решить с помощью круглых столов, или же направляют одних и тех же людей на курсы повышения квалификации в приморские пансионаты, или в лучшем случае

увешивают стены цехов предупреждающими табличками. По-моему, наиболее сведущ в этой области сам рабочий, который стоит непосредственно у станка. Несчастные случаи прежде всего происходят из-за невыносимого производственного ритма. Другая причина — расписание работы. Недолго попасть в переделку рабочему, который, поднявшись утром в 4.30, обязан в 6.00 быть за станком в полной готовности, хотя он уже утомлен, подавлен и не выспался. То же самое относится и к ночной смене. Еще одна причина кроется в старых станках, которые вдруг ни с того ни с сего словно с цепи срываются. Необходим регулярный общий контроль за техническим состоянием всех станков, но такой контроль осуществляется крайне редко, так как на период проверки станок оказывается непроизводительной единицей. Далее: перемещение рабочего на другой участок. То, что удобно хозяину, опасно для рабочего: он не может с легкостью менять станки. Известно, что у каждого станка свои дефекты, свои тонкости и хитрости, а этому невозможно обучить на поверхностных и поспешных подготовительных курсах.

Раздевалки, время 15.00. Выходит первая смена, мы снимаем спецовки; мимо раздевалок валит в столовую народ, там будет собрание. Приятно видеть такое скопление людей. Идут белые халаты, идут женщины из административного корпуса — у них халаты голубые. Идут спецовки, грязные и чистые, идут и болтают, а мы переодеваемся и глядим на эту вереницу — нарочно оставили открытыми все двери. Они распахнуты еще и потому, что стоит жара, безветрие, духота, за окнами заливаются цикады, и мы с грохотом швыряем свои тяжелые башмаки в глубь железных шкафов. Переодевшись, смешиваемся с толпой. Собрание всегда как-то возбуждает. Мы чувствуем, что здесь происходит или готовится что-то очень значительное, и мы, рабочие, ощущаем себя значительными, поскольку участвуем в этом.

В наше время существует гораздо больше чем раньше возможностей узнать, что происходит в мире. Когда-то «Униту» читали как Евангелие, верили каждому слову. Сегодня же выходят десятки газет, располагающихся еще левее, на радикальных позициях. Не чуждый политике гражданин становится от чтения этих газет еще более решительным и оголтелым. Кому все равно, тому и дальше будет все равно, что бы он ни читал. Во всяком случае, чтением газет сегодня вопрос не решить, так как одной газеты недостаточно; чтобы как следует оценить факты, необходимо читать несколько газет. Разумеется, нам должны выделить на чтение время и желательно оплаченное, чтобы поощрить нас, чтобы держать в курсе дела, чтобы жизнь в стране стала полнее. Необходимы удобные и уютные читальные центры, которые посещала бы наиболее активная часть населения.

Сегодня утром я, рабочий машиностроительной отрасли, дитя ВИКТ, ИСТ, ИКПТ, племянник ФТМ [1], взявшись за рукоятку токарного станка, почувствовал себя полным дерьмом и принялся орать как сумасшедший, что жить надоело, что я хочу вновь мотыжить землю, заклинать змей, готовить смеси ядовитых трав, плясать пиццика-пиццика, тарантеллу и таскать козу за хвост.

Сегодня под предлогом жары закрасили все стекла на потолке. Закрасили жутким синим цветом так, чтобы ни капли живого света не дошло до рабочих. Ни капли солнца. Рабочие обязаны пребывать в тени и не должны видеть ни одной зеленой травинки. Тем более мака. Иначе рабочие взбунтуются, и их не сдержать. Чтобы даже воробей не прошмыгнул в цех. А я стою тихонько в своем углу, таращу глаза да посмеиваюсь. Где им понять: весну я чую по запаху, нюх у меня что у охотничьей собаки. Стою за стеной железных заготовок, голова болит, где-то в мозгу звучит старинная, жалобная песня крестьян, и от этого до боли хочется плакать. Бежать бы отсюда, но не могу, хотя нас у ворот никто не сторожит. Все очень просто, достаточно перелезть через ограду. Но вскоре я больше ни о чем не думаю, жду обеда; до 15.00 осталось совсем немного. Привыкаю к мысли о том, что всякий раз в конце рабочего дня я как бы ухожу в отпуск, такой маленький, фиговый отпуск.

Вот и столовая. Жую и размышляю. Почему бы всем рабочим промышленного района не кормить в этих столовых свои семьи? Здорово придумал, а? Экономились бы деньги и время. Известно ли вам, что значит обойти магазины, приготовить обед,

[1] Итальянские профсоюзные объединения.

накрыть на стол, потом убрать со стола, подмести пол, вымыть посуду?.. Женщина стала бы свободнее, у нее осталось бы время играть с детьми, заниматься спортом, читать, видеться с людьми, путешествовать, любить. По пути из столовой захожу в административный корпус и зондирую почву на этот счет среди работающих там женщин. Одна заявляет, что лично ей эта идея не нравится. Она предпочитает чин чином ужинать дома, с первым, вторым, сладким, фруктовым компотом и прочими вкусными вещами. И, разумеется, с любимым мужем. Я мрачнею, цежу сквозь зубы «буржуйка», поворачиваюсь на каблуках и иду прочь. Прощайте, мечты о революции!

Неисправен станок. Немедленно вызываю мастера, тот извещает начальника цеха, начальник цеха звонит начальнику отдела техобслуживания, начальник отдела техобслуживания наконец присылает двух рабочих. Один высокий, тощий, другой низенький и плотный. У плотного лицо вишневого цвета. Что с тобой, спрашиваю. Оказывается, он только что из медпункта, где ему вкололи компламин. Он должен каждый день колоть компламин, потому что несколько месяцев назад перенес тромбоз. Инъекции нужны для расширения капиллярных сосудов. Вот почему цветом лица он сильно смахивает на марсианина.

Они немедленно разбирают станок, снимают горизонтальный кожух, убирают болты, соединения, шкивы, затем снимают вертикальный кожух, обнажая главный механизм — сердце станка. Все это похоже на хирургическую операцию. Перед тобой, словно внутренности,— трубки, шланги, прокладки, муфты, втулки, таймер...

На досках объявлений повесили списки детей на отправку в летние лагеря. Говорят, у ЭНИ хорошие лагеря. Очень может быть. Читаю списки и вижу знакомые фамилии, только с другими именами: Лоредана, Чинция, Роберто, Риккардо, Маргерита, Лючано, Сабина, Барбара, Марция, Николетта... Тут подходит один товарищ и говорит: хорошо бы нас самих послали в такие лагеря, поскольку нам обязательно нужны и воздух с солнцем, и отдых, и разрядка. Так что дети детьми, а и нас неплохо бы туда пристроить. И добавляет, что в день отправки он при своем малом росте, пожалуй, напялит короткие штанишки или фартучек да и прибьется к толпе детишек.

В угловой части цеха раскопали здоровенную яму. Бегают взад-вперед каменщики со своими инструментами и тачками. Похоже, дом собираются строить. Из ямы выбирают последние камни, какие-то корневища, землю. Спрашиваю, что здесь будет. Говорят: новый токарный станок огромных размеров, автоматический, с цифровым управлением. Его уже привезли, вон он на улице, под навесом. Настоящий слон: высота — пять метров, ширина — четыре и пространство занимает немалое. В деревнях на таком пространстве размещается целое предприятие со сверлильными, шлифовальными и токарными станками, сварочными аппаратами и т. д. А тут едва-едва станет один токарный. В течение дня его устанавливают, связывают с землей сотнями килограммов бетона. На станок смотреть-то страшно — настоящая гильотина. У него имеется похожая на карусель платформа диаметром почти два метра. На вращающуюся деталь вертикально опускается очень крупный резец, напоминающий пушечный ствол. Сбоку что-то вроде эскалатора, который выносит из-под ног этого чудовища наверх толстенные стружки. Кроме того, есть шкафчик со множеством красных, желтых и зеленых лампочек, кнопок, рычажков. Еще есть лесенка, по которой можно подняться и с удобством взять замеры детали по окончании обработки. Все-таки не обойтись без человеческой руки. Наладку станка поручили худющему, малорослому и смуглому рабочему, похожему на турка. Я ему говорю: здесь тебе целая квартира, осталось принести горшок с геранью, можно и холодильник куда-нибудь пристроить. Он отвечает, что холодильник уже есть, и показывает. Действительно, холодильник, но предназначенный для химикатов, используемых при особой обработке стали. Внутри все забито банками с краской, растворителями, разной требухой. Но в дальнем углу, тщательно прикрытые, стоят холодные бутылочки с пивом, лимонадом и кока-колой.

Я совсем недавно заступил, а вокруг меня уже вьется контролер в ожидании готовых деталей. Ходит кругами, как акула вокруг добычи. Правда, не заговаривает, побаивается, потому что, было дело, я его поучил маленько. Является он как-то раз и орать: «Я уже неделю жду, а ты все копаешься! Что мне, к начальнику цеха идти? Шевелись давай, а то лопнет мое терпение!» — «Эй, ты,— говорю я ему,— гнида пар-

шивая. Ежели ты сейчас не уберешься отсюда, я проткну тебе задницу. Слишком много развелось начальников, больше, чем рабочих. Я тут за станком колупаюсь, а вы по цеху разгуливаете. А ну пошел отсюда, пока я душу из тебя не вытряс!» Только его и видели, этого юношу. С тех пор он всякий раз приближается ко мне на цыпочках, говорит: «Добрый день, синьор Ди Чаула». Вот он идет, руки за спиной, смотрит опасливо, в каком я настроении. Говорю ему: «Ты похож на акулу». А он отвечает, что акулу недаром зовут санитаром морей.

Попросили сегодня сделать одну работенку в самом центре промышленной зоны. Возвращался за полночь. Еще десять лет назад тут была сплошная сельская местность, а теперь полно фабрик, складов, цистерн. Прошел мимо крупного завода «Калабрезе». Какой красивый этот завод ночью — весь залит светом, как луна-парк. И тишина, только сверчки да лягушки заливаются в траве. Неожиданно по ту сторону ворот вырастают огромные сторожевые псы и лают с такой яростью, что сердце в пятки уходит. Псы с воем носятся вдоль ограды, сопровождая прохожих до следующих ворот. «Калабрезе» — магическое слово. Герой труда Анджело Калабрезе — и впрямь магическое, нет, скорее похоронное. В разговоре он скажет тебе, что дает хлеб множеству семей, но сам не ведает, что беспардонно вторгся в нашу жизнь вместе со зловонием своих цехов, тяжелым духом мазута, смрадом ржавчины, запахом смерти, вторгся в наши дома вместе со своими острыми стружками, вторгся в наши чувства, комнаты, сараи, огороды, хижины — и все осквернил, отравил, сделал мрачным и унылым. Теперь он гордо шагает, выпятив грудь и демонстрируя свою медаль героя труда.

Вдруг замечаешь, как она течет, горячая и густая. Именно тогда, когда меньше всего этого ожидаешь. Кровь. Она, обжигая, стекает по коже, капает на комбинезон. Странно видеть красную кровь на голубой спецовке. В самом деле странно. Я отчетливо испытал это ощущение, когда острейшей стружкой мне порезало последнюю фалангу мизинца на правой руке. Был конец рабочего дня, и я счищал со своего токарного станка накопившиеся за день стружки. Длинные и очень тонкие стружки нержавеющей стали — я точил резьбу на винтах. Вдруг заметил, как она стекает по руке, и увидел рассеченный палец. Как раз в это время один обалдуй из наших рабочих донимал меня, облокотившись на ящик для этих самых стружек. Как обычно, его волновала моя борода. Да сбрей ты ее, да на что тебе борода, она тебя старит, портит, послушай меня, сбрей... На этот раз я не ответил ему — был занят своим пальцем. Отметил уход и помчался в медпункт, но там, как назло, все уже разбежались. Что делать? Кто отвезет меня в отдел страхования? И тут вспомнил, что внизу меня ждет моя будущая жена — мы собирались приобретать мебель. До свадьбы оставалась неделя, и нужно было что-нибудь купить. Она-то и повезла меня вместо мебельного магазина в страховое агентство.

Помню, так и отправился в свадебное путешествие с перевязанной рукой. Чувствовал себя скверно. Мучило какое-то беспокойство. День свадьбы прошел в большом напряжении. Мы обвенчались в скромной церквушке. Ненавижу роскошь. А в церкви венчался, чтобы не огорчать родителей, причем церемонию заказал очень простую. Потом поехали в небольшой ресторан на побережье. Мои родичи остались явно недовольны. Нас было всего девятнадцать человек. Как говорится, необходимый минимум. Я не стал звать всех дядьев и теток, чтобы не устраивать балагана. Вдобавок почему-то не подали торт. Моя свояченица будто бы из-за того, что дети капризничали, встала и демонстративно ушла. Буржуйка вонючая! Все мы голодранцы, но избалованные. Теперь, когда минули годы, она мне говорит: мол, ты был прав, Томмазо. Но за глаза до сих пор вспоминает, как я «оскандалился».

Он профсоюзник. Но не из хороших, а наоборот: делец и махинатор, как многие ему подобные. Смотрю на него. Снова смотрю. Ах ты мой любимый! И это наш профсоюзный делегат, который призван заботиться о наших интересах? Допустим. Только мне с этим субъектом говорить не о чем. Мы живем на разных планетах, хотя он меня и представляет. Вот он ведет диалог с моими врагами — заслушаешься. Подумать только, он — звено в той долгой цепи, которая, растянувшись на десятки лет, заключала в себе потоки книг, мечты, надежды, подпольную борьбу и кровь, кровь, кровь...

У нас пятеро таких рабочих. Они живут очень далеко, километров за сорок, и вставать им приходится ни свет ни заря. Но им, видно, это нипочем, потому что каждое утро они приезжают в город делать стружку, то есть работать на своих токарных станках. Еще несколько лет назад это было в моде: у деревенских считалось шиком работать на производстве. Подниматься затемно и целых два часа ехать ради какой-то кучки витых стружек. Хоть бы сыру свежего нам сюда привозили, все одно по дороге!

Есть у меня недостаток, а может, и достоинство: я подчеркиваю в газетах наиболее интересные места. Вот и сейчас держу в руках газету, где на каждой странице по меньшей мере две-три статьи, сплошь подчеркнутые. Нередко спрашиваю себя: чего ради прочитывать все газеты до конца, ведь безобразия от этого не прекратятся? Но случается, купишь газету, прочтешь о чем-то совершенно новом для себя и подумаешь: черт, не напрасно купил. Должны же мы знать, что там порешили над нашими головами и до каких пор горстка паразитов будет плевать нам в морду. Задаю себе вопрос: а сколько людей прочитало эту газету? И какое право имеют те, кто не прочитал, голосовать, что-то решать и вообще жить?

Несчастные случаи на производстве в Италии больше не поддаются учету. Один специализированный еженедельник проанализировал состояние дел в Неаполе со следующими результатами: в 1974 году на производстве от несчастных случаев погибло 105 человек, в 1975-м — только 79; смертность упала, но подскочило число несчастных случаев (с 40 476 до 42 210). Любопытная вещь получается: цифра 40 000 несчастных случаев в год означает, что 5 процентов трудоспособного населения имеет ранения и травмы, пусть даже легкие. Каждая травма, к сожалению, оставляет след: ты уже не прежний — сильный, здоровый человек, а покалеченный, подпорченный. Люди рождаются здоровыми, но собачья жизнь, к которой нас принуждают, ломает их и корежит. Если так дело пойдет и дальше, то армия трудящихся превратится в армию инвалидов. Кого тогда хозяин поставит к станку?

Сегодня четырехчасовая забастовка и символический захват предприятия. Необходимо действительно взяться за руки и захватить завод по-настоящему, а эти все цепляются за какую-то символику. Ведь что получается: дела обстоят плохо. Новый коллективный трудовой договор будет очередным надувательством. Добиваясь лучших условий, мы неимоверно рисковали оказаться отброшенными назад, особенно когда хозяева намеревались обвести нас вокруг пальца так называемым «вознаграждением за присутствие». Это означало, что отсутствующие, к примеру по болезни, должны были довольствоваться урезанной оплатой. Таким образом, нас собирались лишить того, чего мы с помощью борьбы добились далекой и загадочной «жаркой осенью» 1969 года. Не нравится мне это положение об отсутствующих. Кстати, все причины возможного невыхода на работу указаны в личной карте, имеющейся у каждого рабочего: болезнь, отпуск, несчастный случай на производстве, отпуск за свой счет, различные происшествия и т. д. Вот я отсутствовал почти три месяца по причине дорожной аварии, однако в моей карточке записали «болезнь». Какая же это, к чертям, болезнь? Разве я виноват, что машину моего друга вынесло за обочину? Все эти данные о невыходах на работу — фальшивка, вранье. В действительности подобные случаи составляют лишь небольшой процент, но никто не собирается разобраться в них и как следует оценить ситуацию. Когда нужно надеть хомут на шею рабочих, все идет в дело.

Правда заключается в том, что хозяева стремятся постоянно держать нас в узде. Они жаждут возвратить себе все то, что нами завоевано и принадлежит нам по праву, и продолжают требовать от нас усилий и жертв. Но во имя чего? Разве недостаточно они измывались над нами и над предшествующими поколениями? Пусть требуют жертв от тех, кто на дармовщину жрет в три горла, от жулья, успевшего пробраться к председательскому креслу, от богатой паразитической буржуазии, которая высасывает наши деньги, кровь, пот, всю нашу жизнь, само наше существование от начала до конца. Днем и ночью, днем и ночью они бесцеремонно вторгаются в наш быт, в наши мечты и чувства.

Иду закрывать наряды и встречаю старого сварщика. Он весь в поту, задыхается, глядит угрюмо. Ему приходится работать с вредными для здоровья электродами, под разлетающимися искрами, которые могут поранить. На нем всегда пропотевшая, прож-

женная во многих местах спецовка. Завязывается разговор. Пространство у окошка диспетчера во время наибольшего скопления народа превращается как бы в маленький салон, где мы обсуждаем всякую всячину. Он говорит: «Не могу больше, Томмазо, не могу, болят почки, жжет глаза». Вокруг шеи у него платок, волосы на лбу взмокли от пота. Он все говорит: «Не могу больше, Томмазо». Я ему советую: «Иди, Рокко, на пенсию. У тебя шестеро взрослых детей, тебе уже пятьдесят четыре стукнуло, чего ты ждешь?» А он: «Нет, Томмазо, нет, дорогой мой, нет», да так грустно, что слезы наворачиваются.

Ну какого лешего, спрашивается, нас держат тут до седин? Что они, господи ты боже мой, хотят выжать из почти шестидесятилетнего старика? Почему нас не отправляют на пенсию раньше, когда в нас есть еще и порох и энтузиазм. Ведь сколько безработной молодежи отчаянно ищет — нет, не райской жизни, а простого рабочего места. У каждого человека есть неосуществленная мечта: огород ли, ремесло какое, разведение животных, садоводство, моделирование... По нынешним временам все это может оказаться полезным и даже доходным. Представьте себе престарелых родителей, которые снабжают нас фруктами, зеленью, могут смастерить корзину или что-нибудь из мебели, которые гуляют с детьми и ухаживают за нами при болезни, делают вино, масло, заготавливают соус для риса и макарон, содержат дом в чистоте (это оценят работающие женщины), стряпают, при случае украсят стол букетом цветов, окно занавеской, вызовут слесаря когда нужно.

Взяли на работу новых ребят. Очень застенчивые, робкие пареньки. Едва приблизится белый халат, так они уже и в штаны наложили. Краснеют. Мой близкий товарищ, Микеле, большой шутник, разыграл одного. Стащил где-то белый халат, встал у того над душой, сложив руки, как Муссолини, и давай орать, словно эсэсовец: «А ну, внимательно смотреть, я сказал: внимательно, а то оштрафую, и не заставляй меня повторять дважды, здесь я начальник и не пожалею никого, даже собственную мать! Шевелись!» С Микеле я и раньше работал на других предприятиях. Мы хохотали до упаду, называя друг друга самыми заковыристыми именами: Дефибриллятор, Железографит, Рододендрон, Полибензимидазол... Потом начали сами изобретать новые слова: Дерьмосифилопат, Антизадниципатор. Вечерами, сидя по домам, листали словари, чтобы наутро проорать свои изобретения друг другу в ухо со зверской рожей — в подражание комиксам.

У нас в цехе свой бог Вулкан. Он занимается термической и химической обработкой металлов. Коренной житель Бари — очень симпатичный, низкорослый, крепкого сложения. Всегда, даже зимой, в рубахе, причем такой широкой, что под нею целая фабрика поместится. В горле у него все время раздается какой-то рык. За это мы его прозвали «мотороллером». Он весь в ожогах. На руках и на ногах у него обширные зловещие пятна, делающие его похожим на чудовище. Однажды он на моих глазах попал ногой в форму с расплавленным металлом, стынувшую на земле. Бедняга корчился, как змея. И орал. Ему мгновенно оказал помощь один из рабочих, которому дирекция за это выдала денежную премию.

Через год уходит на пенсию наш старый товарищ, некогда батрак, коммунист старой закалки. Несмотря на возраст, он полон энергии и энтузиазма. Невысокий, тощий, как гвоздь, смуглый дочерна. Он активно участвует во всех собраниях. Выступая, говорит не так, как все, зато убедительно и по существу. Однажды он сказал: «Дорогие мои товарищи, взгляните на себя. Не кровь течет в наших жилах, потому что мы являем собой стадо овец. Только три вещи занимают итальянцев: футбол, песенки да любовь».

Моя бабка, когда ее кто-нибудь обижал или просто нервировал, упирала руки в бока и причитала нараспев: «Все одинаковые, все одним миром мазаны...»

Навестил сегодня приятеля, который не работает по причине несчастного случая. Он веселился, с гордостью показывал мне загипсованную руку, угощал вином, потом закурил сигарету и держал ее двумя пальцами больной руки, смешно вытягивая шею, чтобы можно было курить. Я его не узнаю. Он совершенно не такой, каким бывает на заводе. Словно помолодел. Прощаюсь. В ответ он помахивает гипсом и улыбается: чао!

Нам неохота было ходить в столовую по длинной асфальтовой аллее, и мы протоптали тропинку напрямик через газон. Тропинка эта приводит садовников в бешенст-

во. Чего только они не делали, чтобы отбить у нас охоту пользоваться ею: насажали каких-то колючек, кактусов, крапивы — все без толку, мы продолжаем ходить напрямик через газон. Наконец садовники вроде бы смирились, но всякий раз, когда мы появляемся на тропинке, они смотрят волками и ругаются на чем свет стоит.

Вечер выдался жаркий, влажный. Комары путаются в волосах, усах, набиваются за воротник. Раскаленная стружка выжгла на груди одного из наших фрезеровщиков целую татуировку — как будто кошачья лапа грудь расцарапала. Когда стружка пристает к коже, это дико больно, ее не отдерешь, и шкура поджаривается живьем. А попадет в волосы, так ее не найти. Пахнет паленым, волосы тлеют, а где стружка проклятая — непонятно.

Порхают бабочки, горит обожженная и искусанная шея; чтобы не горела, повязываем платки на манер американских гангстеров. В душном вечернем воздухе ноют комары, жужжат большие мухи, а бабочки все порхают и порхают; крылышки у них прозрачные, словно дамские лифчики. Из ворот пахнет гнилью, мочой; прошелестела и скрылась летучая мышь. Ухо тщетно пытается уловить шум прохладного дождя. Вот так всегда знойным летом: ждешь не дождешься зимы, чтобы снова мечтать о лете.

История итальянского рабочего

Я не искал эту книгу. Она сама нашла меня. Разбирая однажды утром почту, я увидел небольшой желтый пакет с итальянской почтовой маркой. В нем лежала скромная, тонкая книжечка с незнакомым мне именем — Томмазо Ди Чаула. Не слишком красноречив был и заголовок книги — «Голубая спецовка». Больше заинтересовал подзаголовок: «Гнев, воспоминания и мечты рабочего с Юга». На форзаце книги — посвящение: «С уважением и надеждой увидеть эту книгу в переводе на русский язык. Томмазо Ди Чаула».

Кто же такой Томмазо Ди Чаула? Напрасно было бы искать упоминания о нем в солидном справочнике по современной итальянской литературе, изданном буржуазным издательством «Валекки». Не найдем мы названия его книги и в рекламных разделах газет и журналов, издаваемых профсоюзами или левыми партиями и группировками. Этому тоже есть свое объяснение, но о нем несколько позже.

Проще всего составить себе представление о Ди Чауле, обратившись непосредственно к его книге. Дело в том, что герой книги и ее автор — одно и то же лицо. Дневниковые заметки Томмазо — героя повести — это заметки самого Ди Чаулы, крестьянского паренька, выучившегося на токаря и вот уже пятнадцать лет «вкалывающего», по его собственному выражению, на автомобильном предприятии «Катена-Зюд» — южном отделении «ФИАТа».

Но книга Ди Чаулы — не просто дневник, сухо отмечающий факты и события в жизни рабочего. По своему жанру «Голубая спецовка» выходит за рамки произведений фактологического мемуарного типа.

Пронизанность книги Ди Чаулы добрым отношением к людям, поэтичность его взгляда на природу, умение увидеть красоту во внешне незначительном явлении и, конечно, его непримиримость к миру угнетения и несправедливости превращают его заметки в подлинно художественное произведение. В свои тридцать с лишним лет Томмазо не утратил по-детски свежего, поэтического восприятия мира. Мягким лиризмом окрашены воспоминания о детстве, проведенном в сельском доме. Герой способен воспринять и оценить красоту родной природы, кружевную вязь старинной архитектуры, поразительное мастерство народных умельцев. Он замечает, что никакие сверхурочные не заменят ему сверкания солнечного дня, свежего ветра, от которого так легко дышится, веселья юрких ящериц под ногами. Трагедия Томмазо — подневольный труд на капиталистическом предприятии. В нем как бы живут два человека — крестьянин и рабочий. «Я на перепутье»,— говорит он, выдавая свое сокровенное желание вернуться в деревню, где в доме рядом со спальней хозяев находится хлев, а по вечерам комнату освещает тусклая керосиновая лампа. Но завод отрезал путь.

Об этом раздвоении души Томмазо хорошо написал известный итальянский писатель Паоло Вольпони, представивший книгу Ди Чаулы читателям своей страны. «Его представления о жизни, о природе глубоко поэтичны, все в нем движимо духовным озарением... до тех пор, пока в жизнь деревни с ее крестьянской культурой не врывается завод. Поэт-крестьянин становится рабочим-машиностроителем».

Но не просто рабочим-машиностроителем становится Ди Чаула. Мы знаем немало рабочих-машиностроителей, живущих в иных условиях иной, полноценной жизнью. Томмазо же из архаически-крестьянской среды со всеми ее атрибутами — выпасом овец, лущением гороха, полуязыческими праздниками — попадает в современную потогонную систему. «Выработка, выработка... Производительность, производительность...» Недаром эти слова рефреном проходят через всю книгу Ди Чаулы, где

подчас с натуралистической беспощадностью показано, до чего доводит человека изощренная эксплуатация рабочего в современном капиталистическом обществе.

Книга Ди Чаулы — горькая иллюстрация того социального процесса, который нарастающими темпами происходит в обществе господства капитала и характеризуется превращением человеческой деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над самим человеком и враждебную ему. Имя этому процессу — отчуждение, и выражается он во власти овеществленного труда над живым, в превращении личности в объект безудержной эксплуатации со стороны хозяев средств производства. Отчуждение Томмазо ощущает очень остро, настолько остро, что в переводе приходилось несколько смягчать резкость выражений, не принятых в нашей печати. Гнев Ди Чаулы понятен. Простой крестьянский паренек, надевший голубую спецовку, и не может иначе подходить к осознанию разрыва между реальностью и теми ожиданиями, которые он связывал со своей новой работой. Отсюда его злость, чувство изоляции, оторванности от родных корней, чувство одиночества, опустошенности.

Вот эти самые чувства и порождают «невиданную ранее массовую критику небрежного или корыстного отношения к запросам и нуждам людей, восстающих против извращенного, «современного» понимания жизни, которое царит в очень многих городах и селах Юга и все более распространяется, не сопровождаясь при этом реальным развитием, не способствуя повышению качества общественной жизни, а, наоборот, вызывая *одичание человеческих отношений*»[1]. (Курсив мой.— Г. С.)

Антигуманность общества, основанного на эксплуатации человека человеком, не вызывает у Ди Чаулы сомнений. Подчас протест молодого рабочего выливается в наивно-анархические формы или же принимает экстремистски-левацкую окраску («Я бы с удовольствием подложил под завод бомбу»), но чаще мысль его идет верным путем («Нужна бóльшая солидарность и сотрудничество; чем меньше будет доносчиков и фашистов, тем лучше будет рабочему человеку»).

Все вышесказанное, в общем, не ново. Подобных историй созревания классового самосознания и протеста немало в современной западной литературе. Однако Томмазо Ди Чаула — рабочий середины 70-х. Он живет и пишет в крайне сложный для профессионального движения, для всех левых сил Италии момент. Напомним, что после так называемой «жаркой осени» 1969 года, когда рабочим удалось добиться значительных уступок от предпринимателей, наступил довольно продолжительный период относительного спада рабочего движения, в течение которого предпринимателям, выражаясь словами Ди Чаулы, удалось «прийти в себя» и начать массированное наступление на жизненные права и интересы трудящихся. Под ударом оказались прежде всего такие важные завоевания рабочего класса, как подвижная шкала заработной платы (она обеспечивает определенную защиту заработков рабочих от инфляции и роста дороговизны), занятость (число безработных в 1983 году превысило два миллиона), политические права рабочих на предприятиях и т. д.

Новая волна массовых стихийных выступлений трудящихся против экономической и политической дискриминации в известной мере застигла врасплох профсоюзное движение Италии. Во многих случаях оно фактически не сумело возглавить эти выступления. Резко обострились отношения между социалистами и коммунистами внутри Единой федерации профсоюзов. Причина тому — ухудшение отношений между двумя левыми партиями на национальном уровне. Позиции профсоюзных деятелей по ряду важных вопросов, связанных с интересами трудящихся, вызвали резкий протест рядовых членов профсоюза, которые сочли их соглашательскими. Об этом, кстати, достаточно определенно заявил на XVI съезде ИКП Энрико Берлингуэр: «Кризис профсоюзов налицо. Это сознают и публично приняли к сведению сами руководители Единой федерации профсоюзов. Если дела обстоят таким образом, то можем ли мы, рабочая и народная партия, смотреть на такое положение сквозь пальцы? Подобное решение было бы наихудшим — *как для нас, так и для рабочего и профсоюзного движения в целом*». (Курсив мой.— Г. С.)

Об опасности такого решения говорит и книга Ди Чаулы. Ведь одна из тем, которая часто встречается в его записках,— это «кризис доверия» к политическим организациям вообще и к левым в частности. Эта тема звучит в книге субъективно (далеко не всегда можно согласиться по этому поводу с Ди Чаулой), но имеет она и объективную сторону. Если серьезно взглянуть на итоги парламентских выборов в 70 — 80-х годах в Италии, то вырисовывается довольно симптоматичная картина: на последних досрочных выборах в парламент сокрушительное поражение потерпела христианско-демократическая партия, потерявшая 5,9% голосов по сравнению с 1979 годом. Однако, как отмечает туринская «Стампа», эта «передвижка голосов, вызвавшая кризис итальянской партии, которая до вчерашнего дня была стержнем нашей политической системы, пошла не впрок левым партиям. ИКП, похоронив «исторический компромисс» и выдвинув «демократическую альтернативу», не сумела пойти в гору и даже потеряла некоторое количество голосов. В абсолютном исчислении эта потеря невелика, но произошла она в момент, когда острый кризис переживает главный противник». К тому же блок партий, традиционно считающихся левыми (Итальянская компартия, Партия пролетарского единства, Итальянская соцпартия, Партия пролетарской демократии и радикалы), хотя и удерживает в основном свои позиции, но все же топчется в последнее время на месте. Если этот блок

[1] Из материалов XVI съезда Итальянской коммунистической партии.

собрал в 1976 году 46,7% голосов, то в 1979 и 1983 годах эти результаты соответственно снизились до 45,9% и 45,3%. Здесь, видимо, сыграли свою роль полный отказ социалистов от научного социализма и переход на позиции соглашательства и реформизма, псевдорадикальная фразеология и левачество мелких партий и группировок и, наконец, ставшие кое для кого модными ликвидаторские оценки социализма, построенного в других странах, затушевывание традиционных классовых ориентиров борьбы рабочего класса, выдвижение более расплывчатых и менее понятных для простого труженика лозунгов. Недаром Ди Чаула в своей книге пишет: «Этот исторический компромисс как-то меня не убеждает. Разве можем мы, трудящиеся, договориться с теми, кто всегда толкал нас в яму и всегда будет стараться нас задавить? Не сможет примириться ягненок с волком — разве только оба превратятся в ягнят или волков! А расплачиваться за все, как всегда, нам, муравьям в голубых спецовках». Конечно, такое толкование «исторического компромисса» (то есть объединения в борьбе за социализм усилий всех трудящихся коммунистического, социалистического и католического направления) грешит упрощенчеством, но, по-видимому, не один Ди Чаула так воспринял этот лозунг, от которого, кстати говоря, отказалась и сама компартия.

Отход от левых партий молодого поколения людей, только что вступивших в трудовую жизнь, вызывает законную тревогу. Так, результаты голосования за Итальянскую компартию и Партию пролетарского единства на выборах 1983 года в палату депутатов (где возрастной ценз ниже, чем при выборах в сенат) были на 0,5% ниже, чем на выборах в сенат. Это означает, что определенная часть молодых избирателей на сей раз отдала голоса другим партиям.

Да, конечно, Ди Чаула не очень образованный парень. У него нет «ни диплома, ни аттестата, ни прочей такой бодяги», ему ничего не стоит ввернуть в разговоре крепкое словечко, но своим классовым чутьем он отлично понимает, что «пришла пора говорить ясно и понятно».

Его представления о социализме как раз и отличаются такой четкостью и ясностью. «С чего начать? — спрашивает он.— Дел так много! Мне кажется, начинать надо с молодежи, надо бороться за все активные силы, которые плесневеют в провинциальных городках... Надо поднять молодежь... вовлечь ее в борьбу за спасение Юга, его морей, приходящих в упадок крестьянских хозяйств, скудеющей земли... надо вызволить молодежь, спасти ее, направить».

Книга Томмазо Ди Чаулы — индивидуальное, но далеко не единичное свидетельство трудностей, встающих перед новым поколением рабочих Италии, трудностей приобщения к революционной теории переустройства общества несправедливости и угнетения. Читатель найдет в ней не только отзвуки неудовлетворенности трудящихся, но и призыв освобождаться от недостатков в руководстве движением, добиваться взаимопонимания, крепить солидарность.

Выступая в 1983 году на партийной конференции в Турине, Э. Берлингуэр резко критиковал профсоюзную конфедерацию коммунистов и социалистов (ВИКТ) за отсутствие демократии, за то, что ее руководство, принимая важные решения, фактически не советуется с рядовыми членами. «Трудящиеся оживленно обсуждают эти вопросы,— отметил Берлингуэр.— Начинается дискуссия в профсоюзах. Мы тоже примем участие в обсуждении и готовы вновь заявить, что, по мнению ИКП, незаменимой основой обновления, повышения активности и авторитета профсоюзов является, как и прежде, демократия, самостоятельность и единство».

Жизнь показала, что дело не обошлось простой дискуссией. В феврале — марте 1984 года, когда итальянское правительство, возглавляемое лидером Итальянской соцпартии, попыталось стать на путь авторитарных решений, урезать свободу трудящихся в их борьбе за свои жизненные права на предприятиях, ввести ограничения заработной платы рабочих путем пересмотра «подвижной шкалы», фабрично-заводские комитеты из-за раскола руководства Единой федерации профсоюзов, из-за отхода социалистов от коммунистов вынуждены были возглавить забастовочное движение трудящихся, добиваясь снизу единства левых политических партий. И это движение принесло свои плоды. Мощные забастовки прокатились в Риме и Милане, Флоренции и Генуе.

Итак, борьба продолжается. В ее контексте книга Томмазо Ди Чаулы занимает вполне определенное место. О ходе этой борьбы мы сможем судить и по результатам стачек и забастовок итальянских трудящихся, и по их выступлениям в защиту мира, а может быть (как знать), и по успехам в революционном преобразовании действительности.

Г. СМИРНОВ

Критика

Т. МОТЫЛЕВА

ИСТОКИ МУЖЕСТВА

О книгах воспоминаний антифашистов ГДР

Уже давно замечено: читающая публика тянется к мемуарам. Воспоминания выдающихся современников привлекают к себе общественное внимание — иной раз не меньшее, а большее, чем романы или повести. И это не только в нашей стране.

В прошлом году учитель средней школы в одном из небольших северных городов ГДР рассказывал мне: «Я преподаю естествознание и математику, чтобы следить за художественной литературой, времени не хватает. Но мемуары советских военачальников — вот это моя страсть. Ведь они у нас переводятся. Я собрал больше тридцати томов. Мне их присылают друзья из разных городов, бывшие ученики... Не думайте, это не хобби, не просто коллекционерство: я читаю эти книги. И с каким интересом! И не только я. У нас такие книги быстро расходятся...» Я не спросила моего собеседника о его возрасте, но было очевидно, что передо мной человек не старше сорока лет, то есть один из миллионов немцев, родившихся уже после падения гитлеровской диктатуры. Как правило, немецкие читатели этой возрастной группы особенно страстно и пристрастно интересуются не столь давним прошлым своей страны, а следовательно, и историей второй мировой войны, и предшествовавших ей событий. Мне говорили, что, когда в Берлине впервые демонстрировались фильмы, входящие в состав киноэпопеи «Освобождение», перед кассами кинотеатров выстраивались длинные очереди. Документальный характер фильмов во много раз увеличивал их притягательную силу.

О фашистской диктатуре в Германии, о борьбе против фашизма выходит много книг в разных странах, на разных языках. Особенность современной литературы ГДР — широкое развитие документального, мемуарного жанра, где авторы, заслуженные антифашисты, повествуют о лично пережитом. Разумеется, литература документа не заменяет и не подменяет литературы собственно художественной — нет оснований говорить о наступлении факта на образ. Правдиво рассказанный факт не противостоит реалистическому образу, а скорей подкрепляет и дополняет его. Передовые немецкие писатели создали незабываемые образы героев антифашистского подполья, будь то Валлау («Седьмой крест» Анны Зегерс) или Торстен («Испытание» Вилли Бределя). Но подлинные мемуары людей именно такого склада дают возможность яснее, полнее представить себе их внутренний мир и их судьбы.

В 1983 году Городская библиотека в Берлине в память «черного юбилея» — пятидесятилетия сожжения книг гитлеровцами — развернула внушительную выставку антифашистской книги. Потрепанные, прошедшие через множество рук экземпляры романов и повестей, впервые изданных в эмиграции, вошедших в классику передовой литературы нашего века, соседствовали с новинками издательств «Ауфбау» или «Нойес лебен». Современные мемуарные труды, разумеется, неодинаковы и по замыслу, и по структуре, и по манере письма. Иногда они являются по преимуществу свидетельствами о событиях — ценность их прежде всего историко-познавательная, личность автора присутствует лишь в меру строгой необходимости. Иногда же автор-герой дает себе несколько больше воли, повествует не только о времени, но и о себе, создает своего рода социально-нравственный автопортрет. Тут возникает если не законченный образ, то контуры образа, привлекательного для читателя уже в силу того, что перед ним реальное лицо. Именно такого типа мемуары ближе всего к художественной литературе или даже входят в нее прямо.

В современной буржуазной публицистике стало почти общим местом утверждение, будто исторический опыт нашего века осно-

вательно поколебал — а то и вовсе перечеркнул — гуманистическое представление о человеке как о существе, от природы предрасположенном к добру. В условиях фашизма (как и в современных государствах неофашистского образца), ремесла тюремщика и палача стали массовыми профессиями — казалось бы, где уж тут верить в неистребимые нравственные ценности? Но в те же годы борцы против фашизма дали высокие образцы стойкости, солидарности, неотступного служения идее. Невыдуманные жизнеописания антифашистов позволяют ближе увидеть не только практику их деятельности, но и силу их мужества, идейные истоки этого мужества.

Пять книг, о которых пойдет здесь речь, вышли в ГДР в 1974—1982 годах и сразу получили общественное признание, приобрели популярность, вызвали поток благодарных читательских писем. Эти книги неодинаковы по литературному уровню, различны по материалу. Различны и сами повествователи: потомственный пролетарий, активист коммунистического движения Гейнц Вильман; потомственный интеллигент, видный ученый Ю. Кучинский; Рут Вернер — немецкая коммунистка-подпольщица, ныне видный профессиональный литератор; художник и писатель Петер Эдель; ученый и публицист Вильгельм Гирнус. Именно несходство этих людей — при общности мировоззрения — помогает разглядеть типическое, общезначимое в их характерах и судьбах. Никто из них не мог предвидеть в юные годы того, что им было суждено пережить. Но жизненная позиция, основы характера — все это закладывалось еще в ранней юности.

Гейнц Вильман, рабочий паренек из гессенской деревни, унаследовал от отца, социал-демократа, и ненависть к войне, и глубокое уважение к памяти Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта. Ему удалось еще в детстве, сидя на плечах у отца, услышать речь Розы Люксембург на антивоенном митинге; это раннее впечатление обернулось своего рода разочарованием: оказывается, прославленная Роза выглядит как обыкновенная женщина, а ростом ничуть не выше его собственной матери! Но, быть может, именно это впечатление впоследствии претворилось в осознанное убеждение: подлинный политический лидер не титан, не сверхчеловек и не ставит себя над массой. Другое воспоминание юности подсказало Вильману заголовок его книги: «Камни разбивают головой». Подростком он работал в лесничестве на прокладке дорог. И запомнил поучения старого мастера: чтобы раскалывать и обтесывать булыжники, мало одной лишь физической силы. Надо найти подходящую точку для удара киркой: если ударить в том месте, где проходит прожилина, камень тут же раскалывается. В сознании подростка закрепился вывод: к любому делу надо приложить умственные усилия, а не просто «тупо наносить удары».

Страсть к чтению, настойчивое желание учиться — все это определяет дальнейший путь молодого Вильмана. Он находит единомышленников в Коммунистическом союзе молодежи, читает Ленина, а также и Серафимовича, Шолохова, Бабеля, Вс. Иванова. Вместе с товарищами организует в Дармштадте собрание, посвященное памяти Ленина,— в дни, когда коммунистическое движение под запретом. Рабочие нанимают помещение якобы для «семейного траурного торжества», произносятся речи о скончавшемся учителе и друге, читаются стихи Маяковского, собравшиеся поют стоя «Вы жертвою пали»... «Ленин, не названный по имени, стоит перед нашими глазами, помогает победить малодушие, заряжает силой».

Еще за пять лет до фашистского переворота Гейнц Вильман, проявивший на деле способности и склонность к политической массовой работе, становится сотрудником издательства Межрабпома, выпускавшего популярную иллюстрированную газету «АИЦ» («Арбайтер-иллюстрирте-цайтунг»). Это дает ему возможность завязать личные контакты с видными деятелями культуры. Воспоминания Вильмана содержат ценные свидетельства о том, какой отклик находило в массах догитлеровской Германии слово Бехера и Брехта, графика К. Кольвиц и Г. Цилле, живопись Г. Фогелера.

Заветной мечтой Вильмана было стать журналистом, и это ему в конечном счете удалось. Примечательная черта его личности — скромность, умение всякий раз, когда это нужно, оставаться в тени. Будучи убежден, что передовые писатели и художники делают важное, необходимое для трудового народа дело, Вильман в течение всей жизни стремился продвигать литературу и искусство в массы, будь то в качестве редактора или издателя. Для видных деятелей революционной культуры он был преданным другом, помощником и в этом находил свое подлинное жизненное призвание.

Очень скупо говорит Вильман о том, что он пережил в концлагере Фульсбюттель, куда попал вскоре после гитлеровского переворота. Понятно, что его зверски терзали, как и многих других. И все же, считает Вильман, ему повезло: гестаповцы не раскрыли авторства антифашистских статей и репортажей, которые он публиковал под псевдонимами. «Многим заключенным Фульсбюттеля оно было известно. Но никто меня не выдал». Подобную же солидарность узников отмечает Вильман, говоря о пребывании Вилли Бределя в том же лагере: «Я не раз видел, как заключенные относили его на руках, потерявшего сознание после пыток в камеру». Подпольная коммунистическая организация изыскивала способы к тому, чтобы поддержать писателя, находившегося в строгой изоляции, в полной темноте: ему передавали еду, для него смастерили миниатюрный радиоприемник. Роман Вилли Бределя «Испытание», созданный необычайно оперативно, сразу же после выхода автора из лагеря, вызывает у Вильмана чувство восторга, «потому,— как он говорит,— что многое там описанное пережил я сам, и прежде всего потому, что Бределю удалось отобразить варварство концлагеря в художественном произведении». По мысли Вильмана, именно литературная форма, избранная Бределем для его книги — форма связного повествования с разнообразными дифференцированно обрисованными фигурами тюремщиков и арестантов,— сделала эту книгу особо действенной в пропаганде антифашистских идей, убедительной даже и для многих инакомыслящих. «Испыта-

ние», напоминает мемуарист, вышло в ряде стран, в переводах на 17 языков.

После того как Вильману удалось эмигрировать в Советский Союз, он стал ответственным секретарем журнала «Интернационале литератур», основной литературной трибуны немецких антифашистов. Литераторы-москвичи, которые эпизодически сотрудничали в этом журнале, встречали там общительного, неизменно бодрого человека, который нес на себе основную тяжесть текущей черновой работы, старательно разгружая от нее ответственного редактора — Иоганнеса Бехера. Вильман с благодарностью вспоминает: «Иоганнес Р. Бехер мне по-своему очень помогал, он указывал мне на пробелы в моем образовании, добивался, чтобы я систематически читал важнейшие книги, разъяснял суть литературных проблем»... Все эти познания очень пригодились Вильману в годы войны, когда он принимал участие в просветительной деятельности комитета «Свободная Германия», в составлении листовок и радиопередач на немецком языке.

Понятно, что нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызывало у немецких эмигрантов прилив сложных чувств — горя, тревоги, вместе с тем и надежды, и прежде всего острого стыда за свой народ. Эти чувства выражены с большим богатством оттенков в произведениях Бехера, созданных в те годы. Гейнц Вильман выражает подобные же чувства на свой лад: бесхитростно рассказывает о том, как он в самые напряженные дни войны старался, не отделяя себя от советских друзей, коллег и соседей, делать засучив рукава все, что можно было сделать, чтобы содействовать победе над врагом. По собственной инициативе он стал донором: его радовало, что среди раненых советских фронтовиков у него появились «братья по крови». Вместе с большой группой работников московских издательств Вильман провел несколько месяцев на заготовках дров: работа была тяжелой, условия жизни тоже, но немецкого антифашиста поддерживало и ободряло ощущение личной причастности к общему делу.

В тот жаркий летний день 1944 года, когда по московским мостовым прошли колонны немецких военнопленных, Вильман, как и множество москвичей, стоял на тротуаре и наблюдал это шествие. Его поразило самообладание жителей столицы, порою даже их снисходительность к поверженному врагу. Иные женщины, рассказывает он, пытались даже сунуть проходящим пленным кусок хлеба или пачку папирос. Вильман записал реплики, которые ему довелось услышать: «Мой-то тоже в плену»... «У этого немца есть мать, может быть, и она поможет кому-нибудь из наших»... «Русский лежачего не бьет!»

Главы воспоминаний Вильмана, посвященные военным годам, изобилующие невыдуманными деталями,— наиболее удачная часть его книги. О событиях последующих лет рассказано преимущественно скороговоркой, в форме разрозненных зарисовок. А между тем жизнь автора именно в послевоенный период была богата яркими впечатлениями. Соратник Иоганнеса Бехера, он принял участие в организации демократического Культурбунда, в первых попытках сплочения сил прогрессивной немецкой интеллигенции. В течение ряда лет он был ответственным секретарем Комитета сторонников мира ГДР. В этом качестве он побывал во многих странах, встречался лично с Фредериком Жолио-Кюри, Полем Робсоном. Мартином Андерсеном-Нексе, с виднейшими советскими и немецкими писателями. Перейдя, по решению правительства ГДР, на дипломатическую службу, Вильман приложил немало усилий к тому, чтобы за короткий срок приобрести познания, насущно необходимые для исполнения обязанностей посла ГДР в Чехословакии. Но работа эта оказалась для него непосильной по состоянию здоровья. В течение последних двадцати лет он занят, в меру сил, литературной и общественной деятельностью — опубликовал обширную «Историю «Арбайтер-иллюстрирте-цайтунг», написал мемуары. Несколько раз за эти годы Гейнц Вильман участвовал в научных конференциях, посвященных творчеству Иоганнеса Р. Бехера, внося в коллективную работу литературоведов элемент незаменимого личного свидетельства.

Гейнц Вильман и Юрген Кучинский пришли в антифашистское движение, можно сказать, с противоположных полюсов германского общества. Однако оба они — и сын столяра, и сын профессора — восприняли еще в детские годы революционные традиции семьи. Юрген Кучинский в самом начале своих «Мемуаров» вспоминает о прадеде, у которого «никогда не было денег и всегда были книги». Прадед, принадлежавший еще в середине прошлого века к левому крылу интеллигенции, был заключен прусским правительством в тюрьму, а потом выслан за пределы страны. В Париже он купил весной 1848 года книжку, которая теперь представляет самый редкий и ценный экземпляр семейной библиотеки — первопечатное издание «Манифеста Коммунистической партии».

О библиотеке Кучинских в «Мемуарах» говорится не раз: в течение долгих десятилетий она была для многочисленной и не столь состоятельной семьи главной статьей расходов, предметом забот и законной гордости. Даже и после того, как ее частично разграбили фашисты, она осталась богатейшим книгохранилищем, вмещающим свыше 50 тысяч экземпляров, и в их числе уникальные документы мирового рабочего движения. Посетитель, приходящий сегодня в особняк на Паркштрассе, сразу замечает контраст между спартанской простотой обстановки — ни одной лишней вещи!— и обилием книг. А гость, пользующийся расположением хозяина, может увидеть и хранящуюся в особом помещении сердцевину библиотеки, главную ее ценность — коллекцию рукописей великих писателей, революционеров, ученых. И главное сокровище этой коллекции — собственноручное письмо Энгельса, адресованное одной из дочерей Маркса. У Юргена Кучинского была и подлинная рукопись Розы Люксембург: этим подарком он очень порадовал Вильгельма Пика в день его юбилея и с удовольствием рассказывает об этом в «Мемуарах».

Существенны ли такие подробности для понимания склада личности Юргена Кучинского? На мой взгляд, да. Будущий акаде-

мик ГДР, экономист и социолог с мировым именем, рос в атмосфере свободомыслия, свободолюбия, напряженных духовных интересов. Его отец, Роберт Рене Кучинский, не принадлежа ни к одной политической партии, завоевал авторитет и в кругах международного рабочего движения, и в ученых кругах прежде всего тем, что разработал методику изучения уровня жизни рабочего класса: профсоюзы, даже и реформистские, пользовались его трудами в борьбе за повышение заработной платы. Научная деятельность Юргена Кучинского пошла в том же направлении. Главный труд его жизни — исследование в сорок томов, посвященное положению рабочего класса в разных странах и разные времена. И это еще далеко не все. «Библиография работ Юргена Кучинского», вышедшая в ГДР к его 70-летию в 1974 году (она имеется и в нашей Библиотеке им. В. И. Ленина), включает ни много ни мало 2067 названий. В их числе и специальные исследовательские работы, и публицистические статьи, памфлеты, литературно-социологические этюды. Поражает не только продуктивность ученого, но и разнообразие его интересов.

Казалось бы, путь человека, выросшего в такой среде, создававшего работы с такой идейной направленностью, опубликовавшего еще в 22-летнем возрасте книгу «Назад к Марксу» (с конечным выводом: «Назад к Марксу — значит вперед с Лениным»), был полностью предопределен с самого начала и представил идеально прямую линию. Но это далеко не так. И не зря автор дал своей книге воспоминаний подзаголовок: «Воспитание Ю. К. как коммуниста и ученого». В «Мемуарах» чередуются страницы, так сказать, повествовательные, где автор в первом лице рассказывает о себе, и фрагменты аналитические, где он, как бы глядя на себя со стороны, дает обобщенную характеристику отдельных этапов в духовном и политическом становлении «Ю. К.», его достижений и промахов, поражений и успехов. В послесловии ко второму изданию Кучинский приводит характеристику «Мемуаров», которую дал некий западногерманский рецензент: «...первый коммунистический роман воспитания на немецком языке». Роман воспитания — это, конечно, слишком громко сказано. Перед нами все-таки не роман, а документальная проза в чистом виде. Однако верно, что взыскательный авторский самоанализ, с элементами самокритики, самоиронии, образует своеобразную и привлекательную черту книги и в литературном и в нравственном плане.

Юрген Кучинский рано сложился как ученый. Стажировка в одном из частных университетов США (а затем участие в работе Американской федерации труда) помогли ему проникнуть в тайны капиталистической экономики. Книга «Положение рабочих в Америке», написанная Ю. Кучинским в 1929 году (в соавторстве с женой Маргерит), сразу обратила на себя внимание. Буржуазные обозреватели оценили в ней высокий научный уровень анализа, богатство фактов и цифр, а советская газета утверждала, что в этой книге «сказки о США, как о капиталистическом рае, опровергнуты бесповоротно». Долгие годы Ю. Кучинский был всецело поглощен работой исследователя. Но он постепенно убеждался в том, что его труды насущно необходимы революционному авангарду рабочего класса. И у него возникла потребность «ликвидировать ножницы» между своим научным и политическим развитием.

Вступлению в Коммунистическую партию Германии Кучинский посвящает своего рода лирический экскурс, очень характерный и для его личности, для стиля книги в целом:

«Когда я 14 июля 1930 года вступил в партию, я, конечно, еще не был ни коммунистом, ни марксистом-ленинцем. И тем и другим можно стать, лишь находясь в партии. Я был предан партии — в том смысле, что хотел работать во имя ее целей».

«Разумеется, я в течение прошедших лет иногда втягивался в острые споры с партийным руководством или партийным аппаратом, но никогда не спорил с партией. Расстаться с партией — это, думалось мне, значило бы расстаться с жизнью, расстаться с человечеством».

События жизни Кучинского последующих лет подтвердили, насколько он принимал всерьез то, что сказано в этой краткой исповеди. Забегая несколько вперед, стоит отметить — Кучинский не забывает сказать, что он в первые годы фашизма разделял с другими немецкими коммунистами положения, которые оказались ошибочными: сектантскую позицию по отношению к социал-демократии, надежды на быстрое крушение гитлеровской диктатуры. Но Кучинский говорит и о другом. В 1935 году он высказал мысль, что по мере смягчения безработицы в третьем рейхе рабочие становятся более податливы по отношению к нацистской демагогии; это суждение вызвало тогда недовольство товарищей. Мемуарист тут не ставит точек над «и». Но мы-то знаем сегодня, что он сказал горькую правду.

Первые три года фашистской диктатуры — быть может, самый поразительный период в жизни Кучинского-коммуниста. Его научные труды и образ мыслей не были тайной для гестапо; помимо того, сама его «неарийская» внешность делала его положение крайне уязвимым — в условиях разгула антисемитских страстей в Германии любой мелкий уличный инцидент мог обернуться для него трагически. Но Кучинский продолжал несмотря ни на что жить в Берлине. У него на первых порах было легальное прикрытие: бюллетень «Финанцполитише корреспонденц», выходивший под его редакцией. Но фактически главным его занятием была работа в нелегальном партийном аппарате, которую он вел, пока это было возможно.

Эмигрировав в Англию, Кучинский продолжает разностороннюю деятельность и как ученый, и как публицист и оратор. Не без юмора он вспоминает: «За восемь с лишним лет пребывания в Англии Ю. К. выступал приблизительно триста пятьдесят раз перед английской публикой и на ста пятидесяти собраниях перед немецкими эмигрантами». Правда, за этим следуют обычные для него самокритические оговорки: в ораторском искусстве он-де оставался «любителем», не выработал в себе свойств народного трибуна, но кое-какие лекторские навыки у него все же есть...

В годы эмиграции проявились и другие свойства Кучинского, в высшей степени полезные для антифашистской работы. Его имя как ученого, а также и авторитет его отца — одного из руководителей Лиги прав человека — давали ему доступ в среду либеральной буржуазии и буржуазной интеллигенции и в самой Англии, и за океаном. Ему не раз удавалось привлекать к выступлениям против гитлеровской Германии лиц, далеких от коммунистических идей. А в 1938 году Ю. Кучинский с женой совершил по поручению партии поездку в США и собрал солидную сумму пожертвований на устройство нелегальной антифашистской радиостанции.

Юмор, приправленный горечью, оказывается насущно необходимым автору «Мемуаров», когда он повествует о парадоксах своей судьбы в дни второй мировой войны. Осенью 1939 года английские власти проводят аресты среди немецких эмигрантов, рассматривая их как «враждебных иностранцев»; антифашист Юрген Кучинский заключен в лагерь на равных основаниях с пленными матросами-нацистами (и, конечно же, развертывает там просветительную работу). А на исходе войны командование вооруженных сил США, заинтересовавшись талантливым ученым, отправляет его на запад Германии для обследования экономического положения. Это дает Кучинскому повод лично допросить нескольких видных военных преступников, в том числе министра народного хозяйства Функа, который, охая и хныча, уверяет, что он-де служил фюреру «незаинтересованно».

Завершая свое повествование концом войны, Кучинский ставит «наивный вопрос»: можно ли считать Ю. К., которому столько раз, по его словам, незаслуженно везло, по-настоящему счастливым человеком? И отвечает: «Он был настолько счастлив, насколько это дозволяли исторические обстоятельства».

По ходу рассказа о своей жизни Юрген Кучинский несколько раз, довольно скупо и приглушенно, упоминает о сестре, которая, будучи моложе его на три года, опередила его в политическом развитии и совсем еще юной девушкой стала активной коммунисткой. Теперь широким кругам читателей известны и ее собственные мемуары—книга Рут Вернер «Сообщает Соня...», которая в ГДР выдержала ряд изданий, отмечена Национальной премией и в 1980 году вышла на русском языке тиражом в 200 000 экземпляров.

Книга Вернер, даже если отвлечься от ее исторического содержания, представляет немалый психологический, человеческий интерес: в ней раскрывается нравственный облик разведчицы, ее характер, драматические перипетии личной судьбы.

Мемуары Ю. Кучинского и Р. Вернер дополняют друг друга. И тот и другая — широко используя сохранившуюся семейную переписку — рисуют групповой портрет двух поколений передовых интеллигентов, объединенных не только родственными связями, но и крепкой дружбой, взаимопомощью, взаимопониманием с полуслова, привычной иронически-поддразнивающей манерой общения, живостью и разнообразием духовных запросов. И все же брат и сестра очень несхожи. Рут Вернер всегда жадно читала, в юности даже работала в книжном магазине, но никогда не жила исключительно в мире книг, ее больше привлекал мир действия. Мемуары иллюстрированы фотографиями: мы видим автора в 20-летнем возрасте — задорное юное лицо отражает кипение жизненных сил, которые нетерпеливо рвутся наружу.

Понятно, что эту молодую женщину, которая в 1930 году поехала в Шанхай с мужем-архитектором, никак не могло удовлетворить спокойное существование дамы из европейского образованного общества. Она искала способ установить связь с местным коммунистическим движением — в этом помог ей Рихард Зорге. В книге шаг за шагом описано, как Зорге постепенно, очень осторожно втягивал юную соотечественницу в революционную работу. Он предлагает ей посмотреть, стоя на тротуаре, на демонстрацию китайских рабочих, которых тут же на глазах у публики избивают и арестовывают. По просьбе Зорге она предоставляет свою квартиру как место явки коммунистам-подпольщикам; потом берет на хранение чемодан с оружием; потом дает приют китайскому товарищу, которого ищет полиция...

Принять решение стать разведчицей, которое обернулось для «Сони» распадом семьи и многими тяжелыми личными испытаниями, было делом нелегким. Но она приняла его без колебаний. И стремится объяснить сегодняшнему читателю, почему поступила именно так, а не иначе: «Военные действия Японии, о которых я узнавала каждый день, слова товарищей, доходившие до меня с далекой родины, «Гитлер означает войну», понимание, кому угрожают оба агрессора — все это ускорило мое решение.

Может быть, сегодня покажется неправдоподобным, или агитационно-нарочитым, что я, исходя из международного положения, сделала такие выводы для моей личной жизни.

На это могу ответить встречным вопросом: почему три года спустя тысячи товарищей поехали в Испанию, чтобы бороться там против фашизма и войны? И разве мало молодых людей у нас в ГДР, которые в нашем десятилетии были бы готовы с подобным же воодушевлением поехать во Вьетнам? Моя работа, в какой бы стране ни предстояло ее вести, означала для меня то же самое, что для других — Испания, Вьетнам, Чили».

В течение последующих лет «Соня» берет на себя разнообразные опасные дела: доставляет взрывчатку для китайских партизан, радирует в Москву известия из Мукдена, Пекина, Варшавы, Данцига, Швейцарии, Англии, пересылает деньги жене Тельмана, помогает товарищам, направляющимся для подпольной работы в гитлеровскую Германию. Все это делается не без промахов, о которых она говорит взыскательно откровенно, но без малейшего оттенка жертвенности, а, напротив, с охотой, с инициативой, находчиво, изобретательно, увлеченно. Ей оказывается нужным научиться элементарно объясняться по-китайски — и она приобретает необходимые познания. Прихо-

дится — то в одной, то в другой стране — каждый раз заново самостоятельно «легализоваться», завести знакомства, выбрать подходящее жилье, найти укрытие для техники — она справляется и с этим. Ей не раз приходится трудно, подчас почти невыносимо, но ни разу она не раскаивается в выборе пути.

Очень важная особенность личности Рут Вернер — то, что ей не только ничто человеческое, но ничто женское не чуждо. Она откровенно пишет об осложнениях, возникавших в ее личной жизни, о моментах, когда хочешь не хочешь становились необходимыми разлуки, разрывы — однажды даже оказался необходимым фиктивный брак (превратившийся, по счастью, в брак фактический и прочный). И на многих страницах подробно и с явным удовольствием пишет она о своих детях. Отважная разведчица, исколесившая полмира, не хотела отказывать себе в радостях материнства и вырастила троих здоровых детей, которым сумела дать образование и которые узнали о рискованной профессии матери только тогда, когда стали взрослыми.

Немногословная, фактографически строгая манера, в которой написаны воспоминания Вернер, на первых порах вызвала разногласия в ГДР: некоторые литераторы упрекали автора в излишнем лаконизме, даже сухости. Но она намеренно придерживалась именно такой манеры, считая ее наиболее убедительной для читателей, особенно молодых.

Молодым читателям адресована в первую очередь и двухтомная автобиография Петера Эделя «Когда речь идет о жизни». Риторики и громких деклараций нет и здесь. Но, с другой стороны, нет и лаконизма. Эдель ведет свое повествование медлительно, раздумчиво, с большим обилием подробностей и отступлений, совмещая рассказ о событиях прошлого с лирическими монологами, иногда с прямыми обращениями к читателям, с ассоциативными переходами от вчерашнего дня к сегодняшнему. Все годы фашизма Эдель провел в стране; до того, как началось его хождение по концлагерным мукам, он десять лет жил, говоря условно, на свободе и видел вблизи и болезненно испытал на себе «обыкновенный фашизм» в его будничных проявлениях.

Я познакомилась с Петером Эделем в 1980 году, через год после выхода его автобиографии. Это был человек эффектного артистического облика, живой, красноречивый; в тот момент его слава была на подъеме, он разъезжал по всей республике, встречаясь с читателями. Эдель был доволен, что журнал «Иностранная литература» быстро отозвался на его труд краткой заметкой в рубрике «Из месяца в месяц». Теперь второй том труда Эделя вышел и в русском переводе.

Петер Эдель — внук известного в свое время художника и журналиста Эдмунда Эделя, сам рано обнаруживший способности к живописи,— рос в среде столичных литераторов и актеров, был с юных лет знаком со многими из них. Еще подростком он видел, как развертывался фашистский поход против основ гуманистической цивилизации. Этот поход был делом рук не только малограмотных молодчиков в коричневых рубахах: к разрушению немецкой культуры — Эдель говорит об этом с болью и знанием фактов — приложили руки и некоторые деятели культуры. Гитлеровцам удалось использовать раздоры в среде художественной интеллигенции, сыграть на таких чувствах, как зависть, корысть, нездоровое соперничество, консерватизм вкусов, не говоря уже о расовых предрассудках.

К моменту фашистского переворота президентом Академии искусств был художник Макс Либерман, завоевавший признание еще в конце прошлого века правдивым, непарадным изображением труда немецких рабочих, крестьян, ремесленников. Его картины, написанные вразрез с застарелыми академическими канонами, знаменовали новую ступень реализма и народности в немецком искусстве. Гитлеровская печать обрушилась на него с грубыми нападками — вокруг престарелого художника образовался своего рода вакуум, многие коллеги отвернулись от него. Петер Эдель по личным воспоминаниям описывает похороны Либермана: лишь очень немногие люди искусства осмелились отдать ему последний долг. И среди этих немногих отважных была Кете Кольвиц — она тоже оказалась в опале из-за антивоенных взглядов и демократических симпатий.

По-разному сложились в первые же годы фашистской диктатуры судьбы работников театра. Знаменитый актер Вернер Краус, недавно еще восхищавший подростка Эделя исполнением роли Вильгельма Телля, по фашистской указке принял участие в травле «инородцев», не щадя былых коллег и друзей. Краусу была суждена блестящая карьера в третьем рейхе. А основатель «Немецкого театра» М. Рейнгарт, талантливый артист А. Гранах и еще многие другие оказались в изгнании.

Петеру Эделю не суждено было продолжать занятия живописью. Для него, как и для многих других, по расовым мотивам закрываются двери высших и средних учебных заведений и открываются двери заводов, где им вменено в обязанность трудиться в качестве чернорабочих.

Петер Эдель — в отличие и от Гейнца Вильмана, и от брата и сестры Кучинских — вырос в среде, далекой и от рабочего класса, и тем более от идей научного социализма. Его ненависть к фашизму долгое время носила характер стихийный, эмоциональный — зло, от которого он страдал, было настолько велико, настолько чудовищно, что не хватало ни времени, ни сил хладнокровно задуматься над причинами и природой этого зла. Но наступил момент, когда пассивно терпеть и страдать тоже стало уже невозможно. Арест отца, погром, после которого погибла драгоценная родительская библиотека, годы горькой нужды, постоянных унижений, непрерывный страх и за себя, и за мать, и за молодую горячо любимую жену — все это толкало юношу, выросшего в уютном бюргерском доме, на путь борьбы. Петер Эдель рассказывает о своем первом акте антифашистского протеста, попутно сообщает и о том, как он неоднократно демонстрировал любознательным молодым слушателям, студентам или военнослужащим ГДР, те места в центре Берлина, где когда-то по собственному по-

чину расклеивал ночью маленькие самодельные плакаты. Подходящий текст для них он нашел в книжке Гейне, уцелевшей после погрома: «Там, где сжигают книги, в конце концов сожгут и людей».

Так начинается путь Эделя-антифашиста. На этом пути он находит друзей, которые поддерживают и ободряют его, подчас в меру возможности заботятся о нем. Правда, старый берлинский рабочий Галль, который становится первым политическим наставником молодого интеллигента, написан несколько традиционно — мы уже встречали подобные образы и ситуации в антифашистской литературе. Зато одна из наиболее удавшихся фигур — прославленный атлет Вернер Зееленбиндер, с которым Эдель встречается в лагере Гроссбеерен весной 1943 года. Зная, что ему неминуемо грозит казнь, Зееленбиндер ловко дурачит эсэсовцев, старается поддержать огонек жизни в товарищах по заключению — и запоминается Эделю навсегда, как живой.

Крупным планом дан момент, который становится для Петера Эделя переломным. Тюремщик-шарфюрер, издеваясь над молодым арестантом, заставляет его повторно отвечать на вопрос: «Кто ты такой»? Эдель отвечает как положено: «Преступник», но этого, оказывается, мало. Шарфюрер орет: «Национальность?» И тут в «преступнике» поднимается дух протеста, он говорит: «Немец», приводя истязателя в ярость. И уже вовсе взбешен шарфюрер, когда Эдель, окровавленный, лежащий на земле, на заданный вновь вопрос «Кто ты такой?» отвечает: «Я коммунист». Пройдут годы, говорит писатель, прежде чем ему удастся подтвердить это звание «билетом, подписью и печатью», но подлинное его рождение как коммуниста произошло именно в описанную здесь минуту, в лагере Гроссбеерен, перед лицом фашистского палача и при молчаливом сочувствии товарищей по заключению.

В главах, где идет речь о пребывании Эделя в лагерях (а прошел он через пять лагерей — Гроссбеерен, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен, Эбензее), постепенно нарастает мотив, который из подспудного становится главным: фашизм не добит окончательно, он существует в измененных формах под разными широтами. Быть может, размышляет Эдель, именно сегодня где-нибудь в Чили пиночетовские палачи избивают молодых узников, как тот шарфюрер избивал его, а старший товарищ, по духовному складу родственный Луису Корвалану, наставляет и опекает их, как опекал его Зееленбиндер... Попутно Эдель замечает: если в гитлеровской Германии он считался лицом расово неполноценным потому, что его отец был евреем, то в нынешнем Израиле он тоже считался бы расово неполноценным потому, что его мать не была еврейкой. Национализм, расизм отвратительны в любой форме и под любыми личинами.

Во втором томе мемуаров, известном советскому читателю, подробно описана та оригинальная работа, которой Эделю пришлось заниматься под конец войны. Гитлеровцы определили его — вместе с другими художниками, чертежниками, а также и профессиональными фальшивомонетчиками — в строго засекреченную мастерскую, где изготовлялась поддельная валюта, английская и американская. После войны Эдель, вызванный на Нюрнбергский процесс в качестве свидетеля, дал по этому поводу письменные показания, но его свидетельство нигде не было ни оглашено, ни опубликовано, напротив, оно было старательно спрятано под сукно. Представители реакционных кругов США, пишет Эдель, приложили все усилия, чтобы скрыть многие преступления гитлеровцев. «Ведь если бы в Нюрнберге были привлечены к ответственности те нацистские преступники, которые к тому времени уже состояли на службе в американской армии или были сотрудниками американских спецслужб, то ситуация оказалась бы для США просто скандальной».

Как видим, открыто публицистическая речь занимает в воспоминаниях П. Эделя свое место и оказывается весьма нелишней — в этом смысле мемуарист, по сложившейся традиции, пользуется большей свободой, чем автор романа и повести. Стоит вспомнить, что еще в 1969 году Петер Эдель опубликовал роман на автобиографической основе «Картины свидетеля Шатмана»— действие его охватывало двадцатилетие с 1943-го по 1963 год. Роман этот был хорошо встречен, на его основе был создан телефильм-сериал. И именно успех этого произведения — а попутно и настойчивые просьбы читателей — вызвали у автора желание написать обширную документальную автобиографию без малейшей примеси вымысла. Двухтомный труд П. Эделя «Когда речь идет о жизни» содержит немало сцен, которые по своей художественной пластичности не уступают роману. И вместе с тем документальная автобиография несравненно богаче и жизненным материалом, и аналитической мыслью, чем былая книга о свидетеле Шатмане; успех ее намного превзошел успех романа. Сочетание разных манер изложения, от лирической исповеди до политической публицистики, само по себе повышает привлекательность этого труда для читателей.

Вильгельм Гирнус — член Академии искусств ГДР, в течение долгих лет бывший главным редактором органа Академии журнала «Зинн унд форм»,— дал своей книге воспоминаний название: «Из записок Жермена Таворджуса». Заголовок этот, на первый взгляд слегка загадочный, выбран не по прихоти. Он приближает мемуары к жанру романа: увеличивает для автора свободу обращения с материалом. Таворджус — не Гирнус, значит, автор вправе установить известную дистанцию между собой и своим (все-таки автобиографическим) героем, ввести, наряду с реальными лицами, некоторое количество персонажей собирательных или вовсе вымышленных. Такой жанр, пограничный или гибридный, позволяет повествователю строить композицию «Записок» вольно, с пересечениями и смещениями временных плоскостей, вести изложение то в форме воспоминаний, то в форме дневника или даже политического диспута, записанного на магнитофон. Есть свой резон и в том, как назван герой книги: фамилия напоминает о его отдаленных предках-литовцах, а французское имя — о том, что его

мать происходила из рода гугенотов, эмигрировавших когда-то в Германию.

Так с первых же страниц книги встает и поворачивается острыми гранями национальная тема. Да, конечно, автор немец, сын Германии, кровно и мучительно привязанный к своей стране, переживающий ее позор и трагедию как личную трагедию, личный позор. Но в нем нет и атома национализма. Больше того, от национализма он по любому поводу полемически отталкивается. И настойчиво напоминает читателю, даже и своим личным примером, что нация не монолит, что она не только делится на классы, но и может включать различные этнические элементы (ведь и французы, говорит Гирнус между прочим, ведут свою родословную от кельтов, от римлян, частично и от германцев, от каталонцев и мало ли от кого еще...). Ненависть к реакционной тевтономании органически присуща автору книги — как и ненависть к войне и милитаризму. Ведь Жермен был еще мальчиком, когда отец, сознательный рабочий, очень доходчиво объяснил ему, отчего бывают войны: «...оттого, что господствующим классам, сколько бы они ни имели, всегда мало». Закономерно, что оба Таворджусы, и отец и сын, воспринимают Ноябрьскую революцию 1918 года как великое счастье, а потом вынуждены горько разочароваться в ее результатах. В городке у литовской границы, где они живут, и при Веймарской республике господствует и никак не выветривается все тот же затхлый верноподданнический дух. Любимый Жерменом молодой учитель, человек честный и смелый, лишается места в гимназии потому, что дерзнул одобрительно высказаться о Советской России. («Оправдывать цареубийство — да как же это можно! Ведь русский царь был в родстве с нашим кайзером!»)

Одно из наиболее заметных расхождений между повествованием о Жермене Таворджусе и реальной биографией автора то, что Вильгельм Гирнус учился в германских университетах, а затем в Сорбонне, в то время как его герой приобретает незаурядные познания в области филологии, философии, литературы исключительно самоучкой. Тут есть элемент условности — солидная эрудиция мемуариста обнаруживается в первых же главах книги, особенно в дневнике, который он ведет во время длительного пребывания во Франции. Читатель без труда мирится с этой условностью — дневник написан проникновенно, местами мастерски. Образ Франции раскрывается юноше Таворджусу через краски ее пейзажей, величественные контуры соборов, радушие трудовых французских семей, не в последнюю очередь и через обаяние молодых француженок. Идеализирующий ракурс тут очевиден, и в нем есть свой полемический умысел. В сознании молодого немца неоднократно возникает антитеза: Франция—Германия. И антитеза, конечно, не в пользу последней. Тут В. Гирнус по-своему развивает мотив, укоренившийся в немецкой литературе еще со времен Гёльдерлина, получивший продолжение и у писателей XX века. Мимоходом Жермен признается самому себе: «Трудно мириться здесь с тем, что ты немец...»

Вернувшись на родину, Таворджус попадает в атмосферу еще более безотрадную, чем та, в какой он жил до отъезда. Безработица в стране растет, рабочее движение расколото, гитлеровцы — как говорит автор, «рыцари ломаного креста» — рвутся к власти. Именно в этой ситуации герой книги, пройдя через тяжелый душевный кризис, становится коммунистом.

Мы уже видели, что в антифашистских мемуарах момент выбора, решения, определяющий позицию и судьбу автора, как правило, дается крупным планом, аналитически. Такой момент есть и в книге Гирнуса. Он убедился на практике, что именно Коммунистическая партия стремится противостоять фашизму. Значит, и он сам не хочет, не может оставаться в стороне. В нем кристаллизуется некий нравственный императив — этот процесс передан эмоционально окрашенными размышлениями героя книги. «Только я сам могу себе помочь,— так сказал он себе.— А как? Не бесплодными колебаниями. Надо что-то делать в этом мире. Нечто осмысленное. И для меня это возможно только в партии. Только здесь путь к моему спасению. Все остальное ведет к самоубийству. Но разве бороться — значит только распространять лозунги партии среди людей? Нет, я должен сам быть готов к тому, чтобы отразить любой аргумент. Республика, как пьяная, катится в пропасть, новоявленная религия ломаного креста — это кровавая проповедь убийств, разрушений, варварства...»

В судьбе Жермена Таворджуса в годы фашизма воспроизводятся основные события жизни автора. Подпольная работа, арест, побег, снова подпольная работа, снова арест. В текст книги вводится любопытный подлинный документ, найденный в гестаповских архивах,— характеристика заключенного Таворджуса (Гирнуса), подписанная начальником тюрьмы, датированная 29 сентября 1939 года: «Его трудолюбие вполне удовлетворительно, но зато его поведение неоднократно давало повод к недовольству и наказаниям. Он не сумел приспособиться к тюремному режиму и неоднократно попадал в карцер за свои дерзкие писания и неподобающие высказывания. Поэтому нет оснований верить, что он в случае освобождения из заключения сумеет некритически покориться требованиям народного сообщества»... Очень любопытно здесь словечко «некритически» (kritiklos). Фашисты требовали от своих жертв слепого, некритического подчинения! Мы можем понять, почему Вильгельм Гирнус, который, как и многие его товарищи, не дал поставить себя на колени, оставался в заключении до конца, до падения третьего рейха.

О человеконенавистническом режиме гитлеровских тюрем и концлагерей уже многое написано. Но у каждого, кто прошел через фашистский ад, свой неповторимый личный опыт. И Гирнус делится этим опытом, не избегая жестоких подробностей,— пусть знают, пусть помнят. Фашизм, природа фашизма, причины его возникновения и живучести — все это остается для Гирнуса трагической проблемой, и это во многом определяет тональность последних глав книги, действие которых происходит уже после конца войны. Конеч-

но, В. Гирнус, высокообразованный марксист, знает все то, что сказано по вопросу о фашизме теоретиками и лидерами международного рабочего движения. Он знает и называет поименно тех, кто финансировал Гитлера и помогал ему удержаться у власти. Он обоснованно рассуждает об отдаленных корнях фашизма, о той мрачной роли, которую играли националистические, пруссаческие традиции в германской истории на протяжении веков. Но главное, что беспокоило и продолжает беспокоить его,— это поведение тех немецких обывательских масс, которые без возражений приняли гитлеровское варварство, покорились ему и надолго сохранили пережитки этого варварства в затаенных уголках своего сознания.

Известный в ГДР ученый, историк антифашистской литературы Вернер Херден, отметивший выход книги Гирнуса рецензией, в целом очень положительной, выразил сожаление, что в этом труде «события, опыт, жизненные ситуации периода антифашистски-демократического строительства отражены лишь пунктиром»[1].

Для такого упрека есть некоторые основания. В. Гирнус повествует не столько о том, как преодолевалось, изживалось наследие фашизма, сколько о том, какие внутренние противоречия, заминки, препятствия возникали в процессе этого преодоления, что связано с общей полемической направленностью книги. Если Петер Эдель, говоря о живучести фашизма, имеет в виду прежде всего метастазы, которые тот дал в политике иных империалистических держав, то В. Гирнус горестно размышляет над теми трудными проблемами, которые возникали во внутренней жизни ГДР в первое послевоенное десятилетие.

Действие книги завершается описанием беспорядков, которые были спровоцированы в ГДР 17 июня 1953 года антисоциалистическими силами, прежде всего западными. К этому событию не раз уже обращались писатели ГДР (Ст. Хермлин в рассказе «Комендантша», Анна Зегерс в романе «Доверие», Э. Нойч в романе «В поисках Гатта»). Во всех этих произведениях показан провал действий провокаторов, закономерность их провала. Повествование Гирнуса в этом плане не составляет исключения. Но тот факт, что именно этот эпизод выбран для финала книги, характеризует ее общую тенденцию, тот тревожный призыв к бдительности, который в ней заключен.

Как видим, жанру воспоминаний доступна не только реконструкция прошлого, но и постановка живых современных проблем. Именно этот жанр, самою природой которого узаконено взаимодействие рассказа с публицистикой, открытое присутствие автора не только в качестве объекта, но и в качестве субъекта повествования, позволяет протянуть нити от событий минувших к событиям сегодняшним. И вовлечь читателя в размышления остроактуального характера, активизировать его мысль и совесть.

[1] Dr. Werner Herden. Lebensaufgabe Revolution. Tribune, 4.II.1983.

Критика

Италия готовится отметить 200-летие со дня рождения Алессандро Мандзони, чье имя ставится на родине писателя в один ряд с Данте, Петраркой, Боккаччо. К этой дате приурочивается и выход в издательстве «Художественная литература» в Москве прославившего А. Мандзони романа «Обрученные» в новом переводе Г. Смирнова.

Анализу этого романа, эпохе, в которую жил и писал А. Мандзони, посвящена статья Н. Прожогина, предлагаемая вниманию читателей.

Н. ПРОЖОГИН

АЛЕССАНДРО МАНДЗОНИ И ЕГО РОМАН «ОБРУЧЕННЫЕ»

В 1977 году на открытие фестиваля «Флорентийский музыкальный май» давали оперу Джузеппе Верди «Навуходоносор», или «Набукко», как сокращенно называют ее итальянцы. Ранняя, третья по счету в творчестве великого композитора, она редко ставится теперь даже в Италии, а за ее пределами известна почти исключительно по прекрасному хору «Va, pensiero, sull'ali dorate...» — «Лети, мысль, на крыльях златых...». Угнетенные, угнанные в рабство люди обращаются к попранной иноземным тираном родине, и их скорбное, поначалу тихое, едва слышное пение, нарастая волнами, превращается в громогласный, зовущий к борьбе за свободу гимн. Этот хор и был своего рода гимном Рисорджименто — движения за освобождение от иностранного гнета и объединение Италии.

Осуществляя новую постановку «Набукко», Лука Ронкони — один из самых интересных итальянских театральных режиссеров нашего времени — решил показать и ту общественно-политическую атмосферу, в которой эта опера родилась в 1842 году в миланском театре «Ла Скала», вернуть ей ее первоначальное звучание. Для этого на авансцене было установлено несколько рядов кресел, а по краям устроено нечто вроде лож, где одновременно с публикой, заполнявшей зал, рассаживались артисты, одетые в костюмы современников Верди.

Этот двойной спектакль достигал своего апогея в картине со знаменитым хором... Предутренние сумерки. Догорающий костер с сидящими вокруг него пленниками. Их пение усиливается, нарастает по мере того, как на небосклоне разгорается заря. И вот восходит солнце. Его свет заливает сцену внезапно: на ней не библейская пустыня, а то, что должно было возникать в этот момент перед мысленным взором людей эпохи Рисорджименто — пейзаж Прекрасной Страны, как величали они свою Италию. И тут «публика Верди» не выдерживала, вскакивала со своих мест. Одни с воодушевлением присоединялись к хору, другие — большей частью австрийские офицеры — с возмущением покидали спектакль, превратившийся в политическую манифестацию.

Постановка имела заслуженный успех. Она действительно воскрешала атмосферу того времени, когда в потрясавших своды театральных залов возгласах «Viva Verdi!» — «Да здравствует Верди!» зашифровывался патриотический лозунг, подразумевалось, что буквы, составляющие фамилию любимого композитора, означают «Vittore Emanuele — Re d'Italia» — «Виктор Эммануил — король Италии». Объединение страны под его короной было тогда еще делом будущего.

Ключ, найденный Ронкони для прочтения оперы Верди «Набукко», подходит и к роману Мандзони «Обрученные».

Слово «Рисорджименто» иногда переводят как «Возрождение», что не совсем точно. Правда, для этого понятия нет русского эквивалента. Оно связано с глаголом, означающим «вновь подняться», «воспрянуть».

Именно таков был на родине Алессандро Мандзони исторический процесс, с которым совпали годы его жизни. Он родился в 1785 году в Милане — главном городе Ломбардии, находившейся под австрийским господством, в то время как остальная Италия была раздроблена на несколько государств, казалось, давно погрузившихся в беспробудную спячку. Умер Мандзони в 1873 году, два года спустя после того, как взятый

штурмом королевскими берсальерами папский Рим стал столицей объединенной Италии.

Сколько бурных событий пришлось на его жизнь! Вспомним некоторые из числа наиболее крупных. Походы генерала Бонапарта, изгнавшего австрийцев из Италии, и рождение республик, превращенных, однако, вскоре императором Наполеоном в королевства, находившиеся под его полным контролем. Крушение наполеоновской империи, Венский конгресс и реставрация старых порядков. Заговоры карбонариев и восстания патриотов, жестоко подавляемые, нередко с помощью иностранной интервенции. Создание Джузеппе Мадзини общества «Молодая Италия», ставившего целью завоевание независимости, единства и свободы всей страны. Революция 1848—1849 годов. Первая и вторая войны за итальянскую независимость. Освободительные походы Джузеппе Гарибальди. Дипломатические маневры Камилло Кавура. Наконец, шаг за шагом, объединение страны под эгидой Пьемонта во главе с Виктором Эммануилом II...

Некоторым из этих событий предшествовали, другим — сопутствовали ошибки, внутренние распри, а то и предательства, что усугубляло тяжесть потерь, вело к новым арестам, ссылкам, казням. Разгоревшиеся в ходе борьбы страсти не скоро остыли и после объединения страны. Мадзини умер, находясь у себя на родине на нелегальном положении. Гарибальди, уединившись на маленьком острове Капрера, предпочел провести остаток жизни по существу в добровольной ссылке.

Что касается биографии Алессандро Мандзони, то она небогата внешними событиями. Мандзони не участвовал в военных походах, не сражался на баррикадах и не состоял в тайных обществах. Аристократ, он придерживался в политике умеренно-либеральных взглядов, но превратил дело борющейся национальной буржуазии в свое дело. Католик, он был решительным противником объединения страны под властью пап (в этом лишь видимое противоречие, именно как католик Мандзони хотел, чтобы церковь занималась духовными, а не мирскими делами, что, однако, объективно имело прогрессивное политическое значение). Впрочем, он никогда не декларировал своих идей с трибун. И все же его мнение, мысли имели огромное влияние.

Авторитет Мандзони снискали его незаурядная личность и, конечно, художественные произведения, главным образом роман «Обрученные». Именно этот роман не только сделал Мандзони самым крупным писателем Италии XIX века, классиком итальянской литературы, но и обеспечил ему место одной из ключевых фигур в истории Рисорджименто.

Каковы этапы его пути к этому роману?

Мандзони гордился своим дедом по матери и в молодости присоединял его фамилию к своей — маркиз Чезаре Беккариа был автором известного во всей Европе трактата в духе идей просветительства XVIII века «О преступлениях и наказаниях» (в России Екатерина II вдохновлялась им при составлении своего законодательного «Наказа»).

Отец Алессандро не был графом, как это часто пишут, но принадлежал к благородному сословию, владел крупными земельными наделами, в частности в окрестностях озера Комо, где будет развертываться действие «Обрученных». Впрочем, будущий писатель рано был лишен обстановки семейного очага. Когда Алессандро исполнилось шесть лет, его мать рассталась со своим мужем, чье отцовство, кстати, ставится под сомнение биографами писателя, и уехала в Париж со своим новым другом — единственной подлинной любовью в ее жизни, графом Карло Имбонати. В память его Мандзони сложит в 1806 году оду — одно из своих первых значительных произведений.

Но пока ему предстояло провести десять лет в религиозных колледжах, результат чего может показаться на первый взгляд неожиданным: молодой Мандзони проявлял равнодушие к вопросам религии. Получив школьное образование, он с головой окунается в светскую жизнь, усердно посещая миланские салоны, в которых знакомится с известными литераторами. В своих первых поэтических опытах Мандзони подражает Альфьери, Монти, Парини — поэтам-классицистам, чье творчество, однако, уже отмечено признаками грядущего романтизма.

В 1805 году Алессандро приезжает к матери, живущей по-прежнему в Париже. Он принят в прозванном «республиканским очагом» салоне мадам де Кондорсе — вдовы знаменитого философа. Молодой итальянец с жадностью вслушивается в политические дискуссии последних представителей французской революции и энциклопедизма XVIII века. Там же он знакомится и завязывает дружбу с литературным критиком и историком К.-Ш. Форьелем — автором труда «Данте и корни итальянского языка и литературы», своим будущим переводчиком.

В 1807 году Мандзони отправляется в Милан навестить больного отца, но уже не застает его в живых. Тогда же он познакомился с дочерью женевского банкира Энриеттой Блондель, которая на следующий год, шестнадцатилетняя, станет его женой. Невеста из кальвинистской семьи, но это не имеет для Мандзони значения, венчание происходит по протестантскому обряду.

Вступление в брак по взаимной любви сопровождается, однако, глубоким душевным кризисом, причины которого биографы писателя так и не смогут внятно объяснить. Как бы то ни было, в итоге Мандзони становится ревностным католиком. В католицизм обращается и его жена, после чего ее родители порывают отношения с молодыми супругами. Этим шагом отмечен крутой поворот в жизни Мандзони, в формировании моральных и общественно-политических взглядов, которые найдут выражение в его дальнейшем творчестве, начиная со «Священных гимнов», писавшихся в 1812—1815 годах с добавлением к ним семь лет спустя еще одного.

В 1814 году Мандзони с матерью, женой и двумя маленькими детьми переезжают из Парижа в Милан. Там, в центре города, на улице Мороне он покупает дом, в котором останется на всю жизнь, выезжая, практически за одним исключением, лишь в заго-

родную виллу в Брузульо, завещанную его матери Карло Имбонати.

Из литературных произведений Мандзони этого периода выделяются трагедии «Граф Карманьола» (опубликована в 1820 году) и «Адельгиз» (1822), а также оды «Март 1821 года», связанная с готовившимся пьемонтцами, хотя так и не состоявшимся освободительным походом в Ломбардию, и «Пятое мая», посвященная памяти Наполеона (обе написаны в 1821 году). Уже эти его произведения сыграли заметную роль в становлении итальянского романтизма.

Оставаясь верным своему замкнутому характеру, Мандзони, которому вскоре суждено было стать общепризнанным главой итальянской романтической школы, не принимал участия в ожесточенных журнальных баталиях против сторонников классицизма. Правда, его перу принадлежит обстоятельное «Письмо г-ну Ш. о единстве времени и места в трагедии» (1823)— ответ на критику французским литератором Шове трагедии «Граф Карманьола»— и «Письмо о романтизме», написанное в том же году, но как частный ответ маркизу Чезаре д'Адзельо и напечатанное лишь в 1846 году.

В целом в итальянском романтизме четче определялось то, что отвергалось — мифологические сюжеты, слепое подражание античным авторам, правило единства времени и действия в драматургии,— нежели то, что утверждалось. Романтизм в Италии принял «умеренные» формы. Он не породил мятущихся, «байронических» образов, не слишком углублялся в мистицизм. Присущее итальянцам чувство гармонии не позволяло впадать в крайности. Да и как могло быть иначе в стране, фундаментом культуры которой оставались искусство античности и Возрождения.

В 1821 году Мандзони начал работу над романом «Обрученные», который выходит в свет отдельными томами в 1825—1827 годах. Готовя новое его полное издание, писатель в 1827 году совершит поездку во Флоренцию, чтобы, как он говорил, «прополоскать свое белье в Арно» — очистить рукопись от ломбардских диалектизмов, приблизить язык романа к флорентийскому диалекту, лежавшему в основе итальянского литературного языка. Этому он придавал чрезвычайное значение: его произведение должно было быть прочитано и понято всеми итальянцами вне зависимости от того, где и под чьей властью они живут.

...«Уходящий к югу рукав озера Комо весь изрезан мысами и бухтами, образованными выступами и впадинами двух непрерывных горных кряжей, которые тянутся по его берегам...» Эти строки, открывающие первую главу романа Мандзони, известны итальянцам со школьной скамьи, так же как нам строки лермонтовские: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука...» И как ни соблазнительно для читателя, но все же не обязательно побывать на Кавказе, чтобы живо представить себе обстановку, в которой развертывается действие «Героя нашего времени», так не обязательно колесить и по дорогам Ломбардии, следуя установленным на обочинах указателям, ведущим к «деревне Ренцо и Лючии», к «дому портного», к «замку дона Родриго», чтобы воочию увидеть места, населенные воображением итальянского писателя героями его романа.

Для своего произведения Мандзони избрал излюбленный романтиками жанр исторического романа, следуя в этом примеру Вальтера Скотта, которым зачитывалась в то время Европа. Описанные события происходят с ноября 1628-го по 1630 год. Место действия — Миланское герцогство, находившееся тогда под испанским владычеством, и соседняя с ним провинция Бергамо, принадлежавшая Светлейшей республике Венеции. Перейдя разделявшую их по реке Адда границу, и спасался от своих преследователей главный герой романа крестьянин-ремесленник Ренцо Трамальино.

Обрученные — это он и его невеста, крестьянская девушка Лючия Монделла. Роман — это история преодоления препятствий на пути к их соединению, которому хочет помешать живущий в той же округе феодал — сластолюбивый дон Родриго. Его слуги — брави, эти предшественники современных мафиози, настолько запугали приходского священника трусоватого дона Аббондио, что тот придумывает всяческие предлоги, только бы не венчать обрученных. Попытка обмануть его, разыграв сцену, после которой Ренцо и Лючия могли бы считать себя повенчанными, окончилась неудачей. Тем временем настойчивые преследования дона Родриго принуждают девушку искать убежища в монастыре, откуда ее, однако, похищают...

Дальнейшие злоключения обрученных развертываются на фоне исторических событий — мантуанской войны, в ходе которой ландскнехты грабили лежавшие на их пути деревни (ими была разграблена и родная деревня Ренцо и Лючии). Они же занесли в Ломбардию страшную опустошительную эпидемию чумы.

Однако в конечном счете, пройдя через эти и многие другие испытания, Ренцо и Лючия обретут друг друга. Они заживут счастливой семьей, дружно работая в собственной прядильне, что Мандзони, мечтавший о расцвете экономики будущей объединенной Италии, отметит с особым удовлетворением. Носители зла будут в романе наказаны или обращены на путь истинный. Справедливость восторжествует благодаря введенным в повествование, конечно, романтизированным, но имеющим исторические прообразы персонажам — кардиналу Федериго Борромео, монаху отцу Христофору и обращенному к добру, хотя поначалу злодею еще более страшному, чем дон Родриго, могущественному феодалу из рода Висконти, которого Мандзони выводит под именем Безымянного. И здесь он следовал примеру авторов старинных хроник, опасавшихся называть по имени иных синьоров.

Читатель «Обрученных» оценит, с каким мастерством, хотя, быть может, несколько медленно по вкусам нашего стремительного времени, развертывает автор сюжет своего романа. Что же касается ставшего уже традиционным упрека в адрес Мандзони по поводу «длиннот» — тех, действительно

уводящих в сторону от магистральной линии, как бы вставных новелл, в которых рассказывается предыстория появляющихся по ходу действия персонажей, то ведь, взятые сами по себе, они читались бы с интересом не меньшим, чем, скажем, «Итальянские хроники» Стендаля. Это относится, в частности, к жизнеописанию «синьоры» — монахини из Монцы — персонажа, тоже имеющего исторический прообраз, фигуры одновременно трагической и зловещей, у которой Лючия по неведению ищет защиты.

К безусловным художественным достоинствам романа относятся тщательно выписанные и столь живые портреты действующих лиц, дополняемые углубленной психологической характеристикой по мере того, как писатель помещает их во все новые ситуации, сталкивает друг с другом или ставит перед проблемами, которые они должны решать. Эти литературные портреты под стать живописным работам итальянских художников—современников Мандзони, таких, например, как автор и его лучшего, пожалуй, портрета Франческо Айец.

Сравнение произведений литературы и изобразительного искусства соответствующего периода особенно наглядно выявляет черты, присущие той или иной художественной школе. Так, образам итальянской литературы классицизма, нашедшей наиболее законченное выражение в поэзии, вполне соответствуют скульптуры Кановы. Вспомним его по-своему прекрасные, но столь отвлеченно-условные в их холодной красоте «Гебу» или «Амура и Психею» в ленинградском Эрмитаже, не говоря уж об установленной во дворе миланской галереи Брера бронзовой статуе Наполеона, о которой достаточно сказать, что император французов представлен в противоположность романтикам, подчеркивавшим его длиннополую шинель и надвинутую на глаза треуголку, обнаженным в облике Марса-Миротворца.

Проза Мандзони находит себе аналогии в живописи художников-романтиков. К сожалению, итальянская романтическая живопись практически неизвестна за границами этой страны. Но здесь нам поможет наш художник — Карл Брюллов, чье первое пребывание в Италии приходится на 1823—1835 годы. Сколько общего в манере изображения, да, кажется, и в самом облике мандзониевской Лючии, когда она впервые предстает перед читателями на страницах романа, с брюлловской девушкой на картине «Итальянский полдень». Не случайно, конечно, ведшие в Италии арьергардные бои классицисты ставили в вину Мандзони «вульгарность» его персонажей, так же как наши приверженцы академизма выговаривали художнику за то, что его «модель была более приятных, нежели изящных соразмерностей».

Зато можно представить себе энтузиазм всех тех, кто после высеченных, или словно высеченных, из холодного камня фигур, искусно расставленных в похожей на театральные декорации обстановке, увидел в литературе и искусстве показавшихся им поистине живыми людей с такими естественными жестами, мимикой, а главное — выражающих их собственные чувства и переживания. Цель романтиков — пробудить интерес широкой публики к литературе и искусству, нести через них любовь к родной стране, а в произведениях на исторические сюжеты и звать на борьбу, была достигнута.

Показательны средства, которые использует для того Мандзони. Едва ли не впервые после периода классицизма главными героями итальянской литературы становятся под его пером простые люди. Больше того, многие страницы «Обрученных» посвящены описанию сцен народной жизни, что тоже было столь необычно для предшествовавшей романтизму литературы.

Запоминаются не только внешность и характеры людей, массовые сцены, но и описанные в романе Мандзони пейзажи Северной Италии и, пожалуй, особенно — интерьеры тех хижин и замков, монастырей и постоялых дворов, трактиров и чумных бараков, в которые вводит нас писатель. Почти всегда он находит для них точные, зримые детали. Таково кресло в кабинете доктора Крючкотвора, обтянутое коровьей кожей, прибитой гвоздиками с крупными шляпками — некоторые из них от времени вывалились, оставив неприкрепленными углы обивки. Таков мерцающий свет фитиля догорающего ночника, который, не успев придать предметам определенные очертания, являл для глаз до смерти напуганной Лючии, попавшей в замок Безымянного, лишь быструю смену каких-то призрачных образов. Подобных деталей у Мандзони множество, и они тоже соответствуют приемам современной ему романтической живописи с ее пристрастным воссозданием обстановки в картинах на исторические, как и его роман, темы.

Но читатель обратит, конечно, внимание и на те нередкие в книге эпизоды, которые напомнят ему мелодраму и, следовательно, могут показаться слабыми в художественном отношении.

Вспомним, однако, что первоначально слово «мелодрама» не имело того уничижительного смысла, который теперь в него вкладывается, и употреблялось лишь в прямом его значении — музыкальная драма. Впрочем, разве и сейчас не забываем мы ради музыки Беллини, Доницетти, того же Верди «мелодраматичность» их произведений. Между тем люди Рисорджименто ценили сюжет опер не меньше музыки. Так, одна из самых «мелодраматичных» опер Доницетти «Анна Болейн» (вторую из шести жен английского короля Генриха VIII, ложно обвиненную в супружеской неверности, отправляют на плаху, чтобы освободить трон для ее соперницы), по авторитетному свидетельству Джузеппе Мадзини, наполняла души чувством ненависти к тирании. И вполне закономерно, что прекрасный портрет певицы Джудитты Паста в написанной для нее роли Анны Болейн, созданный Карлом Брюлловым (обратимся вновь к его творчеству), прежде чем найти свое место в Театральном музее «Ла Скала», экспонировался на выставке, посвященной истории Рисорджименто.

Мелодрама пользовалась в Италии XIX века огромной популярностью. В целом же оперы (конечно, лишь малая их часть выдержала испытание временем) писались

тогда там в количестве едва ли не большем, чем ныне снимается кинофильмов — одному Доницетти принадлежат семьдесят четыре оперных произведения! И, что может показаться неправдоподобным, многие из них имели аудиторию обширнее, чем литературные произведения. Оперные театры существовали во всех сколько-нибудь крупных городах страны, а их залы, иные из которых вмещали до полутора-двух тысяч слушателей, были почти всегда переполнены. В то же время продажа нескольких сот экземпляров книги оценивалась как крупный успех. После выхода первого издания «Обрученных» старшая дочь Мандзони Джулия писала одному из друзей: «Мы испытали большую радость, видя успех произведения папá; поистине он превзошел не только наши ожидания, но и все надежды; менее чем за двадцать дней было продано более шестисот экземпляров».

Стоит ли удивляться, что мелодрама — это гениальное воплощение художественных и политических взглядов итальянской буржуазии в период ее борьбы за национальную независимость, оказывала влияние на литературу, как и на другие виды искусства. Ее влияние, в том числе влияние и конкретной оперы — «Последний день Помпеи», сочинения, ныне почти забытого, но в свое время весьма популярного композитора Джованни Пачини (автора семидесяти трех опер!),— шедшей в «Ла Скала» с декорациями известного театрального художника Алессандро Санквирико, сказалось не только в названии прославившей Брюллова картины.

Конечно, при всех живописных достоинствах этой картины нам приходится предпринимать некоторые усилия, чтобы представить то значение, которое имела она для современников. Об этом хорошо сказал Н. В. Гоголь: «Картина Брюллова — одно из ярких явлений XIX века... Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление... выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою». Представим же, что вместо стихийного бедствия — извержения вулкана — речь идет о чумной эпидемии. «Выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою» — эти слова могут быть отнесены и к роману Мандзони.

Не откликаясь ли на вкусы, характер художественного восприятия итальянской публики, восторженно принявшей картину «Последний день Помпеи» (одно лишь «отступление от правды жизни» усмотрели в ней критики — отсутствие извергаемого Везувием пепла на одежде людей) и настойчиво требовавшей от русского художника нового шедевра, придал Брюллов уже откровенно «мелодраматический» характер сцене, изображенной им в картине «Смерть Инесы де Кастро»? Злодеев, подобных убийцам этой несчастной жертвы очередного тирана, мы встретим и на страницах романа Мандзони. Можно не сомневаться, что «мелодраматичность» их образов не только не снижала, но усиливала их художественное воздействие на читателей.

Об этом следовало сказать не для того, конечно, чтобы оправдывать Мандзони, в чем он не нуждается, а напротив, чтобы выявить те своего рода исторические особенности его произведения, которые ныне уже не «работают», но составляют существенную сторону его романа как литературного памятника эпохи.

Несколько в ином контексте, но в общем в том же плане нужно остановиться на образе кардинала Федериго Борромео, сыгравшего в романе важную роль в судьбах Ренцо и Лючии, и эпизоде обращения на путь истинный злодея Безымянного. В обоих этих случаях католическая риторика дает о себе знать в книге особенно сильно.

Об образе кардинала Федериго у нас обычно писали, что этот исторический персонаж идеализирован писателем, и это так. Однако одной констатации этого факта недостаточно. Воплощая в его лице не только носителя деятельного, активного начала, но и мыслителя, наделенного высокими моральными качествами, благочестием, чувством справедливости, сострадания к угнетенным и униженным, Мандзони, очевидно, соединяет подлинные или приписываемые легендой черты двух исторических персонажей. Первый — кардинал Карло Борромео, причисленный католической церковью к лику святых, вошедший в историю Миланского герцогства как законодатель, энергичный и решительный организатор, проявивший себя таковым особенно во время эпидемии чумы 1576 — 1577 годов. Второй — кардинал Федериго Борромео, скончавшийся год спустя после другой, описанной в романе, чумной эпидемии 1630 года, который был склонен к ученым, литературным трудам и, по меткому замечанию итальянского историка Марко Роши, являлся как бы «аристократической метафорой» своего двоюродного брата Карло. Соединить в одном персонаже два эти лица должно было быть для Мандзони тем более соблазнительно, что их синтез рождал нужную ему фигуру романтического героя, отвечавшего к тому же его собственному идеалу благородного аристократизма.

Известно, что, работая над романом, писатель штудировал многочисленные литературные источники — исторические и философские труды своих предшественников Рипамонти, Муратори, Джойа, Верри и других. Но читая описанные с таким мастерством и столь выразительно сцены чумной эпидемии, трудно отвлечься от мысли, что он использовал и находившиеся у него перед глазами «изобразительные материалы», в частности полотна художника XVII века Джованни Баттиста Креспи, прозванного Черано,— автора выставляемого раз в году в миланском кафедральном соборе цикла колоссальных по размерам картин, посвященных житию святого Карло Борромео. Отметим попутно, что ломбардская школа живописи XVI—XVII веков с ее сильной реалистической струей, отвечающей рационализму характера ломбардцев, занимает важное место в культуре этой области Италии. А ломбардской культурой роман Мандзони пропитан насквозь, что редко ускольза-

ет от читателя-итальянца, хотя часто остается незамеченным в других странах.

Что касается эпизода с внезапным «обращением» Безымянного, то с ним дело обстоит и проще и сложнее одновременно. Конечно, после писателей-реалистов второй половины XIX века, после «диалектики души» в произведениях Льва Толстого этот эпизод выглядит не то что литературно слабым, психологически неоправданным, но прямо-таки провалом, дырой в художественной ткани романа. Однако итальянские читатели относятся к этому вполне спокойно. Жители страны, в которой католицизм долго играл столь значительную роль, с детства привыкли слышать о подобных превращениях, начиная с обращения Савла до жизнеописания Франциска Ассизского. Быть может, не случайно поэтому и то, что обстоятельства обращения самого Мандзони к католицизму остаются до конца невыясненными.

Итальянские исследователи не раз сравнивали Мандзони с Толстым. Действительно, на первый взгляд их сближает как внимание к жизни простых людей, так и поиски морально-нравственных ответов на вопросы, которые ставила современная им жизнь. Однако подход двух писателей к этим вопросам существенно разнится. На это указал Антонио Грамши.

Находясь много лет в фашистских застенках, руководитель итальянских коммунистов вел записи, опубликованные значительно позже под названием «Тюремные тетради». Немалое место отводится в них итальянской литературе и, естественно, творчеству Мандзони. Так, Грамши выявляет противоречие в суждениях одного из итальянских исследователей, утверждавшего, что роман «Обрученные» полностью соответствует взглядам Толстого на роль искусства, в подтверждение чего тем приводилось два примера. С одной стороны, влияние «непосредственного и инстинктивного» мышления Платона Каратаева на жизненные взгляды Пьера Безухова. С другой — воздействие на «низших существ» таких «возвышенных умов», как отец Христофор и кардинал Борромео, «которые всегда умеют найти для них слово, которое просвещает и ведет».

В этом-то, писал Грамши, и кроется различие между находившимся под влиянием идей католической контрреформации Мандзони и Толстым с его «демократическим» пониманием Евангелия. «Для Толстого характерно именно то, что непосредственная и инстинктивная мудрость народа, высказанная даже в случайно оброненном слове, освещает и предопределяет кризис образованного человека». Разговор же несчастной Лючии со всемогущим Безымянным имеет лишь косвенное отношение к пробуждению совести и последовавшему моральному кризису этого литературного персонажа.

Тут же Грамши отмечает, что духовной жизнью у Мандзони живут только «синьоры»— отец Христофор, Борромео, Безымянный, даже дон Родриго, но не народные персонажи, для каждого из которых автор к тому же находит случай, чтобы «разыграть» его, посмеяться над ним.

Эта запись сделана в контексте более широкой занимавшей Грамши проблемы — отсутствие в итальянской литературе национального народного романа (кстати, он считал, что итальянская мелодрама «в некотором смысле является народным романом, положенным на музыку»). Таким образом, его мысль заключается в том, что созданию подлинно народного романа Мандзони помешала, в частности, идеология контрреформации. Но сколь бы суровыми ни выглядели суждения Грамши, они, конечно, не отрицают роли и значения «Обрученных» ни для итальянской литературы, ни для движения Рисорджименто. Грамши лишь определяет место, которое занимает в них этот роман.

Продолжая его мысль, можно сказать, что Мандзони был выразителем взглядов тех слоев умеренно-либеральной буржуазии, включая «светских католиков», которые в конечном счете и пришли к власти в Италии, воспользовавшись плодами движения Рисорджименто. Выразителем и даже «пророком». Читая в романе сцены голодных бунтов, уличных волнений, которые явно не импонируют автору, невольно думаешь о том, как будут «мешать» решительные военные действия Гарибальди осторожным политическим маневрам правительства Виктора Эммануила II.

Разумеется, в то время, когда освобождение и объединение страны было еще лишь целью, почти мечтой, значение «Обрученных» ставилось чрезвычайно высоко куда более широкими кругами, нежели только патриотически настроенной ломбардской аристократией. Патриотическое звучание книги не исчерпывалось аналогией, которую читатель безошибочно видел, сопоставляя испанское владычество в романе и австрийское в современной ему жизни. Уже одно слово «тиран» пробуждало в нем чувство праведного гнева. Сама ткань произведения была создана из близкой, стоящей перед глазами действительности, и страдания народа, причиненные чумой пусть и не в прямом смысле, взывали к уму и сердцу читателя, ненавидевшего гнет чужестранцев.

Национальной гордости итальянцев не могло не льстить и то, что произведение их писателя вызвало высокую оценку выдающихся деятелей культуры за рубежом, начиная с Гёте. В России роман был впервые издан уже в 1833 году. Еще раньше его прочел, очевидно во французском переводе, пушкинский Онегин.

И Мандзони был при жизни провозглашен в Италии Великим. Не великим писателем, а просто — Великим, с большой буквы.

Этой славе способствовали, конечно, и его личные качества: высокая культура, строгие моральные принципы и убежденность в исповедуемых идеалах. О том, какое впечатление производил он на современников, свидетельствует письмо В. А. Жуковского поэту-слепцу И. И. Козлову о встрече с Мандзони: «Я просидел у него часа два, и, конечно, эти два часа принадлежали к прекрасным часам моей жизни: я насладился живым чувством симпатии, симпатии к чему-то высокому, что при-

носит в душу какой-то светлый порядок и производит в ней на минуту совершенную гармонию, которая есть ее истинное назначение... Что мы говорили, вообще помню, но передать письму не умею. Знаю только то, что эти немногие минуты были для меня счастливы, как в старину подобные минуты с Карамзиным, при котором душа всегда согревалась и яснее понимала, на что она на свете».

Видимо, русский и итальянский романтики испытывали взаимную симпатию. В библиотеке Томского университета в числе прочих книг, принадлежавших Жуковскому, хранится привезенный им в Россию том с надписью: «Автор всегда будет считать среди своих самых счастливых дней тот, в который ему было дано узнать Гос. К<авалера> Жуковского. Милан. 9 ноября 1838. Алессандро Мандзони».

...До недавнего времени считалось общепризнанным, что «рукопись анонима», на которую Мандзони ссылается как на первооснову своего сочинения, — не более чем литературный прием. Но вот в 1960 году профессор Туринского университета Джованни Джетто опубликовал в журнале «Леттере италиане» статью «Отголоски романа эпохи барокко в «Обрученных». В ней говорилось об обнаруженной в Национальной библиотеке Турина объемистой, насчитывающей 439 страниц убористого текста книге «История Пропащего кавалера», вышедшей из-под пера ныне забытого писателя Паче Пазини (1583—1644) и изданной в год смерти автора в Венеции.

В этой книге описываются злоключения некоей Лючианы, которую любит Друзо, но которая, будучи похищена могущественным синьором Страппакуори (Сердцеедом), заключена в зловещий и таинственный замок, охраняемый брави. Однако Лючиане, вверенной попечительству Аньезе (в «Обрученных» это имя матери Лючии), удается ускользнуть из рук своих похитителей... Подробно описана в книге и эпидемия чумы, современником которой был автор.

Итак, сходство не только сюжетов, но и имен действующих лиц, совпадение ряда деталей с «Обрученными». Похоже, что «рукописью анонима» мог служить для Мандзони роман Пазини. Эта находка вызвала было в итальянской прессе сенсацию. Как же теперь относиться к роману Мандзони? Насколько он оригинален? Однако сенсация быстро развеялась. Очевидно, что книга, которая могла послужить ему литературным источником, ни в малейшей степени не выдерживает сравнения с «Обрученными» ни по литературным достоинствам, ни по общественной значимости.

После «Обрученных» художественное творчество Мандзони фактически прекратилось. Из написанного им в последующие годы назовем «Историю позорного столба» — повесть на морально-нравственную тему. Положив в основу ее один из подлинных случаев осуждения невинных людей за якобы умышленно распространявшуюся ими чуму, Мандзони продолжал борьбу с невежеством и изуверством. Эта повесть была опубликована в качестве приложения к изданию романа 1840 года.

Писатель вел замкнутый образ жизни, встречался в основном только с друзьями — приятный собеседник в узком кругу, он в многолюдном обществе заикался больше обычного. В зрелом возрасте обострилось нервное заболевание, ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Часто его охватывало чувство беспокойства, и тогда он испытывал потребность двигаться, ходить, но, страдая агорафобией — боязнью открытого пространства, не мог выходить без сопровождающего.

В 1833 году умерла его обожаемая жена Энрикетта, родившая ему девять детей; лишь двое из них пережили его. В 1841 году умерла, не менее обожаемая, жившая с ним мать. Между двумя этими потерями он, по совету друга и последователя — писателя Томазо Гросси, женился вторично. И этот брак, продолжавшийся двадцать четыре года, до смерти в 1861 году его второй жены — Терезы Борри, в первом замужестве Стампа, был счастливым.

В 1850 году Мандзони был назначен сенатором. В 1872-м получил звание почетного гражданина Рима — столицы объединенной Италии.

4 января 1873 года, выходя из церкви Сан Феличе, Мандзони упал на лестнице и сильно ударился головой о ступени. Поначалу казалось, что все обойдется благополучно, но вскоре он потерял сознание. Приходя в себя, пробовал шутить: «Это заслуженная кара за то, что я так злоупотреблял своей бедной головой». У него появилась мания бросать в огонь все, что окажется под рукой,— едва спасли от сожжения рукопись «Обрученных».

22 мая Алессандро Мандзони скончался у себя дома, на улице Мороне, в возрасте восьмидесяти восьми лет.

Другой великий художник Рисорджименто Джузеппе Верди, не терпевший официальных церемоний, не принимал участия в похоронах Мандзони. Живя в своем поместье Сант Агата, он писал: «Я не присутствовал, но мало кто был более опечален и взволнован в то утро, чем я, хотя и находился далеко. Теперь все кончено! С ним исчезла самая благородная, самая высокая наша слава. Я читал многие газеты. Ни одна не говорит о нем как бы следовало. Много слов, но не прочувствованных глубоко. Однако нет недостатка в укусах. Не пощадили даже Его. Какой же мы отвратительный народ!»

Под «укусами» Верди имел в виду отзывы церковных газет. «Оссерваторе каттолико» воздавала двусмысленную почесть усопшему — человеку «доброму, даже благочестивому, и в своих заблуждениях скорее ошибавшемуся, чем виновному». Клерикальные круги не прощали писателю-католику даже после смерти его позиции в осужденной папой Пием IX «пагубнейшей итальянской революции», как характеризовали в этих кругах Рисорджименто.

3 июня Верди предложил коммуне Милана написать «Реквием», чтобы исполнить его в первую годовщину смерти Мандзони. Предложение было принято, хотя и не без возражений — один из коммунальных советников протестовал против участия гражданской администрации в религиозной це-

ремонии. Год спустя эти опасения оказались развеяны. После торжественного исполнения «Реквиема» в церкви Сан Марко та же газета «Оссерваторе каттолико» с раздражением писала: «Мы поговорим об этой музыке, когда она будет исполнена в театре, где ее место; она не несет на себе никакого отпечатка святости, не выражает ничего религиозного...»

Верди, как и Гарибальди, виделся с Мандзони лишь однажды. И тот, и другой нанесли визиты уже престарелому писателю. Визит Верди организовали две женщины. Джузеппина Стрепони — в прошлом известная певица, его супруга, друг, страж, даже громоотвод, о который разряжался нелегкий характер гения. И Клара Маффеи — графиня, хозяйка знаменитого миланского литературно-музыкального или, что в то время было равнозначно, общественно-политического салона, игравшего заметную роль в истории Рисорджименто. При этом Джузеппина, очевидно, надеялась, что знакомство с писателем-католиком окажет «благотворное влияние» на откровенно безбожного композитора. В этом отношении ее расчет не оправдался. Она писала: «Есть люди добродетельнейшие, испытывающие необходимость верить в бога; и другие, столь же совершенные, которые счастливы, не веря ни во что и лишь точно следуя предписаниям строгой морали. Мандзони и Верди!.. Два этих человека заставляют меня задумываться, они для меня поистине предмет для размышлений. Но мое несовершенство и невежество делают меня неспособной распутать эту темную проблему».

В действительности, не сознавая того, она, по крайней мере частично, уже ее решила. Именно «строгая мораль», которой оба придерживались, сближала католика Мандзони и атеиста «манджапрети»—«пожирателя попов», как говорят итальянцы, Верди. Сближала и общность политических взглядов, приведших аристократа по происхождению и духу Мандзони и выходца из народа Верди в один и тот же стан боровшейся за освобождение и объединение страны буржуазии. Не случайно, справедливо отмечает итальянский музыковед Рубенс Тедески, есть общее и в их творчестве. Оба, каждый в своей области, стремились говорить на доходчивом и понятном для всех итальянцев языке. Перекликаются темы, персонажи их произведений, будь то носители неправедной власти или жертвы ее произвола.

Можно добавить много других причин, побудивших Верди взяться за «Реквием». Уже несколько лет иные крикуны противопоставляли «ученую музыку» ненавистных ему «вагнеристов» его почерпнутым в народе мелодиям, и он, считая, что пережил свое время, решил оставить оперное творчество. Но не менее глубокое разочарование испытывал он и по поводу того, во что вылилась героическая эпопея Рисорджименто, так и не принесшая народу того благоденствия и счастья, о котором горячо мечтало его поколение.

Словом, личное слилось с общественным, и Верди создает произведение, которое нередко сравнивают с фреской другого «пессимиста» — его соотечественника — «Страшный суд» Микеланджело. «Реквием» посвящен памяти Мандзони, но это и реквием по целой эпохе, по всем ее героям, по их несбывшимся идеалам. Верди использует мотивы своих опер, столь тесно связанных с духом Рисорджименто, но одновременно приходит и к музыкальным открытиям, перебрасывающим мост из прошлого в будущее, в которое он, после длительного молчания, войдет со своими новаторскими «Отелло» и «Фальстафом».

«Реквием» — лучшее из всего, что было сказано языком искусства о Мандзони и об эпохе Рисорджименто.

...В 1901 году умер Верди. Проводить его в последний путь на улицы Милана вышли тысячи людей. Согласно завещанию покойного, похороны совершались без речей и оркестра. Все шли молча, соблюдая глубокую тишину. Вдруг кто-то запел: «Va, pensiero, sull'ali dorate...» — «Лети, мысль, на крыльях златых...» И многотысячная толпа, словно только и ждала этого сигнала, подхватила мелодию.

Дух несбывшихся идеалов Рисорджименто и сейчас жив в Италии — в ее народе, разумеется. Роман Алессандро Мандзони «Обрученные» остается одной из великих книг итальянской литературы.

◆

Заметки писателя

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОДНОЙ СТАРОМОДНОЙ ИСТОРИИ

Не буду излагать содержание этой книги[1], разве только по ходу тех соображений, которые она у меня вызвала, скажу несколько слов. Да и пересказать эту вещь трудно, а может быть, и невозможно, и нет необходимости.

Скажу только, что это — семейная хроника самого автора в череде прошлых поколений. А что значит книга такого жанра? Она должна говорить сама за себя, а мне остается порассуждать «по поводу». Повод же не оставил меня равнодушным. Хочу сказать не столько о том, что написано, ибо вмешательство в это «что» в данном случае может быть даже и в известной мере бестактно, сколько о том, как написано,— что представляет собою письмо и те литературные приемы, которые использовал автор, и сам стимул, и та энергия, которые — мы невольно догадываемся об этом — двигали автором. Которые автор вложил в свое повествование.

Да, эта книга производит особое впечатление.

Далеко не каждая книга вызывает в нас ощущение авторского поступка. Мы читаем тот или иной роман и понимаем, что роман этот находится в русле предшествующих произведений автора, что в какой-то мере это есть их последовательное и логическое продолжение — продолжение манеры, интонации, да и самой мысли, и порядка мышления, которые нам уже известны. К которым мы уже и попривыкли.

Вот и я читал прежде Магду Сабо, и не раз, ее рассказы, роман «Пилат» и еще другие вещи, но «Старомодная история» — это не только новое произведение, это, повторяю, новый поступок автора. То есть мне ясно, что перед Сабо возникла задача, для нее самой неожиданная, что ей надо было сделать выбор, и нелегкий: работать ли и дальше над вещами, способ написания которых так или иначе ей уже известен, или же все это пусть не навсегда, но все-таки отвергнуть и взяться за вещь, которой трудно, а может быть и невозможно, найти аналогию в собственном творчестве. Иначе говоря, здесь возникает и выбор и риск. Вот я все время и думаю, читая «Историю»: а ведь это риск! Но в том-то и дело, что риск является и той энергией, которая на протяжении почти всей книги передается читателю, что если нервы автора все время напряжены, то напряжены они и у меня, если автор колебался — включать вот эту сцену в хронику или не включать,— то и я тоже чувствую эти сомнения и как бы даже разделяю с автором его решение: «включать!» — и, хочу этого или не хочу, догадываюсь невольно о каком-то материале, оставшемся в письменном столе автора и не включенном в книгу.

Представляю себе, как это непросто человеку, в течение многих лет создававшему сюжеты силой собственного воображения, действовавшему в соответствии с собственной творческой логикой,— это были тоже реалистические произведения, но в них на первый план выступало писательское воображение — вдруг перейти к описанию реальной жизни как таковой, к хронике этой жизни, к тем персонажам, которые уже не будут определяться авторским желанием и

[1] Магда Сабо. Старомодная история. Перевод с венгерского Ю. Гусева. Предисловие В. Лакшина. М., «Радуга», 1983.

волей, а сами станут навязывать автору свои характеры.

И ведь это надо уметь — сменить роль вершителя судеб и диктатора на роль подчиненного, оставаясь при этом все тем же творцом. Это умение характеризует писателя, его отношение к жизни и литературе, его возможности, кажется чем-то напоминающие возможности гроссмейстера, который с одинаковой силой должен уметь играть и белыми и черными, навязывать противнику свою инициативу, но и тонко понимать инициативу, замысел и психологию противника.

Такое это чтение...

Не скажу, чтобы оно увлекло меня с первой же страницы, что все эти соображения и догадки возникли у меня сразу же,— нет, вначале этого не было, а появилось позже, и дело, наверное, вот в чем: русскому читателю трудно следить за очерком далекой венгерской истории, тем более когда на него обрушиваются сразу же десятки, если не добрая сотня малознакомых или совсем незнакомых исторических имен.

Может быть, автору и венгерскому читателю и необходимо знать, откуда, из каких времен, войн и королевств явился род Яблонцаи, но мне от этого не легче. Что поделаешь — и в прекрасном, интересном чтении иногда приходится преодолевать трудности, и это надо уметь. Я ведь представляю себе и такого читателя, который наткнулся на известную трудность и отложил книгу: «Неинтересно!» И глубоко при этом ошибся...

Вообще есть книги, которые очень поразному читаются на родине и на чужбине, то есть в переводах, вот и в данном случае происходит нечто такое же: я что-то узнаю о Венгрии, о ее истории, узнавать же и запоминать можно лишь в определенном объеме, но не более, а вот читатель-венгр — тот здесь уже не узнаёт, он пополняет свои знания. А это разные вещи, разные прочтения.

Дальше.

Материал этой книги таков, что, будь все это описано в форме традиционного романа, его, наверное, и читать никто не стал бы — с одной стороны, все это уже много раз слышано и читано, все эти семейные и любовные драмы, измены, все эти характеры домостроевцев и необузданных мотов и расточителей, с другой же — всего этого было бы слишком много для одного романа, так много, что мы невольно упрекнули бы автора: «Ну и фантазия! Вот уж нагородил так нагородил — старается меня увлечь! А я не увлекусь! Не тутто было!» Вот так бывает, что писатель действует, а читатель ему сначала противодействует, потом это противодействие ему надоедает и он откладывает книгу.

Но здесь дело другое — люди не выдуманы, ни один человек, и эти люди, их характеры и события их жизни представляют собой такое нагромождение, что и поверить-то, кажется, в это нельзя, однако же веришь. Хочешь не хочешь, а веришь, потому что — факт, потому что — жизнь и власть действительности.

Кто-кто, но автор-то понял эту власть, ее неизбежность — над собой и над нами.

И вот что показалось мне здесь интересным: только истый романист, только писатель, прошедший через многие и многие искусы творчества, постигший условность аллегории и ассоциации,— только он мог вот так же воспользоваться властью действительности.

Больше того. Я только что сказал, что мне, русскому читателю, пришлось трудновато на первых порах. Но автор и тут несколько помог мне. Не знаю, каким образом, но я все же догадываюсь, с каким ощущением читает эту книгу венгр, а эта моя догадка занимает и меня, в какой-то мере и увлекает.

Наверное, это происходит следующим образом. Меня не покидает вопрос: а что, если бы подобную же книгу написал русский автор и о России? Ведь как бы мне было интересно?!

Но я что-то не нахожу аналога в русской литературе... Чтобы было вот такое же множество фактов, чтобы и факты эти, и драмы, и трагедии составляли бы такое же, почти невероятное нагромождение — нет, не нахожу, не помню.

Все, что я прочитываю у Магды Сабо, все это, кажется, ей самой дается через сугубо национальное начало. Это — исходная для нее точка, конечной же является та общечеловечность, которой она достигает, которая меня, иноязычного читателя, настойчиво привлекает и удивляет: вот, оказывается, каким может быть человек, какими могут быть человеческие судьбы! Сколько я прочитал на своем веку, сколько знаю людей, а таких, да еще собранных под одним кровом, не встречал. Магда Сабо начинает свою «Историю» так, будто это произведение драматургии: «Обитатели дома по улице Кишмештер»,— и представляет она затем своих героев. Еще небольшая деталь в том же духе: последнюю главу книги, а по объему и по содержанию она составляет едва ли не всю «Историю», Магда Сабо называет «Dramatis personae» — действующие лица драмы, а это вновь должно подчеркнуть доподлинность, драматизм того, что рассказывает нам автор.

А для меня, читателя, все это объясняет суть поступка автора. Конечно, начинаю понимать я, автор, совершая свой выбор, уже знал, догадывался о том, с каким необыкновенным материалом он столкнется, знал и то, что, напиши он все это в форме обычного романа, веры ему не было бы, а вот к семейной хронике подобного рода читатель питает полное и безоговорочное доверие.

При всем том я не вижу здесь какого-то антагонизма между этой семейной хроникой и романом, не вижу противопоставления одного другому, автор ведь и сам называет свою «Старомодную историю» романом. Тут дело может обстоять и по-другому — ведь не столь уж и редко мы с недоверием относимся к реалистическому роману, дескать, выдумка, искусственный набор событий и характеров. Но вот вам жизнь, вот доподлинная семейная история, и она, кроме всего прочего, еще и оправдывает многие и многие романы и романистов: ничего-то они не выдумывали, а скорее на-

оборот: слишком мало взяли от драматизма жизни, могли бы взять и побольше!

И если бы, скажем, для какого-то судебного протокола возникла необходимость очень кратко изложить суть события, ответить на вопрос: «Что случилось?», этот ответ мог бы составить в истории с героинями и героями «Мадам Бовари» или «Анны Карениной» всего несколько строк: «Такая-то женщина изменила своему — такому-то — мужу с таким-то сравнительно молодым человеком».

И — все!

Не то в «Истории» Магды Сабо — здесь совсем другое впечатление, как будто бы она взяла какое-то судебное или иное «дело» и сделала выжимки, краткий конспект.

Может быть, вот тут-то и будет замечено, словно я противоречу сам себе и говорю об отсутствии отличий и даже антагонизма между романом в обычном смысле слова и романом документально-хроникальным?

Но я и в самом деле не нахожу этого антагонизма — у каждого жанра своя задача, даже такое произведение, как «Война и мир», охватывает далеко не всю жизнь, тем более не только в ее настоящем, но и прошлом. Да и задача подобного произведения иная — оно утверждает совершенно определенные точки отсчета в наших представлениях о том, что такое хорошо, а что плохо, утверждает столь нам необходимые каноны и основы нравственности, потому что, хотя мы и недолюбливаем это слово — «канон», однако же на каноны опирается любое сколько-нибудь серьезное убеждение, любая система знаний.

Не будь я знаком с «Войной и миром», с другими произведениями, развивающими в людях понятия нравственности, я бы, возможно, просто-напросто не сумел прочитать «Старомодную историю», не смог оценить, кто есть кто среди его героев. Вот так, размышляя об окружающей нас действительности — столь сложной и столь запутанной,—мы привлекаем к ее оценке, к утверждению в ней самих себя, своей личности те понятия, которые почерпнули когда-то из великих произведений мировой литературы, несущих принципы высокой морали. Привлекаем, очень часто даже и не осознавая этого.

Действительность — и сегодняшнего дня, и далекого прошлого — в том числе и действительность, воссозданная в «Старомодной истории», в какой-то мере смущает нас, не укладывается в каноны того или иного великого произведения искусства, но это вовсе не значит, что мы тут же должны безоговорочно подчиниться и уступить такой вот «Истории», да еще и назвать эти уступки то ли модерном, то ли «смелостью», то ли еще как-нибудь, но не менее громко и даже вызывающе. Нет, мы так или иначе хотим стоять на своем, отстаивать свои представления о жизни, и вполне может быть, что при этом нам так же, как и автору «Старомодной истории», потребуется гораздо большая сила духа.

«Старомодная история» в этом смысле нас экзаменует и тем самым как бы оживляет наши нравственные представления и убеждения, которые без экзаменов и испытаний вообще очень скоро атрофировались бы. Нет, как ни крути, а настоящая литература, самая разная и разноликая,— это всегда нечто целое, в котором даже и противоречивые вещи не так, так этак, а все равно подкрепляют друг друга.

Да что тут и говорить — разве сегодняшний факт, сиюминутное событие, разве документализм когда-нибудь может быть чужд романисту? Хотя бы даже историческому? Ведь исторический романист тоже живет в сегодняшнем дне, он, восстанавливая историю, все равно не минует сегодняшних представлений о ней, без этих представлений он попросту бессилен перед историей, лишен средств к ее пониманию, тем более — средств общения с сегодняшним читателем, ради которого пишет.

Именно поэтому, может быть, «Старомодная история» — не только чтение для всех, но своего рода школа и испытание для современного романиста: вот она какова действительная жизнь — а ну-ка управься с нею!

Мне кажется интересным и сам стиль этой вещи...

Если уж семейная хроника, так мы, русские читатели, невольно представляем себе что-то обстоятельно-неторопливое, с обязательными пейзажами, с материнской, отеческой или сыновней любовью, с милым детством... Что-то подобное «Детству Никиты» или даже «Багрову-внуку».

Пусть это будет горьковское «Детство» или трифоновский «Отблеск костра», все равно и здесь мы не обнаружим нервической лапидарности и напряженности «Старомодной истории» — повторяю, я говорю о стиле и о буквальном нагромождении событий в этом произведении. Автор словно бы диктует кому-то для записи все вскрытое и увиденное им.

Временами моя читательская память и восприятие как будто даже отстают от этого «диктанта», но автор и не думает принимать в расчет мое отставание, он жесток ко мне (так же, как и почти ко всем своим героям), он требует от меня внимания и того же напряжения, которое испытывает сам.

Я чувствую, что от этого происходят некоторые потери и для меня, и для автора, но в то же время здесь и явные приобретения: автор как будто схватил меня обеими руками и встряхивает, и требует: «Слушай, слушай, слушай — вот как это было!» Вот ведь и в жизни бывает так же — разве мы не встречали собеседников, которые не столько беседуют, сколько требуют без промедления понять их, выслушать до конца и уж конечно поверить им во всем — от первого до последнего слова?! Разве нам не знакома подобная горячность? В «Старомодной истории» даже представители третьего и четвертого поколений прошлого отнюдь не являются свидетелями этого прошлого, нет, они не свидетели, а яростные участники этого прошлого, минувшей жизни. В их темпераменте, в их словах и поступках я обнаруживаю и действительность и страсть. И сам автор книги, который на каком-то этапе тоже становится действующим персонажем драматической «Истории», столь же страстен и действителен.

Он именно персонаж, а не судья выс-

шей или хотя бы низшей инстанции, он даже не свидетель, а, повторяю снова, участник событий, в том числе тех, которые произошли до появления его на свет.

Что же и говорить о престарелых свидетелях, членах все того же семейства Яблонцаи, которые еще живы к моменту, когда автор пишет «Историю»?! Их, этих свидетелей, ведь непозволительно обойти, заведомо зная при этом, что они не столько прольют свет на тот или иной вопрос «следствия», сколько усложнят и запутают его.

Дело семейное, деликатное и очень личное, и тетушка Мелинда так и смотрит на это, она вовсе не склонна выступать в роли беспристрастной свидетельницы перед своей племянницей-писательницей.

А если племянница напоминает о том, что несколько лет тому назад в каком-то разговоре тетушка обронила такую-то и такую-то фразу, такое-то замечание, та не без раздражения ответит:

— Ну и что? Наверное, я тогда что-то перепутала... А может, ты поняла меня неправильно?

А потом еще и хлопнет дверью. Ей ведь не скажешь: подождите-ка, у меня есть к вам и еще вопросы!

Другое дело документ — дневниковая запись или хотя бы семейная книга ежедневных расходов. Документы неопровержимы, но пользоваться ими нужно очень умело, нельзя, невозможно возлагать на них всю тяжесть и всю ответственность, как это делается в произведениях сугубо документального жанра, нет, здесь вся эта тяжесть, вся ответственность остаются за автором, за его «я», за его не только логикой, но и чувством.

Кстати говоря, появление самого автора в качестве персонажа «Истории» отмечено еще одним любопытным фактом, или приемом,— не скажу, как это точно назвать.

Семейная хроника Яблонцаи на всем ее видимом протяжении отличается очевидной изолированностью от событий, происходящих в мире. Общественная жизнь небольшого городка еще как-то проникает в жизнь этого семейного клана, но лишь постольку, поскольку без такого проникновения жизнь семьи попросту невозможна, в нее ведь, в эту семью, приходят люди извне — женихи, невесты, любовники, учителя, приятели, но не более того. Жизнь же страны и мира в целом как бы и вовсе отсутствует, о ней можно лишь догадываться.

Семья целиком поглощена самою собой, своими собственными радостями и печалями, и благодаря этому, быть может, они действуют на нас по-своему сильно.

Но вот в среду Dramatis personae вступает автор. Магда Сабо. Она ничуть не скрывает своих антипатий, тем более — своих симпатий, прежде всего любви к матери, Ленке Яблонцаи, женщине с совершенно необыкновенной судьбой, которая находится в центре произведения. Но, кроме того, появление автора знаменуется вот еще чем: в хронике почти за каждый ее год возникают краткие обзоры событий в мире. Не то чтобы это был обзор историко-научный, нет, но тем не менее мы отмечаем в своей памяти: вот годы предвоенные, вот начало первой мировой войны, вот ее середина, вот ее конец...

Семья Яблонцаи по-прежнему этих событий вроде бы не замечает или замечает невольно, поскольку введены продуктовые карточки и не заметить этого нельзя, поскольку то и дело люди вокруг получают похоронные извещения, но автор тут-то и берет на себя особую роль, отличную от всех без исключения других ролей,— он создает фон семейной хроники, он вписывает ее в мир, помогая читателю разобраться во взаимосвязях человека и общества. Этого прежде не было. Никто другой этого не делает, автор должен был сделать это.

Нет, право же, эта книга, ничуть не будучи назидательной,— очень поучительна. Прежде всего для тех, кто имеет то или иное отношение к литературному цеху, поучительна она и для всех вообще.

О ее приемах, стиле и, если так можно сказать, о ее технологии можно было бы говорить еще и еще, но мне не хотелось бы в этом разговоре переступить черту, которая отделяет литературное эссе от собственно литературоведения, литературоведения научного.

Скажу еще, что все в этой книге, в том числе и перевод (а ведь я представляю себе, насколько непростым было это дело), вызвало у меня полное доверие.

◆

Письма из-за рубежа

АТУКВЕЙ ОКАЙ

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ГАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Сегодня в литературе Ганы наблюдается большое оживление, вселяющее добрые надежды. Ганские писатели обращаются к важнейшим темам, смело «выворачивая наизнанку» всю нашу действительность; они стремятся распознать и проанализировать факторы, порождающие хаос в жизни нации.

Как и прежде, основной трудностью, с которой сталкиваются сегодня писатели Ганы, является отсутствие издательской базы: авторам приходится «пристраивать» свои рукописи за границей. Но напечатанные вне Ганы книги нелегко ввезти на родину из-за импортных и валютных ограничений. А если и удается доставить в Гану часть тиража, цена книги непомерно возрастает. Наше местное издательство вот-вот прекратит работу: не хватает бумаги, типографские расходы безумно высоки, дороговизна на книжном рынке приводит к тому, что готовая продукция не находит сбыта. Литературной периодики у нас также крайне мало, поэтому многое из написанного ганскими авторами так и не доходит до читателя.

Довольно действенным выходом из создавшегося положения стали чтения и вечера, организуемые в основном Ганской ассоциацией писателей. Поэзия иногда звучит также по местному радио и телевидению. Литераторы и представители других искусств стремятся к прямому и непосредственному общению с публикой, широкими массами страны. Отрадно, что среди творческой молодежи заметно качественно новое — ответственное и сознательное — отношение к общественным и политическим проблемам.

Если в годы прямой антиколониальной борьбы в нашей литературе преобладал боевой дух, свойственный освободительному движению, то теперь он сменился деловым тоном: основное внимание уделяется серьезному, вдумчивому разбору наших внутрисоциальных проблем. Анализируются такие наболевшие темы, как социальное неравенство, имущественные контрасты, нищета, коррупция, преступность среди несовершеннолетних... Таким образом писатели нашей страны своим творчеством постоянно участвуют в кампании за радикальные общественные перемены, улучшение жизни народа, выработку четкой программы развития на грядущие годы. Своим долгом они считают также — помочь народу в его героических усилиях оправиться от колоссального морального урона, понесенного в период колониального господства.

В полный голос заявляет о своей приверженности такого рода литературе творческая молодежь. Благородная гуманистическая традиция нашла яркое отражение и в прозе замечательного повествователя Айи Квеи Армы, чье имя лет десять назад стало известно далеко за пределами Ганы [1]. В русле этой традиции работают и младшие его товарищи по перу — Билл Маршалл и Кофо Янка.

Билл Маршалл — лауреат трех весьма престижных премий, которыми, как дома, так и за рубежом, отмечены творческие свершения этого литератора и режиссера, основателя и художественного руководителя театральной студии «Африкэн». Он опубликовал три пьесы: «Тень орла», «Чуждый невинности» и «Сын Умбеле» и два романа — недавно увидевший свет роман «Разрешение выжить» и вышедший ранее «Буком» (так называется один из районов Аккры, чем-то напоминающий Гарлем).

При чтении книги Билла Маршалла «Буком» прежде всего ощущаешь неподдельную любовь автора к своему народу,

[1] «ИЛ» публиковала романы А. К. Армы «Осколки» (1976, № 3, 4) и «Целители» (1982, № 1—3).

к простым людям. Писатель не отделяет себя от них, повествуя о бедах, страданиях и несбыточных мечтах обитателей городских гетто.

Атаа Кофо, герой романа, имеет одну лишь жизненную цель: построить в своем доме настоящий туалет «со смывом». Давным-давно он впервые увидел это «чудо» в доме белого человека, и с тех пор его преследует прекрасный образ белого унитаза и бачка с цепочкой!..

Атаа Кофо вырастил пятерых детей, отслужил в армии без единого взыскания, четверть века трудился в европейской торговой фирме. В день юбилея хозяева преподнесли ему золотую булавку для галстука, и Кофо чрезвычайно этим гордится. Даже то, что сын его, Аллоти, не без иронии хвастает перед отцом золотым браслетом, полученным в подарок от подружки всего на второй месяц знакомства, не омрачает праздничного настроения нашего героя.

Все эти долгие годы Атаа Кофо мечтал о мало-мальски приличной жизни, и вот мечты его приняли зрительный образ... унитаза, который для Кофо — символ веры в свои силы, мера собственного общественного веса и человеческого достоинства, наконец, признак реального, ощутимого и осязаемого национального освобождения, меняющего к лучшему жизненный уклад ганцев.

Уйдя на покой, Кофо целиком зависит от материальной поддержки детей. Все, что получает от них, он складывает в кубышку во имя осуществления грандиозного проекта. Как пишет младший из его детей, Чико, брату в Такоради, «отец готов выдрать из своей лысины последние волоски и загнать их, нашелся бы только покупатель. Он припрятывает все, что ты ему посылаешь для меня. Его невозможно убедить в том, что мое образование важнее унитаза... Но я не склонен его во всем винить... Он так предан своей мечте, точно вся его жизнь от этого зависит...»

В самом деле, целеустремленность Атаа Кофо сродни мечте гоголевского Акакия Акакиевича о новой шинели!

Кофо Янка, редактор газеты «Пиплз дейли грэфик», начал сочинять стихи и рассказы еще, будучи студентом. В годы учебы в Легонском университете он дважды — в 1971 и 1972 годах — становился лауреатом литературных конкурсов. Первый роман Янки «Перекрестки Анкобеа» вышел из печати в 1982 году и сразу стал по нашим масштабам «бестселлером»: уже распродано 15 тысяч экземпляров! «Перекрестки Анкобеа» служат иллюстрацией тому, каких усилий требует искоренение предрассудков в общественном сознании африканцев.

Когда после смерти вождя Анкобеа преемником покойного собираются назначить его племянника Квеси, студента университета, христианина, два старых друга Квеси, пользующиеся в городке немалым влиянием и авторитетом, резко выступают против, потому что «не доверяют этим ученым типам из университетов». «Такого еще не было, чтобы нами правил книжный червь, предки этого не потерпят!— твердят оппоненты Квеси.— Это все равно что посадить на наш трон белого!» Они отдают предпочтение младшему брату покойного вождя Йао Эссуману: он свой брат-крестьянин и никаких неожиданностей не преподнесет. А нынешняя молодежь, даже школьники, к традиционным обрядам относятся насмешливо, на народных праздниках ведут себя как зрители, глазеют на все свысока, засунув руки в карманы. Таков и этот университетский выкормыш. В прошлом году на празднике он со своими дружками пил, гулял и катал девушек в такси.

Кроме того, поползли слухи, будто Йао Эссуман испросил совета и помощи у чудодейственного оракула Окомфо Дуа и заручился его поддержкой.

На стороне Квеси — молодые люди, в том числе и священники, но их шансы на победу невелики, поскольку право избирать вождя принадлежит особому собранию «делателей королей», в которое входят одни старики. Три дня бурлит городок. Богатый отец Квеси, торгующий древесиной, устраивает шумные пирушки и открыто хвастает, что его сын вскоре выведет Анкобеа на путь прогресса и положит конец отсталости. Не надеясь, впрочем, на благоразумие старейшин, он подкупает выборщиков, платя каждому по 50 седи.

Последнее слово принадлежит «Омаху» — совету, состоящему из глав всех семи кланов Анкобеа и близлежащих деревень. На заседании «Омана» завязывается горячий спор, раздаются здравые голоса, призывающие учесть перемены, произошедшие в стране за годы независимого существования. Образование не должно служить помехой кандидату на трон. Ведь даже сам оракул Окомфо Дуа умеет говорить по-английски! Да и покойный вождь прекрасно изъяснялся на этом языке, что, кстати, мешало чиновникам обжуливать его подданных.

Голос благоразумия услышан — Квеси становится вождем, но вскоре после его избрания в городке разражается эпидемия, и приверженцы старых обычаев распространяют слухи, будто это кара богов: «Наш трон осквернен. Боги ждут очистительной жертвы. Если Анкобеа не поднесет им двух коров, жителей ждет неминуемая гибель». Тем временем местные колдуны лечат от недуга травами, якобы предписанными богами. Всего за двадцать мелких монет вам позволят обмакнуть палец в целительный отвар и размазать его по лбу.

Квеси убеждает подданных, что эпидемия свирепствует по всей стране, не только в их городке, что никаких жертв приносить не следует. Он сообщает, что провинциальные власти послали к ним медицинский отряд, прибытия которого следует ожидать со дня на день. Но враги обвиняют Квеси в небрежении жизнями подданных, и все торопятся воспользоваться «магическим снадобьем».

Квеси лишают трона, не помогает и заступничество церкви. «У Анкобеа нет будущего, — вздыхает христианский священник. — Квеси был божьим избранником. Не только городку, всей стране была бы польза от его просвещенного правления...»

Множество наболевших социальных вопросов ставит сегодня и поэзия Ганы.

Кобена Эйи Аква, например, пишет о том, что все мы как бы томимся в психологических оковах прошлого. «Поистине,— восклицает он, — бесконечен путь, если не ведаешь, куда идешь». Автор призывает к искренности и обретению правильных социальных ориентиров.

Эйи Аква по образованию адвокат. В качестве Генерального секретаря Ганской ассоциации писателей в 1979 году он представлял литераторов страны в Законодательной ассамблее. Лауреат ряда литературных премий. Его первый поэтический сборник «Человек, который умер» вскоре выйдет из печати в Аккре. Стихи, составившие сборник, охватывают широкий спектр тем. Думаю, что книга К. Э. Аквы явится важной вехой в развитии не только ганской, но и африканской поэзии в целом. В сборнике много глубоко лирических строк, посвященных любимой женщине, истории родины, ее сегодняшним проблемам.

Автор бичует тех, кто слепо повинуется чужеземной моде, бездумно переносит в Африку заморские порядки. Он сомневается в благах высокоиндустриального общества, где средством к выживанию служит лицемерие, где все люди вынуждены участвовать в «мышиных бегах».

Поэт считает, что никто не вправе вершить судьбами всего человечества либо объявлять лишь какой-то один день в году «днем всеобщей дружбы».

Если уж на то пошло,

...Пусть этот день станет началом
Дружбы на всю жизнь.
Раскроем ставни, распахнем ворота,
Снесем перегородки и заборы...[1]

В стихотворении, давшем название сборнику, — «Человек, который умер» — говорится, что умирают не те, кто помалкивают, а те, кто кричат, протестуя против неравенства, и посвящают каждый миг быстротечной жизни борьбе за свободу. Жизнь и смерть такого человека — пример бескорыстного самопожертвования, освещающего, подобно факелу, дорогу к прогрессу. Этот пример взывает к нашей совести!

Выходите, люди, объединяйтесь
Во имя благородной цели!

Факел этот указывает единственно верный путь во мраке насилия и терроризма, фашизма, несправедливости и лжи. Путь этот долог, но в конце его — заветная цель: нравственное и политическое обновление общества!

Поэт Кофи Аньидохо по окончании университета немало поездил по белу свету. Он читал свои стихи перед различными аудиториями в Гане, Югославии, Соединенных Штатах, печатался во многих журналах и антологиях. Ему присуждались весьма солидные литературные премии. Кофи Аньидохо написал также пьесу для детей, которая заняла первое место на конкурсе, устроенном Институтом африканских исследований при Легонском университете.

Его поэтический сборник «Элегия революции» был опубликован в 1978 году. В стихах, составивших сборник, с осуждением говорится о многочисленных государственных переворотах, нарушающих нормальную жизнь африканских стран. Такие мятежи, считает автор, устраивают те, кто движим властолюбием. И эти люди имеют наглость называть себя революционерами, негодует он. Фальшивые «революции» неизменно случаются на рассвете, но несут с собой не расцвет жизни, а гибель и муки...

В книге немало стихов, осуждающих различные социальные пороки. «Клятва року» бичует тех служителей веры, которые превратили религию в доходное предприятие; эти «гадкие и низкие душонки рядятся в бархатные одежды, прячут гнилые зубы в коронках из краденого золота, торгуют Библией и Евангелием оптом и в розницу». В стихотворении «Танец горбуна» разоблачается ханжество и лицемерие обывателей, оплакивающих кончину родственника, умершего в отчаянной нищете. Они не поскупились на устройство пышных поминок, проливают над покойным крокодиловы слезы, но при жизни отказывались прийти бедняге на помощь. Особое внимание Аньидохо уделяет всему тому, что разрушает истинные нравственные ценности народа, тлетворно влияет на отношения между людьми.

Современную драматургию Ганы, мне кажется, достойно представляют такие писатели, как Асиеду Йиренки, Эфое Мавуйе, Квеси Вуде, Мохаммед-ибн-Абдалла. О последнем скажу несколько слов.

Д-р Мохаммед-ибн-Абдалла чрезвычайно наблюдательный, серьезный, думающий драматург. Читает лекции на факультете театрального искусства Ганского университета. Действие его пьесы «Суд над Малламом Илией» разворачивается в выдуманной африканской стране Анга. Маллам Илия служит в мечети. Изменчивая судьба то возносит его к власти и почету, то швыряет за решетку. Все зависит от того, какая из политических группировок в данный момент у власти. В Анге было уже пять переворотов, пьеса начинается с шестого. Илия, до этого поднятый на гребень власти, теперь предстает перед судом. Хотя никаких злоупотреблений он не допускал, его обвиняют в том, что на высоком посту он ничего не сделал для облегчения участи масс и, таким образом, не оправдал оказанного ему доверия. Это равносильно измене. Лидер шестого переворота указывает на Илию как на средоточие всех самых отвратительных пороков и требует для него смертной казни. Театр превращается в зал суда, зрители участвуют в разбирательстве в качестве присяжных и свидетелей. Пользуясь приемом ретроспекции, автор обращается к наиболее значительным эпизодам биографии подсудимого, связанным с важными событиями в жизни государства Анга.

Устами своего героя автор утверждает, что ключ к решению многих нынешних проблем — в понимании их связи с ошибка-

[1] Цитаты из стихотворений в статье даны в подстрочном переводе В. Рамзеса. *(Прим. ред.)*

ми прошлых лет. Иносказательно он говорит о том, что судьбы прогресса нашей страны в значительной мере зависят от того, сумеем ли мы извлечь уроки из достижений и неудач периода правления первого президента Ганы.

В другой пьесе д-ра Абдаллы, «Приговор кобры», использован «рамочный» прием композиции: в начале ее ребенок просит бабушку рассказать любимую сказку. Эта сказка о близнецах, которые, подобно многим современным молодым, уходят из родной деревни на заработки, и составляет содержание пьесы. Много лет спустя братья возвращаются домой и ссорятся, не поделив невесту. И тогда священная кобра выносит приговор: один из них должен умереть!

Для ганцев, по мысли автора, эта сказка — метафора их собственной жизни. Единство нашего народа нельзя декларировать законодательным актом, оно зиждется на естественном братстве. Для материродины все сыновья равны и одинаково ею любимы; все они один народ с единой судьбой.

Одна из важных тем пьесы — осуждение тех представителей нового поколения ганцев, которые поклоняются худшему из заимствованного у иноземцев. Автор разоблачает их антиобщественную позицию, стяжательство, непомерное тщеславие, угрожающее самому существованию нашей нации. Корысть и себялюбие сегодняшнего поколения могут иметь трагические последствия для будущего страны, не следует забывать древнюю мудрость: «Детям приходится расплачиваться за грехи отцов».

Финал возвращает нас к началу пьесы: ребенок просит бабушку поведать сказку о близнецах всем людям, он бьет в барабан, созывая слушателей, но мало кто откликается на призыв, сказка всем уже успела надоесть. Обращаясь к тем, кто все же пришел на зов барабана, бабушка говорит: «Дети мои, я рада вам! Знаю, что вам наскучили мои россказни, но послушайте их еще раз—ради этого ребенка! Говорят, он не в своем уме. Но разве в таком возрасте дети бывают более разумны? Ведь моему внуку доступен язык всех племенных барабанов — от севера до юга!..»

Итак, я постарался показать на некоторых примерах, что современная ганская литература стремится поддерживать важные социальные и эстетические принципы, что она взывает к нашей совести и сознательности перед лицом испытаний. Среди всех жизненных бурь и перипетий эти нравственные устои призваны удержать людей вместе, вести народ по верному пути, помочь воплотить в жизнь наши самые сокровенные мечты. В то же время наши писатели предупреждают об опасностях, могущих столкнуть общество на путь деградации и гибели. В литературном творчестве мы видим одно из средств добиться подлинного освобождения и помочь народу сбросить оковы.

г. Аккра

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

◆

Культура и современность

«ЗА ЕДИНСТВО ВОЛИ И МЫСЛИ ПИСАТЕЛЕЙ АЗИИ И АФРИКИ»

Краткий обзор специального номера журнала «Лотос»

В одном из бейрутских зданий, разрушенных израильскими бомбами и снарядами, помещалась редакция «Лотоса» — литературного ежеквартальника Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Но и лишенная крова, она продолжала действовать. По рекомендации редколлегии руководитель журнала пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз и его первый заместитель палестинец Муин Бсису[1] начали готовить специальный номер, посвященный проблеме Палестины и трагедии в Ливане. Работать было нелегко.

«Чернила краснели от крови, бумагу окутывал дым, стихи мешались с землей окопов, перекликаясь с дробью автоматов в руках палестинских бойцов»,— образно писали они потом в редакционной статье.

Часть материалов была собрана или заново написана в условиях осажденного Бейрута, но весь номер удалось закончить и выпустить на арабском языке только в Тунисе, куда редакция перебазировалась по приглашению Союза тунисских писателей. В конце сентября минувшего года, в день открытия в Ташкенте конференции писателей Азии и Африки, приуроченной к двадцатипятилетию Ассоциации, первые экземпляры этого прекрасно оформленного, безупречного с точки зрения полиграфического исполнения номера были в руках у делегатов и гостей. А спустя два месяца в Берлине, при содействии Комитета солидарности с народами Азии и Африки в ГДР, этот номер вышел на английском языке.

Материалы, опубликованные в нем, как сказано в редакционной статье, должны *«способствовать укреплению солидарности с национально-патриотической культурой арабов, единству воли и мысли прогрессивных писателей Азии и Африки». Статья призывает к «совместным действиям всех, кому дорога их собственная национальная культура, которая тоже может оказаться под угрозой фашистской агрессии».*

Художественный отдел этой, пятьдесят второй по счету, книжки «Лотоса» целиком предоставлен поэзии. В нем напечатаны: поэма палестинцев Махмуда Дервиша и Муина Бсису «Письмо израильскому солдату» (это произведение известно советским читателям по переводу, опубликованному в восьмом номере «Иностранной литературы» за 1983 год), поэма палестинца Самиха аль-Касема «Блокада», отрывок из поэмы иракца Саади Юсефа «Мариам придет», стихи пакистанца Фаиза Ахмад Фаиза «Бейрут», вьетнамца Май Ван Тао «Прощание», тунисца Мустафы Ферси «Гнев Бейрута», сирийца Аймана Абсу Шаара «Белые лебеди покидают Бейрут», ливанки Зейнаб Битар «Колокола ностальгии», поэта из Сьерра-Леоне Колосы Джона Каргбо «Палестина», пакистанца Эмея «Слишком много мучеников» и казахского поэта Мухтара Шаханова «В защиту поэзии, или Три минуты молчания в память о палестинцах, павших в борьбе за свободу».

О содержании этих произведений говорят их названия. Пронизанные пафосом протеста против варварской агрессии империализма и сионизма, скорби о безвинно погибших, солидарности с героями Сопротивления, они впечатляют своей достоверностью, художественной убедительностью.

Много места уделено в номере публицистике, очерку, памфлету, документам. Из материалов этого отдела хочется выделить

[1] Когда эта статья готовилась к печати, пришла весть о безвременной смерти Муина Бсису — выдающегося поэта, лауреата премии «Лотос», активного деятеля афро-азиатского писательского движения. *(Прим. ред.)*

очерк иракца Саади Аль-Малеха[1] «Герои форта Шкеф», рассказывающий о том, как небольшой отряд палестинских бойцов, занявший эту древнюю цитадель, в течение многих дней отражал яростные атаки нескольких моторизованных бригад израильской армии, имевших в своем распоряжении современную американскую авиацию, танки, ракетную технику. Крепость Шкеф была взята ценою огромных потерь и лишь после того, как ее героические защитники либо погибли, либо получили тяжелые ранения.

Гневом и возмущением пронизана статья марокканца Мохаммеда Баррады «Заговор геноцида». Гневом по адресу идеологов сионизма и израильских правителей, объявивших «священную войну за Великий Израиль» и призывающих устно и печатно к поголовному истреблению арабов, не щадя даже младенцев; возмущением—против тех арабских режимов, которые хотели бы остаться в стороне от справедливой борьбы.

«Палестинцы и ливанцы сражаются в одиночку, без участия других арабов и их ударной военной мощи, — пишет он. — Даже средства информации скрывают от арабских народов истинные масштабы агрессии, интенсивность бомбардировок и обстрелов, все те ужасные преступления, жертвами которых становятся тысячи ни в чем не повинных людей. Поступающая информация сглаживается, ей придается «объективистская» тональность, вследствие чего народы арабских стран остаются в полном неведении относительно реально существующего заговора геноцида».

С содержательными статьями выступили в этом номере Алекс Ла Гума — известный южноафриканский писатель, вновь избранный на конференции в Ташкенте генеральным секретарем Ассоциации писателей стран Азии и Африки, советские писатели Чингиз Айтматов, Анатолий Софронов, Расул Гамзатов, индийский писатель Гулам Раббани Табан, афганский — Вассеф Бахтари и другие.

Турецкий сатирик Азиз Несин озаглавил свою статью «Объединенные или разъединенные нации». *«Читая сообщения о страданиях братского палестинского народа, — пишет он, — я задаю себе вопрос: какая польза человечеству от Организации Объединенных Наций, если она способна закрыть глаза на то, как целый народ изгоняется с родной земли, если она допускает беспрепятственный захват страны? Ясно, что ООН не выполняет своей задачи».* Азиз Несин взывает к голосу совести самих граждан Израиля. *«Я провожу четкую грань, — говорит он, — между правителями Израиля и его народом — во всяком случае, некоторыми слоями израильского общества. Подобно тому как в гитлеровской Германии существовали немцы-антифашисты (правда, они были вынуждены молчать), так и в нынешнем Израиле и других странах мира, должно быть, есть евреи-гуманисты, евреи-антисионисты. Я хотел бы слышать их голоса на каждой международной ассамблее писателей, на каждом собрании в защиту мира».*

Понятна горечь турецкого писателя, который и сам пострадал от политических репрессий у себя на родине. Ответом на его слова могут служить другие публикации этого номера «Лотоса». В статье А. Софронова «Это никогда не будет забыто», в частности, говорится о том, что не только прогрессивная общественность, но и некоторые дальновидные государственные деятели Израиля потрясены теми поистине фашистскими методами, к которым прибегает на оккупированных арабских территориях охваченная шовинистическим угаром израильская военщина.

Что касается Организации Объединенных Наций, то она отнюдь не закрывает глаза на преступления сионизма. В номере опубликована, например, выдержка из резолюции XXX сессии Генеральной ассамблеи ООН от 10 октября 1975 года, которая осудила сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации». В резолюции говорится, что расистский режим в оккупированной Палестине и расистские режимы в Зимбабве и Южной Африке имеют одинаковое империалистическое происхождение, составляют единое целое, обладают одинаковой расистской структурой и являются органически связанными в своей политике, направленной на подавление достоинства и неприкосновенности человеческой личности. В другом документе ООН говорится, что аннексионистская политика правительства Израиля в отношении временно оккупированных территорий противоречит «духу и букве» четвертой Женевской конвенции. Все дело в том, однако, что Совет безопасности из-за обструкционистской политики США до сих пор не принял действенных мер по обузданию агрессора. Да и чего можно ждать от Соединенных Штатов, если они сами стали непосредственными участниками опасной авантюры в Ливане? Ныне весь мир осуждает интервенционистский курс США. Даже в Соединенных Штатах все громче раздаются голоса протеста против безответственной, авантюристической политики Белого дома и Пентагона на Ближнем Востоке. Многие здравомыслящие политические деятели Америки открыто заявляют, что урегулирование в Ливане возможно лишь политическими средствами, а отнюдь не военными и что обострение напряженности в этом регионе вызвано в первую очередь отказом США признать законные права арабского народа Палестины.

Несмотря на серьезные трудности, журнал «Лотос» живет. Следом за книжкой журнала, посвященной проблеме Палестины и трагедии в Ливане, вышел 53-й номер, в центре которого — материалы, посвященные памяти великого турецкого поэта Назыма Хикмета, одного из основателей афро-азиатского писательского движения. В планах редакции на ближайшее время — выпуск номера, обозревающего итоги Конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте.

К. ЧУГУНОВ

[1] Его «Бейрутский дневник» опубликован в «ИЛ» № 2 за 1983 год.

◆

Публицистика

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ

ЗВЕЗДНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ

«Эра информатики», «Новая технологическая революция», «Пятое поколение компьютеров»... Переполняющая газетно-журнальные полосы реклама назойливо предлагает обзавестись электронным помощником, который в два счета разрешит все жизненные проблемы. Цветное фото Айзека Азимова, снятого в полный рост рядом с электронной системой, предназначенной специально для писателей, обошло чуть ли не все иллюстрированные еженедельники.

В салоне бытовых компьютеров и впрямь может примерещиться, что чуть ли не вся Америка живет по лазерным часам двадцать первого века. Зато полуподвальная лавка где-нибудь в Бруклине, в которой бойко торгуют атрибутикой для черной магии и всевозможных гаданий, мгновенно нацелит воображение на эпоху «черных месс» и костров инквизиции. Прошлое и будущее, великое и ничтожное, трагическое и жалкое — все это удивительным образом сосуществует друг с другом, переплетаясь сложными разветвлениями побегов и корневищ. Недаром говорят, что в капле воды отражается мир.

Есть в Нью-Йорке на углу Восьмой авеню и снискавшей сомнительную известность Сорок Второй улицы небольшой магазинчик, торгующий преимущественно игральными картами. Именно там мне дано было явственно ощутить пересечение разнонаправленных мировых линий, когда под влиянием обезумевшего часовщика сходят с ума часовые стрелки. Впрочем, как верно заметил еще Шекспир, и в безумии может скрываться своя логика.

Внимание привлекла новинка: набор колод для ультрасовременного покера, подсчет очков в котором ведется на тротиловые мегатонны и многопорядковые числа человеческих жизней.

Четыре туза, например, эквивалентны массированной ядерной бомбардировке большой страны, «стрит» или же, скажем, полная масть позволяют счастливому игроку уничтожить население целого континента. Милая забава, не правда ли? Переосмысливая зловещие события последнего времени, невольно приходишь к выводу, что иные причастные к политике деятели недалеко ушли от среднестатистического обывателя, на которого сделали ставку короли индустрии развлечений. О моральной стороне я уж и не заикаюсь.

Стоит, однако, задуматься о том, какие силы заинтересованы в столь обескураживающем растлении общественного сознания, кому на руку «тихие» игры за ломберным столиком в радиоактивный геноцид?

По иронии судьбы рядом с «мегатонной» колодой лежала другая — «эзотерический тарот» в семьдесят восемь листов с полной средневековой труппой: магом и жрицей, смертью и дьяволом, планетами, стихийными силами и даже страшным судом. Эти гадальные карты, густо напичканные астрологической и каббалистической символикой, известны, как считают специалисты, с XIV века. Во всяком случае, я встречал их на старинных полотнах, выставленных в Прадо и Хофбурге. Чьей же волей было реанимировано и размножено в тысячах копий дремучее колдовство, о котором успели позабыть даже ученые-медиевисты? Кому понадобилось распространять эту наркотическую забаву, эту отъявленную заумь, никак не отвечающую ни стилю, ни ритму современной жизни?

Сами собой выстраиваются определенные соответствия. Фишки на зеленом сукне, где идет кощунственный торг, и реальные ракеты с реальной боеголовкой, способной испепелить миллионный город. Карты игральные и карты стратеги-

ческие. Готические таблички с колдовскими знаками и устремленные в небо древние шпили Европы, поделенной на берегах Потомака на мифические зоны «локальных» конфликтов, а по существу уготованной на заклание вместе с тысячелетним прошлым, легендами, забытой серебряной стариной.

Лет восемь назад один довольно популярный в США астролог предсказал на 1999 год конец света. Он, видимо, позабыл или же вовсе не знал о том, что подобный «прогноз» имел место добрую тысячу лет назад. Но если в 999 году одержимые суеверным страхом европейцы могли ожидать неведомых всадников Апокалипсиса, то в современном мире страхи персонифицируются куда более конкретно. В сегодняшней Америке астрологи, держа нос по ветру, все чаще предсказывают ядерную войну.

Мы далеки от того, чтобы подозревать нынешнюю вашингтонскую администрацию в личной причастности к такой, в сущности, жалкой малости, как покер или приоткрывающий завесы грядущего пасьянс. Уловив дух времени, ощутив некий общественный спрос, индустрия развлечений, конечно же, ответила спонтанно, не дожидаясь особых инструкций. Бизнес, как правило, решает свои проблемы и оперативно, и самостоятельно. Это своеобразный общественный барометр, реакция которого нуждается в серьезном анализе. Суть в том, что духовное помрачение, атмосфера бесстыдного пира во время чумы — симптомы глубочайшего недуга, соматически, как говорят медики, связанного с далеко зашедшим синдромом ядерного безумия.

Выделим в этом зловещем диагнозе две наиболее типичные разновидности, которые можно условно назвать «психозом звездных войн» и «дьявольской лихорадкой».

Два лика Горгоны Медузы

На одном из недавних всемирных конгрессов научных фантастов в рамках впечатляющей выставки радиоэлектронных новинок можно было ознакомиться с технологией создания современной космической сказки.

На гигантском дисплее специально сконструированного компьютера можно было наблюдать, как вспыхивал, разлетаясь на куски, разогретый до белого каления голубенький шарик со знакомыми до боли очертаниями материков. Компьютер, куда информацию о нашей планете ввели вместе с данными о простейшей реакции алюминотермии, сам синтезировал обобщенный образ. Поэтому так ошарашивающе натурально выглядела Земля, как бы взорванная из космоса. Специалисты по электронике подробно, этап за этапом, объясняли, как создавались самые головоломные трюки для фантастических фильмов. Это было занятно, хотя образ расплавленной оболочки и мгновенно испарившихся океанов оставлял в душе тягостный осадок.

Современная фантастика буржуазного Запада все более отчетливо излучает направленный поток напряженности и страха. Распад общества, отчуждение отцов и детей, угроза тотальной термоядерной войны, гибель цивилизации. Это повседневный кошмар и постоянно тлеющий в потаенных глубинах подсознания очаг возбуждения. Смутные кошмары, которые лишь мерещились Брэдбери в пятидесятых годах, обернулись реальностью в семидесятых. Пожарные-поджигатели, ставшие символом присущего капитализму отчуждения, уже плохо вписывались в реально подступающий мир сплошной кибернетизации. К тому же призрак надвигающейся иерархической олигархии и несвободы стал приобретать все более конкретные и осязаемые черты.

Американские фантасты создавали новый совокупный мир, в котором зерна реальной угрозы дали страшные всходы. Вот его основные характеристики: чудовищная скученность обитателей городов-казарм, утрата таких чисто человеческих качеств, как любовь, милосердие, наконец, простая порядочность, резкое понижение стандарта жизни, полное порабощение личности и даже уничтожение отработавших свой срок «человеко-единиц». Менее всего такая фантастика занята проблемами и идеями науки. Утратив последние надежды на светлое будущее, она даже не пытается заглянуть за горы времени.

Нынешняя научно-техническая революция предстала в неразрывном единстве с коренными социальными преобразованиями, круто изменившими облик мира. Наивные чаяния, будто научно-технический прогресс, подобно чудодейственному компасу, проведет старый добрый корабль капитализма через все рифы и мели, развеялись. Успехи программы «Аполлон» и синтез первого гена не сняли проблем бедности и безработицы, электронно-вычислительные машины и третьего и четвертого поколения не уберегли валютную систему капиталистического мира от потрясений. Одним словом, победы науки и торжество техники не излечили социальных язв. Скорее, напротив, еще сильнее растравили их.

Бездушие и отчужденность, которые нес с собой ранний капитализм, в современном капиталистическом обществе оборачиваются напряженностью, ужасом, страхом, готовыми вспыхнуть в любую секунду. Поводов более чем достаточно: расовые волнения, зверские эксцессы на почве наркомании или просто нечто непонятное, что лишь случайно персонифицировалось в стальном фетише машинной цивилизации, пугавшем некогда темных приверженцев англичанина Лудда.

Мысль о том, что искусство является зеркалом общества, а фантастика может быть уподоблена зеркалу гиперболическому, вряд ли покажется новой. Уже по самой природе фантастике свойственно гиперболизировать реальность, собирать ее отраженный свет в дымящийся фокус своей преднамеренной кривизны.

«Я стал молиться, чтобы все люди исчезли из города,— писал в шестидесятые годы Дж. Д. Сэлинджер, художник поразительной чуткости и душевной чис-

тоты,— чтобы мне было подарено полное одиночество, да, одиночество. В Нью-Йорке это единственная мольба, которую не кладут под сукно и в небесных канцеляриях не задерживают: не успел я оглянуться, как все, что меня касалось, уже дышало беспросветным одиночеством»[1].

Это, так сказать, свидетельство, причем взятое непреднамеренно, почти наугад, из произведения писателя-реалиста. Попробуем сопоставить его со столь же беглым наблюдением фантаста, увидевшего в серебристой параболической глубине мгновенные черты аборигенов одного из многих миров «Солнечного кольца».

«Это были лица людей, которые и минуты не могли пробыть наедине с собой, лица усталых людей, не сознающих своей усталости, лица испуганных людей, не подозревающих о собственных страхах... Всех этих людей грызло неосознанное беспокойство, ставшее составной частью жизни и заставлявшее искать какие-то психологические щиты, чтобы укрыться за ними»[2].

Как видим, в данном случае фантасту даже не пришлось добавлять галактические мазки к сугубо реалистическому портрету своего современника.

Аналитическое исследование прорастающих зерен будущего неизбежно дает некий неожиданный результат, который очень часто «сбывается». Здесь нет никакого чуда, если не считать чудом самое искусство. Потому что именно искусству присущ обобщенный мгновенный синтез, который наука достигает кропотливым и долгим путем.

Поразительны соответствия между непреднамеренными пророчествами фантастов и запланированными прогнозами футурологов. Порой футурологи, как, например, Роберт Юнг, даже отдают фантастике пальму первенства в прогностическом плане.

Трагические коллизии повседневности заставили многих западных футурологов пересмотреть свои прогнозы, отбросить ставшие традиционными представления о «неограниченном прогрессе», «научно-техническом чуде» и даже о «безбрежной свободе личности».

Так, Герман Кан приходит к тому, что одна лишь усложненность высокоорганизованного общества 2000-го года потребует радикальных качественных перемен. В частности, они выразятся в том, что личная свобода будет ограничена все более жесткими рамками. Благо прогресс техники дает для этого невиданные прежде возможности.

Однако главный предмет данных заметок — не состояние серьезной, зарубежной, прежде всего американской, фантастики, но пропагандистские поделки, паразитирующие на ее теле.

■

[1] Дж. Д. Сэлинджер. Повести и рассказы. М., 1965, с. 220.

[2] Клиффорд Саймак. Кольцо вокруг солнца. М., 1982, с. 100.

Предвидение возникает на стыке знания и воображения, на неуловимой грани, где наука и реальная действительность тесно смыкаются с искусством. Если же искусство подменяется заданностью, а научный анализ уступает место «желтой» пропаганде, то нечего ждать и сколь-нибудь верных прогнозов. Именно здесь пролегает граница между собственно научной фантастикой и пропагандистским суррогатом, созданным для оглупления масс.

Произведения серьезных авторов ныне теряются в волнах так называемой «нечистой фантастики», вторичной, беззастенчиво эксплуатирующей чужие находки, зачастую вообще лежащей за пределами искусства. Это низкосортная бульварная продукция книгопечатания и экрана, наполненная ожившими трупами, призраками, всяческими монстрами, зверскими убийствами и порнографией. Она призвана не столько развлечь, сколько оглушить читателя, посеять страх и неверие в свои силы, в самую возможность общественного прогресса.

Принято выделять три основные разновидности подобных поделок: серию ужасов и чудовищ с населяющими ее инфернальными страшилищами, гигантскими радиоактивными насекомыми, которые либо обрушиваются на Землю из космоса, либо подстерегают людей на далеких планетах; серию безумных ученых, на разные лады воспевающую маньяков, грозящих уничтожением мира; и, наконец, серию вселенских катастроф, которым буквально нет числа. Здесь и столкновение с кометой из антивещества, и гибель Земли в волнах космического газа, и тривиальное вторжение адских ратей. Часто подобные кошмары являются не чем иным, как возрождением на атомном и космическом уровне самого махрового оккультизма. Отсюда нездоровая тяга ко всяческой мистике, рядящейся в самые разнообразные одеяния — от доминиканских сутан до черной униформы СС.

По самой своей природе фантастика никогда не была нейтральной по отношению к проблемам идеологической борьбы. Однако в последние годы водораздел между направлениями прогрессивной научно-фантастической мысли и реакционной квазифантастики «массовой культуры» обозначился особенно резко. Тотальное навязывание концепций будущего в расхожем варианте американского «масскульта» приняло ныне поистине глобальные масштабы, захватив все виды массовой информации: книги, кино, телевидение, театр, прессу, рекламу. Законченное воплощение получила ныне и тенденция, подмеченная еще в начале семидесятых годов (в статье А. Беляева «Фантастика в кривом зеркале советологии»[1]), использовать фантастику в откровенно антисоветских целях.

Сравнительно недавно по американскому телевидению был показан фильм под названием «Третья мировая война». Эта телестряпня была напичкана грубейшими антисоветскими вымыслами — та-

[1] См. «Правду», 1972, № 74.

кими, как «вторжение» на территорию США, «нанесение Советским Союзом ядерного удара» и т. п. Кадры этого четырехчасового боевика изобилуют картинами рукопашных схваток между советскими и американскими солдатами, разного рода жестокостей в отношении американского населения.

Вот один из эпизодов: транспортный самолет, проносящийся над безжизненной снежной пустыней, выбрасывает десант. Едва приземлившись, десантники выстраиваются в боевом порядке. Идут титры: «Место действия — Аляска, время — будущее...» Становится ясно: Соединенные Штаты подверглись агрессии. Но кто агрессор? Вместо ответа камера крупным планом демонстрирует красные звезды на меховых шапках десантников.

Так же — в лоб — втолковывают зрителям, зачем русским понадобилась агрессия: оказывается, для того, чтобы захватить аляскинские нефтепроводы и, посадив Америку на голодный энергетический паек, поставить Вашингтон на колени.

Вот по существу и весь примитивный сюжет.

Провокационная суть затеи ясна — подстегнуть и без того накаленную антисоветскую военную истерию. Не гнушаясь грубых подделок, авторы фильма открыто пропагандируют идеи ядерной войны между США и СССР. Эта беспрецедентная акция стала возможной лишь в условиях нагнетания официальным Вашингтоном оголтелого антисоветизма и военного психоза. Телевидение выполняло «социальный заказ», усугубляя своей кинофальшивкой милитаристскую атмосферу, которую Вашингтон раздувал в стране, дабы закамуфлировать собственные совершенно конкретные милитаристские устремления.

«Третья мировая война» знаменует собой очередной виток в использовании фантастики в качестве мощнейшего средства массовой пропаганды. Надо ли говорить, что и этот телефильм, и всевозможные «сценарии» третьей мировой войны, зачастую оформленные под беллетристику, и даже пресловутый ядерный покер не являются в данной системе изолированными звеньями?

Изнанка «звездных сказок»

Превзойдя все известные доселе коммерческие рекорды, по экранам многих стран мира огненным вихрем пролетел фильм «Звездные войны», отснятый Джорджем Лукасом на студии «XX век — Фокс». Казалось, для пустых еще вчера кинозалов наступил золотой век. Люди часами сидели на спальных мешках, дожидаясь своей очереди. Билеты перепродавались по пятьдесят долларов и выше. Всем хотелось поскорее посмотреть немудреную сказку про юного Джедая, освобождающего прелестную принцессу из лап терроризирующей галактику гангстерской шайки, которой командует чудовищный дракон, и спасающего от уничтожения нашу планету. По самым скромным подсчетам, фильм просмотрело свыше миллиарда человек. Многие из них стремились вновь и вновь погрузиться в магию межзвездной бездны, столь виртуозно воспроизведенной компьютером.

На волне невиданного успеха не замедлила возникнуть новая кинокомпания «Лукас-филм», поставившая на службу индустрии грез суперсовременную электронную технику. Невзирая на традиционный «хэппи-энд» и все развязанные узлы сюжета, появилось продолжение «Звездных войн» — супербоевик «Империя наносит ответный удар», за которым не заставила себя ждать и третья лента — «Возвращение Джедая».

Мне довелось увидеть ее минувшей осенью в Балтиморе, где проходил сорок первый конгресс научных фантастов англоязычных стран, собравший восемь тысяч участников. Впрочем, не о фильме речь. Поражало другое: власть моды, турбулентность очередного поветрия. Впечатление было такое, будто вся молодая Америка очертя голову ринулась в маскарадные забавы.

По залам и коридорам грандиозного «Конвеншн-холла», где в двадцати аудиториях обсуждались проблемы, так или иначе связанные с будущим человечества, сновали десятки стереотипных «принцесс», «Джедаев» в средневековых плащах, толпы полуголых «волшебниц», целые роты «космических стражей» в черной униформе, «монахи», «инопланетные чудовища» — словом, все персонажи, размноженные в изобильном наборе копий. Поэтому никто ни на кого не обращал внимания. Даже роботы, которым в звездной сказке отводится весьма важная роль, катясь на урчащих колесиках сквозь разряженные сонмища, не привлекали любопытных взглядов. Напрасно мелькали неоновые лампы и надрывались вмонтированные в золотистый кожух динамики, старательно воспроизводя выстроенные синтезатором слога речи. «Будущее», разумеется в его специфически американском варианте, буквально путалось под ногами, не вызывая иных эмоций, кроме скуки и пресыщения.

Да и может ли быть иначе, если магазинные полки ломятся от сувенирной «Лукас-продукции». Куколки с лицами полюбившихся героев и противостоящих им сил, средневековые и лучевые мечи, атомные пистолеты и звездолеты, майки и книги, видеокассеты и значки, талисманы и механические — один к одному — модели. Я уж не говорю о реквизите. Костюмы, плащи, кокетливые золотые кружочки взамен лифчиков и соответствующая каждому образцу обувь. Какая-нибудь минута — и всякий желающий, выбросив, разумеется, недельную зарплату, может стать олицетворенным кумиром киногрез. Возникло даже движение «Братство рыцарей Джедая» с «генералом», на манер иезуитского ордена, во главе и шестью степенями «посвящения». Немудрено, коли «Джедаев» этих пруд пруди и от полуголых девиц с золотыми змейками на груди некуда деться.

Впрочем, забавы забавам рознь. Недавнюю киноленту «Военная игра», где предприимчивый подросток, подключившись к секретному компьютеру Пентагона, чуть было не спровоцировал термоядерную войну, американцы смотрели всерьез. Слишком похоже было на правду. Особенно в накаленной атмосфере тех дней, когда все средства массовой информации раздували страсти вокруг инцидента с южнокорейским лайнером.

Что же касается последовавшего вскоре телевизионного фильма «На следующий день», поставленного компанией «Эн-Би-Си», то он поверг Америку в состояние шока. Шестьдесят миллионов зрителей могли видеть на своем домашнем экране, чем кончаются ракетные распасовки на сегодняшнем глобусе. Пример типичного американского городка, типичной американской семьи, ввергнутой в огненный «холокост», произвел столь кошмарное впечатление, что президент Рейган счел необходимым выступить по телевидению с неуклюжими оправданиями проводимого им курса.

Фантастика в США — дело весьма серьезное, ее влияние на общественное мнение исключительно велико. Книги — полторы тысячи названий ежегодно,— десятки фильмов, реклама и многомиллионный сувенирный бизнес. Не случайно курсы научной фантастики читаются почти во всех высших учебных заведениях и колледжах. Есть даже специальные учебники, предназначенные для университетов и школ.

Неудивительно, что фантастика стала и стратегическим оружием тотальной пропаганды. Кстати, первыми это поняли и со всей трезвостью оценили научные эксперты «Лукас-филм», тесно связанные с могущественными электронными корпорациями.

Свидетельством тому служит и такой факт, как участие в работе Балтиморского конгресса высокопоставленных армейских чинов, причастных к атомным и военно-космическим программам. И это тем более характерно, что тематика форума выходила далеко за рамки собственно научной фантастики. Из одиннадцати лекционных потоков литературе как таковой, в том числе и модным поделкам на темы магии и вампиризма, было посвящено только два. Да еще в одной аудитории любители —«фэны»,— демонстрируя друг перед другом «звездный» реквизит, обсуждали животрепещущие вопросы, вроде: «Сохранится ли в будущем порнография?» Зато проблемам, связанным с космосом, и перспективам наиболее радикальных научных разработок было отведено четыре постоянно задействованных аудитории, где лекции и дискуссии продолжались целый день, с кратковременным перерывом на чашку кофе.

Центральным событием программы «Спейс I», или первого лекционного потока по теме «Космос», явились многочасовые дебаты по поводу милитаризации космического пространства. Они проходили при переполненной аудитории и транслировались сразу по нескольким телевизионным каналам.

Застрельщиком завязавшейся во время дебатов ожесточенной полемики выступил бывший начальник разведки Пентагона, ныне военный бизнесмен генерал Д. Грэхем. Невысокий, подтянутый, с седым чисто армейским ежиком, он орал в микрофон, словно выкрикивал команды на плацу. И то обстоятельство, что его отрывистая громкая речь была далека от заурядной солдафонской стилистики, лишь подчеркивало ее чудовищный смысл. Под логическими фигурами, нарочито отстраненными от реальных коллизий века, явственно прослеживались бездушные компьютерные построения. Стратегическая ЭВМ — не на экране, в жизни — продолжала вести безумные игры, подталкивая мир к огнедышащей бездне. Сухой инженерный язык, многопорядковые числа, за которыми скрывались жизни конкретных людей, невольно заставляли вспомнить набившие оскомину «Звездные войны». Казалось, что с трибуны под блицы фотокорреспондентов выступает не человек из плоти и крови, не землянин, а некий «дракон» из галактической империи или робот, принесший ультимативное послание с пиратского сверхзвездолета, взявшего нашу маленькую планету на прицел.

Впервые я видел в такой непосредственной близости рафинированного «ястреба», но не кондового политика, плетущего бессмысленные фигуры, а математика, инженера.

Программа, с которой в целях рекламы для выколачивания дополнительных средств ознакомил — пока речь идет о частной инициативе — общественность Грэхем, носила ошарашивающее название «Хай фронтир», что значит «Высотная граница». В проспекте, к которому был приложен отрывной чек, в коем значились цифры в 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 5 и, наконец, кто сколько может долларов, она объявлялась «Новой национальной стратегией».

Рекламные заголовки, обращенные не столько к сердцу и разуму, сколько к кошельку, были выдержаны в традиционном стиле: «Неядерный ответ на ядерную угрозу», «Высокая технология в ответ на экономическую угрозу», «Стратегия надежды для американцев и всего свободного человечества».

Проект «Хай фронтир» предусматривает вывод на стационарные орбиты 432 сторожевых спутников, начиненных неядерными ракетами, предназначенными для уничтожения неугодных космических аппаратов.

Спутники-жандармы, спутники-истребители, поразительно похожие на барабаны излюбленного американским кинематографом револьвера системы Кольт, выскакивали, как чертики из табакерки. Вместо полудюжины патронов тридцать восьмого калибра они были начинены полусотней автономных ракет, способных, следует обратить внимание, нести и ядерную боеголовку.

Едва ли у кого-нибудь из слушателей возникли сомнения насчет этой лихой схемы, рассчитанной на 10 лет и «оцененной» в 60 миллиардов долларов.

«Стратегия надежды» обернулась стратегией агрессии, предназначенной для предотвращения возмездия после нанесения первого удара. Она превосходно вписывается в уже существующие системы, на вооружении которых находятся спутники-убийцы, ракеты, которые можно запустить на высоте 29 км с истребителей F-15, боевые космические корабли многоразового действия, лазерное оружие, пучки заряженных частиц и прочие творения архисовременной научной мысли.

О мирных инициативах Советского Союза, о нашей обширной программе мирного космоса, вынесенной на рассмотрение всех народов Земли, генерал, разумеется, даже не обмолвился.

К чести многих американских коллег по перу, «стратегия надежды» вызвала в их среде негодующую реакцию. Проект «Хай фронтир» подвергся уничтожающей критике как со стороны писателей, причем таких крупных, как Джо Холдеман, так и ученых. Один из руководителей программы «Аполлон» доктор Р. Боумен не оставил от нее камня на камне, развеяв вздорные надежды на высосанное из пальца «технологическое отставание» Советского Союза от США.

— Вспомните, как было с бомбой!— раздался возмущенный выкрик из зала.— Тогда тоже говорили, что Россия отстала на десять лет.

— Выброшенные деньги,— проворчал сидевший рядом со мной профессор Хасслер из Кентского университета.— На ветер, в космический вакуум.

— Причем крайне опасно выброшенные,— уточнил крупнейший английский фантаст Джон Браннер.

Дискуссия, в которой участвовали ученые и писатели — Б. Бова, Д. Бин, Д. Уэбб, К. Минел и К. Расин,— затянулась до позднего вечера. Так или иначе, но почти все выступавшие, на каких бы позициях они ни стояли, сходились в одном: никакое, даже самое дорогостоящее оружие не может дать подлинной безопасности. Разрядке, разоружению поистине нет разумной альтернативы.

На фоне разнузданной антисоветской пропаганды, которая лилась с телевизионных экранов, это был ободряющий признак. Американцы — а в Балтиморе собрался весь цвет творческой и научной интеллигенции—не потеряли присущего им здравого смысла. Может быть, именно поэтому аудитория встретила жизнерадостным смехом и горячими аплодисментами реплику гостя из Испании.

— Вы рассуждаете так,— бросил он генералу,— словно кроме США и СССР никого больше нет. Но нас, остальных, на Земле четыре миллиарда! Мы тоже хотим участвовать в решении своих судеб. Космос принадлежит всем.

Очень уместное замечание.

Встречаясь с давними знакомыми, я пристально всматривался в их лица. Нет, несмотря ни на что, они не изменили своих нравственных установок: А. Азимов и Х. Клемент, Ф. Пол и Р. Силверберг, К. Гарднер и Д. Делани. Это их крылатая фантазия населила космос звездолетами и спутниками-крепостями, построила форты на Луне, подчинила человеку грозные, скрытые в глубинах материи силы. Теперь многое из того, что прозревалось в далеком грядущем, воплотилось в пугающую реальность.

Реакция на подобную метаморфозу, пожалуй, единодушна. Ее четко выразил Джо Холдеман:

— То, что порой разыгрывается на страницах наших книг, не должно повторяться в реальной жизни. Для этого мы и пишем свою фантастику.

«Звездные войны» хороши, если они вообще хороши, лишь на экране. В действительности же эти два слова семантически несопоставимы, ибо с незапамятных времен человечество связывало со звездами самые лучшие, самые высокие устремления. Звездное небо нельзя оградить имперским шлагбаумом. Можно лишь затмить на короткое время заревом термоядерного пожара.

Американский квазифантастический кинематограф, который обрушил на головы зрителей огненный хаос и разрушение, выполняет вполне определенную социальную функцию. Тем более что, по по словам кинокритиков, в такого сорта лентах запечатлена «поразительная красота опустошения». И это закономерно. За галактическим реквизитом прослеживается четко поставленная цель — приучить человечество к мысли о неизбежности глобального термоядерного пожара, взломать защитный барьер элементарного здравого смысла, затмить рассудок апокалипсической тягой к концу света.

«Что произошло?— пытается понять феномен «Звездных войн» Бен Бова, выступивший накануне открытия конгресса в популярной телепрограмме «Доброе утро, Америка».— Как сумела фантастика опередить все другие киножанры? Что заставляет вполне нормальных людей тратить 4—5 долларов, чтобы в шестой раз пойти на тот же фильм?.. Назовите это страхом перед будущим, техническим прогнозом или еще как-то, но американцы сейчас все чаще задумываются о завтрашнем дне. Мы протестуем против сверхзвуковых самолетов, атомных электростанций и генетических экспериментов, опасаясь, что они могут принести много вреда в будущем. А оно и предстает перед нами в фантастических фильмах, или по крайней мере мы видим, каким оно может быть в разных вариантах. Бегство от реальности? Да, но, как говорит Айзек Азимов, фантастика — это «бегство в реальность»...» Невзирая на сногсшибательные трюки, голографические эффекты и компьютерные коллажи, завтрашний день человечества изображается как логическое продолжение нынешней, причем весьма идеализированной мизансцены. Во всяком случае, перемены не затрагивают главного: американского образа жизни. Более того, мещанским идеалам истеблишмента придается некий галактический размах.

Обозревая новинки научной фантасти-

ки, западногерманский критик Ганс Блюменберг замечает по этому поводу:

«Чем же объясняется успех фильма, который сделан совершенно в духе тридцатых годов и в традиции многосерийных лент Флэша Гордона и Бака Роджерса? Кажется, словно «Звездная война» отражает тягу Америки к упорядоченным, ясным отношениям, к почти религиозной идиллии, простая мораль которой перенесена в космическое пространство, где мелкие жизненные заботы не отвлекают от мыслей о будущем».

За исключением стыдливого упоминания о «мелких жизненных заботах» здесь нет места для спора. Облегченная звездная сказка спешит обойти стороной реальные коллизии века и раствориться в некой «религиозной идиллии», навевающей сладкие сны. Исследуя причины очередного каприза моды, голливудский продюсер Сэмюел Эрсков вынужден был остановиться на этой стороне дела.

«Многие молодые люди,— констатирует он не без горечи,— ищут сейчас замену формальной религии. В шестидесятые годы они нашли — и вновь потеряли — свою Мекку, а теперь... после Уотергейта и Вьетнама они снова разочарованы. Притягательная сила научно-фантастических фильмов связана с поисками религии».

Во всем этом можно было бы усмотреть и некую полезную сторону, потому что «поиски религии» сами по себе свидетельствуют прежде всего о банкротстве официальных церквей, о полной их неспособности привлечь и удержать в своих тенетах ищущую, вконец разуверившуюся в прописных моделях молодежь. Однако не будем спешить с выводами.

Стоит внимательно приглядеться к тому, что подсовывает чуткая к спросу массовая культура взамен пустующих алтарей. Бога-астронавта в скафандре? «Космического тельца», заложившего якобы основы нашей цивилизации? Или низринутого с небес Люцифера, за коим тянется бесконечный сонм дьяволов, ведьм, оборотней, кровососов-вампиров и прочей нечисти?

Увы, игра идет на обоих столах. Причем идет по-крупному, с голливудским размахом. Примером тому —«дьявольские» бестселлеры: «Экзорцист» Уильяма Блетти и «Ребенок Розмари» Айры Левина, по которым режиссеры Фридкин и Поланский поставили свои печально знаменитые кинобоевики, о которых у нас довольно много писали. И есть уже продолжения в виде «Экзорциста II».

Обгоняя друг друга, с экранов и книжных страниц хлынули рати дьяволов и пришельцев, чьи рожки неуловимо трансформировались в более отвечающие духу века антенны. В моду вошли растянутые на годы многосерийные «блоки», эксплуатирующие с незначительными вариациями один и тот же сюжет. Таковы, например, «Ужас Дракулы», «Невеста Дракулы» и «Дракула, князь тьмы» англичанина Теренса Фишера или «Носфертау, призрак ночи» западногерманского режиссера Вернера Херцога, воскресившего забытую ленту двадцатых годов.

«Дьяволы» (так называется фильм американца Кена Рассела) и «Ведьмы» (речь тоже идет о конкретной ленте Сирила Френкела) в короткий срок совершенно заполонили белый прямоугольник экрана.

В этой инфернальной мешанине небезынтересно выделить своеобразную работу американского режиссера Фрэнсиса «Дом ужасов доктора Террора», составленную из коротких киноновелл. В них действуют вампиры, обращающиеся в чаек, жрецы кровавого культа воды, черные маги и прочие дежурные персонажи. Есть даже отрезанная рука, которая подобно отвратительному крабу переползает с улицы на улицу, чтобы впиться в горло намеченной жертве. Достойной внимания в этом фильме является лишь стержневая, связующая новелла, в которой действует адский посланец с колодой тарота в руках. Предлагая герою очередного эпизода вытащить карту, он трансформирует судьбы, пророча отчаяние и ужас.

Нет, не случайно «эзотерический тарот» оказался в роковой близости с колодами мегатонного покера! Пронзая пласты современности, корни такого соседства уходят в глубины истории, причудливо соединяя эпохи и идеи.

Загробный карнавал

Американцы, в общем, трезвый народ, и по-настоящему интеллигентные люди брезгливо сторонятся сатанистов, справедливо причисляя их к подонкам общества: сексуальным маньякам, наркоманам, фашистам. Но недооценивать опасность этого феномена было бы близорукостью.

Пережившие тысячелетия магия и астрология и не думали умирать, они лишь на какое-то время укрылись в тени, чтобы, дождавшись своего часа, буйно расцвести бок о бок с ракетодромами, радиотелескопами и компьютерами, которые чуткая на малейшие движения моды массовая культура быстро поставила на службу большому бизнесу.

Нурийский некромант, Сабинский маг
Тебе шлет преданности изъявленья.
От смерти отделял его лишь шаг,
Трещал костер, огонь лизал поленья[1].

Я припомнил эти строки из гётевского «Фауста», когда серебристо-голубой «шевроле» вез меня в филиал фирмы «Астрофлэш», разместившийся на одном из этажей знаменитого небоскреба «Эмпайр стейт билдинг». О каком костре, более того, о какой вере и какой ереси могла идти речь, если обязанности звездного оракула принимал на себя электронный мозг?

Оказавшись в ярко освещенном зале, напоминавшем то ли банк, то ли транспортное агентство, я подошел к вырезанному в стекле окошку и, уплатив требуемую сумму, получил бланк-заказ. Отойдя к стойке, над которой висела карта мира, разграфленная на пронумерованные ячейки, нашел уголок, где приблизительно должен был находиться мой родной

[1] Гёте. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1977, т. 2, с. 383.

город, и быстро заполнил нужные пункты: место и точное время рождения (год, месяц, час). Щеголеватый клерк в модном блейзере грациозным мановением спрятал листок в сверкающий контейнер и куда-то отправил его по пневмопроводу, скорее всего к программистам.

Не прошло и пяти минут, как из щели трансмиттера поползла перфорированная лента и задвигалась каретка соединенной с дисплеем электрической печатной машинки, а еще через минуту я держал в руках подробное руководство к действию на ближайшую неделю. Вернее — к бездействию, потому что судьба благоприятствовала мне лишь на любовном фронте, тогда как от решительных движений в сфере бизнеса и длительных путешествий следовало воздержаться. Может быть, я бы так и поступил, если бы уже не вложил почти весь свой наличный капитал в сомнительную операцию «Астрофлэш» и в моих авиабилетах не стояли бы сакраментальные «о'кей».

В зале находилось человек сорок, хотя люди постоянно менялись. Одни, прочитав гороскоп, бережно складывали его и уносили с собой, другие небрежно бросали на пол, словно обесцененные бумаги на бирже или проигравшие билетики на бегах.

Хоть и не принято совать нос в чужие тайны, но я украдкой подобрал три или четыре бланка. В одном из них тоже содержалась рекомендация переждать неопределенную конъюнктуру.

— Поступает ли в ваш компьютер биржевая информация?— осторожно спросил я девушку, скучавшую в информационной кабинке.

— Зачем?— искренне удивилась она.

— Но разве предсказания компьютера не обусловлены деловой активностью?

— Это деловая активность зависит от сочетания светил,— терпеливо растолковала она азы своей науки.— Как и вообще все,— добавила заученным тоном и обворожительно, как это умеют американки, улыбнулась.

— И любовь?

— О, любовь! В любви успех больше зависит от человека, от двоих, я хотела сказать, хотя случай, везение и прочие неопределенности имеют колоссальное значение.

— А как обстоят дела вашей фирмы? Ей, надеюсь, звезды благоприятствуют?

— В прямом и переносном смысле!— поняла она с полуслова.— Мы, можно смело сказать, процветаем. Филиалы компании открываются еще в двух районах Нью-Йорка. Вы знаете, что наша главная квартира в «Грэнд сентрал»?— Она вручила визитную карточку с планом города. Но я не собирался отыскивать астрологическую Мекку. И так все было ясно, да и времени оставалось в обрез.

Будь в моем распоряжении лишний день, я бы лучше, для сравнения, обратился к конкурентам. Тем более что компания «Зодиакроникс сервис», в чьем названии удачно сочетались слова «электроника» и «зодиак», обслуживает клиента на дому. Стоит приобрести соответствующий абонемент — и вас поставят на телефонное обеспечение. Кроме ежедневного гороскопа «Зодиакроникс» дает специальные консультации. Можно узнать, как продвинуться по службе, завоевать симпатию влиятельных людей, уладить семейный конфликт. Однако, как говорится, телефонный разговор к делу не подошьешь, и многие предпочитают печатную продукцию с замысловатыми чертежами и таинственными знаками. Нью-йоркская корпорация «Ти-Би-Эс компьютер сентерс» наладила конвейерное производство таких «индивидуальных» гороскопов всего по 15 долларов за штуку. Это намного ниже суммы, которую требуется уплатить юристу или врачу за самый пустяковый совет. Почти в каждом штате создана сеть магазинов, где за 20 долларов можно заказать месячные гороскопы, которые будут аккуратно доставляться по почте. Можно, наконец, приобрести собственный астрологический мини-калькулятор.

«Математическая машина все знает значительно лучше, чем вы,— утверждает реклама.— Так позвольте ей руководить вашими шагами».

Это же так здорово, когда кто-то берется за какую-нибудь двадцатку провести твой терпящий бедствия челн через все рифы и мели моря житейского. Особенно в столь неверную и переменчивую погоду, как нынче. Компьютеру и вправду виднее, как тут быть.

«Современная ворожея в нашей стране,— отмечал по этому поводу репортер агентства «Уорлд пресс»,— должна избегать стеклянных шаров, черных котов и другого устаревшего реквизита. Раньше сила чернокнижия заключалась в магической палочке, теперь — в электронном мозге компьютера».

Репортер, сделавший столь превосходную рекламу прибыльному бизнесу «Зодиакроникс», плохо, однако, разбирался в массовой психологии, а о «чернокнижии» судил по волшебным сказкам. Ворожеи в его стране не только не избегают «устаревших реквизитов», но буквально гоняются за ними по антикварным лавкам, чтобы воссоздать столь импонирующий деловому американцу колорит средневековой Европы или подчеркнуто вычурный «ретро-стиль». Другое дело, что это ничуть не мешает бойкой торговле гороскопами, отпечатанными на перфорированной ленте. Как в свою очередь «кибернетическая» астрология не отбивает куска хлеба у звездочетов, работающих «по старинке».

Сферы охоты обозначены четкими границами достатка. Компьютер, где производство поставлено на поток, обслуживает сравнительно небогатую клиентуру, «ремесленники» в стиле великих магов средневековья Нострадамуса и Руджери — элиту большого бизнеса. Гонорары, которые получают такие «звезды небесной науки», исчисляются десятками тысяч долларов. Крупных астрологов зачисляют штатными консультантами, а иногда даже вводят в советы директоров. Их прогнозами пользуются для составления конъюнктурных сводок, при

подборе кандидатов на руководящие должности, в рискованной биржевой игре.

Причуды капризной Клио! Финансовые короли, подобно владыкам древнего мира, прежде чем сделать решающий шаг, обращаются к звездочетам. Это уже не тяга к средневековью, а ностальгический прыжок куда-то в бронзовый век.

■

В заключение еще несколько замечаний по поводу зоологической ненависти к коммунизму, к прогрессивным движениям вообще. Тут уж реакция не брезгует ничем. В том числе и шутовским гардеробом мистических «братьев». Извлеченные из мусорной ямы истории реставрируются, наспех подновляются под современность самые отвратительные лохмотья.

Пряча под ними автоматы и бомбы новейшего образца, встают под бесславные знамена всевозможные «рыцари» и «кавалеры». Едва ли можно посчитать случайным тот факт, что за время пребывания у власти нынешней вашингтонской администрации в несколько раз выросла численность «Невидимой империи куклукс-клана». Ныне ее ударные отряды насчитывают около пятидесяти тысяч активных членов. Впервые с 1925 года клан осмелился открыто пройти по улицам американской столицы. И удивляться тут нечему. «Кавалеры» — так именуют себя погромщики — восприняли объявленный президентом «крестовый поход» против коммунизма как руководство к действию. Огненные кресты пылают ныне чуть ли не в каждом втором штате. И рвутся пластиковые заряды, и свистят бандитские пули, и падают в почтовые ящики отравленные расовой ненавистью прокламации.

Вновь наливаются кровью вставшие из могил вампиры. Все идет в употребление, ничьи истлевшие останки не остаются без внимания реаниматоров, так или иначе связанных с ЦРУ. Неутихающий скандал вокруг ложи «П-2» все же сорвал кое-какой маскировочный реквизит. И белые с черным крестом балахоны клана, и черные с белым крестом мальтийские плащи оказались из одного пошивочного ателье. Выяснилось, в частности, что «американская колония» мальтийских рыцарей, насчитывающая свыше трехсот членов, скомпрометировала себя не только сотрудничеством с Джелли, но и прямым пособничеством агентам ЦРУ. Нелишне заметить по этому поводу, что многие руководители американской разведки, как бывшие, так и нынешние, и сами состоят в рыцарском сане, пройдя все требуемые церемонии по древнему обряду иоаннитов. Примечательный факт!

Кто только не подвизается теперь на охваченной истерией сцене шутовского балаганчика! Каких только теней не вызвали из повапленных гробов ретивые «некроманты»! Вновь появляются на орбитах потустороннего карнавала самозванные ганнусены, вещают через припадочных медиумов распутины и калиостро, публикуются фальшивые «дневники» Гитлера и «письма» Муссолини, причисляют к лику святых Николая Романова. Гнусный, попахивающий мертвецкой фарс...

Проживающий в США французский астроном Морис Шателен поставил своеобразный рекорд, опубликовав в «Пари-матч» очередное толкование недавно вошедших в моду астрологических откровений небезызвестного Нострадамуса, личного астролога и лейб-медика Екатерины Медичи, прославившегося предсказаниями, сделанными на тысячи лет вперед.

На сей раз это нелегкое бремя было возложено на беспристрастную электронную память, благо Шателен трудится в НАСА и имеет доступ к компьютеру.

Впрочем, ничем принципиально новым ЭВМ не порадовала. Да и могло ли быть иначе, если даже у двоичного кода оказался набивший оскомину антисоветский акцент? «Русские вторгнутся в Европу»,— гласил машинный вариант расшифровки. Вот, оказывается, каким провидцем был придворный астролог Екатерины Медичи! Но подобным откровением прогностическая мощь отнюдь не исчерпывается. И обычно весьма пессимистически настроенный Нострадамус спешит порадовать благополучной концовкой: оккупированной Европе, оказывается, поможет обладающий совершенной военной техникой заокеанский союзник.

Одним словом, продолжай принимать американские ракеты, старушка Европа, и все будет о'кей! Можно подумать, что покойного лейб-медика зачислили в штат Пентагона. Такая уж выпала ему горестная планида — служить ширмой беспардонной политической клеветы.

«И снова, как в прошлом, Париж освободили американцы»,— бесстыдно врет от его имени печатающее устройство. Нострадамусу простительно было ошибаться, проницая дали времен. Прошлое, о котором идет речь ныне, таилось от него за горизонтом далекого будущего. Однако сегодня любой француз знает, что американцы никогда не освобождали славную столицу Франции. Ее освободили сами восставшие парижане, подняв трехцветное знамя не только до прихода американских войск, но и до вступления французской танковой бригады генерала Леклерка! Кстати сказать, под актом о приеме капитуляции вместе с Леклерком поставил свою подпись и герой Сопротивления коммунист Роль-Танги. Именно это п р о ш л о е, дорогое всем честным патриотам, тщится оболгать мосье Шателен, выставляя жалким лгунишкой Нострадамуса и впутывая в бесчестные махинации даже бесстрастный машинный интеллект. Таковы парадоксы века кибернетики и атома.

Резонансное совпадение пароксизма сатанинских и прочих культов средневековья с термоядерной лихорадкой — закономерный синдром.

Документальная проза

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ПОКУШЕНИЕ НА РЕЙНХАРДА ГЕЙДРИХА

Свидетельства, факты, документы

Монтаж по книге

Слово к советским читателям

Мне было тринадцать лет, когда фашисты арестовали и расстреляли моего отца. Вся моя детская судьба круто изменилась — я столкнулся с жестокой, страшной действительностью и стал задавать себе вопросы, на которые не находил ответа.

Как много людей моего поколения, живших в огромной советской стране, имели схожие судьбы...

В мире полыхала война, какой еще не знало человечество.

Моя родина — Чехословакия — была оккупирована нацистами. Они вели себя бесцеремонно и грубо, как в порабощенной стране. Однако наш народ не сдавался. Саботаж, действия партизан нагоняли на фашистов тревогу и страх.

У нас — и в Чехии, и в Словакии, и в Советском Союзе — была общая цель: разгромить фашизм, дабы человечество могло жить.

Тогда, в 1942 году, в год покушения на генерала СС Рейнхарда Гейдриха, третью фигуру в кровавой иерархии так называемого «великого германского рейха», я был еще слишком юным, чтобы понимать взаимосвязь проблем, сложность борьбы, подоплеку тех или иных событий. Но прошли десятилетия, подросток превратился в убеленного сединами мужчину и упорно продолжал искать ответы на мучившие его вопросы. Мир изменился, но борьба против фашизма, предстающего в разных обличьях — Пиночет в Чили, неонацисты в ФРГ, фашисты, укрывшиеся в Северной и Южной Америке, — и сейчас остается актуальной. Мы ведем эту борьбу, отстаивая счастье людей труда против милитаристов, угрожающих миру ядерной войной.

Жертвы «гейдрихиады», погибшие в период кровавого террора, развязанного оккупантами на чешской земле, стали незримыми свидетелями наших сегодняшних поступков и дел, они всегда рядом с нами.

А мы, живые, вспоминаем их великий и скромный героизм, ставший высоким нравственным ориентиром для последующих поколений.

19 октября 1983 г.
Кршивоклат-у-Праги

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ПРОЛОГ

Ярко светило солнце в голубом небе, деревья в садах стояли окутанные белым цветом, набегавшее изредка облачко отбрасывало на дорогу мимолетную тень. По улицам, как и вчера, как позавчера, сновали люди, шли женщины с хозяйственными сумками, с детскими колясками, проносились машины, мотоциклы.

Стояло майское утро.

Никто из прохожих, торопливо шагавших по улице, заходивших в магазины, ничего не подозревал.

Снизу, из излучины Влтавы, доносился мерный плеск воды, под мостом трудились несколько рабочих, небольшой пикапчик развозил заказчикам гуталин и паркетную мастику.

Пройдет всего несколько минут — и все изменится, в том числе и жизнь многих

© Miroslav Ivanov, 1979.

людей. Порой человеку лучше не знать, что его ждет.

Итак, обергруппенфюрер СС и шеф тайной полиции Рейнхард Гейдрих едет из своей загородной резиденции. Он сидит рядом с шофером и смотрит вперед на дорогу, машинально поглаживая кожу портфеля, лежащего на коленях. Никто не должен знать, что он везет. Совершенно секретно. Еще километр-другой — и он в Праге. На аэродроме ждет самолет, который доставит его к Адольфу Гитлеру.

Не доставит! Гейдрих тоже не знает, что его ждет. Он сидит, поджав тонкие губы. Улицу переходит женщина в черном. Равнодушно скользит его взгляд по лицу женщины, но черный цвет притягивает его. Гейдрих любит черное.

Машина приближается к повороту. Еще несколько сот метров. Парень, лениво стоявший у стены, отступает в сторону и, поигрывая зеркальцем, будто ребенок, пускает солнечных зайчиков. Гейдрих криво усмехается.

Пикапчик развозит гуталин и мастику, молодая женщина загорает в саду, дремлют прислоненные к забору велосипеды. Десять часов тридцать минут. 27 мая 1942 года.

Еще ничего не случилось. Только черная машина неумолимо приближается к повороту. Звенит проезжающий трамвай. Женщина неторопливо переходит улицу.

И тут раздается взрыв.

ЧАСТЬ I

Убежище в скале

В ту ночь мне не спалось, я все ворочался в постели с боку на бок. В окно светила луна, а я лежал с открытыми глазами и думал.

Когда много детей — их у меня было семеро,— всегда есть над чем задуматься. Хочется, чтоб им было хорошо,— сам-то я на собственной шкуре узнал, что такое нищета. Работал на железной дороге, в каменоломнях, словом, изворачивался как мог. А с 1938 года нанялся лесником в здешнее охотничье угодье.

Работа была несложная — кормил зверей, делал обходы.

И вот в ту ночь, под Новый, 1941 год... нет, пожалуй, за день-два до Нового года, лежу я и вдруг слышу какой-то гул, то ли вдалеке, то ли в небе. Рокот приближался, вот загрохотало над самым домом, в деревне залаяли собаки. Я потихоньку надел шлепанцы, накинул пальто и собрался выйти посмотреть, что там такое. Открыл дверь, и меня окликнула жена: куда ты, темно еще. Я успокоил ее, лежи, мол, я взгляну, как там кролики...

Взял лестницу, приставил к стене и залез на крышу. Ночь, тишина, все кругом бело, светят звезды и луна, и снег искрится в их свете. Рокот удалялся. Самолет улетел. И вдруг я вижу, как сверху что-то медленно опускается, покачиваясь. Парашют, догадался я. Парашют приземлился где-то за кладбищем.

Утром я выбросил из головы ночное происшествие.

Тогда, во времена протектората,[1] лучше было держать язык за зубами. Человеческая жизнь не имела никакой цены, и я промолчал о том, что увидел. После завтрака положил в рюкзак корм для зверья и отправился в обход.

Был десятый час. Я вышел в поле задами и заметил на снегу следы двух людей. Они шли от кладбища. Я оглянулся, нет ли кого поблизости, и пустился по следам. Следы привели меня прямо к лесной кормушке. Рядом с ней вырос небольшой, утоптанный сугроб. Я копнул его ногой и зацепил сапогом за стропы. Осторожно оглядевшись, скинул рюкзак и сделал вид, будто достаю корм, а сам нагнулся и разгреб снег — ну конечно, там был парашют.

Да, дело пахло виселицей.

Я надел рюкзак и прямо по снежной целине направился дальше по следам. Они вывели меня к садовой сторожке. Там валялась жестянка из-под сухарей с надписью на незнакомом языке. Следы уходили дальше в поле.

Я взмок.

Представьте себе снежную равнину с небольшими кочками и редким кустарником: следы тянулись через поле к невысокому лесистому холму, у подножия которого находилась заброшенная каменоломня. Глухие места, ничего не скажешь, к тому же в скале была небольшая пещера.

Как видно, они приземлились у кладбища и там же закопали парашюты. Заметив сторожку, пошли к ней, там поели. Оставаться средь бела дня на открытом месте, естественно, было нельзя, вот они и двинули в лесок на холме, не подозревая, что обнаружат здесь и каменоломню с пещерой.

От опушки леса следы повернули к каменоломне. Подойдя к краю карьера, я увидел их обоих внизу под собой. Они меня, конечно, тоже заметили, но не подали виду. Один держал карту, другой завел руку за спину и сунул в задний карман. Ну, думаю, парень, у тебя там пистолет, а вслух говорю:

— Добрый день, ребята...— и кашлянул.

Они вздрогнули и поздоровались.

Потом молча рассматривали меня. Я закурил сигарету и спрашиваю:

— Что вы тут делаете?

Оба были среднего роста, одеты как все.

— Хотим вот возобновить тут работы,— пояснил один. Я ухмыльнулся: дескать, расскажите это кому другому. Они поняли, что я им не поверил, а я испугался, как бы тот, что держал руку в заднем кармане, не выкинул какую глупость, и на всякий случай спросил, не помочь ли им.

Они пошептались, а потом крикнули мне:

— Тогда спускайтесь сюда...

Через минуту я оказался внизу.

— Вот,— говорю,— я такой-то, а вот мое удостоверение личности. Я видел ночью, как вас сбросили с самолета, а сегодня наткнулся на ваши парашюты. Что ж вы, говорю, не закопали их получше?

---

[1] Территория чешских и моравских областей Чехословакии, оккупированная весной 1939 года гитлеровскими войсками, была названа «Протекторатом Чехии и Моравии».

Они ничего не ответили, а потом один спросил:

— А где мы, собственно, находимся?

— Отсюда недалеко до Праги,— ответил я.

Они с недоверием уставились на меня, и тогда я достал и показал им свой охотничий билет, а в нем было написано: район Брандыс-над-Лабой. Они испуганно переглянулись и признались, что должны были приземлиться в другом месте.

— Ладно, ребята,— утешил я их,— я вам помогу.

Переговорив о чем-то между собой, они с серьезным видом сообщили, что у них с собой рация, если бы я вздумал их выдать, они сообщат мое имя своим раньше, чем я дойду до жандармского поста. Я улыбнулся и махнул рукой.

— Скажите лучше, что вам нужно?

— Есть у вас в деревне жандармы?

— Есть.

— И они ничего не знают?

Я обещал им выяснить. «А еда у вас есть?» Еды у них не было. Еще они попросили принести им разведенного уксуса. В деревне аптеки не было, но у меня случайно осталось немного эссенции — месяца два назад я сломал палец на ноге и прикладывал уксусные примочки. Сейчас он оказался кстати. Сохраняя предосторожность, я вернулся домой. Жене ни о чем не сказал, отрезал кусок сдобной рождественской булки, сунул в карман пузырек с уксусом, в бутылочку налил немного спирта.

Проходя по деревне, я заглянул на жандармский пост, но никого там не застал — один жандарм был занят домашними делами, другой сидел в корчме. Немного отдохнув, я отправился назад в каменоломню.

Место, надо сказать, они выбрали удачное. Заброшенная сторожка у пруда, рядом — кучи щебня, поросшие березками, и главное — пещера. Летом мальчишки часто играли тут в разбойников, но зимой не было ни живой души.

Пещера, довольно глубокая и темная, имела два выхода. Один — позади дома, второй — на другую сторону лощинки. Парни натаскали из леса лапника, развели небольшой костер — к ночи сильно похолодало. Под вечер я пришел к ним, отдал им еду и уксус. Один из них прихрамывал, должно быть повредил ногу при приземлении.

— Ну как там дела, дядя? — встретили они меня.

— Порядок. Никто ни о чем не догадывается.

— А вы не боитесь?

Что я мог им сказать? Зачем было портить им настроение! Они стали уверять меня, что надолго тут не задержатся.

— Куда же вам податься? Ведь вас сразу же сцапают.

Оба засмеялись, сказали, что бояться им не пристало. Но я пообещал, что в случае чего дам два выстрела из охотничьего ружья — знак, что пора сматывать удочки.

Монолог учителя химии

Одно из правил подпольной жизни — уйдя из дому, не встречаться со своими близкими. Для меня такой период начался в 1941 году. Я преподавал тогда в 4-й реальной гимназии в Брно, а жил в пригороде.

Мою жену арестовали в октябре 1941 года, гестапо искало и меня, и я, сменив документы, уехал в Прагу и, так сказать, перестал существовать, по крайней мере официально.

В Праге мы организовали подпольную сокольскую[1] группу «Индра».

Так начался для меня 1942 год.

Руководителем «Индры» в Чехии стал Пехачек, в прошлом спортсмен, через него осуществлялась связь с организациями на местах. Моей задачей было возглавлять группы «Индры» на территории всего протектората. Мы создали информационную сеть и связались с Центральным руководством внутреннего сопротивления, сокращенно «ЦРВС»; правда, репрессиями нацистских властей оно было заметно ослаблено. Я познакомился и со штабс-капитаном Вацлавом Моравеком — подпольная кличка Леон.

О его отваге ходили легенды. Он устраивал акции саботажа, добывал документы для подпольщиков, осуществлял связь между группами движения Сопротивления и прежде всего великолепно знал службу разведчика.

С самого начала оккупации, то есть с 1939 года, он жил на нелегальном положении. У него была рация, с помощью которой он держал связь с Лондоном. Моравек планировал крупные акции (он сам говорил об этом), просил, чтобы Лондон прислал ему парашютистов, которые могли бы «делать и большие дела».

Вы спросите: мог ли какой-то Моравек влиять на лондонское руководство? Представьте себе, он вошел в контакт с Паулем Тюммелем, главным резидентом разведки вермахта в чешских землях. Тюммель был разведчиком международного класса. Моравек платил ему большие деньги, за что получал доступ к важным тайнам немецких вооруженных сил.

Первый монолог историка

Вернемся немного назад.

27 сентября 1941 года Чешское телеграфное агентство объявило, что имперский протектор в Праге Константин фон Нейрат испросил у Гитлера длительный отпуск по состоянию здоровья. В правительственном сообщении далее говорилось, что фюрер не мог отказать в просьбе имперскому протектору и назначил обергруппенфюрера СС, шефа политической полиции Рейнхарда Гейдриха, исполняющим обязанности имперского протектора Чехии и Моравии.

Над пражским Градом[2] были подняты штандарты СС. Гейдрих принял на себя руководство протекторатом и сразу же объявил (наверно, не случайно 28 сентября, в день праздника «патрона земли чешской» князя Вацлава) чрезвычайное положение. Он подписал первые смертные приговоры.

[1] «Сокол» — спортивно-патриотическая организация, основанная в 1862 году.

[2] Пражский Кремль, местонахождение правительства.

К расстрелу были приговорены руководители коммунистической партии и журналисты: О. Сынек, Ф. Таусиг, В. Гакен, Я. Крейчи, В. Кршен, В. Шантрох, число жертв росло. Были казнены десятки некоммунистов, участников Сопротивления. Представители интеллигенции, рабочие, ремесленники, учащиеся, студенты...

Да, во главе Чехословакии Гитлеру требовался решительный, безжалостный нацист. Фон Нейрат не годился. При нем усилилось подпольное движение, акции саботажа, вдохновляемые коммунистами. В «Курсе истории КПЧ» об этом говорится следующее: «Вступление Советского Союза в войну вызвало в порабощенной Чехословакии новый подъем Сопротивления против нацизма. Освободительное движение крепло. Возрастало число актов саботажа в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте, что наносило удары по нацистам в самых чувствительных местах. Поэтому нацисты пытались пресекать их самыми жестокими методами».

На своем заседании в сентябре 1941 года второе нелегальное руководство в соответствии с линией Коммунистического Интернационала и московского руководства КПЧ сформулировало главные направления новой политической линии партии. Оно стремилось к расширению национально-освободительного фронта, куда вошли все силы, выступающие против Гитлера, независимо от партийной и классовой принадлежности...

Гейдрих, глава имперского управления безопасности, уже успел проявить себя в разных оккупированных странах как жестокий убийца. Настоящий нацист. С начала 30-х годов Гиммлер постоянно продвигал его на все более ответственные посты.

Вместе со своими подчиненными Гейдрих разработал и передал Гиммлеру и Гитлеру 2 августа 1941 года документ «О деятельности коммунистов в Германии и в оккупированных странах до и после начала войны с Советским Союзом», в котором отмечалось, что одно из самых сильных коммунистических движений в оккупированных странах имеет место в Чехии и Моравии. Поэтому Гитлер и послал самого Гейдриха «наводить порядок». В период оккупации Чехословакии КПЧ была единственной политической партией, которая боролась с нацизмом до самого конца. Она издавала подпольные газеты и листовки, только до октября 1941 года их вышло 96, организовывала забастовки и акты саботажа.

Летом 1941 года, после нападения фашистов на Советский Союз газета «Руде право» писала: «Судьба нацизма в наших руках! Ни в чем ему не верить и ничего ему не давать! Это должно стать лозунгом всего чешского народа».

Через несколько дней Гейдрих созвал в Чернинском дворце в Праге нацистских главарей и в доверительной, строго засекреченной речи поделился с ними своими планами. Как свидетельствует стенографический отчет, Гейдрих заявил:

«Территории на востоке частично заселены славянскими народами. Это земли, где — примите это к сведению — наша доброта была бы понята как слабость. Это земли, где сам славянин вовсе не стремится к тому, чтобы с ним обращались как с равноправным человеком. Он привык к тому, что господин с ним не церемонится. Этими землями должна управлять немецкая элита. По мере нашего продвижения в глубь России, на Урал, эти территории станут нашей сырьевой базой, а их население будет работать на нас — я могу употребить и достаточно сильное выражение,— как рабы».

Цинизм Рейнхарда Гейдриха был беспределен.

«Но основной наш курс — пусть мы и не говорим об этом вслух — сделать здешнюю землю германской, чехам здесь, в конце концов, нечего делать».

В заключение он повторил: «Эта земля должна быть в будущем заселена исключительно немцами. Эта земля станет сердцем империи». Затем он пояснил, как предстоит поступить с «чешским сбродом»:

«Чтобы знать, кого из местного населения можно онемечить, необходимо провести перепись населения. Цель — любыми способами выявить расовую принадлежность каждого местного жителя. Будет ли это достигнуто с помощью рентгеноскопии при осмотрах школьников или под видом освидетельствования молодежи для определения на работу — неважно. Я должен составить себе полное представление о нации, чтобы потом сказать: вот картина населения этой территории. Такая-то часть принадлежит к чистой, полноценной расе с должным образом мыслей. С ними будет просто. Их можно германизировать. На противоположном полюсе — люди нечистой расы и дурного образа мыслей, этих мы выселим отсюда. На востоке места хватит».

В речи 4 февраля 1942 года Гейдрих так уточнил эту мысль: «Те, кто не подойдет для германизации, будут отправлены на побережье Ледовитого океана, когда мы завоюем эти территории. Концентрационные лагеря станут для этих людей идеальным местом для жизни...» Затем он продолжил: «Останется промежуточный слой, подлежащий тщательному обследованию. Это люди должного образа мыслей, но нечистой расы, а также люди чистой расы, но дурного образа мыслей. Представителей первой группы мы, видимо, отправим на постоянную работу в рейх или еще куда-нибудь и позаботимся о том, чтобы они не имели детей: мы не заинтересованы в том, чтобы число их увеличивалось на этой территории. Что касается индивидуумов чистой расы, но с дурным образом мыслей, то они представляют наибольшую опасность...» С этими Гейдрих тоже знает, что делать: «Их следует германизировать и перевоспитать, а если не удастся — поставить к стенке».

Вот какое будущее уготовано было чешскому народу! Уже 11 октября 1941 года Гейдрих сообщил в Берлин, что он «приступил к работе». Что это означало?

Казни. Расстрелы.

Через месяц, 12 ноября 1941 года, рапорт об активизации подпольного коммунистического движения был составлен пражским гестапо, а еще через два дня — брненским гестапо. Данные были неутеши-

тельными для нацистов: в районе Всетина возникали организованные подпольной КПЧ партизанские отряды. КПЧ подготовила также многие забастовки. В последние месяцы они проходили в Градце Кралове, Находе, на судостроительной верфи в Либени, на заводе ЧКД, в Сланом, на текстильной фабрике в Упице, на заводе Вальтера, в Иноницах, на островской шахте «Троице», на пардубицкой «Телеграфии», на шахтах в Сватонёвицах и на авиационном заводе в Летнянах.

Партия углубляла свою работу. Некоммунистические организации сопротивления (в большинстве своем недостаточно законспирированные) в результате развязанного Гейдрихом террора были в значительной части уничтожены. В число продолжавших свою деятельность входила группа Моравека. Она располагала рацией и получала ценные сведения от крупного нацистского офицера Пауля Тюммеля, работавшего на чешскую службу разведки с центром в Лондоне.

В это время после длительных переговоров был учрежден совместный орган внутреннего сопротивления — Народный революционный комитет Чехословакии (НРКЧ), объявлена общая платформа Сопротивления, подписанная ЦК КПЧ и Центральным руководством чехословацкого национального Сопротивления в стране.

В августе 1941 года Моравек и его группа обратились к лондонскому руководству с просьбой прислать в Чехию парашютистов в помощь внутреннему Сопротивлению и для проведения диверсионных актов.

Подготовка будущих парашютистов проходила в Шотландии. По рассказам уцелевших, мы знаем, что условия ее были суровыми. Изнурительная — днем и ночью — физическая тренировка, приемы самообороны, теория, упражнения в стрельбе, прыжки с парашютом. Отобраны были в большинстве своем честные, но политически незрелые люди. Некоторые не оправдали надежд, двое оказались предателями (Чурда и Герик), с их помощью нацистам удалось весной и летом 1942 года ликвидировать многих парашютистов.

Осенью 1941 года на встрече в Лондоне было принято решение о покушении на Гейдриха. Оно было назначено на 28 октября 1941 года. То есть на полгода раньше, чем произошло на самом деле...

3 октября 1941 года в Лондоне состоялось совещание, в котором участвовали полковник генерального штаба Франтишек Моравец, ротмистр Габчик, старший сержант Свобода...

Полковник Моравец объявил тогда ротмистру Габчику и старшему сержанту Свободе, что им поручается задача уничтожения К. Г. Франка или Гейдриха.

Габчик и Свобода дали согласие взяться за выполнение задания. Их вылет намечался на 10 сентября.

Итак, покушение возлагалось на ротмистра Габчика и старшего сержанта Свободу. Последний, однако, во время тренировок получил травму, и его участие отпало.

Итак, кто вынес решение и кто представлял «руководство»?

Ответ содержится в «Мемуарах» Моравца:

«Президент (д-р Э. Бенеш), конечно, знал, что я посылаю парашютистов на родину для налаживания контактов с подпольем. Осенью 1941 года я предложил организовать особо важную операцию против нацистов — убийство одного из их главарей, подготовленное в глубокой тайне специально обученными командами парашютистов. Такая операция поднимет престиж Чехословакии в международном плане. Во-первых, ее успех послужит искрой, которая приведет в движение народные массы... Цена за жизнь Гейдриха будет высокой. Бенеш, внимательно выслушав мои доводы, заявил, что он, как верховный главнокомандующий, согласен с ними и считает, что, хотя операция потребует жертв, она необходима для блага родины; он приказал мне разработать план операции. Первым и главным ее условием было соблюдение строжайшей тайны...»

В «Кратком курсе истории КПЧ» по этому поводу говорится следующее:

«Чехословацкое правительство в Лондоне, стремясь усилить свои позиции за границей и в движении Сопротивления внутри страны, направило в протекторат небольшие группы парашютистов с заданием собрать разведывательные данные и осуществить ряд диверсий. 27 мая 1942 года парашютисты, посланные из Великобритании, совершили покушение на нового имперского протектора Рейнхарда Гейдриха».

Дальнейшие события показали, что покушение было задумано не столько «для блага родины», сколько на пользу чехословацкому правительству Бенеша в Лондоне.

Был издан приказ о создании трех диверсионных групп. Первая из них — «Сильвер А» под командованием надпоручика Альфреда Бартоша, подпольная кличка Эмиль Седлак, в составе ротмистра Йозефа Вальчика (он же Зденек Тоушек) и радиста сержанта Иржи Потучека (он же Алоис Толар). Группа имела рацию «Либуша».

Надо было дождаться хорошей погоды. Значительная удаленность — полторы тысячи километров — требовала искусного пилота. Первый вылет 7 ноября 1941 года оказался неудачным. Самолет стартовал в 18 час. 14 мин., пролетел над границей Бельгии, Рейном, в 22.10 южнее Праги свернул на северо-восток, парашютистов предстояло сбросить над Гержмановым Местецем, но сильный снегопад вынудил пилота возвратиться в Англию. Неудачей окончилась 30 ноября 1941 года и вторая попытка. Самолет потерял ориентацию и вернулся на базу.

В следующие недели группа продолжала тренировки в учебном лагере. Наконец пришел приказ: вылет назначен на 28 декабря 1941 года. Метеорологи обещали благоприятную погоду. Вместе с группой «Сильвер А» должна была лететь группа «Антропоид» в составе ротмистра Йозефа Габчика (он же слесарь Зденек Выскочил) и Яна Кубиша (он же рабочий Ота Стрнад). Позже предполагалось переправить и третью группу — «Сильвер Б», куда входили Земек и Шкаха (они же Владимир Врба и Ян Новак). Всего семь пилотов и сопровождение. Каждый из них дал письменную клятву сделать все «в соответствии со

своими знаниями и умением, дабы выполнить задачу, за осуществление которой взялся добровольно».

После приземления им надлежало связаться по рации с Лондоном, если же наладить связь не удастся, то в новостях лондонского радио на чешском языке два дня подряд будет звучать фраза: «Весь мир понимает ваше горестное молчание».

Вылет состоялся 28 декабря 1941 года в 22 часа... Однако в мемуарах Франтишека Моравца приводится другая дата! Там говорится:

«В Лондоне был разработан и доведен до сведения обоих участников операции подробный тактический план покушения. Габчика и Кубиша сбросят на парашютах примерно в тридцати милях (48 км) к юго-востоку от Праги в лесистой холмистой местности... Основным местом их пребывания будет Прага... Габчик и Кубиш будут действовать самостоятельно. Мы располагаем сведениями, что в большинство уцелевших групп движения Сопротивления проникло немало агентов гестапо. В связи с этим Кубиш и Габчик получили приказ не вступать в контакты ни с кем... Решение о дате операции было возложено на Габчика... На аэродроме королевских военно-воздушных сил их ждал бомбардировщик типа «Галифакс» с опытным чешским пилотом капитаном Андрлем... По возвращении капитан Андрль доложил мне, что оба, Кубиш и Габчик, во время полета были бодры и что он сбросил их в заданном районе...»

Из записок Моравца вытекает, что высадка парашютистов состоялась в апреле 1942 года, однако из документов явствует, что она имела место в конце декабря 1941 года. Что заставило Моравца изменить дату? Желание показать, как быстро действовали парашютисты? Или сказалась старческая забывчивость? Он ведь не мог не знать, что сохранились радиограммы в Лондон от 5 марта 1942 года из Чехии о высадке группы Кубиш—Габчик, и о том, что Габчик получил травму при приземлении...

Монолог свидетеля из Пардубице

Я был типичным молодым поручиком довоенной Чехословакии. Ей тогда нужны были аполитичные военные. Я ненавидел немцев, хотел против них воевать, но политикой не интересовался. В 1940 году женился, каждый день спешил со службы домой, кроме Ганки и дома ничего для меня не существовало.

В день нового, 1941 года мы с женой катались на лыжах, в Полице над Метуей.

После встречи Нового года я вернулся домой в Пардубице один: мне надо было идти на службу, а жена заболела ангиной и застряла в Полице. Приехав немного спустя в Пардубице, она провела несколько дней у родителей, где за ней могли ухаживать.

Здесь ее навестила подруга Татьяна Гладенова и сказала, что ее муж, Франта Гладена, хотел бы поговорить со мной о важном деле.

В тот же вечер он прибежал к нам и, не раздеваясь, шепотом сообщил:

— Вашек, у нас тут парашютисты.

Я с удивлением посмотрел на него.

— Один из них знает тебя и хочет с тобой встретиться!

— Кто это?

— Ты знаешь Бартоша?

— Когда-то с одним Бартошем я учился в школе в Пардубице...

— Приходи завтра к нам. И никому ни слова!

Взволнованный, я ходил по комнате, вспоминал о той поре, когда мечтал о борьбе против немцев...

Теперь эта мечта почти сбывалась. Великая борьба, которая могла стоить и жизни.

Назавтра я не мог усидеть на службе.

Вечером мы с Ганкой отправились к Гладеновым. Татьяна увела жену в соседнюю комнату, а меня Гладена повел к Фреде...

Его полное имя было Альфред, но мальчишки в школе звали его Фредой.

Увидев меня, он рассмеялся:

— Что ты на меня так уставился?

— Откуда ты взялся, Фреда?

— С неба свалился... Но это долгий разговор. А теперь я здесь, и ты мне нужен.

Фреда Бартош предложил мне сотрудничать с его группой, прибывшей из Англии. С двумя его товарищами — Вальчиком и радистом Потучеком — я познакомился позже.

— А что требуется от меня? — спросил я Бартоша.

— Моя задача — связаться с Прагой, затем регулярно передавать сообщения в Лондон и принимать их оттуда, наладить разведку. Тут не обойтись без помощи местных: нужно добывать или изготавливать фальшивые документы — удостоверения, полицейские бланки для прописки, трудовые книжки, продовольственные карточки и прочее. Ты бы занимался сбором информации, устраивал подпольные квартиры для новых людей и треугольники явок, то есть одну основную и две запасные.

Я тут же согласился.

— И Ганка могла бы нам помогать,— продолжал Фреда.

— Но ведь это опасно,— возразил я.

— Татьяна вот не боится. К тому же женщины-связные вызывают меньше подозрений,— убеждал меня Бартош.

Я передал Бартошу информацию о дислокации воинских частей в Восточной Чехии, об эшелонах, которые следовали к фронту, организовал несколько подпольных явок, привлек к сотрудничеству еще несколько человек. Моя жена Ганка тоже помогала ему.

Вальчик тем временем нанялся официантом в пардубицкий ресторан «Веселка» пана Коштяла.

А Потучека с рацией укрыли в каменоломне Глубока, неподалеку от деревни Лежаки. Каменоломня была безопасным местом, тем более что о «Либуше» знал и начальник ближайшего жандармского поста Карел Кнеж, который как мог оберегал ее и помог наладить.

С этого момента «Либуша» передавала сообщения почти бесперебойно. Часть своего задания, таким образом, Фреда выполнил. Поэтому в одной из первых радиограмм группе «Сильвер А» было переда-

но, что они повышены в чине. Бартош стал капитаном...

Связь с Лондоном облегчила контакты с Прагой. Не знаю подробностей, но Фреда получил из Лондона указание встретиться с группой Леона, через которого Бартош должен был связаться с Тюммелем. В этом ему помогала моя жена. Они с Татьяной Гладеновой поехали в Прагу к некой Бочковой. Однако Бочкова не поверила ни моей жене, ни Татьяне, хотя они предъявляли ей документы, и твердила, что никакого Моравека не знает...

Наконец недоверие Бочковой удалось поколебать: договорились, что, если в одной из передач лондонского радио прозвучит условная фраза-пароль, она поверит Ганке.

С тем обе женщины вернулись из Праги. Бартош сообщил о договоренности в Лондон, и в одной из передач прозвучала условная фраза. Бочкова убедилась, что может не опасаться провокации, и связала Бартоша с Моравеком. Тогда я этих подробностей не знал. Жена рассказала мне все это уже позднее. А в те дни она с Татьяной Гладеновой помогала Бартошу расшифровывать радиограммы. Лондон передавал ночью, а по утрам Потучек доставлял нам конверты с цифрами. Он приезжал на велосипеде, звонил внизу у двери в дом, ти-ти-ти-та, то есть точка-точка-точка-тире. Произносил два-три слова и исчезал. Расшифровка делалась по заранее обусловленным в Англии книгам. Я сам доставал однажды сборник стихов Сватоплука Чеха, изданный в серии «Всемирная библиотека».

Я ходил на службу. Бартош жил у нас. Фреда устроился страховым агентом, и, в отличие от Гладены, меня и Коштяла, занимавшихся нелегальной деятельностью в свободное от службы время, у Бартоша было больше времени, и он собирал информацию и рассортировывал полученные данные.

Вальчик, неизменно заражавший нас своим веселым настроением, развлекал рассказами о своей работе в ресторане, о том, как он обслуживает гестаповцев, внимательно прислушиваясь к их разговорам.

Второй монолог свидетеля из Пардубице

Наша квартира стала центром для группы Бартоша. Почти ежедневно подготавливались сообщения для Лондона, ежедневно расшифровывались поступавшие радиограммы, Бартош давал мне самые разные поручения: я достал план завода по производству взрывчатки в Семтине — в этом мне помогал коммунист Чигарж. В конце зимы 1942 года Фреда послал меня в Оломоуц-Лутину, где находился химический завод, я должен был определить содержимое баллонов, которые вывозились оттуда и могли быть открыты только «по приказу фюрера». Задание я выполнил.

Мне пришлось притворяться больным. Знакомый врач, знавший о моей деятельности, давал мне освобождение от работы, и я мог чаще оставаться дома и выполнять поручения Фреды.

К сожалению, кое-кто в Пардубице узнал его. И немудрено: ведь до войны он здесь жил и учился, не помогла и маскировка с помощью очков и усиков.

Разнесся слух, что в городе находятся парашютисты.

Не сегодня завтра о них узнает гестапо...

А пока Вальчик усердно работал в отеле и ресторане «Веселка» под именем Мирослав Шольц, Мирек.

Поскольку все трое — Бартош, Вальчик и Потучек — раздобыли новые удостоверения личности, было решено, что они, как и положено, отметятся в полиции. Бланки удостоверений попали к нам уже с печатью полиции. Сотрудники Фреды считали, что так будет лучше и безопаснее и можно получить продуктовые карточки и талоны на табак.

И тут произошла — было это в начале марта — досадная случайность. Полиция Пардубице была обязана периодически докладывать в гестапо о новоприбывших жителях города, и сообщения эти выборочно контролировались. Обычно все проходило благополучно, но, как нарочно, гестаповец, который в тот день проводил контрольную проверку, взял на заметку имя официанта Мирослава Шольца из «Веселки», случайно ли или по возникшему подозрению — неизвестно.

Хозяина гостиницы Коштяла вызвали в гестапо и подробно выспрашивали, кто такой Шольц, с кем он встречается и т. п. Как видно, кто-то на него донес.

Растерявшийся Коштял сказал, что Шольц родом из Остравы, где его отец владеет отелем. Коштяла отпустили и тут же позвонили в Остраву. Разумеется, никакого владельца гостиницы Шольца там не знали. Коштяла снова вызвали в гестапо, на этот раз вместе с Шольцем. Хозяин понял, что дело плохо, и успел предупредить Шольца—Вальчика. В гестапо потребовали описать внешность и одежду Вальчика; на вопрос, почему Шольц не пришел, хозяин гостиницы ответил, что он его рассчитал за безделье и за какие-то разбитые тарелки. Мы удивлялись, что гестаповцы этому поверили; но, как стало известно позднее, отпустили его для того, чтоб он навел на след.

Через мою жену он передал о грозившей Вальчику опасности. Пока мы с Фредой размышляли о том, как найти и предупредить его, он сам позвонил по телефону! Город был окружен, но Мирека тайно вывела из Пардубице учительница Малая, и он уехал в Моравию.

Вальчика схватить им не удалось, но Коштял остался под подозрением полиции— пришлось действовать осторожнее.

За это время я дважды побывал с Бартошем в Праге. Ему нужно было установить связь; речь шла о Леоне...

Приехав в Прагу, Бартош пошел к кому-то в районе Виноградов. Затем мы с Фредой встретились в ресторане шикарного отеля «Голландская мельница». На стенах висели копии картин голландских художников. В ресторане было полно немецких офицеров; этот отель был выбран местом нашей встречи в соответствии со старой чешской пословицей, что под свечкой всегда темно.

Перегородки, отделявшие столики у стены один от другого, создавали нечто вроде

кабинок, в каждой на столе стоял приемничек, звук можно было усилить, и соседи не слышали вашего разговора.

Фреда держался спокойно.

Иногда Бартош ездил в Прагу один. У него были ключи от квартиры Моравека, но он никогда там не останавливался, зная, что Моравека ищет гестапо.

Примерно 20-го Вальчик сообщил, что благополучно добрался до Мирошова в Моравии. Но незадолго до этого произошла неприятность, едва не закончившаяся трагически.

Когда гестапо напало на след Вальчика, был отдан приказ провести по всему краю проверку документов. Над Бартошем нависла опасность. Он жил в Усти-над-Орлицей под именем Оты Мотычки, уроженца деревни Врды-Бучице, умершего пять лет назад. По его документам Бартош и получил свое удостоверение.

Опять неудача! Дотошные жандармы справились в Бучице о Мотычке и, выяснив, что его давно нет в живых, потребовали немедленного ареста лица, скрывавшегося под этой фамилией.

Жандармы в Усти-над-Орлицей ворвались в квартиру Мотычки, но, к счастью, никого не застали. Эта квартира была у него запасной... Они стали искать хозяина квартиры и вышли на Гргину. Перед угрозой ареста Гргина рассказал им, что Мотычка парашютист, но просил их молчать об этом. Жандармы задумались. Большинство жандармов во времена первой республики [1] были подлецами. Но эти, судя по всему, оказались исключением и, обещая не давать делу хода, поставили условие: в деревне Врды-Бучице ликвидировать все, что могло бы их изобличить.

Поздно вечером в нашу дверь позвонили. Жена открыла дверь, на пороге стояла пани Гргинова. Она принесла важное письмо от мужа. Гргина не посвящал жену в дела, так что приходилось разыгрывать перед ней комедию.

— Вы должны к нему завтра приехать,— заявила она.

Бартош поручил мне поехать на следующий день к Гргине в Высокое Мыто, где тот работал в местной библиотеке. Я должен был передать ему яд и узнать подробности о случившемся.

Я отправился в дорогу с утра, заглянул к Гргине в библиотеку и сказал, что буду ждать его в ближайшем трактире. Вскоре он появился, вид у него был довольно кислый.

— Да, Вашек, влипли мы в историю.

— Что такое?

— В полиции дознались, что настоящий Мотычка уже пять лет как умер. Мне пришлось пообещать жандармам, что мы ликвидируем свою базу в Усти, иначе они передадут свои сведения начальству. Тогда и мне крышка.

— Не волнуйся. Мы все уладим,— попытался я его успокоить.— Главное — спокойствие, и вот тебе на всякий случай яд.

Я не стал ждать поезда и поспешил пешком по шоссе до станции Замрск, откуда легче было попасть в Пардубице.

Я не просто спешил — бежал. Дорог был каждый час.

В свое время я участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, теперь мне это пригодилось. Падал легкий снежок, а я бежал, переходя для отдыха на быструю ходьбу, и снова припускал рысью. Мимо проехало несколько машин, и, хотите верьте, хотите нет, навстречу попалась машина нашего предприятия. Я ведь должен был находиться в это время на службе, а меня обнаруживают на шоссе между Высоким Мытом и Замрском, да еще бегущего.

— Что вы тут делаете? — с удивлением крикнули мне из машины.

Голова у меня гудела, пот ручьями стекал по лицу, и я, махнув им рукой, только быстрее побежал дальше.

Дома я застал Бартоша. Узнав обо всем, он просто рассвирепел, я с трудом его урезонил. Ганка сбегала за Франтой Гладеной, и мы собрались на военный совет.

Бартош хотел немедленно ехать во Врды-Бучице, решить все на месте, применив в случае необходимости оружие.

Мы с Гладеной колебались.

Бартош стоял на своем:

— Отметка в полиции может подвести нас всех.

А Гладена предложил:

— Поедем в эти самые Врды-Бучице и попробуем договориться по-хорошему. Мы с Вендой будем наготове на улице, а ты, Бартош, войдешь и потребуешь, чтобы они уничтожили копию донесения, посланного в Усти, которое в тамошнем жандармском отделении тоже, мол, исчезло. Ну а уж если они не согласятся, тогда...

Мы сели в машину Гладены и поехали. Водитель он был классный, еще бы — бывший мотогонщик. Почти всю дорогу молчали. Фреда проверил пистолеты.

Добравшись до деревни, мы с Фредой вышли и распределили между собой задачи. Гладена остался в машине, готовый немедленно дать старт: он даже не выключил мотор.

Насколько я помню, на нас не обратили внимания. Номер машины мы на всякий случай сняли еще перед въездом в деревню.

Я с пистолетом стоял неподалеку от входа в участок, чтобы прикрыть Фреду. Гладена наблюдал из машины, Бартош исчез за дверью. Если кто проходил мимо, я делал вид, будто дожидаюсь автобуса, ни на миг не выпускали из виду двери участка.

Минуты тянулись бесконечно. Я пересчитывал окна поста, а внутри у меня все было напряжено, как струна.

Когда я был уже на пределе, Бартош вышел, спокойно и не спеша огляделся, кивнул мне и направился к машине. В этот момент я почувствовал невероятную усталость, разбитость во всем теле, пистолет казался пудовым, ноги свинцовыми. Мы сели молча, Франта дал газ. Только за деревней я спросил:

— Ну что?..

Бартош самодовольно улыбнулся:

— Он молчал и удивлялся. Я ему объяснил, кто я и почему пользуюсь фамилией покойного Мотычки. Для убедительности показал ему свой револьвер и предложил выбирать — или он уничтожит рапорт в

[1] Первой республикой называли Чехословакию периода 1918—1938 гг.

Усти и заменит его другим, либо я применю оружие. Вид у меня, наверное, был достаточно безумный, и он выбрал первое. Теперь Ота Мотычка может спокойно жить и дальше...

Пока все кончилось благополучно, но все же Бартош решил, что всем троим — ему, Вальчику и Потучеку — пора сменить документы. Мы сделали фотографии и, известив Моравека через пани Моравцову, отправились с ними в Прагу. Встреча с Моравеком для передачи ему фотографий была назначена на поздний вечер в Хотковом саду.

Второй монолог историка

Осенью 1941 года связь между Англией и внутренним Сопротивлением была нарушена, и обе стороны стремились ее восстановить.

С этой целью накануне нового, 1942 года были сброшены у Подебрад Бартош, Вальчик и Потучек.

Тем временем Моравек собирал разведывательные данные, умело ускользая от гестапо. Он располагал несколькими квартирами в Праге, куда приходил за информацией, получал он ее и от Пауля Тюммеля. О встречах с ним он условливался посредством тайника на старом военном кладбище в Праге.

Кто такой был Пауль Тюммель?

16 мая 1942 года Рейнхард Гейдрих пишет Мартину Борману в ставку фюрера, что Тюммель — немец, 1902 года рождения, учился на пекаря, с 1928 года начал работать в разведке.

Членский номер в НСДАП 61574, награжден почетным знаком партии. Первоначально входил в число добровольных сотрудников нацистской разведки того времени, с 1933 года служил в разведке вермахта. В 1934 году Тюммель был назначен руководителем командования абвера в Дрездене. После марта 1939 года и создания протектората шеф абвера адмирал Канарис посылает своего подчиненного Тюммеля в Прагу и дает ему широкие полномочия не только на чешских землях, но и на Балканах.

Тюммель, сотрудник абвера, был двойным агентом. Арестованный гестапо в 1942 году, он не был казнен... Видимо, доводы, приведенные им в свою защиту на допросах в гестапо, были настолько убедительными, что гестапо не смогло разобраться, с кем имеет дело. Когда же Тюммеля арестовали вторично, он признался, что скрывался под кличкой «Рене», помогал чехословацкой разведслужбе и сотрудничал со штабс-капитаном Моравеком. В отчете гестапо указывается: «...с главным имперским управлением безопасности (РСХА) и с отделом абвера достигнута договоренность задержать Моравека при участии Тюммеля, соблюдая все меры предосторожности. Поэтому 2 марта 1942 года Тюммель был выпущен на свободу...».

Когда у нацистов появились подозрения насчет Тюммеля?

Сообщение, направленное Гейдрихом Борману в мае 1942 года, гласит:

«Парашютист (Павелка) был через несколько дней арестован... После расшифровки обнаруженных радиограмм установлено, что существует крупный британско-чешский агент, действующий под именем «Рене». 27 февраля 1942 года было установлено, что им является руководитель командования абвера — Пауль Тюммель».

Чехословацкой разведке в Лондоне был нанесен тяжкий удар. Сведения, доставляемые Тюммелем, представляли огромную важность для чешского Сопротивления: так, он сообщал о том, кто сотрудничал с гестапо, кто подпал под подозрение, каким подпольным явкам грозит опасность... Но в ночь с 3 на 4 октября 1941 года гестапо с помощью радиоперехватчиков установило, откуда работает подпольная радиостанция, и нацистам удалось захватить радистов Индржиха Клечека и Антонина Немечека.

Связь с Лондоном была прервана...

Моравек продолжал получать от Пауля Тюммеля сведения, но не имел возможности передавать их. И вот в протекторат прибыла группа «Сильвер А». Бартош должен был установить связь с Моравеком, а через него и с Тюммелем.

19 января 1942 года Бартош получает радиограмму с адресами, где он может встретиться с Моравеком, «Отой». Но адреса оказались недействительными.

В начале марта 1943 года Бартош сообщил в Лондон, что нащупал нити, ведущие к Оте, то есть Моравеку, и чтобы завоевать доверие знавших Моравека людей, он просил передать по лондонскому радио условный текст: «Мир хорошо знает, что такое немецкие концентрационные лагеря и особенно что такое лагерь Маутхаузен и Освенцим под Катовицами, где томятся и погибают многие чехи. Ответственность за эти чудовищные преступления несут Гитлер и его сообщники».

5 марта 1942 года текст был передан в эфир, и 14 марта Бартош ответил: «После субботней передачи с помощью Б. установлен личный контакт с Отой...»

Итак, сведения от Тюммеля опять могли поступать через Моравека в Великобританию.

Казалось, все в порядке, Тюммель продолжал действовать. Однако же... Нам известно, что Моравек получил от Бартоша («Мотычки») фотографии парашютистов и надо было изготовить фальшивые удостоверения личности.

И тут произошла трагедия.

Гестапо раскрыло Тюммеля в конце февраля, Моравек, не зная этого, не подозревал об опасности.

Первый арест Тюммеля произошел 13 октября 1941 года, ему была устроена очная ставка с «Волком» — арестованным чехословацким офицером Хуравым, отрицавшим тождество Тюммеля и «Рене», и в конце ноября 1941 года Тюммель за недостатком улик был освобожден. Гестаповец Абендшён припер его к стенке, и Тюммель признался, что знаком с Моравеком, но объяснил, что получает от него важные сведения для рейха и поэтому он должен оставаться на свободе. Абендшён не поверил ему, и «Рене», он же «Франта», он же Тюммель, сообщил гестапо адрес Моравека, но успел предупредить его, и облава на Моравека снова оказалась безуспешной.

Вторично Тюммель был арестован в фев-

рале 1942 года. По данным Абендшёна, Тюммель утаивал какие-то важные сведения и от гестапо, и от своего начальства в абвере. Абендшён утверждал, что Тюммель работает на Лондон.

Тюммель оправдывал свои действия тем, что рассчитывал получить для нацистской шпионской службы необходимую информацию и скрывал свои связи с Моравеком с целью выявить всю его подпольную сеть.

Доводы Тюммеля, казалось, убедили гестаповцев, которые предложили ему договориться о встрече с Моравеком близ Вацлавской площади, где они смогли бы задержать Моравека, не дожидаясь разоблачения всей его агентуры.

Тюммель согласился, однако Моравек на встречу не явился.

Обстановка накалялась: Тюммель получил приказ устроить новую встречу с Моравеком, а чтобы он снова не предупредил его, в квартире Тюммеля остался ночевать гестаповец Шарф. Он спал у двери, а «Франта» вылез через окно и дал знать кому следует.

Тогда Тюммелю приказали завлечь Моравека в свою квартиру. Тюммель заявил, что Моравек пойдет к нему только в том случае, если он сам встретит его на остановке трамвая. Вернувшись без Моравека, Тюммель сообщил удивленным гестаповцам, что Моравеку сегодня некогда и он придет завтра...

Терпению Абендшёна пришел конец, и 20 марта «Франта» снова был арестован. На следующий день разыгралась трагедия.

Гейдрих доложил Борману, что после допросов нескольких человек, связанных с Моравеком, выяснилось, что 21 марта 1942 года в 19 часов в одном из пражских парков — над трамвайным депо в Стршешовицах — состоится встреча Моравека со связным. Гейдрих приказал оцепить весь парк...

В 19 часов 10 минут связной прибыл и после отчаянного сопротивления был арестован. Он не успел даже воспользоваться оружием. У него вырвали признание, что он должен был с кем-то договориться о встрече на 22 часа, поскольку в 19 часов Моравек прийти не смог.

Далее Гейдрих сообщает: «Около 19.15, когда мои люди уводили арестованного, неожиданно на одной из боковых дорожек появился Моравек и, увидев арестованного, открыл стрельбу».

Леон хотел помочь товарищу и сделал около пятидесяти выстрелов, однако, по словам Гейдриха, ни в кого не попал, сам же был ранен в голень и бедро. Поняв, что окружен и бежать не может, он застрелился.

Пытаясь избавиться от ключей, он выбросил портфель, в котором помимо радиограмм из Лондона и материалов для шифровок лежали фотографии парашютистов, переданные ему Бартошем.

По другой версии Леон шел вместе со своим связным на квартиру к Тюммелю; увидев, что весь квартал окружен, он попытался вскочить в проходивший трамвай, завязалась перестрелка... Конец был тот же: портфель оказался в руках нацистов.

По свидетельству двух очевидцев и вопреки сообщению Гейдриха Борману, возле Прашного моста из трамвая номер 20 на ходу выпрыгнул человек, двое в штатском бросились за ним, начали стрелять по убегавшему и ранили его, а затем он застрелился.

Так погиб отважный участник движения Сопротивления Леон, он же Ота — Вацлав Моравек. Пауль Тюммель долго находился в заключении и, наконец, по некоторым сведениям — перед самой победой — был казнен в концлагере Терезин. Шпион международного класса, он слишком много знал.

Гибель Моравека и арест Тюммеля ставили под угрозу группу Бартоша. Гестаповцы располагали теперь фотографиями ее участников. Имен они не знали, но на оборотной стороне снимков стояла печать пардубицкой фотографии. И нацисты ринулись в Пардубице.

Второй монолог учителя химии

Пардубицкое гестапо опознало только Вальчика. «Это же официант из «Веселки»! Об остальных, чьи фотографии были найдены в портфеле Моравека, никто ничего не знал, предполагали только, что это парашютисты.

Вальчик скрылся в Моравии, а позднее перебрался в Прагу, где легче было затеряться и работать, не привлекая внимания.

Фотографии Потучека и Бартоша были разосланы во все отделения гестапо в Чехии и Моравии.

Вальчик изменил внешность: перекрасился в брюнета, отрастил усы. Тоже черные. В Праге он прежде всего встретился с учителем Зеленкой, а тот направил Вальчика — теперь его звали Зденда — к пани Моравцовой. Квартира Моравцев стала центром подполья, так что ни один из парашютистов не мог задерживаться там надолго. Поэтому через несколько дней «тетя» отвела Зденека к одному железнодорожнику. В это время Кубиш и Габчик уже готовились к покушению, и Вальчик включился в их работу. Ему нашли фиктивное занятие торгового агента в художественном салоне издательства Топича, в течение дня он имел возможность свободно перемещаться по городу.

Все трое — Кубиш, Габчик и Вальчик — почти ежедневно ездили в Паненске Бржежаны, где находился замок Гейдриха, изучали местность, осматривали каждую рощицу, повороты, обочины.

Существовало три варианта предстоящей операции. Первый: устроить налет на салон-вагон Гейдриха в поезде. Каким бы романтичным ни казался этот план, но он был тщательно продуман и подготовлен вместе с железнодорожниками. Идея состояла в следующем: надежные люди сообщают время отъезда Гейдриха, машинист останавливает поезд, и парашютисты нападают на него из засады.

От этого плана пришлось отказаться: обследовав путь и насыпь, мы пришли к заключению, что место неудобно для нашей цели, к тому же машиниста перевели, он перестал водить поезд Гейдриха.

По второму варианту место покушения перенесли на шоссе в Паненске Бржежаны. Ребята настолько изучили намечен-

ный участок, что могли бы действовать с завязанными глазами. Предполагалось, что через шоссе будет протянут канат, по возможности стальной, машина Гейдриха уткнется в него, и группа воспользуется замешательством. Нашли подходящий канат, провели репетицию, несколько раз испытали канат, но вариант этот в итоге тоже был отвергнут. К тому же около Паненске Бржежан негде было укрыться и некуда бежать. Операция здесь на девяносто процентов означала самоубийство. Решено было раздобыть автомашину, поставить ее поблизости, сняв номера, и затем на ней скрыться. Однако было ясно, что из Паненске Бржежан по телефону будет дан приказ немедленно оцепить весь район, и едва ли машина успеет проскочить вовремя.

Второй вариант также был решительно забракован.

Оставался третий. Если покушение произойдет в городе, то у ребят будет больше возможности скрыться. Хотя бы на некоторое время прекратится движение трамваев, и в суматохе легче будет затеряться среди домов. На прямом шоссе, где машина Гейдриха идет на большой скорости, трудно осуществить такую операцию, поэтому надо было найти на дороге Паненске Бржежаны — Прага, по которой каждый день ездил протектор, поворот, где водитель уберет газ и притормозит. Это самый подходящий момент. Наилучшим участком был поворот в районе Кобылис, где улица «В Голешовичках» идет под острым углом. Это было предместье Праги, переплетение улочек, застроенных виллами, поблизости ни одного полицейского участка — место, просто созданное для нашего предприятия...

Участники группы осматривали его несколько раз и остались довольны. Решили, что на задание они поедут на велосипедах, которые оставят наготове у стены дома. Договорились, кто каким путем скроется. Нужно было выяснить еще одну очень важную деталь: точный момент отъезда Гейдриха из Паненске Бржежан и прибытия в Пражский Град, а также состав его сопровождения.

Необходимо было наладить связь с кем-нибудь из самого Пражского Града, с человеком надежным и имевшим доступ всюду.

Кто бывал в Праге на улице Неруды, тот знает, что она тянется вверх от Малостранской площади к Пражскому Граду, а от поворота на Град отходит улица Увоз, ведущая к Погоржельцу. Старинные строения, поросшие мхом крыши, тесные квартирки...

Здесь-то и помещалась лавка часовщика Йозефа Новотного. Я частенько ходил туда к его брату, Камилу Новотному, который жил на втором этаже над мастерской. Мы не раз проводили здесь подпольные совещания. Проходишь лавку, кухню, а оттуда по лестнице на второй этаж. Самое же главное состояло в том, что Йозеф Новотный многие годы был часовщиком в Граде.

Немцы не считали его работу настолько важной, чтобы заменить его «своим» человеком, и Йозеф ходил в Град, чинил стенные и наручные часы и все подмечал. Я не раз говорил ему, чтобы он не привлекал к себе внимания, чтобы держался учтиво, услужливо, и часовщик в интересах дела с отвращением в душе бесплатно чинил часы немецким служащим и офицерам из Града. Похлопывая его по плечу, они, верно, думали: вот глупый чех, ничего не берет за ремонт — им и в голову не приходило, что часовщик приносит из Града важную информацию.

Он передавал ее нам лично или через своего брата Камила.

Благодаря этому мы имели точные сведения о приездах Гейдриха в Пражский Град и знали о каждом его шаге. Иногда Йозефа приглашали что-то чинить и в Паненске Бржежаны, тогда мы получали сведения и оттуда. Йозеф сообщил нам, что в среду, 27 мая, Гейдрих вылетает в ставку Гитлера.

Монолог женщины из дома на Жижкове

— Мне посчастливилось найти блаженного немого,— говорил мой муж о пане Зеленке. И действительно, учитель умел молчать.

Мы часто встречали его то тут, то там, и всякий раз он держался, словно мы едва знакомы, поздоровается, скажет пару слов о погоде и идет дальше. Иногда он приходил к нам, чтобы не водить подпольщиков в свою квартиру.

Спустившись с третьего этажа, он, оглядевшись, тихонько, как мышь, проскальзывал в нашу квартиру.

Однажды он пришел без предупреждения и обратился к мужу:

— Мастер, не мог бы я попросить вас помочь мне в одном деле?

— Пожалуйста...

— Съездите в Град.

— В Град?

— Да. Найдите пана Шафаржика. Он работает столяром. Спросите его, помнит ли он своего школьного учителя. Если он назовет меня, передайте, что я хотел бы с ним повидаться. И договоритесь о встрече, пожалуйста. Это очень важно...

— Поездка мужа оказалась неудачной: столяра не было в тот день на работе — он заболел. Муж узнал его адрес, но застал только его жену — он уехал к врачу.

Моему мужу ничего не оставалось, как отправиться обратно в Град, в приемную врача, и там среди пациентов он опознал столяра, внешность которого ему описал учитель.

На заданный вопрос столяр тут же ответил:

— Кто меня учил? Зеленка...

Они договорились о встрече, которая должна была состояться на Малостранской площади. Вместе с Зеленкой должны были пойти Кубиш и Габчик.

Вспоминает столяр

Можно ли было не помнить пана учителя Зеленку! Строгий был, спуску нам не давал. Я много лет его не видел. Зимой 1942 года я работал в Пражском Граде, ремонтировал мебель, столярничал. Иду как-то через двор и вдруг вижу Зеленку. Я его сразу узнал.

Он остановил меня, начал расспрашивать, как и что. Что я мог ответить? Живу, как все. Плохие времена, немцы хозяйничают.

Зеленка кивнул и стал меня прощупывать, допытывать, как в школе на экзаменах. Про Гейдриха. А я на это сразу:

— Чего вы от меня хотите?

Учитель засмеялся. Он говорил мне «ты» и велел, чтоб я ему тоже «тыкал».

— Как же так. Вы мой учитель.

— Будем считать, что я твой свояк, и пойдем выпьем пива.

Вскоре я встретил его снова. Он завел тот же разговор об обстановке, о том, что нужно действовать, что больше всех нам вредит Гейдрих и потому, мол, он «должен исчезнуть».

Я перепугался и говорю:

— Я ничего не слышал. У меня дочка маленькая.

Немцы ведь не знали пощады. Зеленка сразу замолчал, а потом добавил:

— А ты подумай. Ты можешь мне помочь, без риска для себя.

Несколько дней у меня не выходил из головы этот разговор, я понял, что буду последней свиньей, если не помогу. Потом ко мне явился человек от учителя, и мы встретились с Зеленкой на Малостранской площади. С учителем пришли еще двое, теперь-то я знаю: это были Кубиш и Габчик.

Они хотели знать, в котором часу Гейдрих приезжает в Град, когда вечером отбывает, ездит ли с сопровождением. Они предложили мне деньги, от денег я наотрез отказался.

— Только, ребята, не нравится мне это, дело пахнет виселицей...

Они стали меня успокаивать:

— Слушай, Франта, дома об этом ни слова. Ты только сообщи, в какое время он уезжает. А когда мы его хлопнем, тебя не будет рядом.

Я показал им, где Гейдрих выходит из машины.

Они осмотрели улицу Неруды под Градом, крутой поворот возле Увоза, потом проехали до серпантина у Либоцкого кладбища. По этой дороге Гейдрих ездил на аэродром.

Сперва я передавал сведения сам, ходил к Зеленке через весь город на Жижков, потом стал ходить на Летенскую улицу, дом два, к девушкам, знакомым Кубиша и Габчика. Я подходил, стучал в окно, оно открывалось, я передавал бумажку черненькой или кому-нибудь из ребят и, ни слова не говоря, уходил. Я сообщал: «9 часов — 5 часов дня. С ней». Или «без». То есть, когда Гейдрих приезжал и уезжал, ехал ли он с машиной сопровождения или без нее...

Только через много лет, уже после войны, я узнал фамилии этих девушек: Коварникова и Соукупова, они были сестры. Немцы казнили их, они не проронили ни слова и тем спасли мне жизнь. А донес на них дворник дома, где они жили...

Третий монолог историка

Расскажем о некоторых группах, направленных в Чехословакию из Лондона.

Один из первых парашютистов был доброволец — курсант Франтишек Павелка, в прошлом студент философского факультета. Из Лондона он вылетел 3 октября 1941 года, а уже 25 октября нацистам удалось схватить его в Праге. Из найденных у него материалов они узнали о шпионе «Рене» — Тюммеле.

Судьба групп «Сильвер А», «Сильвер Б» и «Антропоид» сложилась по-разному:

«Антропоид» с самого начала был удачливее других. С Кубишем и Габчиком подпольщики связались и помогли им добраться до Праги в начале января 1942 года.

Группе «Сильвер Б», летевшей этим же самолетом, не удалось выполнить свое задание; полученные в Лондоне адреса оказались негодными: явки были раскрыты, радиопередатчик разбился, а Шкаху выследили и отправили в Маутхаузен. Зенек осенью 1944-го ушел к партизанам.

Весной, 28 марта 1942 года, последовала «вторая волна» парашютистов: группа «Аут дистанс» и «Цинк». Для нашего рассказа они имеют огромное значение. В них входило шесть человек, очень разных по характеру и образу мыслей.

Обе группы приземлились далеко от заданного района, группа «Цинк» оказалась в Словакии. Двое погибли в перестрелке с немцами, третий в начале апреля сам явился в гестапо, передал нацистам ценные сведения и стал осведомителем...

Какова была судьба группы «Аут дистанс»?

О ее командире Адольфе Опалке мы еще услышим, второй ее участник — Карел Чурда прославился, увы, печальным образом.

В течение войны из Англии в Чехословакию было заброшено несколько десятков десантных групп. Им часто давали «научные» названия, например, «Антимоний», «Барий», «Кальций», «Углерод», «Сода», «Глюциний», «Вольфрам», «Боксит», «Платина», «Алмаз».

Большинство из них приземлялось далеко от установленного района.

По своему характеру группы в основном были разведывательные, а не боевые. Их задача состояла в установлении связи с подпольными организациями внутреннего Сопротивления и передаче по радио сведений в Лондон. Даже в конце войны, в 1944 году, лондонское руководство проявляло интерес прежде всего к информации и шпионским сведениям и не планировало боевых партизанских действий. В этом состояла основная разница между инструкциями, которые шли из Лондона и из Москвы.

Особое задание имели, пожалуй, только две группы: «Антропоид» — ликвидировать Гейдриха (первоначально предполагалось К. Г. Франка) и «Тин» — устранить Эмануэля Моравца, министра так называемого правительства протектората и других коллаборационистов: это задание выполнено не было.

Запад не случайно посылал столько групп в Чехословакию весной 1942 года. Лондон тревожило влияние коммунистического движения Сопротивления на массы, влияние это становилось решающим. Коммунисты составляли самую организованную часть антифашистского движения, они име-

ли ясные цели и программу. Запад отпугивали успехи контрнаступления Красной Армии под Москвой. Вот слова из радиограммы «Либуши» от 27 февраля 1942 года о настроениях в протекторате:

«Россия и ее армия — единственная надежда для всех... Россия, разумеется, вызывает самые большие симпатии у рабочих, другие классы тоже ей симпатизируют...»

28 марта сбрасываются группы «Аут дистанс» и «Цинк», также имевшие задание связаться с Бартошем. В газете «Народни политика» печатались условные объявления, после чего участники шли на установленную явку. Это делалось на случай, если при приземлении группа разъединялась и парашютистам приходилось действовать в одиночку. В «Народни политике» того времени можно найти немало подобных объявлений. Например, в рубрике «Книги и музыкальные инструменты» за первое, второе, пятое, шестое, седьмое и восьмое мая 1942 года публиковалось следующее объявление:

«Куплю словарь чешского языка. Предложения по адресу: Ян Войтишек, Курорт Белоград, 354».

От Войтишека путь вел к Бартошу.

Девятого, двенадцатого и тринадцатого мая 1942 года в «Народни политике» было опубликовано следующее объявление:

«Куплю словарь чешско-немецкий и немецко-чешский в двух отдельных томах. Ярослав Лукеш, Бернартице, 39».

В протоколах гестапо значится между прочим, что в Бернартице близ Табора у парашютистов имелось девять явок, в Курорте Белоград — одна. Бернартице ожидала судьба Лидице... Ян Войтишек и Ярослав Лукеш впоследствии были схвачены и казнены. Судьбу Лукеша разделили еще 22 жителя Бернартице. Вместе с Яном Войтишеком была расстреляна вся его семья (шесть человек) и рабочий его типографии. В живых осталась только шестимесячная дочь...

Публиковались и другие объявления, с помощью которых парашютисты пытались восстановить связь друг с другом. Например, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого и семнадцатого мая в «Народни политике» в рубрике «Потери и находки» появилось сообщение:

«Старинный перстень с монограммой И. Ш. утерян в «Черном пивоваре» 30.IV.1942. Обращаться на код: «Семейный».

Из группы «Цинк» добрался до Бартоша в Пардубице один только Микш. Герик сдался. Пехал бился до конца, загнанный, раненый, но не сломленный...

Из группы «Аут дистанс» путь к Бартошу в Пардубице нашли Опалка и Чурда. Поэтому «Либуша» уже 14 апреля сообщила в Лондон, что группа «Краля», то есть Опалки, установила связь с Бартошем.

В ночь на 28 апреля 1942 года на территорию протектората были сброшены еще две группы — «Биоскоп» и «Бивуак». Среди них были Коуба, ефрейтор Й. Бублик и сержант Грубый, о которых речь впереди.

В общей сложности в марте и апреле 1942 года было заброшено 17 парашютистов, среди них были честные люди и предатели, подвижники и карьеристы. Заплетал кончил жизнь в бараке Маутхаузена как ненадежный осведомитель, Герик ежемесячно и с циничным постоянством получал в банке иудино вознаграждение, Микш погиб неподалеку от Кршивоклата. Коуба в Кутной Горе принял яд, чтобы избежать ареста

Имена Кубиша, Габчика, Вальчика, Опалки, Шварца, Бублика и Грубого навсегда войдут в историю. Это были герои. Не будет забыт и Карел Чурда: ни люди, ни история не прощают предательства.

Третий монолог свидетеля из Пардубице

Весной 1942 года были сброшены новые группы парашютистов. Каждая из них снабжалась в Лондоне примерно тремя адресами. Эти адреса сообщались по радио также Фреде—Бартошу, и мы ждали появления у нас новых людей. Наш пароль был «Алкасар». Если через неделю после высадки никто не приходил, моя жена Ганка отправлялась проверять указанные адреса. Это было опасное занятие — всюду шастали осведомители. О приземлении мы узнавали из объявлений в «Народни политике» с адресом типографа Войтишека в Лазнях Белограду. От Войтишека моя жена переправляла их к нам. Первым пришел «Краль». Это был Адольф Опалка. Отличный паренек... Пробыв у нас дня два, он перебрался в Прагу в семью Моравцев — в пражский «перевалочный центр», который размещал парашютистов по другим квартирам... Мы ждали еще одного парашютиста, но он все не появлялся. Куда только Фреда не посылал Ганку — все было напрасно.

Она ездила даже в Моравию и обнаружила, что тамошняя явка устарела, хозяин квартиры был давно арестован. Добралась она и до Бухловских лесов, где попала в оцепление жандармов и немцев. К счастью, ей удалось выбраться оттуда: один из чешских жандармов вывел ее через железнодорожный мост из окруженного района — таких, как он, было немного,— рассказав по пути, что немцы выслеживают парашютистов и одного уже застрелили...

Наконец, у нас появился человек, которого мы так долго ждали: Чурда по кличке «Врбас». Мы с Фредой в тот день были в Праге, и дома он застал только женщину, которая мыла полы. Она открыла дверь Чурде и сообщила потом жене, что нас спрашивал какой-то человек с испуганным лицом. Вскоре он вернулся, застал жену и произнес пароль «Алкасар». Он назвался Врбасом и сообщил, что его направил к нам Войтишек. Это был парашютист, которого мы так долго ждали.

Жена дала ему адрес Гладены, чтоб он не болтался целый день на улице.

Он пришел только вечером, когда мы с Фредой уже возвращались из Праги. Мы с ним поговорили, и он произвел на нас очень неприятное впечатление. Голос его звучал неискренне, он заикался, а главное — у него был сильно перепуганный

вид. На мой вопрос, почему он целый месяц не откликался, он нервно ответил, что находился у родственников.

— А наши объявления о покупке словаря читал?

— Только что увидел и потому пришел.

Чем больше мы с ним разговаривали, тем меньше он нам нравился.

Он переночевал у нас. Бартош дал Врбасу—Чурде какое-то задание и решил переправить его в Прагу. Тогда мы не могли предполагать, что все провалится из-за этого человека, хотя он выглядел трусом и нам не понравился. Если бы ему не доверяли, уговаривал я себя, не посылали бы сюда. Чурда хорошо стрелял, прилично сдал выпускные экзамены, сделал несколько удачных прыжков — и его послали. Но разве проникнешь в чужую душу? Могло ли лондонское командование гарантировать, что именно он не станет предателем?

Потом появился Атя Моравец и увез Чурду. Больше я его уже не видел.

Монолог привратника

В конце апреля сидел я за столом, вдруг раздается звонок. Жена открывает: на пороге Зденда и Атя. Зденда вошел в кухню, еле волоча ноги, сел на кушетку и произнес:

— Вот и мы, дорогой домохозяин...

Он любил в шутку называть меня «домохозяином». Атя имел совсем удрученный вид.

— Что стряслось? — испугалась жена.

Зденда (то есть Вальчик) помолчал, а потом говорит:

— Спросите Атю...

Я посмотрел на молодого Моравца.

— Беда...— начал он и рассказал, что один из недавно сброшенных парашютистов закопал привезенный материал в поле у Кршивоклата, на месте приземления. Зденда с Атей отправились туда, чтобы все переправить в Прагу. С ними поехали еще двое — Коуба и Арношт Микш, прибывший в конце марта вместе с Гериком, тем, что явился в гестапо еще до покушения.

— Я те места немного знаю, проводил там отпуска,— говорил Атя,— и предложил Зденеку сократить путь. Мы не доехали до Кршивоклата, сошли в Збечно и пошли лесом. Было темно, мы еле различали дорогу. Я вышел со Зденеком, а те двое с другой стороны. У Микша была карта. Мы должны были сойтись... Лезем через кусты по ложбинам, чтобы нас не видели, а когда почти добрались, перед нами вдруг вырос жандарм с винтовкой и потребовал документы. Я показал свое удостоверение, он проверил его и велел немедленно убираться, потому что весь район оцеплен и прочесывается...

— Атя боится, что жандарм запомнил его фамилию и это может плохо кончиться.

Я пытался его успокоить:

— Если он хотел выдать, не стал бы предупреждать вас.

На другой день мы узнали, что́ случилось с двумя другими. Они напоролись на оцепление, Микш вытащил пистолет, началась перестрелка.

Вот вырезка из газеты с сообщением об этом:

«ЧТК, Прага. 30 апреля 1942 года около 22 часов сотрудники жандармского отделения в Кладно застигли на месте преступления двух мужчин, чехов по национальности, которые собирались осуществить диверсию с помощью взрывчатки. Преступники открыли по жандармам стрельбу. В перестрелке один из преступников был убит...» Да, Микш погиб, а материал взяли гестаповцы.

О чем знает архивариус

У всякого старого документа есть свой особый запах. Говорят, настоящий архивариус определяет по нему возраст документа. Память способна подвести, а вот архивные документы говорят правду. Точнее говоря, почти всегда говорят правду. О бомбежке пльзенской «Шкодовки» в 1942 году существуют любопытные радиограммы.

14 апреля 1942 года Лондон посылает следующую шифровку:

«В течение апреля месяца будет проведена бомбардировка завода «Шкода». Примите меры для облегчения самолетам точного определения цели. Лучше всего разжечь костры вблизи от цели к моменту прилета самолетов...»

Затем последовал ряд радиограмм, уточнявших задачи.

18 апреля 1942 года «Либуша» радировала в Лондон о готовности к операции, сообщала, какие будут сигналы — костры, ракеты и т. д.

В субботу 25 апреля 1942 года прозвучал условный «Славянский танец номер восемь» Дворжака. Все было готово...

Что же произошло на деле? Вот радиодепеша «Либуши» от 29 апреля!

«Результат операции «Шкода»: кроме двух сгоревших крестьянских хозяйств, которые подожгли мы, ареста нескольких лиц по подозрению в поджогах, разочарования рабочих — итоги налета равны нулю... «Шкодовке» не нанесено никакого ущерба...» Депеша требовала повторения акции, далее в ней говорилось:

«Рабочие ждут первой бомбы, которая достигнет цели, чтобы закончить остальное разрушение самим. Не обманите их опять».

Это важно. В 1947 году при публикации этой радиограммы в ней недоставало именно этих двух последних фраз. Они звучали неприятно для лондонских организаторов. Так же поступили они и с депешей «Либуши» от 5 мая 1942 года, после второго, опять неудачного налета.

В 1947 году окончание депеши также не попало в печать, а оно было таким:

«Рабочие не могут понять, почему вы вызываете их на акции саботажа и не даете им возможности эти акции осуществить!»

Нетрудно понять, почему налеты 1942 года на пльзенский завод «Шкода», до войны принадлежавший иностранному капиталу, были безрезультатными!

В конце войны было принято решение о национализации всех крупных предприятий Чехословакии, и за два дня до окончания войны завод был уничтожен.

Четвертый монолог свидетеля из Пардубице

В апреле мы с женой побывали в Праге у Моравцев и там узнали недобрую весть, что один из парашютистов сам явился в чешскую полицию, и та его передала в гестапо. Сегодня мы знаем, что это был Герик.

Мы не раз говорили между собой о том, что нас могут предать, но никак не ожидали, что предатель окажется среди парашютистов. Мы верили, что уж они-то люди надежные...

Зашли мы и к Седлакам. Работая техником на строительстве нового корпуса «Шкоды» в Градце-Кралове, Седлак получал важные сведения о производстве и о военных заказах, я передавал их Фреде, а тот — в Лондон.

Седлак передал мне также информацию, важную для подготовки бомбежки,— о размещении охранников вокруг «Шкодовки» и местонахождении макета, «Шкодовки», которую немцы построили, чтобы обмануть разведывательную авиацию.

Мы напряженно ждали. Прошла неделя, вторая, наконец, в лондонской передаче мы услышали условные сигналы.

Утром Фреда послал мою жену в Прагу за более точными результатами.

Ганка вернулась расстроенная. Все наши были разочарованы и озлоблены, Вальчик просто рвал и метал. Все осуждали комедию, которую разыгрывал Лондон...

Еще бы: парашютисты, а вместе с ними десятки их сотрудников и помощников не щадили жизни, а все было впустую. К чему было рисковать собой и другими?

И все же работа продолжалась. Передавались радиограммы, расшифровывались полученные указания, собиралась информация.

В начале мая Бартош съездил в Прагу к Индре — учителю химии. Вернувшись, Фреда сказал, что нужно приостановить дела. Я решил, что готовится покушение на Гаху [1], поскольку он говорил о радиограмме, где фигурировала буква «Г».

После возвращения из Праги Фреда тяжело заболел. Ревматизм. Он совсем не мог ходить. С прикованным к постели командиром наше положение чрезвычайно осложнилось.

Не знаю, что делали в это время другие парашютисты, Вальчика я давно не видел. Не знал я и о том, что некие Кубиш и Габчик ежедневно ездят в Паненске Бржежаны.

Третий монолог учителя химии

Итак, по мере приближения дня операции я все больше сомневался в целесообразности того, что мы готовили. То есть в целесообразности покушения именно в тот момент.

Первоначально оно намечалось на 28 октября 1941 года.

В январе 1942 года я впервые встретился с Кубишем и узнал от него, что он, вместе с другим парашютистом, прибыл с заданием убить Гейдриха. Другого — Габчика — мы вскоре увидели тоже.

Кубиш тогда же сообщил, что есть и другие парашютисты и что их командир «Йозка» хочет меня видеть.

Мы несколько раз встречались с «Йозкой», Бартошем в Праге. Вальчик и его группа серьезно готовились к выполнению приказа о покушении. Мы снова и снова обсуждали операцию, которая казалась нам слишком рискованной.

Мы понимали, что нацисты будут мстить за нее всему чешскому народу. Но что поделаешь — приказ был ясен. Военные приказы обсуждению не подлежат. Впрочем, обсуждать его парашютисты могли, но не имели права не выполнить. Я чувствовал свою ответственность за их дела — ведь я руководил организацией, которая помогала им, давала им убежище. Что, если нацисты в ответ развяжут страшный террор? Что потом? Представляют ли в Лондоне здешнюю обстановку?

В конце апреля состоялся драматический разговор. Я, Бартош, Габчик сошлись в Праге, и я изложил им свое мнение о предстоящей операции, сказал, что, по-моему, момент для ее осуществления еще не наступил.

— Понимаете ли вы, что последует за покушением? Начнутся аресты, пытки, расстрелы...

Бартош сперва молчал, но после некоторого размышления согласился со мной. Габчик же просто взорвался:

— Покушение необходимо, и я выполню приказ.

Тут Бартош впервые при мне строго одернул Габчика. Мы с Бартошем договорились сообщить в Лондон нашу точку зрения на покушение.

«По просьбе Индры, получившего от вас полномочия... посылаем эту радиограмму. Подготавливаемое Отой и Зденеком покушение ничего не даст союзникам, а для нашего народа имело бы трагические последствия. Под угрозой оказались бы не только заложники и политические заключенные, но жизни тысяч других людей» и т. д.

Габчик жаждал деятельности, считал, что мы слишком напуганы, и не разделял нашего желания отложить операцию.

Каждый день Гейдрих ездил в Прагу — машину подавали к подъезду замка. Машина пересекала деревню, делала несколько поворотов при подъеме в гору и, проехав второй замок, также принадлежавший ему, хотя он там не жил, въезжала в густую рощу, среди полей.

За рощей к машине Гейдриха присоединялось сопровождение. Отсюда дорога, обсаженная по обеим сторонам сливовыми и грушевыми деревьями, шла уже прямо без единого поворота, а затем вливалась в государственное шоссе, которое вело к Праге.

Узнав, что мы собираемся пересмотреть и подвергнуть ревизии разработанный план покушения и к тому же отложить его, Габчик подговорил Кубиша провести нападение без нашего согласия и не дожидаться ответа из Лондона.

[1] Президент марионеточного чешского правительства протектората.

Это могло произойти около 15 мая. Накануне вечером я встретился с Опалкой, который заявил, что Габчик настаивает во что бы то ни стало выполнить первоначальный приказ. Хотя для меня это не было новостью, я рассердился, узнав, что он действует на собственный страх и риск. Мы не имели еще ответа из Лондона. Ведь приказ мог быть отменен.

Опалка съездил в Паненске Бржежаны и убедил Габчика ничего не предпринимать до радиограммы из Лондона.

Радиограмму из Лондона я так никогда и не видел. Приказ отменен не был.

Из этого и следовало исходить. К тому же наша информационная служба, действовавшая в окружении Гейдриха, сообщала, что в самое ближайшее время он, по-видимому, будет отозван и переведен во Францию.

23 мая, как всегда в субботу, я зашел к Камилу Новотному, и он сказал мне, что его брат-часовщик, ремонтируя часы в кабинете Гейдриха, узнал, что протектор собирается 27 мая вылететь специальным самолетом к Гитлеру. На столе Гейдриха якобы лежала специальная личная памятка на этот день... Он повезет с собой ценные сведения. Медлить было нельзя.

Все складывалось в пользу намерений Габчика...

На квартире у Габчика и Кубиша собралось совещание: надо было договориться о дальнейших действиях. Габчик стоял на том, что раз Лондон не отменил приказа, следует его выполнить. Была определена точная дата покушения: 27 мая 1942 года. 26 мая, в соответствии с разработанным планом, я перебрался на виллу в районе Глоубетин, одну из подпольных явок нашей организации.

Она находилась на окраине Праги близ Бажантницкой рощи, место было безопасное.

Подготовка подходила к концу.

На следующий день после покушения ко мне должен был прийти Вальчик. В 17 часов мы встречаемся на конечной остановке пятого номера трамвая, Вальчик привезет мне сообщение от Опалки относительно портфеля Гейдриха...

Надо было захватить его в целости и сохранности, было решено, что Кубиш бросит гранату только в крайнем случае. Ведь взрыв может уничтожить содержимое портфеля. Поэтому Габчик должен был стрелять, а Кубиш оставаться в засаде.

Местом покушения безоговорочно определили поворот в пражском предместье в Голешовице. Приехав туда на велосипедах, оба участника затем постараются на них же и уехать. Бомбы и автоматы они спрячут в портфели. Чуть выше поворота Вальчик, стоя у забора, даст зеркальцем знак: машина Гейдриха проедет мимо него...

Обычно протектор выезжал ранним утром, однако, поскольку в тот день он собирался лететь в Берлин, в его расписании могли произойти непредвиденные изменения.

Все это надо было учитывать.

Трассу, по которой Кубишу и Габчику предстояло возвращаться с места покушения, то есть из Кобылис до Карлина, мы, насколько возможно, обезопасили. В определенных пунктах находились наши люди. Они не знали, о чем идет речь конкретно, но получили необходимые инструкции. Например, такое указание: «...между девятью и десятью часами быть на углу Рокоски и внимательно наблюдать. Если там появится полиция или иная охрана — отвлечь их внимание вопросом или разговорами!»

В тот день стояла прекрасная погода.

Солнце манило на природу, казалось — лечь бы на траву, заложив руки за голову, и закрыть глаза. Когда я был учителем, работал в гимназии Брно, у нас в пригороде был небольшой сад. Как же замечательно пахнет земля весной!

В тот день я тоже ждал новостей в саду, только в Глоубетине, здесь находился наш штаб. Настал «день икс», а я ему совсем не радовался. Оставалось лишь надеяться, что репрессии будут не слишком жестокими. Но я в это не верил.

Перевод с чешского В. ПАРХИТЬКО

(Окончание следует)

Антирубрика

ДАФНА ДЮ МОРЬЕ (Англия)

ЭСКОРТ

Перевод с английского ЭЛЛЫ БАШИЛОВОЙ

Ничего особенного нет в корабле *«Вороново крыло»*, уверяю вас. Почти ничем не отличается от сотен грузовых пароходиков того же тоннажа: водоизмещение от шести до семи тысяч тонн, построен в 1916 году, принадлежит фирме «Кондор лайн», порт приписки — Гулль. Легко найти его в справочнике Ллойда, если захотите. Ходил одним и тем же рейсом, по тем же самым водам, все три года, что я на нем служил, и до меня тоже. Не сомневаюсь, что он прослужит еще много лет и закончит свои дни тихо-мирно на приколе, если только не потопят его фашистские подлодки.

Однажды ему удалось увернуться, но может случиться, что в следующий раз не будет у него такого спасителя, как в тот. Однако надо прежде рассказать о себе. Зовут меня Уильям Блант, и, по слухам, фамилию свою я оправдываю: [1] человек я самый обыкновенный. Никакого сумасбродства за мной не числится, парень я надежный, это может подтвердить любой прохожий в Гулле. А теперь, когда я вас познакомил со своим кораблем и с самим собой, можно и перейти к моему рассказу.

Ранней осенью мы плыли домой, в Англию, из одного скандинавского порта. Порт называть не буду — это может не понравиться цензору: суть в том, что с начала войны мы сделали три рейса — туда и обратно. В первые дни еще не было системы конвоирования и нам — капитану и мне — приходилось довольно туго в смысле нервного напряжения. Не подумайте, что мы или там команда дрожали от страха: я только скажу, что Северное море в военное время — далеко не рай, и на этом поставим точку.

В тот октябрьский день, как только мы вышли из порта, я подумал: как все-таки чертовски далеко от дома. К тому же лоцман-скандинав сказал с ухмылкой, что шесть часов назад немцы потопили английский корабль. От этих слов мне веселее не стало, сами понимаете. Лоцману-то что! Он ведь с нами не плыл. Он нам весело помахал, перелезая через борт, и скоро его катерок превратился в темную точку на волнах у входа в бухту. А мы легли на курс в открытое море.

Было около трех часов дня, море казалось спокойным и серым; помню, я еще подумал, что перископ подводной лодки будет ясно виден — хоть не застанут врасплох. Если, конечно, барометр не начнет падать и не задует ветер. Но это плохо помогало: планировать неизвестно что. И я довольно резко ответил главному механику, когда тот сказал, что есть опасность нарваться на подлодку и какого, мол, черта Морское министерство не принимает мер?

— Твое дело — полный вперед, веди корабль домой, к маме, понял? — ответил я.— Если Черчилль захочет с тобой посоветоваться, он, безусловно, за тобой пошлет.— На что механик ничего не ответил, а я раскурил трубку и поднялся на мостик, чтобы сменить капитана.

Капитан у нас не очень разговорчивый, поэтому я не удивился, что тот молча ушел в свою каюту. Я знал, что, если он будет нужен, он в двух шагах.

Спустилась ночь, и сильно похолодало. Корабль, слегка качаясь на волнах, шел в открытое море. Небо было в тучах, без звезд. Чего скрывать, в северных морях осенними ночами всегда темно, но эта тьма показалась мне особенно беспросветной. Не очень-то тут заметишь перископ, думал я, и может статься, что мы сразу почувствуем сотрясение от взрыва — другого предупреждения не будет. На днях кто-то рассказывал, что у немецких подлодок теперь новые торпеды, с более сильным зарядом, и подорванные корабли идут на дно в один момент.

Наше *«Вороново крыло»*, если его стукнуть в самую серединку, думал я, затонет в три-четыре минуты; мы и не увидим, кто нас угробил. Подлодка исчезнет, ее команда и не подумает подбирать уцелевших. Да она их и не увидит, в этой-то тьме. Я посмотрел на рулевого: это был Картер, маленький уэльсец из Кардиффа. Он имел привычку отсасывать свои вставные зубы, а потом — щелк! — ставить их на место. Вместе потонем, подумал я, стоим-то почти рядом. Но тут почему-то я

[1] Блант (blunt) — недалекий, бесхитростный, прямолинейный *(англ.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

обернулся и увидел капитана у входа в его каюту. Он держался за стенку и тяжело дышал, лицо его было красным.

— Что случилось, сэр? — спросил я.

— Проклятая боль в боку,— выдохнул он.— Еще вчера началась, я думал — переутомился. А теперь разогнуться не могу. Аспирина нет?

Какой там аспирин, подумал я, всякому ясно, что у тебя аппендицит. Я видел человека с таким приступом, его отправили в больницу и прооперировали моментально. Вытащили аппендикс величиной с кулак, так он распух.

— У вас в каюте есть термометр? — спросил я капитана.

— Есть,— ответил он.— Да на кой черт он нужен? Температуры у меня нет. Говорю тебе, переутомился. Дай мне аспирина.

Я смерил ему температуру, она была высокой; пот катился градом у него со лба. Положил руку ему на живот — он был как камень. Я помог капитану лечь на койку и накрыл его одеялами. А потом заставил его выпить полстакана бренди — ни больше, ни меньше. Может, это и не лучшее средство от аппендицита, да ведь мы болтались посреди Северного моря, за сотни миль от больниц, и пришлось рискнуть.

От бренди боль немного поутихла. Но это касалось капитана. Со мной же было все ясно: пришлось взять на себя командование кораблем и ответственность за доставку его в порт, через море, кишащее подлодками. Именно я, Уильям Блант, должен был довести это дело до конца.

Было зверски холодно. Руки и ноги у меня давно онемели, вместо них осталась только тупая боль. Но мне все было как-то безразлично, вроде бы болело не у меня, а у кого-то еще, например у капитана. Сорок восемь часов назад, когда я его сменил, он был беспомощен и стонал, но я ничего не мог для него сделать, стало быть это была не моя забота. Матрос поил капитана то аспирином, то бренди, а я, помнится, удивился как-то равнодушно, со стороны, что он еще жив.

— Вам надо поспать, вы не железный. Почему вы не хотите лечь? — спросил меня Картер.

Поспать? В том-то и беда, что в этот самый миг я был в каком-то странном полусне, правда помнил, что отвечаю за корабль, и именно вопрос Картера разбудил меня. Лицо его было встревоженным и осунувшимся.

— А если вы свалитесь, что делать мне? — продолжал он.— Вы думаете обо мне?

Я послал Картера к чертям и стал ходить по мостику, чтобы слегка оживить ноги и скрыть от него, что я действительно чуть не заснул.

— Именно потому, что я думаю о тебе,— ответил я,— я и торчу на мостике уже двое суток. Я вспоминаю, как красиво ты утопил трос, когда надо было его бросить на буксир. Помнишь, в Гулле, в последний раз? Так что принеси мне стакан чая с бутербродом и заткнись.

От моих слов он, видимо, повеселел, потому что, улыбаясь, кубарем слетел с лестницы. Стоя на мостике я смотрел вниз, прощупывая взглядом горизонт, наверное, уже в стотысячный раз, и видел все ту же картину: свинцово-серое гладкое море. На западе по небу плыли низкие облака — то ли дождевые, то ли туманные. Не подгоняемые ветром, они скапливались медленно, а барометр стоял на месте. Однако в воздухе запахло туманом. Я проглотил свой стакан чая, так же быстро расправился с бутербродом и уже нащупывал в кармане трубку и спички, когда произошло то, чего я подсознательно ждал уже двое суток, с тех пор как сменил капитана.

— Предмет слева по борту. Расстояние — около мили. Похоже на перископ.

Слова произнес впередсмотрящий на полубаке, их повторил вахтенный на палубе. Вытаскивая бинокль из футляра, я мельком взглянул на матросов у борта: на их лицах было странно одинаковое выражение.

Так и есть: это она. Сомнений быть не может. Тонкая серая черточка, как игла, слева и впереди от нас. Движется, оставляя пенистый след, заметную водяную борозду. Снова я почувствовал, что Картер стоит рядом со мной в напряженном ожидании: когда он поднял бинокль к глазам, руки его дрожали. Я дал команду слегка изменить курс и снова посмотрел в бинокль. Теперь перископ был прямо перед нами, и несколько минут игла продолжала двигаться вперед, словно равнодушная к нашему маневру. Потом — вот этого-то я и боялся — подлодка сама изменила свой курс, и перископ двинулся на нас, теперь уже с правой стороны.

— Она нас засекла,— сказал Картер.

— Да,— ответил я. Он взглянул на меня тревожными карими глазами — такие бывают у щенка-спаниеля. Мы снова поменяли курс и увеличили скорость, на сей раз игла осталась за кормой. На миг показалось, что расстояние между нами увеличивается и лодка отстает, однако она упрямо нас догоняла. Маленький Картер начал браниться с чувством и без остановки, видимо пытаясь заглушить свой страх. Я вполне его понимал. У меня в памяти — как у утопающего — промелькнул случай из жизни: я увидел отца, который отчитывает меня, еще мальчишку, за то, что я соврал. Однако в те же самые секунды я скомандовал в рупор еще раз поменять курс.

Вахтенные снизу бегом прибежали на палубу и выстроились вдоль борта. Они смотрели как завороженные на серую иглу, которая приближалась к нам.

— Всплывает,— сказал Картер.— Гляди на эту борозду из пены.

Перископ появился у нас на траверзе и двинулся вперед. Теперь лодку отделяло чуть больше мили от носовой части нашего корабля. Картер был прав: лодка всплывала. Мы видели, как забурлила вода, потом из нее стала появляться приземистая рубка, медленно и неотвратимо. Вот уже возникло из пучины все длинное, узкое тело лодки, похожее на слиток черного металла; с ее палуб струилась вода.

— Заразы,— бормотал Картер,— грязные фашистские заразы.

Матросы на палубе подо мной наблюда-

за лодкой с каким-то странным равнодушием, как зрители смотрят спектакль, не имея к действию никакого отношения. Я подумал о том, многие ли из них умеют плавать.

Отдав последнее распоряжение машинному отделению, я приказал команде выстроиться у шлюпок. Следующий мой шаг зависел от капитана подлодки.

— Они будут палить по шлюпкам,— сказал Картер,— они не дадут нам уйти.

— О господи, твоя воля...— начал было я, придя в ярость от его страха. И тут я увидел, что за кормой поднимается целая стена тумана. Я схватил Картера за плечи и развернул его в ту сторону.

— Смотри,— сказал я и повторил: — смотри!

Он глупо заулыбался от радости. Видимость действительно была не больше чем на один кабельтов в любую сторону, и первые струи тумана обдали нас холодным кислым запахом. Воздух стал вязким. На какой-то миг ванты на корабле пропали из виду. Я слышал, как кто-то пискляво затянул смешную песенку и как его остановили. Подлодка все еще была перед нами, темная и неподвижная, на палубах — ни души. Потом туман окутал нас со всех сторон, небо нависло как потолок, и весь мир исчез за белой стеной.

Было без двух минут двенадцать. Мне пришлось осветить часы: склянки не били с тех пор, как мы увидели подлодку. Мы выжидали. Ночь наступила рано, темнота упала вместе с туманом. Стояла мертвая тишина, если не считать ударов волн о борт то справа, то слева. Мы все еще ждали: чуть потеплело, но воздух был сырым и липким. Под мостиком матросы говорили шепотом. И снова мы ждали.

Я вошел в каюту, где лежал больной капитан, и осветил его фонарем. Лицо его было раздутым и красным, он дышал тяжело и стонал во сне. Открыв глаза, он меня не узнал.

Вернувшись на мостик, я смог различить передние ванты и верхушку носового кубрика: туман чуть поднялся. Потом я спустился на палубу и посмотрел за борт. Течение сильно тянуло на юг. Оно изменилось три часа назад, и я, уже в четвертый раз за эту ночь, стал считать, с какой скоростью мы дрейфуем. Повернувшись было, чтобы подняться на мостик, я столкнулся с матросом, бежавшим ко мне.

— Судно с правого борта, сэр,— задыхаясь, сказал он.

Мы ринулись на корму. Там уже толпились матросы, обсуждая эту новость.

— По виду — финский барк, сэр,— сказал один из них.— Я вижу паруса.

Вместе со всеми я уставился в темноту. Действительно, примерно в сотне ярдов от нас был виден корабль. Огромный, трехмачтовый, с тугими от ветра парусами, он шел нам навстречу. Как оказался он в этом море в военное время? Может, перевозит зерно? Как будто уже не сезон. А может, везет лес? Вопрос был еще и в том, видел ли он нас. Болтаемся в открытом море с погашенными огнями, вот и столкнемся с этим лесовозом.

Если бы знать наверняка, что течение унесет меня от фашистов на несколько миль, а туман прикроет! Старый барк приближался быстро, хотя и было непонятно, каким образом: ветер был так слаб, что и свечку не задул бы. А вдруг барк промчится мимо, в каких-то пятидесяти ярдах от нас?

Но он стал забирать в сторону.

— Порядок,— сказал я с облегчением.

Барк прошел мимо, и я не смог в темноте разглядеть его как следует. Увидел только, что это большой корабль, видимо без груза, потому что высокие борта почти целиком выступали из воды. Я уж и позабыл, когда я видел такую громоздкую корму. Рангоуты тоже были не те, к каким я привык; огромная масса такелажа, реи — немыслимой длины, оно и понятно — ведь нужно поддерживать всю эту махину парусов.

— Застопорил,— сказал кто-то, и я услышал, как загремели блоки, захлопали на ветру паруса. А потом — слабый звук на высокой ноте, непонятный и далекий,— что это такое? Боцманская дудка? Мы напряженно вглядывались во тьму, но не видели ничего, и я уж хотел было вернуться на мостик, как вдруг услышал, что нам кричат с барка:

— Тер-пи-те бед-стви-е?

Не знаю, был ли парусник финским, но задавший вопрос хорошо говорил по-английски. Из осторожности я не ответил. После паузы донесся тот же голос:

— Что за суд-но? Ку-да сле-ду-ете?

И тут один из моих парней выпалил, прежде чем я успел опомниться:

— Впереди немецкая подлодка! Полмили от нас!

Кто-то зажал ему пасть, но было поздно.

Мы ждали. Никто не шевельнулся. Тишина была мертвой. Потом я услышал плеск воды и приглушенные голоса. Значит, с барка к нам выслали лодку.

Во всем этом деле было что-то странное и таинственное, оно мне не нравилось. Я потрогал револьвер в кармане и успокоился. Плеск воды под веслами приближался. Из темноты показалась длинная низкая командирская шлюпка, а в ней — полдюжины людей.

Шлюпка остановилась у нас под бортом, матросы застыли, подняв весла.

— Капитан свидетельствует свое почтение, джентльмены,— произнес офицер,— не желаете ли, чтобы мы вас сопровождали?

— Что он мелет? — спросил один из моих парней, но я на него шикнул. Перегнувшись через борт, я заслонил глаза от света фонаря.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Лейтенант Артур Милдмей. К вашим услугам, сэр.

Я мог бы поклясться, что он говорит на хорошем английском, только чуть странном.

— Вы замаскированы? — спросил я.

— Не понял, сэр,— ответил он. Значит, его английский небезупречен. Я снова нащупал револьвер.

— Водите меня за нос? — спросил я ядовито.

— Ни в коей мере,— ответил незнакомец.— Повторяю: капитан свидетельствует

свое почтение. Поскольку вы дали понять, что враг поблизости, он предлагает вам помощь. Нам приказали сопровождать торговые суда в порт.

— А кто приказал?

— Его величество король Георг [1], разумеется.

Я ощутил озноб — не от холода, а от страха. В горле пересохло, и я не смог ответить. Взглянув на своих матросов, я понял, что они тоже сбиты с толку.

Картер потрогал меня за плечо.

— Гони их, тут что-то не так,— сказал он. — Это ловушка.

Матрос, стоящий на носу шлюпки, направил свет фонаря прямо на меня. Лейтенант взял фонарь у него из рук.

— Почему бы вам лично не подняться на корабль и не переговорить с капитаном? — спросил он.— Раз уж у вас есть сомнения.

Я все еще не видел его лица, но видел плащ и руку, державшую фонарь,— длинную, красивую. Свет фонаря так ослепил меня, что несколько мгновений я не мог ни говорить, ни думать. А потом удивленно услышал свой собственный голос:

— Ладно, я с вами.

Картер дотронулся до моей руки.

— С ума сошел! Ты не имеешь права оставлять корабль.

Я сбросил его руку, полный решимости и упрямства.

— Я ненадолго, ты меня заменишь. Да пусти же меня, болван.

По моей команде за борт выкинули веревочную лестницу. Непонятное удальство владело мной, словно я был пьян. Может потому, что я двое суток не спал?

Спрыгнув в шлюпку, я пробрался на корму, к офицеру. Матросы взялись за весла, и шлюпка заскользила по воде. Было страшно холодно. Влажная духота исчезла. Я поднял воротник шинели и попытался разглядеть офицера, но тьма была непроглядной.

Потрогав скамью, на которой я сидел — она была ледяной,— я засунул руки поглубже в карманы. Холод пронизывал до костей, шинель нисколько не согревала.

Прямо передо мной орудовал веслом парень, здоровый как бык, косая сажень в плечах. Рукава его рубашки были закатаны выше локтя, руки обнажены. Он тихо насвистывал песенку.

— Тебе что, не холодно? — спросил я.

Матрос посмотрел мимо, будто меня и не было, и продолжал насвистывать. Широкоскулое лицо, глубоко посаженные глаза, на голове странная шляпа, черная и блестящая, по форме как печная труба.

Но вот лейтенант на корме сложил ладони рупором и закричал:

— Эй, на судне!

Я взглянул вверх и понял, что мы приблизились к парусник; его борта возвышались над нами. Вверху у лестницы появился фонарь, и снова меня ослепил режущий желтый свет.

Лейтенант карабкался по лестнице, я проворно следовал за ним. Холод совсем меня одолел, он пробирался внутрь, до самых кишок. Я влез на палубу и остановился. И тут, в неверном свете фонарей, я увидел пушки, которыми ощетинился весь парусник. Значит, это военный корабль, а совсем не торговый, с лесом или зерном. Палубы — в состоянии боевой готовности, матросы стоят у орудий, каждый на своем месте, а с носовой части кто-то отдает команды тонким, высоким голосом. В воздухе висит облако густого дыма, тяжелый, кислый запах и какая-то непонятная, холодная сырость.

— Что это? — крикнул я.— Что здесь происходит?

Никто не ответил. Люди пробегали мимо, перекликались, обменивались шутками. Снова раздался тонкий, пронзительный звук боцманской дудки, перекрывший весь шум и гам, и босоногие матросы, теснясь и толкаясь, рванулись к юту. В их руках заблестели металлические предметы.

— Капитан ждет вас, прошу пройти на корму,— сказал лейтенант. Я пошел за ним, ничего не понимая и злясь. Картер был прав: все это какой-то подвох. И все же я тащился за лейтенантом, слушая английские команды на палубе и странные, незнакомые ругательства.

Мы вошли в дверь на юте. Сырой, затхлый запах стал еще сильнее, тьма еще гуще. Напрягая глаза, я увидел большую каюту, освещенную мигающими фонарями, большой стол в центре, а за ним — на стуле с высокой спинкой — мужчину. Позади него стояло три-четыре человека, но свет падал на лицо сидящего. Он был очень худ и бледен, с седеющими волосами. Темная повязка на одном глазу говорила о том, что глаза нет; вторым он смотрел как-то холодно и отрешенно, сквозь меня. Это был взгляд человека, который спешит решить дело.

— Ваше имя, любезный? — спросил сидящий, барабаня пальцами по столу.

— Уильям Блант, сэр,— ответил я и понял, что стою по стойке смирно, с фуражкой в руках, что опять у меня пересохло в горле, а в сердце — холодок страха.

— Вы доложили, что поблизости вражеское судно. Я правильно понял?

— Да, сэр,— ответил я.— Несколько часов назад в миле от моего корабля всплыла подлодка, она преследовала нас. К счастью, нас скрыл туман, это было примерно в три тридцать. Мы легли в дрейф.

Он слушал меня молча. Люди за его спиной не двигались.

Было что-то зловещее в их неподвижности, и в его — тоже. Видимо, мои слова ничего для них не значили. То ли они мне не верили, то ли не понимали.

— Буду рад предложить вам помощь, господин Блант,— сказал наконец сидящий.

Я топтался на месте, вертя в руках фуражку. Он со мной не шутил, это ясно, но что мне проку от его кораблика?

— Не совсем понимаю,— начал я, но он поднял руку, и я умолк.

— Враг не тронет вас, пока вы у меня под защитой,— сказал он.— Если вы согласны, я буду эскортировать ваш корабль. Буду рад обеспечить вам охрану до самой Англии. Туман рассеялся, и, к счастью, ветер нам попутен.

Ответа у меня не нашлось.

[1] Офицер имеет в виду короля Георга III (1738—1820), Блант служит во флоте при Георге VI (1895—1952).

— Вы отстанете: мы делаем одиннадцать узлов в час,— наконец произнес я,— и так как он промолчал, я подошел ближе, думая, что он не слышит.— А если эта пакость не ушла? Она загубит оба корабля. Вы рискуете больше нас, ваш вспыхнет как спичка.

Сидящий откинулся на спинку стула, на губах его играла улыбка.

— Я еще ни разу не бегал от француза,— сказал он.

И опять я услышал боцманскую дудку, топот ног над головой, на палубе. Дверь распахнулась, фонари закачались от ветра. Каюта показалась мне страшно мрачной, и я понял, что теряю сознание.

— Согласен на эскорт,— пробормотал я. В это время он встал и приблизился ко мне. Я увидел голубой выцветший мундир с лентой через плечо; бледное лицо с единственным голубым глазом было совсем рядом. Улыбнувшись, он протянул руку и поддержал меня. Я почувствовал силу этой руки.

Видимо, в лодку меня опустили матросы, потому что когда я открыл глаза, ощущая тупую боль в затылке, я увидел собственных парней, которые втаскивали меня на «Вороново крыло».

— Слава богу!— воскликнул Картер.— Что они тебе сделали, черт их побери? Ты белее мела. Кто они, финны или немцы?

— Ни те, ни другие. Англичане, как мы с тобой. Будут сопровождать нас до самого дома, я договорился с капитаном.

— Ты что, рехнулся? — спросил Картер.

Вместо ответа я поднялся на капитанский мостик и дал команду разводить пары. Туман действительно начал рассеиваться, я даже увидел звезду на небе, прямо над головой. Я с удовольствием слушал знакомые звуки движущегося корабля. Бездействие кончилось, в этом было огромное облегчение. Матросы тоже повеселели. Исчез пронизывающий холод и вместе с ним — смертельная усталость души и тела. Тепло разлилось по рукам и ногам.

Корабль двигался вперед, вспарывая волны, а в ста ярдах от нас по правому борту шел наш сопровождающий; белая пена, шипя, разлеталась в стороны от его носа. Целое облако парусов летело над ним, их надувал ветер, которого никто из нас не чувствовал. Я видел, что рулевой украдкой послюнил палец и поднял руку вверх, потом опустил. Мы встретились взглядом, он отвернулся и стал насвистывать — мне, мол, какое дело?

Я снова пошел проведать капитана. Вестовой сидел в его каюте; когда я вошел, он включил свет над капитанской койкой.

— Температура спала,— сказал он,— наконец-то уснул. Я думаю, выживет в конце концов.

— Да, думаю, он будет в порядке.

Я вернулся на мостик, насвистывая песенку, услышанную от матроса в шлюпке. Мелодия была веселая, ритмичная и очень знакомая, хотя я и не мог вспомнить названия. Туман рассеялся совершенно, небо было усыпано звездами. Корабль шел полным ходом, но наш сопровождающий не отставал, а иногда даже чуть обгонял нас.

Я не знал, была ли подлодка еще на поверхности или погрузилась — да мне это было и ни к чему. Появилась уверенность, которой не было раньше. Потом и рулевой, видимо, успокоился, потому что, широко улыбаясь, он кивнул в сторону парусника и сказал:

— Резвости им не занимать, а?

И начал насвистывать ту же веселую безымянную песенку. Картер, однако, держался в стороне. Правда, он не паниковал, как раньше, но мрачно молчал.

Итак, ночь убывала, мы шли с парусником и больше не увидели ни перископа, ни длинного серого тела подлодки. Наконец небо на востоке стало светлеть, а потом низко, над самым горизонтом, забрезжил рассвет. Склянки пробили пять, и вдали словно в ответ зазвучала боцманская дудка. Наверно, только я ее и слышал. Я опять пошел к капитану.

— Где мы находимся, Блант? Что происходит?

— Пришвартуемся до того, как на суше начнут завтракать,— ответил я.— Берег перед нами.

— Какое сегодня число?

Я ответил и на этот вопрос.

— Довольно быстро шли,— сказал он. Я согласился. — Никогда не забуду того, что ты сделал для меня, Блант, буду хлопотать за тебя перед судовладельцами, — продолжал капитан, — ты получишь повышение.

— Дьявол с ним, с повышением, не меня надо благодарить, а парусник, что нас сопровождает.

— «Сопровождает»? Нас что, конвоируют? — Он уставился на меня, не понимая.

Я рассказал ему всю историю, начиная с подлодки и тумана, потом о появлении барка, о моем ночном визите; я ничего не скрыл, даже своего страха. Капитан слушал, облокотясь на подушки, и, видимо, верил с трудом.

— Как называется твой барк? — спросил он осторожно, когда я кончил.

— Убей меня, не знаю. Да хоть Сатана! Я у них не спрашивал.

Ответив так, я начал насвистывать ту же песенку.

— Ничего не понимаю,— сказал капитан,— ты знаешь не хуже меня, что у нас на флоте нет больше парусников.

Я только плечами пожал.

— Налей мне стаканчик и перестань насвистывать эту проклятую песню,— сказал капитан. Улыбаясь, я подал ему вино.

— А чем тебе не нравится песня? — спросил я.

— Да ей сто лет в обед. Это «Лилибурдеро»[1].

Теперь я уставился на него. Мне было не до смеха.

— Разве? — сказал я.

Он выпил вино залпом, не спуская с меня глаз.

— А где сейчас твой драгоценный парусник?

— Впереди, справа по борту,— сказал я. С этими словами я вернулся на мостик и стал смотреть туда, где был сопровождающий.

Солнце на горизонте было похоже на огромный красный шар, тучи, оставшиеся

[1] Английская военная песня XVIII в.

с ночи, уплывали на запад. Впереди лежал берег Англии. Однако наш парусник исчез.

Повернувшись к рулевому, я спросил:

— Куда он делся?

— Виноват, сэр? — переспросил он.

— Я говорю, где парусник?

Матрос изумленно взглянул на меня.

— Не видел никакого парусника,— ответил он,— у нас на траверзе эсминец, довольно давно. Наверно, появился еще ночью. Я его заметил, когда солнце взошло.

Схватив бинокль, я уставился на запад: да, парню не приснилось, с нами шел эсминец, оставляя на гладкой поверхности широкий шлейф белой пены.

— В девять тридцать войдем в порт,— сказал я,— хорошо уложились.

— Да, сэр,— ответил рулевой.

Я увидел темную точку впереди, а над ней полоску дыма. Буксиры шли нам навстречу. Картер стоял на моем обычном посту в носовом кубрике. Моряки стояли по местам. Я на капитанском мостике готовился вводить корабль в порт. За пять минут до того, как нас взяли на буксир — над нами уже летали первые чайки,— капитан вызвал меня к себе.

— Блант,— сказал он,— я тут все думаю... Этот капитан, с которым ты беседовал ночью на борту парусника. Говоришь, у него один глаз под повязкой? А может, у него и пустой рукав пришпилен к мундиру?[1]

Я промолчал. Мы пристально смотрели друг на друга. Раздался пронзительный свист: это к борту подошла лодка лоцмана. И тут же, словно эхо, далекое и чуть слышное, прозвучал сигнал боцманской дудки...

[1] Автор подразумевает адмирала Нельсона (1758—1805), знаменитого английского флотоводца.

К. Л. ГАНДИ (Индия)

«КТО УТРЕТ ИХ СЛЕЗЫ?»

Перевод с хинди М. САЛГАНИК

Сегодня Кедарнатх долго возился с передовицей в очередной номер. Когда он закончил, было уже два часа и обеденное время давно прошло. Он вышел из своего кабинета на третьем этаже, спустился вниз, и тут выяснилось, что редакционная машина повезла кого-то из сотрудников на вокзал и вернется не раньше четырех. Жил Кедарнатх в Бхишмапитама-нагаре, добраться туда — не меньше шести рупий на такси, торгуйся не торгуйся.

Кедарнатх отправился на автобусную остановку. Автобусом до Бхишмапитама-нагара можно доехать за полтинник, но вот когда появится этот автобус? Если автобус приходит по расписанию — высоко поднялась звезда твоего счастья, ну а если не приходит — чему тут удивляться. Кедарнатх явно не относился к числу везунчиков, которых удача так и опекает на жизненном пути. Был бы он удачлив, разве он работал бы редактором паршивой газетенки на хинди? Уж устроился бы как-нибудь в английскую газету. Здесь едва-едва тысчонку в месяц наскребешь, а в английских газетах народ за ту же самую работу получает в два раза больше.

Прождав с полчаса и уверившись, что автобус и не думает показываться, Кедарнатх нехотя поплелся к стоянке велорикш.

Хотя техническая революция и прогресс уже вывели Индию на уровень передовых стран мира, у нас еще не изжил себя обычай пользоваться человечьим транспортом: человек с деньгами может ездить на горбу у того, кто денег не имеет.

Велорикш на стоянке было не меньше десятка, но все запрашивали две рупии до Бхишмапитама-нагара. Две рупии — и все! Привыкши ездить на даровой редакционной машине, господин редактор плохо соображал, что нынче почем. Да и в нем ли только дело: если все важные люди от богатого предпринимателя до министра пользуются всевозможными льготами, облегчающими их жизнь, то что тут удивительного — господину редактору было нелегко выложить две рупии из собственного кармана.

Велорикшам на стоянке будто кто-то нарочно придумал одинаковую форму одежды: у каждого вокруг головы обкручен грязный платок, с шеи свисает трепаный шарф. На ком драные штаны, а на большинстве — короткие, до колен, дхоти. А уж обувь — что есть она, что нет.

И все как один повторяют сорванными голосами: две рупии, две рупии, две рупии!

Беспощадное солнце, недоедание и жизненные тяготы обуглили их кожу, сделали их тела сухими и угловатыми, даже на молодых лицах проложили морщины, которым уже никогда не разгладиться.

Кедарнатх походил между ними, пробуя сторговаться, но скоро увидел, что никто меньше двух рупий не возьмет, расстроился и, кряхтя, полез в колясочку.

Ехать было и впрямь неблизко, к тому же бог не обидел Кедарнатха ни ростом, ни весом, так что времени на дорогу должно было уйти достаточно.

До того как стать редактором, Кедарнатх был репортером и сохранил репортерскую привычку не упускать случая задать вопрос, вызнать что-нибудь. Он уселся поудобней и принялся за дело:

— Скажи-ка, братец, а давно ли вам, рикшам, повысили арендную плату за велосипеды?

Рикша ответил, не снижая скорости:

— Уже месяца два, как с нас больше ста-

ли брать, хозяин! А вы не знали? В первый раз на рикше едете?

Но вопросы продолжал задавать редактор:

— Получается, что пассажирам приходится чуть не вдвое дороже платить. Зато, наверное, вы теперь хорошо зарабатываете?

Рикша только вздохнул:

— Хозяин, за последнее время, к чему ни приценись, все раз в пять вздорожало. Мука стала три рупии кило — дешевле не купишь, сахар я по восемь рупий видел. Сами понимаете, куда заработок уходит. Чечевица восемь — десять рупий стоит. А чай? Меньше чем двадцать рупий за кило его уже и нет нигде. А мне восемь ртов кормить. Отец с матерью умерли, и теперь на моей шее еще и две сестры незамужние. Мне их и замуж выдавать придется.

Господин редактор не удовлетворился даже таким подробным ответом. Он уточнил, как зовут рикшу, и продолжил интервью.

— Ниру,— обратился он к рикше по имени,— скажи мне, Ниру, а сколько ты примерно зарабатываешь в день?

Рикша еще горестнее вздохнул:

— Если повезет, в день может посадок четырнадцать — пятнадцать набежать. Вот и считайте — около тридцатки выходит.

В силу ли репортерской привычки не отставать от человека или в силу прирожденной скаредности, заставлявшей господина редактора напрягаться при виде даже мелкой монетки, он спросил:

— Братец, если на одежду не тратиться, отложить изрядно можно?

Ниру не впервые вез болтливого седока, он привык отвечать на самые неожиданные вопросы, поэтому без удивления сказал:

— У бедности, хозяин, обличий много. Люди за бедняками даже самых простых потребностей не признают, а потом сами же бедняков на смех выставляют.

Рикша перевел дух:

— Я ведь от хозяина работаю, ученый господин, велосипед у него арендую. За велосипед каждый день десятку выложить должен. Полицейскому рупию в день подай. А не дашь — он найдет чем тебя донять и содрать вдесятеро больше. Не поймешь, вроде даже судьбе нравится с бедняками шутки шутить. Вот вчера только — дочка поскользнулась, упала и руку сломала. Жена ее подхватила — и к доктору. Доктор на руку гипс положил, двадцать пять рупий пришлось отсчитать — вот тебе и заработок за целый день: в полчаса ушел. Откуда было знать, что беда — не рука сломанная, а лечение? Вечером пришли домой, так даже огонь не разводили. С одной стороны, жена все правильно сделала — в государственной больнице кто с бедняками заниматься станет? Там своих знакомых или начальство лечат. Мне случается бывать в таких больницах, как поглядишь, в каком виде там толпы больных, — двухдневный заработок оставишь.

Вот вы помните, несколько дней назад какой ураган был с дождем? В тот день с моей хижины крышу снесло. Крышу починить — пришлось у ростовщика сотню брать. А он такие проценты запрашивает — и ничего не поделаешь. Все знают, что ростовщики таким манером сотни тысяч наживают. И ничего, все терпят. А бедняку стоит хоть чуточку взять, пусть на детей голодных, такой крик сразу поднимется — грабеж, разбой. По всей строгости накажут.

При дороговизне нынешней один только хлеб в каждый рот положить — и то не меньше рупии на едока уйдет. А у меня — жена, дети, сестры незамужние! А еще им всем одежду надо покупать! В жизни разное бывает: и радость и беда, и свадьбы и похороны, надо бы хоть сколько-нибудь впрок отложить, а на мои заработки второй раз поесть досыта невозможно. Вот так вот.

Но разве кто-нибудь тревожится за нас? Политики, чиновники важные, профсоюзные деятели — кому из них времени на нас достанется. Они все живут в свое удовольствие, в хороших домах и квартирах, у них там электрические вентиляторы крутятся, кондиционеры гудят, у них у всех холодильники есть — что им до наших забот?

Тем временем рикша уже почти добрался до места назначения, а господин редактор собрал достаточно материала для завтрашней статьи. Он указал рикше, где сворачивать к дому, и объявил:

— Вот что, братец. Я решил написать о вашей жизни в газете. И напечатать твою фотографию.

Предложение господина редактора Ниру воспринял как неслыханное счастье — такое могло вообще раз в жизни случиться! Его портрет в газете! Ниру просто не мог прийти в себя — да неужели его судьба, судьба таких, как он, все-таки волнует кого-то!

Рикша остановился перед домом Кедарнатха. Кедарнатх ступил на землю, вынул бумажку в две рупии и протянул ее Ниру.

Ниру отстранил его руку с видом человека, которому нестерпима сама мысль о деньгах.

— Как можно, господин! — сказал Ниру.— И так я вечный раб ваш.

Господин редактор с облегчением спрятал деньги в карман — будто именно такого ответа он и ожидал от Ниру, будто ему, Кедарнатху, по рождению принадлежит право пользоваться бесплатными услугами.

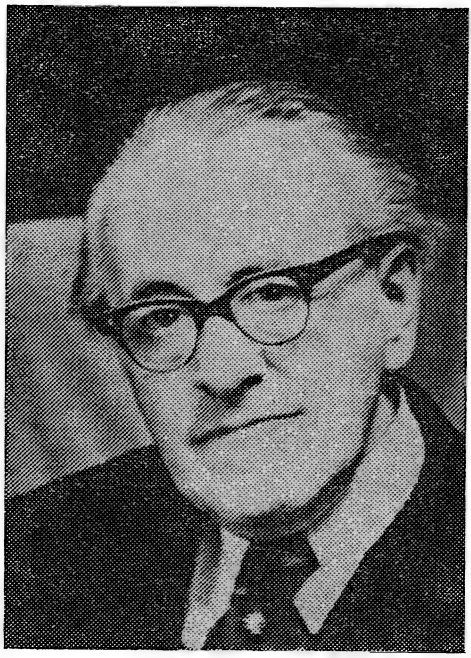
— Будешь здесь опять в четыре,— распорядился он.— Отвезешь меня в редакцию. Там тебя и сфотографируют.

Ниру, воплощенная простота, ждал у дверей без десяти четыре. Отвез господина Кедарнатха в редакцию, там его действительно сфотографировали со всех сторон. На сей раз господин редактор уже даже не счел нужным упоминать о деньгах. С транспортом было все в порядке.

На следующий день в газете Кедарнатха появилась статья, написанная весьма решительно и с очень выразительным заголовком: «Кто утрет их слезы?» Рядом красовалась большая фотография Ниру на фоне его коляски.

◆

Наши гости



Дьёрдь Радо

(Венгрия)

В редакции журнала «Иностранная литература» Дьёрдь Радо не впервые и, конечно, не впервые в Москве. Он — известный переводчик, критик, пропагандист советской литературы в Венгрии, много сделавший как на литературном, так и на дипломатическом поприще для расширения, углубления культурных связей наших народов.

В декабре 1983 года Дьёрдь Радо приезжал в нашу страну на VI международную встречу переводчиков советской литературы, но самые первые шаги по пути в Москву были сделаны им почти сорок лет назад в Дебрецене, в городе, который когда-то величали столицей пусты и который 1 декабря 1944 года, еще до полного изгнания немцев из страны, стал столицей освобожденной ее части. Здесь под руководством вышедшей из подполья коммунистической партии было созвано Временное национальное собрание, а потом сформировано Временное национальное правительство, сюда устремились все демократические силы страны. Дьёрдь Радо и два его друга в первых числах декабря 1944 года перешли линию фронта (перейти ее удалось только на восьмой раз) и оказались в освобожденной Венгрии. «Трех оборванцев, один из которых что-то лопотал по-русски, отвели к советскому командиру, — вспоминает Радо.— Я сказал, что хочу переводить с русского. Это и были мои первые шаги по пути в Москву».

— А где вы учили русский язык?

— *По немецкому самоучителю, который я приобрел в день, когда началась вторая мировая война. В самоучителе были и тексты: отрывок из «Записок охотника» и три стихотворения — Пушкина, Лермонтова, Некрасова. В вагоне, который вез меня на фронт (я до сих пор помню надпись на вагоне: «6 лошадей, 40 человек»), я перевел на венгерский запомнившиеся мне лермонтовские стихи: «Отворите мне темницу, /дайте мне сиянье дня...»*[1]

Мне сказали, что здесь, в Дебрецене, на венгерском языке выходит газета «Мадьяр уйшаг», ее главный редактор — советский майор, который прекрасно говорит по-венгерски. Так я впервые услышал о Беле Иллеше и очень скоро познакомился с ним. Бела Иллеш, эмигрировавший после поражения венгерской пролетарской Коммуны и двадцать пять лет живший вдали от родины, был не только профессиональным революционером, но и талантливым писателем. Его произведения обратили на себя внимание Ромена Роллана, Луначарского, Горького, но в хортистской Венгрии его не знали, писатель-коммунист был под запретом. Бела Иллеш попросил меня перевести на венгерский стихотворение украинского поэта Леонида Первомайского, который сражался с ним в одном полку. Это стихотворение, написанное Л. Первомайским здесь, на венгерской земле, называлось «Шандору Петефи». Переводил я его с русского подстрочника, сделанного автором. В «Мадьяр уйшаг» оно появилось 29 января 1945 года.

[1] Этот перевод потом много раз переиздавался, включался в различные антологии. *(Прим. авт.)*

Это было первое стихотворение советского поэта, опубликованное в освобожденной Венгрии. Потом Радо переводил стихи Щипачева, Симонова, Эренбурга, Тихонова. В январские дни 1946 года в Венгрии вышла первая книга Маяковского — поэма «Владимир Ильич Ленин». Перевод и издание — по заказу Общества советско-венгерских связей — были осуществлены за семь недель. Перевел поэму Дьёрдь Радо.

Вспоминая то время, Радо писал в одной из своих книг: «Если бы после слов «В Москву, в Москву...» стоял восклицательный знак, то они выглядели бы как боевой клич, как немецкое «Nach Paris» или французское — в начале первой мировой войны —«À Berlin», но когда после этих слов стоит отточие, они звучат совсем по-другому: это несбыточная мечта, это близкая и в то же время недостижимая цель, в них очень много от той атмосферы тоски, томления, которая, как низкий стелющийся туман, окутывает зал, когда чеховская Ирина говорит: «В Москву, в Москву...» Но я бы поставил после этих слов восклицание. Я бы отправился в Москву, чтобы завоевать ее — но не оружием, а познавая ее. Отправился бы туда не как враг, а как друг, чтобы навести мосты, чтобы разгадать загадку этого города, о котором у рядового венгра были весьма смутные представления».

— Конечно, в Венгрии, — говорит Радо, — и раньше много читали русскую классическую литературу — Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова. Мы влюблялись в пушкинскую Татьяну, разгадывали тайну души Раскольникова, многое узнали о русских из книг Мора Йокаи, и все же нам было не ясно: друг ли, враг ли «северный колосс». О Советской России мы, выросшие в годы между двумя мировыми войнами, почти ничего не знали. Советское искусство, осыпаемое бранью и насмешками, было для нас закрыто. Правда, великий венгерский поэт Аттила Йожеф переводил в двадцатые и тридцатые годы Блока, Маяковского, Есенина — несколько отрывков из поэм. Небольшая часть прогрессивно настроенной молодежи читала этих поэтов в английском, немецком, французском переложениях.

И вот желание открыть своим соотечественникам глубины той литературы, которая вдруг перестала быть запрещенной, магнетизм слов «В Москву, в Москву...» привели Д. Радо 1 февраля 1946 года в здание дебреценского Дворца финансов, где тогда размещалось Временное национальное правительство. В коридоре на дверях таблички: «Министерство юстиции», «Министерство сельского хозяйства», «Министерство внутренних дел», «Министерство иностранных дел». В Министерстве иностранных дел был пока только один человек — министр Янош Дёньдёши, депутат от партии мелких землевладельцев. Д. Радо стал секретарем министра иностранных дел. А 8 февраля 1946 года Д. Радо, атташе по культуре, в составе дипломатической миссии вылетел в Москву. Регулярного сообщения тогда не было — дипломатическая миссия вылетела на бомбардировщике.

Радо несколько лет работает в Москве, потом в венгерском Министерстве иностранных дел — референтом по культурным связям с Советским Союзом, в Венгерской академии наук.

— А с 1950 по 1970 год я занимался только переводом и литературной работой. Стал свободным художником.

Радо перевел «Медного всадника» Пушкина, «Демона» Лермонтова (3 переиздания), пьесы Маяковского, «В людях» и «Фому Гордеева» Горького, «Детство» Горького (8 переизданий в Венгрии и Чехословакии), «Как закалялась сталь» Островского (12 переизданий в Венгрии, Румынии, Чехословакии), «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянова (*«Это была самая трудная работа»*,— признается переводчик). Начиная с 1960 года, у Радо одна за другой выходят книги о Советском Союзе, о русской литературе, о литературах народов СССР, о венгеро-советских литературных связях. Контакты двух наших культур — главная тема многих его книг. Д. Радо пишет о переводах Шандора Петефи и Мора Йокаи на языки народов СССР, о судьбе четырех русских переводов «Трагедии человека» Имре Мадача, сделанных еще до революции, он разыскивает первое венгерское стихотворение, переведенное на русский язык — в 1839 году в одесском альманахе было опубликовано стихотворение лирического поэта начала XIX века Даниеля Бержени. Радо рассказывает венгерским читателям о Москве Маяковского, о встречах с Василием Катаняном и Лилей Брик, об Антале Гидаше и Агнессе Кун, пропагандирующих в нашей стране в содружестве с замечательными советскими поэтами венгерскую поэзию, знакомится со студентами московского Литературного института, чья будущая специальность — венгерская литература.

— О Мате Залке, венгерском писателе, революционере и солдате, много лет прожившем в Советском Союзе и погибшем в 1937 году в Испании, я впервые услышал от Белы Иллеша. Потом мне много рассказывал о нем Леонид Первомайский. Прошло еще несколько лет, и в Будапешт из Москвы приехала русская женщина, вдова Мате Залки. Я вошел в состав комиссии по литературному наследию писателя, разбирал документы, письма, дневники, рукописи, фотографии, газетные вырезки, хранившиеся в его московской квартире. Этот ценный архив мы отправили в Венгерскую академию наук на родину Мате Залки, куда сам писатель так и не смог вернуться. Стихотворение Симонова о генерале Лукаче — Мате Залке я перевел на венгерский язык. А в этот свой приезд я побывал в недавно открытом музее Мате Залки — две мемориальные комнаты в московской библиотеке на проспекте Вернадского.

Д. Радо стал одним из первых венгерских переводчиков, которые начали переводить с украинского оригинала. «Переяславская Рада» Н. Рыбака, поэзия Леси Украинки, Ивана Франко, статьи и книги об украинской литературе, многолетняя дружба и сотрудничество с журналами «Всесвит» и «Вітчизна».

Д. Радо писал и о литературе тюркских народов СССР, и «о родственниках по языку» — эстонцах, марийцах, переводил через посредство русского языка армянских, грузинских поэтов. Когда он был в Москве в декабре 1983 года, его очень заинтересовала дискуссия о переводе с языков народов СССР на русский язык, которая идет на страницах журнала «Литературное обозрение». Встреча в редакции этого журнала прошла в обстановке взаимопонимания товарищей по цеху.

У Радо большой опыт переводческой деятельности. Владея несколькими европейскими языками, Радо переводил на венгерский Шиллера, Бодлера, Кальдерона, Мицкевича, Ботева. На недавнем — 1983 года — конкурсе, организованном лондонским лингвистическим журналом, Радо был признан победителем. Участники конкурса переводили на французский, испанский, немецкий, итальянский, финский, латинский, венгерский языки восьмистрочное стихотворение известного английского поэта А. Э. Хаусмана «Эпитафия армии наемников». Венгерский вариант «Эпитафии» жюри признало лучшим.

Дьёрдь Радо не только практик, но и теоретик перевода. В 1970 году он был избран членом совета Международной федерации переводчиков (ФИТ), в настоящее время он — вот уже почти десять лет — главный редактор журнала «Вавилон», органа Международной федерации переводчиков, издаваемого при содействии ЮНЕСКО. Мы просим нашего гостя рассказать об этом журнале.

— Как справедливо писал один из наших авторов, «XX век — век перевода». Размах переводческой деятельности вызвал необходимость научного обобщения накопившегося огромного опыта, установления закономерностей, выработки рекомендаций, которые могли бы быть полезны практике. «Вавилон» — международный журнал, посвященный проблемам перевода. Он информирует читателя о последних достижениях в лингвистике, литературоведении, кибернетике, лексикографии, о тех достижениях, которые имеют отношение к переводу. В журнале исследуются и специфика художественного перевода, соотношение литературных традиций, соотношение творческой индивидуальности автора с творческой индивидуальностью переводчика.

Журнал рассказывает и о том, как работают различные организации ФИТ, как защищаются права переводчиков законодательством. Наш журнал выходит 4 раза в год, распространяется в 60 странах.

— Почему он так называется — «Вавилон»?

— Это название дал журналу его первый редактор и первый президент Международной федерации переводчиков Пьер Франсуа Кайе. Согласно библейскому преданию, люди когда-то хотели построить башню до неба, но их попытка не удалась — бог смешал языки людей, и они перестали понимать друг друга. Задача журнала — преодолеть проклятие разноязычия. Основные языки «Вавилона» — французский и английский. Отдельные статьи и сообщения публикуются на немецком, русском, испанском, итальянском языках — это его рабочие языки.

Иногда мы целиком посвящаем номер какой-нибудь специальной теме — переводу научно-технической литературы, машинному переводу, переводу религиозных текстов. Один из наших выпусков был посвящен советской школе перевода, другой — проблемам перевода в развивающихся странах. В 1980 году в Нигерии была организована — первая на африканском континенте — Ассоциация переводчиков. Ассоциация была принята в члены ФИТ. Это важное событие не только для Нигерии, но и в международном масштабе.

Среди экземпляров журнала «Вавилон», которые Радо привез в подарок журналу «Иностранная литература», есть и этот номер, посвященный проблемам перевода в развивающихся странах. В нем опубликованы материалы первого симпозиума нигерийской Ассоциации переводчиков, состоявшегося в Лагосе в 1980 году. Какие проблемы перевода актуальны в наше время для многонациональной африканской страны? Официальный язык в Нигерии — английский, но 12 миллионов жителей говорят на йоруба, 15 миллионов — на хауса, около 5 миллионов — на фульбе, а всего в стране насчитывается свыше 200 народностей, говорящих на различных языках. Здесь, как видим, свой Вавилон. В Лагосском университете обучают английскому и французскому, а где научиться переводить с одного нигерийского языка на другой? Как передать на английском то, что так выразительно на йоруба или хауса? Потребности коммуникации возрастают. Для страны с не столь уж давними парламентскими традициями немаловажен вопрос: как должен вести себя переводчик в парламентских дебатах? Если оратор кричит в порыве восторга или гнева, должен ли переводчик делать то же самое? Или же эмоции следует исключить, приглушить? А правила учтивости? Должен ли переводчик называть вещи своими именами или ему следует прибегать к эвфемизмам? В не очень давние времена гонец, принесший плохую весть, лишался головы. Переводчику, посреднику в разговоре разноязыких собеседников, часто приходится выступать в роли такого гонца.

В этом же номере «Вавилона» с ревнивым тщанием анализируется перевод на французский язык романа известного нигерийского писателя Чинуа Ачебе «Стрела бога». Роман этот, написанный на «перекрученном» английском языке, вобравшем в себя лексику, характерные обороты речи, мировосприятие одной из народностей страны — ибо, представляет немалые трудности для перевода.

— Хотя перевод — один из древнейших видов человеческой деятельности, наука о переводе еще молода. В своих работах вы развиваете теорию единицы перевода. Расскажите, пожалуйста, о ней.

— И науке о переводе, и переводчику в его работе нужна такая оперативная единица, которая соответствовала бы специфике самого процесса перевода. Единицей перевода может быть и слово, и словосочетание, и целое предложение, и абзац, и весь

переводимый текст. По аналогии с названиями единиц, применяемых в современном языкознании, — таких, как «фонема», «морфема», «лексема», и т. п.— единица перевода, как логической операции, могла бы называться «логемой». Переводчик анализирует переводимый текст, выявляя в нем логемы, и синтезирует его, слагает эти логемы в переведенный текст.

Пример семантической и фонетической логемы — долгое, звучное «о» в сочетании с «r»—«nevermore» («никогда больше») в знаменитом «Вороне» Эдгара По. Как передать на другом языке фонетический и смысловой эффект этой логемы-рефрена, определяющейся в конце каждой строфы и определяющей всю тональность поэмы? Полноценная передача ее не всегда возможна. Находчивость переводчика подсказывает иногда совершенно оригинальное решение. Михаил Зенкевич, например, просто сохранил в русском переводе это ключевое слово: «каркнул Ворон: «Nevermore!» Русский переводчик ввел это английское слово в текст как загадку — прием, близкий художественному стилю поэмы, а разгадку читатель находит в последней строке стихотворения:

...И душой из этой тени не взлечу я
с этих пор,
Никогда, о nevermore!

Еще пример логемы. Название известной книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» для английских читателей должно быть переведено как «Ground-floor America», для американских — «First-floor America». Этажность в Англии и Америке передается по-разному. Это — логема-информация.

«Нам нужен Мохач»— название стихотворения Эндре Ади, намек на трагическое поражение, которое венгры потерпели от турецкой армии в 1526 году. На Западе этот исторический факт не так широко известен, но для народов Восточной Европы слово «Мохач» имеет еще и символический смысл. «Мохач»— это поражение, которое отрезвляет, горькое лекарство, помогающее излечиться от национального самодовольства. Прав был украинский переводчик (Шкробинец), переведший название стихотворения Ади как «Нам треба Мохач», и прав был английский переводчик (Боннерджи), давший этому стихотворению название «We need defeat» («Нам нужно поражение»).

Логемы — составные элементы переводимого текста, это кирпичики, без которых невозможно строить здание. Но благодаря одному лишь пониманию логем здание еще не построишь, надо видеть и другие элементы, их взаимодействие, а также назначение, функцию всего строения.

— Как вы относитесь к машинному переводу?

— Идея машинного перевода увлекла не только математиков, инженеров, но и лингвистов-теоретиков. Для машинного перевода требуется формализация сведений о языке. Автоматизация перевода формализуемых элементов, конечно, возможна, но точность перевода как операции определяется скорее биологическими, чем физико-химическими, математическими законами. Относительно простые научные и деловые тексты допускают стандартизированные механические решения. Поддаются автоматизации отдельные элементы переводческой операции (существуют, например, машинные словари, так называемые «банки данных»), но вся операция в целом, сам перевод был и остается человеческой, неавтоматизуемой деятельностью, искусством. Искусством, которое сближает людей.

Когда-то Александр Сергеевич Пушкин сказал, что переводчики — почтовые лошади просвещения, а в наше тревожное время они еще и почтовые лошади взаимопонимания народов.

Л. ВАСИЛЬЕВА

◆

Имре Варга

В конце 1983 года в Будапеште открылся музей произведений Имре Варги. Первые работы венгерского скульптора появились в середине 50-х годов. Расцвет его творчества приходит позднее — в 70—80-е годы, когда были созданы и получили общественное признание его памятники выдающимся деятелям венгерской истории и культуры. Произведения лауреата крупнейших национальных премий им. Кошута и Мункачи демонстрируются за рубежом — в Варшаве, Вене, Осло, других городах (см., в частности, публикуемую в разделе «Из месяца в месяц» этого номера заметку о новой работе скульптора — памятнике композитору Беле Бартоку в Париже).

Большой интерес зрителей, художников, критиков вызвали работы Варги, экспонированные на выставках в Москве. Сам скульптор неоднократно бывал в СССР, знакомился с искусством своих советских коллег. Опубликовал заметки об этих встречах, о поездке в среднеазиатские республики в венгерском журнале «Мювесет» («Искусство»).

Одним из самых известных среди пяти десятков его монументальных работ является бронзовый памятник В. И. Ленину, установленный в городе Мохаче;[1] модель этой нетрадиционно решенной скульптуры с успехом демонстрировалась в Москве в 1975 году на международной выставке, организованной социалистическими странами.

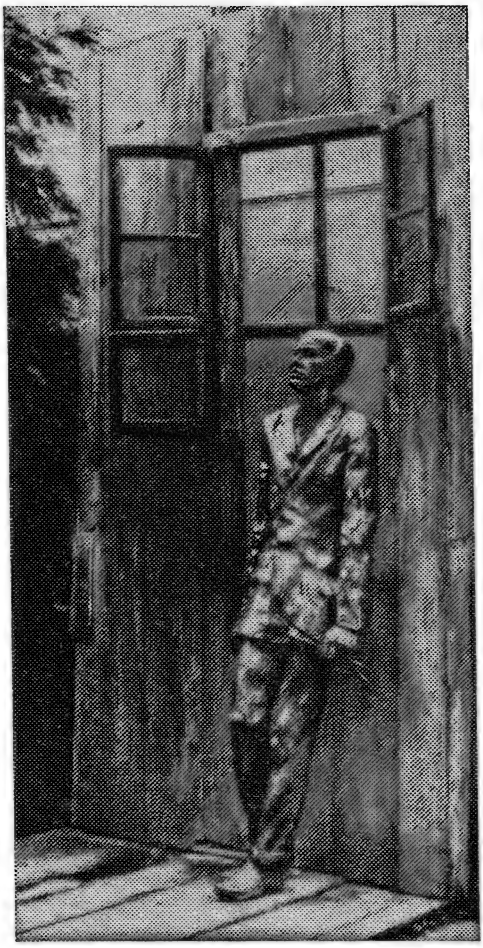
Поиски Имре Варги вобрали в себя беспокойную мысль современника о личности и времени, личности и истории. В 70—80-е годы потребность творить новое, всегда отличавшая скульптора, счастливо соединилась в его искусстве с утверждением своего, поэтического понимания этих связей.

Не случаен сам выбор изображаемых им персонажей — замученный в фашистских концлагерях поэт Миклош Радноти; в трудные для Венгрии времена отстаивающий достоинство пролетарского художника Дюла Деркович; сохранивший, несмотря на трагические перипетии жизни, верность идеалам революции первый президент венгерской республики 1918 года Михай Каройи.

Характерная для искусства 70-х годов тема нравственных исканий предстает у Варги в облике исповедальном. Живой, углубленный, требовательный взгляд его персонажей как бы обращен в историю. Возвышенное и повседневное сложно сосуществуют в его скульптурах. С «шокирующей» конкретностью показывает он одетых в простые будничные костюмы Дерковича и Каройи, позы их не заключают в себе ничего внешне романтического. Но в этом аскетизме — свое внутреннее напряжение. Изможденная, почти бесплотная фигура Дерковича, вызывающая в памяти пережитые испытания, сопоставлена с широкой деревянной рамой — олицетворением живописи и искусства, а сгорбленная высохшая фигура Каройи — со сломанной готической аркой, символом истории, ее взлетов и кризисов. Так в сопряжении традиционных поэтических символов и превращенных в эмоциональный знак времени предметных метафор, характерных для современного искусства, рождается созвучное человеку наших дней драматическое содержание образа.

Герои мемориалов Варги сходят с пьедесталов и приближаются к людям, сущест-

Памятник Д. Дерковичу в Сомбатхее. 1972. Бронза.



[1] См. об этом «ИЛ», 1980, № 4.

вуя в пространстве, которое не только среда действия, но и мир, чуждый обыденности. Бесконечно выразителен их молчаливый монолог на разных сценических площадках. На фоне деревянного парапета и лагерной брусчатки застыла словно оцепеневшая фигура Радноти, облаченная в длинный халат и тяжелые башмаки. Лишь возникающие благодаря специальной обработке бронзы вспышки света оживляют уподобленное маске лицо поэта.

Все это далеко от порывистой устремленности, которую сам Варга, художник импульсивный, увлекающийся, поэтизировал в 60-е годы в символических фигурах. Скульптор был тогда привержен к броским эффетам, обнажал угловатые контуры фигур, выставляя напоказ соединяющие металлические плоскости сварочные швы. От той поры он сохранил любовь к сопоставлению различных фактур и материалов, к неожиданным композиционным решениям, но теперь его больше интересует сам человек, мобилизующий до предела свой нравственный и жизненный опыт, чтобы глубже постичь проблемы века. Герои Варги — личности, преданные своей идее и вместе с тем чуждые ложных иллюзий, способные аналитически оценить собственную роль в конфликтах и исканиях времени. Этот тип героя на новом уровне мышления утверждает себя, как бы полемизируя со стихийными бунтарями Мункачи, «луддитами» Белы Уитца...

Одним из первых Варга обратился к популярному ныне в скульптуре стран социализма жанру камерного памятника. При этом меньше всего он стремится создать декоративный силуэт эпохи, в которую жил тот или иной выдающийся деятель, или дать ее бытовую обрисовку. Представляя своих героев в минуты жизненных кульминаций, Варга делает зрителя причастным к проблеме нравственного и философского выбора, страстного размышления о сложности жизненных дорог, о верности человека своему призванию, об общественном назначении художника.

Современное образное мышление Варги проявляет себя и в сопоставлении камерного мемориала с городской архитектурой. В насыщенном оптимистическими архитектурными ритмами новом центре Шалготарьяна установлен мемориал М. Радноти, в Будапеште на площади перед зданием парламента на фоне набережной Дуная и старинного дворца, что на будайских горах, воздвигнут памятник М. Каройи. Более камерно на фоне музейного здания в Сомбатхее поставлена статуя Д. Дерковича. Кирпичная кладка здания здесь не только выразительный фон, но и напоминание об изображенных на картинах и автопортретах художника заводских кварталах.

Создавая мемориалы творцам венгерской культуры на рубеже 70—80-х годов, Имре Варга обращается и к так называемым «вечным категориям» человеческой жизни, искусства, природы. Таков памятник известному венгерскому художнику Беле Цобелу в Сентэндре под Будапештом. Художник сидит в кресле, над ним большое раскидистое дерево. Цобел работал до глубокой старости — писал пейзажи и натюрморты, проникнутые пронзительным ощущением природы, ее гармонии, красоты ее цветовых созвучий. Это внимательное вглядывание в мир и стремился запечатлеть Варга. С подкупающей естественностью переданы умудренное знанием жизни лицо художника, его сухая старческая фигура, покрывающая плечи накидка.

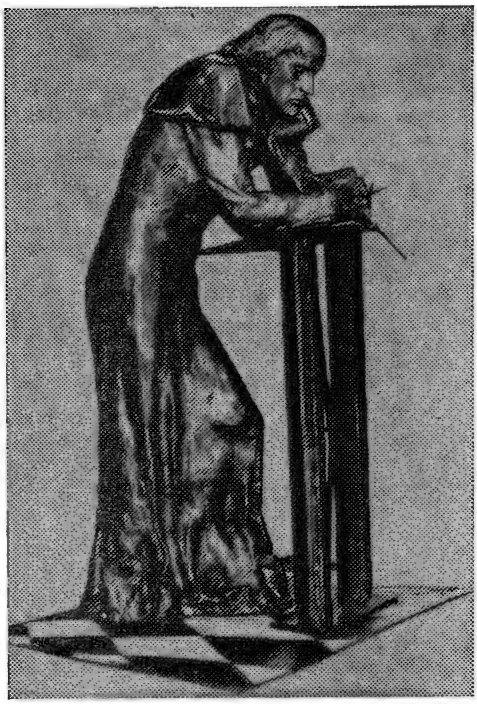
В творческой экспериментальной работе Варга не знает передышки. Не повторяет себя. Казалось бы, можно сделать паузу, дать зрителю возможность свыкнуться со счастливо найденной художественной структурой. Но возникают новые идеи и приемы:

Чутко улавливая перемены в человеческих характерах, в ритме и атмосфере времени, творит Варга современный образ художника. Таков его романтический Лист, он еще во власти последних аккордов музыки, но уже устремлен к публике. Фигура композитора смонтирована на балконе одного из жилых домов города Печа. Соединение блестящих и темных поверхностей металла, изящное кружево балконных решеток эффектно дополняют друг друга, образуя оригинальный ансамбль.

Скульптура, по мнению Варги, призвана сегодня многогранно и смело войти в жизненную среду. Герои человеческой истории не должны отделяться от реальности наших дней, природы, поэтически организованного комплекса больших и малых городов. Так утверждается их отнюдь не хрестоматийное значение в современности, глубже осознаются их великие деяния.

И. СВЕТЛОВ

Коперник. 1973. Бронза.



Из нашей почты

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В ответ на вопросы анкеты «ИЛ», напечатанной в № 12 за 1983 год, до 1 февраля 1984 г. пришло 131 письмо. Метод заочной анкеты не считается вполне «репрезентативным» в современной социологии, а статистика требует для надежных выводов бóльших чисел. Тем не менее результаты такого добровольного опроса тоже достаточно показательны для характеристики взаимоотношений читателя и журнала.

Кто нам ответил:

Из 131 читателя, ответившего на анкету, 70 человек — мужчины, 61 — женщины.

По возрастам они распределяются следующим образом: до 25 лет — 26 человек; 26 — 40 лет — 31 человек; 41 — 60 лет — 25 человек; свыше 60 лет — 17 человек. Остальные свой возраст не указали.

По профессиям: рабочих — 6, инженерно-технических работников — 25, педагогических работников — 14, врачей — 9, студентов и школьников — 10, филологов, переводчиков и работников искусства — 8, библиотекарей — 4, экономистов — 4. Другие профессии: адвокат, товаровед, сторож, военнослужащий, геолог, домохозяйка, лаборант, связист, ученый-химик, работник аэропорта. Среди авторов писем 9 пенсионеров.

Откуда пришли письма?

Письма пришли из Москвы и Московской области, из Ленинграда, Новосибирска, Горького, Челябинска, Владимира, Днепропетровска, Донецкой области, Киева, Красноярска, Перми, Тульской области, Уссурийска, Ухты (Коми АССР), Ангарска, Арсеньева, Асбеста, Баку, Барнаула, Бийска, Винницы, Воркуты, Донецка, Ессентуков, Ижевска, Иркутска, Калинина, Кирова, Кировограда, Кировакана, Кишинева, Кохтла-Ярве, Краснодарского края, Львова, Магнитогорска, Мурманска, Нефтеюганска, Норильска, Одессы, Оренбурга, Омска, Павлодара, Саратова, Свердловска, Ставрополя, Ташкента, Тернополя, Томска, Тюмени, Удмуртской АССР, Фрунзе, Херсона, Целинограда, Южно-Сахалинска.

Общая оценка журнала

Помимо ответов на вопросы анкеты во многих письмах содержатся высказывания, характеризующие работу журнала в целом, оценку нашего издания, попытки сопоставить деятельность журнала в прошлые десятилетия и в последующие годы.

Многие читатели оценивают работу журнала положительно. Характерны такие высказывания:

«...Журнал «ИЛ» читаю в течение многих лет и люблю его»; «Ваш журнал наиболее интересен для меня из всего журнального потока»; «...был воспитан вашим выбором произведений».

Однако в ряде писем содержание журнала оценивается критически. В них утверждается, что журнал стал меньше привлекать читателей в последние годы.

Обращают на себя внимание такие высказывания о журнале: «...Перестал быть событием»; «От года к году менее интересен»; «...В последние годы все реже встречаются произведения, которые не только интересно читать, но можно и перечитывать».

Можно скептически взглянуть на крайности как хвалебных, так и «уничтожающих» отзывов о журнале, но несомненно, что редакция не может пройти мимо них равнодушно. Верный вывод из критики, на наш взгляд, таков: не следует потакать всем вкусам и оттенкам мнений, но надо стремиться делать журнал привлекательнее, содержательнее, разнообразнее. При этом сле-

дует иметь в виду и такой психологический парадокс: какой бы период издания нашего журнала мы ни взяли, 5, 10 или 15 лет назад, всегда в немалом числе обнаруживались читатели, которые находили, что «раньше журнал был лучше», и в укор нынешним авторам называли имена своих давних литературных кумиров. Когда-то это были Хемингуэй и Ремарк, потом Сэлинджер и Франсуаза Саган, Кобо Абэ и Гарсиа Маркес... Однако современный литературный процесс — дело живое, движущееся, выдвигающее всякий раз новые имена и явления. Это и определяет прежде всего лицо журнала.

Есть в нашей работе и одна трудность объективного свойства. Разумеется, редакция желала бы чаще радовать своих подписчиков произведениями, переводы которых могли бы стать литературным «событием». Однако не только советская, но и зарубежная критика последнее время все чаще отмечает явления застоя в мировой литературе, в частности в европейской и в литературе американского континента. Нередки явления эпигонства, топтания в кругу одних и тех же тем: пессимизма, неудовлетворенности жизнью, ухода в мучительный самоанализ. И нужна большая работа по отбору, предварительной оценке, рецензированию специалистами намеченных к публикации произведений, чтобы очередные журнальные книжки «ИЛ» больше удовлетворяли читателей.

О художественной прозе

Первый вопрос анкеты касался главного журнального чтения. Мы спрашивали, какие романы, повести, рассказы привлекли наибольшее внимание читателей. Некоторые назвали по пять, десять и даже тридцать произведений, запомнившихся им за последние два года. Но были и «сердитые» отзывы:

«...В прошлом году журнал не напечатал, на мой взгляд, ни одного выдающегося или очень «добротного», надолго запоминающегося романа. К сожалению, все 10 опубликованных в 1983 году романов в большей или меньшей степени посредственны» (Г. Сергеев, ст. Ладожская Краснодарского края). С этим, однако, несогласно большинство читателей, чьи положительные отзывы о произведениях художественной прозы можно представить в виде некой таблицы «бестселлеров» «Иностранной литературы» 1982—1983 гг. Таблица составлена в порядке убывания читательских «голосов».

Ирвин Шоу. «Нищий, вор». Кристофер Прист. «Опрокинутый мир». Джеймс Джонс. «Только позови». Грэм Грин. «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой». Гордон Паркер. «Омут». Джойс Кэрол Оутс. «Священный брак».

Юхан Баргум. «Темная комната». Вацлав Билинский. «Конец каникулам».

Эмма Смит. «Только раз в жизни». Трумэн Капоте. «Самодельные гробики». Макс Фриш. «Синяя Борода».

Урсула Холден. «Узы денег».

Кейт Уотерхаус. «Конторские будни»; Клара Фехер. «Желтая лихорадка»; Ангелика Мехтель. «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой»; Мартин Вальзер. «На полном скаку»; Симо Оянен. «На небо — с гарантией»; Айи Квеи Арма. «Целители»; Дороте Летессье. «Поездка в Немполь»; Меджа Мванги. «Тараканий танец».

Конечно, место в таблице читательского успеха вовсе не равнозначно мере литературного значения той или иной книги, того или иного писателя. И все же это важно для нас, поскольку значительный тираж журнала — еще не свидетельство одинаковой читаемости всех его страниц. Редакцию не может не заботить, читают ли журнал со вниманием или просто выписывают (для библиотеки, по традиции или ради престижа), как не может быть равнодушен театр к тому, заняты ли все места в партере или актерам приходится играть в полупустом зале. Аудитория читателей журнала не так наглядна, как масса зрителей в театре. Да и печатая перевод той или иной вещи, мы не слышим аплодисментов. Однако читательские письма довольно явственно доносят дыхание нашей незримой аудитории. Ответы на анкету с очевидностью отмечают, какие публикации имеют наибольший успех. Очевидно и то, что публикация некоторых произведений в последнее время не имела успеха, и это будет учтено редакцией.

В 1983 году журналом был напечатан роман, привлекший, по-видимому, внимание абсолютного большинства читателей — «Нищий, вор» И. Шоу. Его назвали 70% наших корреспондентов. Значительно меньшее, но все же заметное внимание читателей привлекли роман Дж. Джонса «Только позови», повесть Грэма Грина «Доктор Фишер» и фантастика К. Приста (примерно 25% приславших нам письма назвали эти произведения лучшими).

Однако как раз по отношению к журнальным «бестселлерам» прозвучали и скептические голоса. Рядом с весьма лестным письмом В. Мулкахайнена из г. Нефтеюганска («Кому я только ни предлагал прочитать «Нищего, вора», все отзываются с восторгом»), читаем в письме С. А. Петровой из Днепропетровска: «Совершенно не понравился «Нищий, вор», впрочем, как и «Богач, бедняк» И. Шоу. Его романы вообще гораздо слабее рассказов, за исключением, может быть, «Вечера в Византии».

Многие читатели приветствуют обращение журнала к жанру научной фантастики, радуются тому, что появился такой его образец, как роман «Опрокинутый мир». Но вот письмо кандидата химических наук И. М. Толчинского из Москвы:

«Допустимо ли помещать в серьезном, замечательном журнале якобы фантастический роман Кристофера Приста «Опрокинутый мир»? Подлинной фантастикой тут и не пахнет. Достаточно вспомнить фантастику Уэллса...» Отзыв, несомнен-

но, чересчур суровый, но лишний раз подтверждающий, что о вкусах, вопреки пословице, можно и поспорить.

Обращает на себя внимание, что в первой десятке отмеченных читателями произведений восемь относятся к литературам англоязычного мира. Значит ли это, что такова объективная картина распределения художественных ценностей в зарубежном мире? Приходится признать, что традиционно сильная, скажем, литература Франции была представлена в журнале скромнее и, за исключением Дороте Летессье с ее повестью «Поездка в Пемполь», вообще как бы исчезла из поля зрения большинства читателей. Редки были за последние два года в журнале и переводы с итальянского. Фрагменты из книги Эуджению Монтале «Динарская бабочка» отметили лишь два читателя.

По-видимому, существуют и объективные причины такой неравномерности: национальные литературы знают свои волны подъема и спада. Не всегда, согласно известной мысли Маркса об античном искусстве, они прямо соотносятся с социально-экономическими процессами. Но все же журнал, несомненно, должен и будет стремиться к тому, чтобы все крупнейшие литературы мира были достойно представлены на его страницах.

Кстати сказать, анкета показала, что среди большинства читателей не существует какого-либо заведомого предпочтения литератур одних регионов мира — другим: было бы значительно по содержанию, своеобразно по форме, увлекательно печатаемое произведение, а читатели его оценят. В этой связи обращает на себя внимание успех двух финских романов, произведений писателей стран социализма Вацлава Билинского и Клары Фехер, наконец, успех романа «Целители» Айи Квеи Армы, писателя из Африки, названного впереди других европейских и американских знаменитостей целым рядом читателей.

Что предлагают читатели?

Некоторые читатели с сомнением отнеслись к самой постановке вопроса в нашей анкете: предпочитают ли они роман «с продолжением» или небольшую повесть, рассказ. «Можно романы, можно и повести, но чтобы это были хорошие вещи, а не муть»,— энергично высказался С. Т. Симанов из дер. Теняково Московской области. «Не вижу четко определенной связи между длиной романа и его художественными достоинствами,— написал в своем письме аспирант А. В. Шульгин из Новосибирска.— Можно говорить долго и сказать мало, можно говорить недолго и сказать о многом».

Все это, конечно, неоспоримо: жанр не предопределяет автоматически достоинств произведения. А вместе с тем 75 процентов читателей, приславших нам свои письма, высказались за большую романную форму, за «роман с продолжением». Некоторые попробовали даже аргументировать такого рода предпочтение.

«Литературу — настоящую, большую, серьезную литературу,— замечает Г. Сергеев из Краснодарского края,— делают именно «толстые» романы, в которых с наибольшей полнотой охватывается и глубоко осмысливается действительность». «Мне кажется,— пишет ведущий конструктор из Ленинграда Д. Грак, — что лицо «толстых» журналов определяют именно романы с продолжением на 3—4 номера. Ведь именно для этого мы и подписываемся на журнал (чтобы быть уверенным, что все номера будут получены). А вещи на один номер всегда можно купить в киоске... Но главная причина в том, что понять писателя можно только по вещи программной в его творчестве. Практически такая вещь — всегда значительная по объему. Так что, мне кажется, 5—6 романов с продолжением должно быть нормой для такого журнала, как «ИЛ»).

Возражение многих читателей вызывает публикация «сокращенных вариантов» романов или «глав из книги». М. Бывших из Москвы пишет, что его в равной мере интересуют и большие романы, и маленькие повести. «Не предпочитаю только одного: сокращенных переводов или «глав из романов». Как бы этого избежать?» «Очень бы хотелось,— замечает сотрудник МВД О. В. Демченко из Херсона,— чтобы редакция больше верила в нравственные устои читателя и в его способность разобраться в том, что плохо и что хорошо, и не публиковала бы произведения в усеченном варианте».

Редакция понимает всю невыгоду публикации отдельных глав и «сокращенных вариантов». Это, однако, продиктовано желанием расширить у читателя представление о книгах, выходящих за рубежом, печатать которые полностью не позволяет их объем и объем нашего журнала. Мы отдаем себе отчет в том, что информационная задача порой не компенсирует здесь художественных потерь. Редакция намерена пользоваться выборочными и сокращенными формами с разумной осмотрительностью. Но надо иметь в виду, что в ряде случаев публикация «сокращенных вариантов» неизбежна, и такова практика всей мировой периодики.

В зарубежной литературе у читателя есть свои привязанности. И на вопрос: «Чьи произведения вы хотели бы прочесть в журнале?»— чаще всего упоминаются одни и те же имена. По законам свежей памяти обычно перечисляют имена авторов, произведения которых были только что напечатаны: скажем, того же И. Шоу. Но существуют устойчивые симпатии и вне этого ряда. Перечислим наиболее часто встречающиеся в письмах и желанные читателям имена: Курт Воннегут, Джон Апдайк, Роберт Пенн Уоррен, Грэм Грин, Уильям Голдинг, Питер Устинов, Айрис Мердок, Уильям Стайрон, Дж. Фаулз, Э. Л. Доктороу, Кобо Абэ, Гюнтер Грасс, Франсуаза Саган, Айи Квеи Арма, Ежи Ставинский, Павел Вежинов, Габриэль Гарсиа Маркес, Эрико Вериссимо и другие.

Пожелания некоторых читателей более конкретны:

«В вашем журнале часто упоминается имя английской писательницы Барбары Пим, которую называют «подлинным открытием 70-х годов». (цитирую рубрику «Из месяца в месяц»). Очень хочется познакомиться с ее творчеством» (Р. Митренко, г. Чирчик Узбекской ССР).

«Есть в Англии интереснейший писатель, с которым до сих пор не знаком советский читатель, а жаль. Это Колин Уилсон. Почему бы не перевести его «Паразитов мозга», «Мир насилия», «Философский камень?» Эти произведения звучали бы сегодня так же актуально» (З. В. Эсебуа, доцент пединститута, г. Новосибирск).

«Хотелось бы более подробно познакомиться с современной литературой Японии и Китая» (К. Журавлев, с. Туруханск Краноярского края).

«Почему нет ничего канадских авторов? Когда-то я читала новеллы Уильяма Кинсли, Ринге, Лео Кеннеди, Жака Феррона и др. Хотелось бы знать, что сейчас в канадской литературе» (О. К. Полетаева, сотрудник МВД, г. Москва).

Некоторые читатели простодушно предлагают перепечатывать напечатанные лет двадцать назад в нашем же журнале и получившие широкую популярность произведения Ремарка, Хемингуэя и др.; называют даже возможную рубрику — «Ретро». А юная читательница из Львова Гизелла Лопушинская просит публиковать в журнале регулярно произведения Дюма и Конан Дойла.

Искренне сочувствуя читателям, досадующим на невозможность приобрести книги своих любимцев в книжных магазинах, редакция вынуждена все же еще раз напомнить, что наше издание — журнал по преимуществу современной зарубежной литературы, стремящийся знакомить читателя с новинками и, во всяком случае, избегающий перепечаток. Таким образом, ни «Трех мушкетеров», ни цикл о Шерлоке Холмсе мы, разумеется, перепечатывать не можем.

Но на некоторые имена и произведения читатели, как представляется, указывают не напрасно; мы постараемся внимательнее изучить возможность их публикации в журнале. Это романы «Высотка» и «Бетонный остров» Джеймса Болларда, «Гагарье озеро» Э. Л. Доктороу, произведения Энтони Бёрджесса, Маргарет Дрэббл. Читатели называют также «Китайскую стену» Макса Фриша, «Балаган» и «Прямое попадание» Курта Воннегута, «Человека с кречетом» Поля Саватье и другие книги. «Таких писателей, как Апдайк, Хеллер, хотелось бы узнавать не только из рецензий. В то же время многое из напечатанного можно было только рецензировать»,— пишет читательница из Винницы.

В почте нередки предложения по расширению круга тем, жанров публикуемой журналом прозы, предлагаются и новые рубрики. По-прежнему в немалом числе находятся сторонники фантастики и детектива. «Очень хотелось бы, чтобы появление на ваших страницах фантастики не стало исключением, а правилом»,— пишет М. Бывших из Москвы, приветствуя публикацию романа К. Приста. «Ваш украинский собрат «Всесвит» целый номер посвятил фантастике»,— с укоризной сообщает О. В. Демченко из Херсона.

«Почему бы не напечатать хотя бы раз в год талантливый детектив?»— робко спрашивает Е. Д. Шкурко из Ставрополя. «Неплохо было бы завести рубрику «Детектив этого года»,— предлагает И. И. Якубова из Ленинграда,— и печатать ежегодно в последних номерах года детективный роман».

Некоторые читатели обращают внимание на то, что «ИЛ» почти не печатает исторических романов, а также мемуаров и автобиографических книг. «В журнале почти нет исторической тематики,— пишет библиотекарь Г. Н. Захарова из г. Кирова.— А ведь ваш журнал называется «Иностранная литература», а не «Современная иностранная литература», да и современные авторы пишут на историческую тему очень хорошие книги».

Интересное предложение содержится в письме сельского врача А. В. Двигуна из Харьковской области: «Как славно было бы увидеть на страницах журнала переводы для детей (новая рубрика — назвать ее хотя бы «Детский сад» или «Клуб Алисы»). Ведь журналу станут тогда «все возрасты покорны». Поместите, допустим, перевод последней вещи Астрид Линдгрен, и я уверен, что эти номера журнала будут рвать из рук не хуже, чем те, где напечатан «Нищий, вор».

Далеко не все из этих предложений для нас бесспорны. И все же, как представляется, тут есть повод для размышлений — как сделать журнал разнообразнее, живее, ярче.

Читают ли зарубежную поэзию?

В сравнении с прозой о поэзии высказалось значительно меньше читателей, и поклонники этого раздела в нашем журнале, судя по письмам, оказались в явном меньшинстве.

Характерны такие отзывы: «К переводной поэзии отношусь с равнодушием, почти не читаю» (Л. В. Моисеева, г. Донской Тульской области);

«Этот раздел, честно говоря, ничего мне не дает, я с трудом вникаю в ритм, а порой и в смысл публикуемых стихов» (Е. Н. Ложкина, г. Асбест);

«Вообще-то стихи в переводе — это самостоятельное произведение, поэтому запоминается имя переводчика, а не автора» (М. Я. Марущенко, г. Иркутск).

И, наконец, решительное: «Раздел поэзии сократить до минимума» (К. С. Лозовой, г. Тернополь).

Тем отраднее, что у раздела поэзии, пусть и в меньшем числе, нашлись свои убедительные защитники.

«Я не представляю «ИЛ» без поэзии,— пишет слесарь Г. Николаев из г. Чебоксары.— Если бы не было этого раздела, когда бы еще я познакомился с такими поэтами, как Х. Посвятовская, В. Шимборская и многими-многими другими. Запомнились стихи Д. Джудичи в

№ 5 за 1983 год. Его стихи я знал и раньше, и потому новая встреча была радостной. А вот Г. Грасса как поэта я узнал впервые, и это знакомство хотелось бы продолжить».

«Что же касается раздела поэзии,— написал В. Е. Качалин из Москвы,— то его я считаю самым удачным или, по крайней мере, одним из самых удачных».

«Таблица успеха» публикаций поэзии в журнале за последние два года выглядит следующим образом: Жорж Брассанс — «Великий Пан» и др. стихи; Гюнтер Грасс — «Аннабел Ли» и др. стихи; Роберт Пенн Уоррен — из книги стихов «Пока еще здесь»; «Из китайской классической поэзии»; «Из японской поэзии».

Из пожеланий отделу поэзии можно привести высказывание в письме молодой работницы из Кировакана Армянской ССР Армине Айвазян:

«В разделе поэзии хотелось бы больше читать лирических, душевных стихов, волнующих всех без исключения. Взять хотя бы, к примеру, «Аннабел Ли» Гюнтера Грасса».

О разделах публицистики и критики

Сравнительно небольшая часть наших читателей усомнилась в праве публицистики и критики занимать страницы нашего журнала. Но предоставим им слово первым.

«Разделы «Критика», «Публицистика»— уверен, что из 380 тысяч подписей их мало кто читает,— пишет В. М. Сурис из г. Каменск-Уральский Свердловской области.—Ну пусть 80 тысяч. Зачем же тремстам тысячам эти разделы? Быть может, их возьмет на себя «Лит. газета» или другое издание, более соответствующее предложенной теме?» В некоторых других письмах (тов. Третьякова, например) содержится просьба «эти разделы сократить до минимума». «Критику, хронику не следует публиковать» (т. Лозовой, г. Тернополь).

С этим решительно не согласна Л. В. Моисеева из Тульской области: «Это единственная часть вашего журнала, которую читаю в каждом номере. Все прекрасно, ничего там не меняйте». «Разделы критики, публицистики и хроники представляются мне самыми ценными в журнале»,— пишет инженер-мелиоратор Людмила Костюченко.

«Особый интерес вызывают отделы «публицистики и документальной прозы»,— пишет Т. А. Басистая из г. Владимира. «Раздел публицистики считаю одним из лучших в журнале»,— утверждает К. Журавлев из с. Туруханск Красноярского края.

Но число читателей публицистики и документальной прозы, судя по названным в письмах произведениям этого жанра, все же заметно уступает «фаворитам» художественных разделов. Однако 10 читателей отметили работу Уильяма Арнольда «Фрэнсис Фармер. В мире теней» и 6 читателей — документальную прозу Веслава Гурницкого «Песочные часы». 4 читателя назвали «J'accuse» Грэма Грина, очерки С. Кондрашова «В Аризоне у индейцев» и «Токийские размышления» Н. Федоренко. 3 читателя отметили публицистику Винья Нгади «Разрывая контракт...», публикацию И. Эренбурга «Франция в сердце», очерк Такэси Кайко «Токио с близкого расстояния», «Антиутопия и жизнь» Г. Шахназарова, «Чем жив писатель» Е. Стояновской, «Рок-музыка» Д. Ухова.

Заодно упомянем, что в разделе «Культура и современность» читателям отмечены статьи Т. Голеншольского, М. Салганик, Ю. Давыдова, К. Мяло, Н. Вагаповой, Т. Ротенберг, Л. Васильевой.

По-разному относятся читатели и к отделу критики.

«Очень интересен раздел критики, особенно если в одном журнале напечатаны и произведение, и его анализ или целостный анализ творчества того или иного писателя» (Г. Г. Павловская, Кемеровская обл.); «Разделы критики, публицистики, хроники помогали в режиссерской работе над современными зарубежными пьесами» (засл. артист РСФСР Н. Г. Шуров, г. Пермь); «Нравятся обзоры литературы и кино по странам и по проблемам» (Т. В. Веселова, Новосибирск).

«Совершенно неинтересно читать критические замечания о книгах, которые не читал и прочесть не можешь»,— пишет С. Волернер из г. Черновиц. Некоторые читатели указывают на случайный порою характер публикаций в отделе критики. «Хотелось бы увидеть в журнале обзорные статьи о литературе за м и н у в ш и й год той или иной страны,— пишет В. А. Саховская из г. Оленегорска Мурманской обл.,— или обстоятельно написанные литературные портреты наиболее известных писателей Европы и Америки». «Считаю, в к а ж д о м номере должен быть литературный портрет зарубежного писателя — раз, и интервью (развернутое) с зарубежным писателем — два»,— вторит ей Е. Паршин из г. Свободный Амурской области.

Примечательно, что читатель запомнил имена некоторых критиков, за работой которых начал следить. Названы в письмах имена Н. Анастасьева и А. Мулярчика, С. Белова, А. Зверева и Н. Федоренко. Упомянуты также А. Гулыга, В. Иорданский, Т. Мотылева, И. Левидова, М. Ландор, Ю. Карякин, Г. Злобин, Ю. Дашкевич, И. Млечина.

«Нравятся рубрики «Среди книг» и «Из месяца в месяц»,— пишет А. М. Блюмина из Москвы. Среди авторов рецензий читателями отмечены имена Е. Парнова, В. Скороденко, А. Николаевской, В. Молчанова, Ю. Каграманова.

В разделе «Среди книг» читатели хотели бы получать больше информации о зарубежных книгах, выходящих в советских издательствах. Предлагают и такие обзорные темы, как зарубежный роман в «Роман-газете» или зарубежная новелла в «Неделе» и других периодических изданиях.

Об «Антирубрике»

В анкете мы не задали специального вопроса об «Антирубрике», и, по-видимому, это было упущение, потому что многие читатели поспешили его исправить и прислали нам свое мнение об этом разделе, не дожидаясь нашего вопроса.

Лучше других выразил значение для себя этого раздела М. Шуман из Ленинграда: «С особым интересом я прочитываю «Антирубрику», поскольку юмор, ироничное видение мира помогают жить».

Несколькими читателями были отмечены следующие публикации: Льюис Кэрролл — «Охота на Змеря», «Эдвард Лир — король нонсенса», Рэй Брэдбери — «Чепушинка», Джон Леннон — «Миниатюры», Лука Гольдони — «Сошлись на меня» и др. рассказы, публикация из наследия Теннесси Уильямса.

Некоторым читателям так нравится «Антирубрика», что они лелеют даже территориальную экспансию за счет других разделов. «Я бы присоединил «Литературное наследие» к «Антирубрике», тем самым увеличил бы объем «Антирубрики», которая нравится всем без исключения» (М. Н. Кучкин, г. Бийск).

У водителя И. П. Долотова из Южно-Сахалинска возникли сомнения по поводу названия рубрики, и он предлагает свое:

«Обязательно уделяю время «Антирубрике», хотя и не понимаю, почему «Антирубрика», а не «Зеленый портфель».

Редакцию призывают еще раз подумать о названии для этого раздела. Может быть, наиболее удачное название подскажут сами читатели?

О разделе «Из месяца в месяц»

Большинство читателей не сомневается в пользе и значении отдела «Из месяца в месяц», некоторые даже утверждают, что начинают читать журнал «с конца».

«Меня увлекает отдел хроники», — пишет студент А. Мушегов из г. Ижевска. «Начинаю просмотр журнала с раздела «Из месяца в месяц», — сообщает Н. Ильина из Магнитогорска.

Но есть и полярные отзывы. Читатели, несомненно, заинтересованы в более широкой и разнообразной информации по всем странам и континентам и не удовлетворены, когда эта информация бывает случайной или чересчур беглой.

О качестве переводов

Ответы на вопрос анкеты о переводчиках и качестве перевода позволили выявить одно обескураживающее обстоятельство: в глазах большинства читателей успех автора книги и работа над нею переводчика как бы неразличимо сливаются. Если нравится роман или повесть, то читатель, как правило, находит «превосходным» и перевод. Однако, откровенно говоря, в практике нередко случается и так, что книга имеет успех и при посредственном переводе, и, напротив, блестящий переводческий труд не всегда бывает оценен читателями по заслугам.

И все же можно с удовлетворением отметить, что многие читатели называют в своих письмах имена таких мастеров перевода, как Р. Райт-Ковалева, С. Апт, А. Сергеев, Р. Линцер.

■

Наиболее отрадный вывод, напрашивающийся при знакомстве с этой почтой, состоит в том, что читатель, в особенности многолетний подписчик «ИЛ», сознает себя как бы соиздателем журнала, рассуждает о его удачах, недостатках и возможностях требовательно, благожелательно, по-хозяйски. Редакция намерена извлечь все ценное из критики, пожеланий и запросов читателей.

Обзор читательских писем был обсужден в январе 1984 года на общередакционной летучке, заведующим отделами было предложено тщательно изучить предложения, содержащиеся в ответах на вопросы анкеты, чтобы использовать их в практической работе.

Редакция благодарит всех читателей, принявших участие в деловом обсуждении работы журнала и ждет новых писем.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ГРЕЦИЯ ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ

Геракл и мы. Современная греческая поэзия. Сборник. Перевод с новогреческого. Предисловие Я. Рицоса. Москва, «Радуга», 1983.

Открывая этот сборник, читатель невольно ожидает найти в нем подтверждение своих представлений о Греции — о ее природе, истории, культуре,— представлений, которые начали складываться у него с детства, вероятно с увлечения мифами о богах и героях древней Эллады. Его ожидания оправдаются. Ведь сегодняшние греки живут на «этой же самой земле /с оливами, лаврами и виноградниками» (Рита Буми-Папа. «Самой себе»), могут напиться воды из неумолкающего Кастальского ключа, посвященного в древности Аполлону и музам:

Пусть рухнул и лежит в руинах
торжественного храма свод —
дух Аполлона легкокрылый меж
Федриадских скал живет... —

(София Мавроиди-Пападаки. «Дельфы». Перевод Е. Смагиной)

и находят свои слова, свои художественные образы, чтобы выразить восхищение «вечной красотой» Эллады, бездонной синевой ее небес и моря, пьянящими ароматами мяты, базилика и тимьяна.

Где время? Его за пределы сознания
унес ветерок, увлажненный туманом...
Но вечно дыхание сосен смолистое
и воздух лужаек, пропахших тимьяном...

(Ангелос Сикельянос. «Аттическое». Перевод А. Ревича)

Ангелос Сикельянос, классик греческой литературы нового времени, возродивший в Дельфах представления античной трагедии и мечтавший о создании там всемирного культурного центра, поэт могучего темперамента, возвышенного лиризма и проникновенной гуманности, всей своей жизнью, творчеством как бы свидетельствует о живой и неразрывной слитности времен. Это ощущение органично, естественно. Античность для современного греческого поэта — не арсенал экзотики, а явление домашнего обихода. Даже из тюремной камеры поэтесса Виктория Теодору обращается к Афродите с непринужденностью доброй подруги.

Разумеется, это лишь один, самый очевидный пласт многомерного отношения современной греческой поэзии к античности. Ведь отношение к первоосновам своей культуры во многом отражает уровень национального самосознания, сказывается на складе художественного мышления. Сквозь призму восприятия греческой поэзией своего богатейшего культурного наследия мы можем увидеть важные стороны ее сегодняшнего бытия.

Обращение греческих поэтов к античности далеко не всегда окрашено в светлые тона. Прикосновение к тем же камням, которых касались древние предки, порой вызывает в душе «зияние пустоты», боль невосполнимой утраты, особенно острую оттого, что современность «ранит». И если выдающийся греческий поэт, лауреат Нобелевской премии Георгос Сеферис изливает эту боль в горьких раздумьях над трагическими катаклизмами многовековой греческой истории, в образах страны «разрушенных алтарей», то другой старейшина греческой поэзии, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Костас Варналис выражает свои чувства с едким сарказмом сатирика: «золотая родина», обитель Аполлона и муз — это «трясина грязи, подлость, черный свет», и, чтобы родина действительно стала «золотой», народ должен пробудиться и очиститься «от скверны».

Было время, когда разочарование в современной действительности, во многом столь далекой от классического мира античности, толкало деятелей греческой культуры к болезненной реакции — к утверждению раненого достоинства греческой нации через возвеличивание ее славного прош-

лого и даже через попытки возродить древний язык. Эти бесплодные усилия завели в тупик романтическую афинскую школу и значительно затормозили течение литературного процесса XIX века. С тех пор прошло более столетия, насыщенный суровыми уроками исторический опыт XX века внес в национальное сознание трезвые коррективы, и современная греческая литература, испытывая чувство законной гордости своим древним культурным наследием, живет, однако, не прошлым, а настоящим. И, обращаясь к прошлому, мобилизует его на служение сегодняшнему дню.

Тираноборческие и патриотические мотивы античной поэзии зазвучали с новой актуальностью в годы второй мировой войны, в период итало-германской оккупации: издания классики были своего рода вкладом в дело Сопротивления, традиционные образы древности вдохновляли антифашистскую поэзию. Аналогичная ситуация сложилась четверть века спустя, в период военной диктатуры 1967—1974 годов. И снова греческая поэзия приникла к вечному животворному источнику — свободолюбивым традициям античности. Классическим образцом разработки этой темы, бесспорно, является стихотворение Сефериса «По шипам колючего дрока...». Оно было написано вскоре после широко известного заявления, в котором поэт резко осудил режим диктатуры, толкавший Грецию в пропасть. Первые строки стихотворения отнюдь не предвещают протеста: мирная картина мыса Суния в Аттике, развалины храма Посейдона (его колонны подобны «звучащим струнам арфы»), красная земля, желтый кустарник дрок; все — воплощенный покой. Однако покой только внешний, а в душе — незатихающее беспокойство, о котором не говорится ни слова, но мы догадываемся о нем по ассоциативному ходу авторского мышления. Желтый кустарник дрок, название которого не изменилось «с тех самых далеких времен», вызывает в памяти отрывок об Ардиее из диалога Платона «Государство», как бы перекликающийся с неотступными мыслями поэта. Вернувшись домой, он находит у Платона это место — описание кары, настигшей «жалкого тирана». «Связали его по рукам и ногам,— говорит Платон,— наземь его повалили и кожу содрали, и поволокли по земле, по шипам колючего дрока, и после бросили в Тартар его, как тряпку». Так на том свете платил за свои злодеяния Ардией из Памфилии, «жалкий тиран».

Используя максимально лаконичные художественные средства и избегая прямой декларативности, Сеферис противопоставляет насилию нетленные духовные ценности нации. И, обращаясь к тиранам с грозным предостережением, предрекает неизбежность возмездия. Духовное наследие античности довольно часто оживает в современной греческой поэзии, и читатель сборника убедится в этом сам.

Обращение к античному материалу не исчерпывается введением отдельных образов, символов, цитат: греческие поэты активно используют также мифологические и исторические сюжеты древности, во многом следуя примеру своего выдающегося предшественника Константиноса Кавафиса (1863—1933). Достоверно воспроизводя картины давно минувших времен, Кавафис творил как художник современности, выявляющий квинтэссенцию жизненного опыта, сходного с нынешним. Его стихотворения — это своеобразные художественные формулы, заключающие в себе историческое осмысление социального мироустройства и онтологических проблем человеческой личности. Открытость условной поэтической структуры сообщает им высокий уровень обобщения, неограниченные возможности смысловых проекций, содержательную емкость.

Именно этот важный методологический урок перенимают у Кавафиса современные греческие поэты. Античная канва позволяет им приподняться над фактами, увидеть их не только в философском аспекте, соизмеряя с вечностью, но и в исторической перспективе. «Повторяя» сюжеты античности, они как бы организуют в их русле интенсивный процесс национального самопознания. Один из самых известных циклов крупнейшего поэта современности Янниса Рицоса, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», так и называется — «Повторения». Он написан в 1968—1969 годах в концлагере на о. Лерос и в ссылке на о. Самос и насквозь пронизан историческими и психологическими реалиями греческой действительности периода диктатуры. В этих реалиях — прозрение многих существенных черт эпохи, ее психологического строя и нравственного опыта. Но главная задача цикла — осмысление исторической судьбы греческого народа, выбранного им пути. И тут сравнение с античным Гераклом побуждает Рицоса к гордой констатации:

Мы нисколько себя не чувствуем
низшими, нам не стыдно
смотреть любому в глаза.
Наши титулы на сегодняшний день —
в трех словах:
Макронисос, Юра и Лерос.
И как только наши стихи вам
покажутся аляповатыми,
сразу вспомните, что они
написаны
под конвоем, под носом охранников,
под ножом,
приставленным к ребрам.

(«Геракл и мы». Перевод Ю. Мориц)

Макронисос, Юра, Лерос — концлагеря послевоенной Греции, этапы трагической и героической новейшей истории страны. Страницы, которые внушают поэту гордость за свой народ.

Греческое продолжение, «греческое нескончаемое»... Эти слова в Греции обычно связывают с идеей преемственности от античности к современности. Сделав их заголовком стихотворения, Никос Папас демонстративно подчеркивает, что и в современной Греции сложились свои традиции, достойные продолжения.

Представьте, сколько
памятных, кровью запятнанных мест:
знаменитый тир в Кесарьяни,
концлагерь в Хайдари,
Грамос и Вици
и Политехнический в Афинах —
все это затаилось в памяти Греции...

(Перевод А. Ревича)

Тир в Кесарьяни и концлагерь в Хайдари — места массовых расстрелов греческих антифашистов в годы оккупации, Вици и Грамос — арена сражений гражданской войны 1946—1949 годов, Политехнический институт — центр студенческого восстания против диктатуры «черных полковников» 17 ноября 1973 года. Это вершины национального духа современной Греции. Тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, и составили основное содержание греческой поэзии последних сорока лет.

Именно этот отрезок времени охватывает антология. Избранная точка отсчета — закономерный в истории и культуре новой Греции рубеж: радикальные сдвиги, происшедшие в национальном сознании в годы антифашистского Сопротивления, во многом предопределили весь ход послевоенного развития общественной мысли, литературы и искусства. Недаром мотив верности избранному пути, своим целям, идеям, своему творческому кредо стал одним из постоянных мотивов послевоенной греческой поэзии. С принципиальной открытостью его воплощает Рицос в программном стихотворении «Золотое руно». Обращение к образу из античной традиции освящает его позицию ореолом вечности. Золотая добыча аргонавтов — не безопасный трофей, она

освещает тебя целиком,
ты — мишень и для тех и для этих:
никакой возможности
спрятаться в тень,
чтоб остаться в своем ничтожном углу,
обнажиться,
и быть, и существовать.

(Перевод Ю. Мориц)

И все же, как утверждает в заключение поэт, жизнь немыслима «без этой золотой пытки». Как бы ни складывался в дальнейшем путь греческой поэзии, ее будет освещать «золотое руно» древних и новых традиций. Сорокалетний отрезок ее недавней истории, с которым познакомится читатель сборника, убеждает в стойкости ее позиций.

С. ИЛЬИНСКАЯ

Издано за рубежом

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ ПРОРОЧИЦЫ

Christa Wolf. Kassandra. Vier Vorlesungen. Eine Erzählung. Berlin und Weimar, Aufbau, 1983.
Криста Вольф. Кассандра. Четыре лекции, 1983.

«Кассандра»... Название, по правде сказать, до знакомства с книгой скорее отталкивало, чем привлекало. Сколько их уже было, послеэсхиловских Кассандр, в литературе, музыке, изобразительном искусстве! Нет, говорил я себе наперед, не то сейчас время, не та у тебя готовность принять более или менее известные условия поэтической игры, чтобы порадоваться еще одному, по всей вероятности иносказательному, вымыслу. Иносказания и всегда-то казались мне художественно неполноценными, а при нынешних делах они, думается, не просто недостаточно эстетичны, а в лучшем случае легкомысленны, прекраснодушны, в худшем — грубо тенденциозны и, значит, в обоих случаях лживы.

При всем моем глубоком уважении и интересе к работам Кристы Вольф мне не хотелось читать ее сочинение о Кассандре еще и потому, что ее предыдущая историческая повесть о Генрихе Клейсте и Каролине Гюндероде показалась мне именно в силу своего обращения к прошлому, притом куда более близкому, чем времена Троянской войны, неким сужением и упрощением сегодняшнего вопроса о месте художника в мире.

Была и третья, совсем уж частная причина моей предубежденности против этого чтения — давние мои занятия античностью, прежде всего перевод «Орестеи» Эсхила, главного после Гомера источника наших представлений о судьбе илионской пророчицы. «Орестею», это было ясно, Криста Вольф обойти никак не могла, а к произведению, которое переводишь, проникаешься какими-то ничем не оправданными собственническими чувствами, и всякие чужие его толкования вызывают у тебя, как это ни постыдно, невольный протест.

Все оказалось не так. Если, читая, я с чем-то и не соглашался, то преобладающим моим читательским чувством был совсем не протест. Этим чувством было и осталось восхищение. Озарив светом своего ума и таланта трагическую фигуру женщины-жрицы, которая знала, что город ее погибнет, а ее убьют как скотину, Криста Вольф написала сильную, страстную, смелую книгу, новаторскую в самом высоком смысле.

Написала она, собственно, две книги — сперва, по-видимому, Erzählung, то есть рассказ или, скорее, повесть (все-таки полтораста с лишним страниц!), а потом авторский комментарий к этому произведению, озаглавленный «Предпосылки одной повести» и представляющий собой текст «франкфуртских чтений» писательницы — ее четырех лекций во Франкфурте-на-Майне. Повесть и лекции неразрывно связаны, одна объясняет и дополняет другую, и в то же время перед нами два самостоятельных произведения, совершенно разных по жанру, по стилю, по языку. Причем «вспомогательная», так сказать, формально «подчиненная» часть не только превосходит повесть размерами, что уже достаточно парадоксально, но, на мой взгляд, глубже по мыслям и безусловно смелей, интереснее, самобытней по форме.

Повесть — это сплошь, за исключением первого и последнего абзацев, внутренний монолог Кассандры перед воротами микенского дворца, пройдя через которые она — и ей это известно — погибнет от рук убийц. Первый абзац: «Здесь это было. Вот

здесь стояла она. Эти каменные львы, теперь без голов, глядели на нее. Эта крепость, когда-то неприступная, теперь груда камней, была последним, что она видела. Давно забытый враг и века, солнце, дождь, ветер отшлифовали ее. Неизменно небо, густо-синяя глыба, высокое, широкое. Вблизи циклопические стены, сегодня, как и вчера, направляющие дорогу: к воротам, из-под которых не вытечет кровь. Во мрак. На бойню. И одна». Последний абзац: «Это здесь. Эти каменные львы глядели на нее. При меняющемся освещении кажется, что они движутся».

Такое начало и такой конец указывают на то, что автор побывал «на месте», и, связывая зрелище, открывающееся приехавшей в Грецию немецкой писательнице, с последним часом Кассандры, содержат как бы зародыш второй книги. Ведь эта вторая и в самом деле описывает поездку в Грецию весной 1980 года, но главное, разъясняет ту мысль, что Троя, образ которой маячит перед автором,— это, цитирую, «не столько обращенное назад описание, сколько модель для своего рода утопии».

Фигуру Кассандры писательница стремится, пользуясь ее словами, «вывести из мифа в (мысленные) социальные и исторические координаты». Криста Вольф не боится, что ее домыслы шокируют консервативных любителей освященных веками преданий или педантичных специалистов-историков.

В этой системе координат причина Троянской войны — никакое не похищение Елены Прекрасной, которую Парис, оказывается, и до Трои-то не довез, а великодержавные притязания Приама, который хочет контролировать проливы, ведущие к Черному морю, и извлекать выгоды из географического положения своего города-государства. Ахилл здесь совсем не тот прекрасный в своем гневе, хотя и мрачноватый воитель, которого мы знаем по Гомеру, а настоящий «зверь», одержимый самыми отвратительными страстями убийца-маньяк. Приам — запутавшийся политик, превратившийся из повелителя в марионетку собственного ставленника, начальника тайной полиции, которая становится вездесущей. Троя здесь — не единый осажденный лагерь, а по меньшей мере два стана: царский дворец за крепостными стенами и город простого народа, с рынком, куда свободно проходят и ахейцы, с пещерами на берегу Скамандра, где ютится беднота. И пожалуй, особенно щедра писательница на детали, показывающие, как бесправна в этой Трое женщина, даже жрица, даже царская дочь или невестка, не говоря уж о рабынях, о бедных обитательницах пещер. Когда Кассандра становится пленницей Агамемнона, женская судьба ее не претерпевает настоящего качественного изменения, ведь и до этого, несмотря на свой пророческий дар и высокое происхождение, она была в отношениях с мужчинами только объектом, и даже бремя своей и Энея любви приходилось нести ей одной. Единственно новое тут — это гибель на чужбине, ведь в родном городе смерть ей уже грозила не раз.

Гибель, смерть... Как ни пластична, как ни правдоподобна придуманная Кристой Вольф Троя, как ни убедительна вся созданная воображением писательницы ситуация Кассандры — женщины прозорливой и страстной, отчаявшейся и надеющейся, бесправной и привилегированной, самой пронзительной психологической достоверности исполнены именно те строки, те фразы, те слова повести, которые передают это предсмертное томление, эту неумолимую ясность знающего все наперед ума, этот первичный, плотский ужас «твари живой».

Не может быть никаких сомнений насчет того, откуда приходят к современному художнику такие чувства, такое видение. Кассандра пришла к Кристе Вольф оттуда же, откуда явились к Пикассо цвета, фигуры и контуры его «Герники». И о «предпосылках» этой повести писательница смятенно и спокойно, эмоционально и рационально рассказывает в особой книге.

«Мысль, что физическое существование всех нас зависит от сдвигов в безумном мышлении очень небольших групп людей, то есть от случая, разумеется, окончательно переворачивает классическую эстетику, сбивает ее с позиций, которые в конечном счете держатся на законах разума... Растет сознание неуместности слов перед лицом явлений, с которыми мы сейчас имеем дело. То, что намерены совершить с нами анонимные ядерные штабы, невыразимо; языка, который дошел бы до них, не существует. Но мы продолжаем писать в тех формах, к которым привыкли. Это значит: мы еще не можем поверить тому, что видим. А то, чему уже верим, не можем выразить». Так определяет Криста Вольф положение, которое я назвал бы главной внутренней «предпосылкой» повести. Внешней ее предпосылкой было, как уже нетрудно догадаться, путешествие в Грецию.

Таковы же по сути и предпосылки авторского комментария, призванного как будто лишь пояснить повесть, построенного как рассказ о туристской поездке, о дорожных впечатлениях, о разговорах и спорах с друзьями, о собственных тревогах и размышлениях, цитирующего то дневник автора, то его письмо, то специальный ученый труд, то Сапфо, то Гёте, то стихи современницы, Ингеборг Бахман. У этой, не содержащей ни строчки вымысла, обильной точными датами, точными топографическими указаниями и завершающейся длиннейшим библиографическим перечнем книги тоже обнаруживается своя поэтика, своя художественная цельность. Может быть, это как раз и есть та искомая, соответствующая серьезности момента «непривычная» форма, при которой эстетика все-таки не порывает с «законами разума»? Судить не берусь, но писательской смелостью восхищаюсь.

В этой книге очень важное место занимает мысль о том, что современная, стоящая у опасной черты цивилизация есть порождение патриархата. «Мы слишком легко забываем,— пишет Криста Вольф,— что женщина как интеллигент существует в мало-мальски заметном числе всего каких-нибудь шестьдесят-семьдесят лет. Мы знаем истории о ней, насчет нее, но ее историю — историю невероятного напряжения и храбрости, однако и невероятного

самоотречения и самоотрицания по отношению к требованиям ее природы — еще надо бы написать. Это была бы одновременно история одной из оборотных сторон нашей культуры». Можно согласиться или не согласиться с писательницей, когда она в публицистическом порыве называет «агитпроповским» действительно тенденциозный конец «Орестеи», где Эсхил устами Афины Паллады снимает вину с Ореста, убившего мать, чтобы отомстить за убитого ею отца. Но нельзя не увидеть в рассуждениях и наблюдениях этой книги, открывающих читателю глаза на связь нынешнего глобального неблагополучия с тысячелетиями женского бесправия, нечто куда более крупное, серьезное и глубокое, чем модный сейчас на Западе «феминизм», поверхностность которого Криста Вольф с большим тактом показывает двумятремя выразительными штрихами. Это не феминизм, а пытливая радикальность мышления, то самое, без чего слову писателя перед лицом вопроса «быть или не быть» грош цена.

Именно «женской» теме был посвящен отрывок из книги, опубликованный в ГДР литературно-художественным и общественно-политическим журналом «Зинн унд форм» в первом номере минувшего года и вызвавший в этом журнале дискуссию. Во втором номере известный литературовед Вильгельм Гирнус начал свою полемику с Кристой Вольф с частных замечаний. Он не согласен, например, с теми переводами одного четверостишия Сапфо, которыми пользуется писательница, и с ее толкованием одного из эпитетов Аполлона. Затем Гирнус выдвинул главное свое возражение. Он считает, что «читателю внушается, будто история в своей глубочайшей основе есть борьба не между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а между мужчинами и женщинами, и даже еще гротескнее — между «мужским» и «женским» мышлением, между, так сказать, каузальным и акаузальным, рациональным и эмоциональным началом». В четвертом номере Вольф ответила на частные замечания Гирнуса библиографическими справками, а на главное обвинение — известными словами Энгельса о том, что первое классовое противоречие в истории совпадает с развитием антагонизма между мужчиной и женщиной в браке, а первое угнетение одного класса другим — с угнетением женского пола мужским. В пятом номере журнал завершил дискуссию, опубликовав письма (очень интересные письма!) Гирнусу трех читателей, которые удивлены неубедительностью его аргументов и безапелляционностью его тона, и снова статью Гирнуса, касающуюся на этот раз только филологических частностей.

Что сказать по поводу этой полемики? Криста Вольф пишет в своем комментарии: «Я знала мало, когда, приехав на автобусе из Гераклиона, стояла во дворе бывшего кносского дворца, это было хорошо и в то же время плохо». Очень справедливые слова. Криста Вольф — не специалист ни по классической филологии, ни по древней истории. За короткий срок между поездкой в Грецию и написанием этих двух книг она явно проделала настоящий самообразовательный курс, прочла десятки книг, углубилась в предмет, и хотя пробелы в ее знаниях, что и говорить, остались, можно только подивиться ее трудолюбию и любознательности. А благоприятная сторона первоначально малого знания состояла в том, что оно дало непредвзятость и свежесть взгляда, важнейшие стимулы для писательской работы, для широких обобщений, для смелого полета мысли.

Впрочем, и «пробелы» видятся мне вовсе не там, где В. Гирнусу, который, например, зная, в отличие от Кристы Вольф, древнегреческий, оспаривает ее понимание одного четверостишия Сапфо. Не утомляя читателя филологией, скажу, что гирнусовский перевод этого четверостишия кажется мне «натянутым». В русском переводе В. В. Вересаева дискутируемые строки звучат так: «Луна и Плеяды скрылись, //Давно наступила полночь, //Проходит, проходит время, — //А я все одна в постели». Такой же смысл находит в этих стихах Криста Вольф, и греческий подлинник не исключает, по-моему, ее и Вересаева правоты. Да и стоит ли ломать копья из-за этой цитаты? Так ли уж она существенна в контексте, в масштабе второй книги? Мне, например, показался досадной наивностью вопрос писательницы, знали ли древние греки самоубийство. Разве мифы об Этее, о Федре, об Иокасте могли бы возникнуть, если бы они не знали его?

Но ведь все это мелочи, право не стоящие полемического пафоса. Главная претензия критика к Кристе Вольф состоит в том, что писательница, по его мнению, сводит всю историю человечества к борьбе между мужским полом и женским и, как женщина, берет сторону второго.

Мне вспоминается прочитанное как-то в «Литературной газете» интервью с писательницей Л. Петрушевской. Один редактор, рассказывает она, спросил ее, на чьей же она все-таки стороне — женщин или мужчин. И она ответила: «На стороне детей». Так же, по-моему, могла бы ответить своему оппоненту и Криста Вольф.

С. АПТ

ГОЛОСА ВЕНГЕРСКОЙ ПРОЗЫ

Сорок четыре венгерских рассказа. Составитель Лайош Иллеш. Предисловие Ю. Гусева. Будапешт, «Корвина», 1983.

Сорок четыре рассказа. Каждый из них знакомит нас с новым автором. Такой сборник увлекает, обещая открыть богатый и разнообразный мир. Но, с другой стороны, эту книгу невозможно читать «одним махом». Почти после каждого рассказа нужно приостановиться, чтобы осмыслить, пережить прочитанное, подготовиться к новому, как правило неожиданному, «повороту».

В любой антологии пестрота и мозаичность не только неизбежны, а, можно сказать, необходимы — иначе как достойно представить полифонию национальной ли-

тературы, подчеркнуть разнообразие авторских индивидуальностей? В принципе составителю это удалось: подавляющее большинство рассказов в сборнике самобытны и ярки. Почти каждый из них развивается по своим художественным законам, у каждого — своя особая интонация, свое настроение, атмосфера.

Но что же цементирует сборник, что не дает ему рассыпаться?

История, ее движение, которое так или иначе, косвенно или прямо отражено в антологии. Временем, конкретной эпохой веет с каждой страницы сборника. Чтобы почувствовать, угадать в том или ином рассказе Время, не нужно выискивать дату его написания. Композиция сборника читается ясно: книга довольно четко разбита на две примерно равные части, как разбит наш век второй мировой войной. Хотя большинство авторов старшего поколения пережили войну и успели внести большой вклад и в новую венгерскую литературу, тематически «послевоенная» часть антологии не преобладает над «довоенной». Сама же война (даже шире: военные годы) присутствует всего в пяти-шести рассказах. Тем лишь подчеркивается, что для составителя важно не просто выстроить последовательную смену времен, а обозначить в истории резкий слом. Потому и дана «военная часть» в сборнике лишь как рубеж двух эпох.

Такое деление антологии — не механический прием. В нем заложен определенный смысл. Обо всем мире можно без преувеличения сказать, что он вышел из второй мировой войны далеко не таким, каким вступил в нее. Тем более значительным является этот рубеж в жизни венгерского народа (как и многих других), для которого сороковые годы не просто поделили историю на «довоенную» и «послевоенную», но явились чертой, за которой кончилась старая, буржуазная Венгрия и началась новая, социалистическая. И особый интерес есть в той возможности, которую предоставляет читателю сборник: проследить, как история рождает в жизни общества новые проблемы, как рассматриваются они писателями разных поколений и с различных эстетических позиций и как видоизменяет новое время саму эстетику венгерского рассказа.

Если попытаться сравнить две эти условные части сборника, то возникает ощущение двойственное.

С одной стороны, в обеих частях представлено много ярких, интересных писательских дарований, и никак нельзя сказать, что какая-то из частей в этом смысле слабее другой.

Но в целом трудно отделаться от впечатления эмоционального спада при чтении второй половины сборника. В этом сыграли свою роль чисто внешние, но важные для восприятия моменты, которые нельзя не учитывать (как это ни сложно!) при составлении такой обширной антологии.

Не может не броситься в глаза, что рассказы первой «части» прежде всего выигрывают благодаря разнообразию персонажей и их характеров — здесь почти нет повторений. Перед нами и полковник, клубный завсегдатай, и официанты, и нищая уличная гадалка, музыканты, крестьяне, журналисты, священник, бедный студент, безработные, повар, циркачи и... даже обезьяна как главное действующее лицо! Всех их невозможно объединить в какие-либо однородные группы, что легко сделать во второй части, в которой мы видим в основном представителей городской интеллигенции и современной деревни.

Меньше контрастности во второй части и в жанровом отношении. Больше «упорядоченности», что ли, в интонации — и только Иштван Эркень резко выделяется в этом смысле из общего ряда.

Некоторое впечатление монотонности возникает еще и оттого, что здесь собраны главным образом новеллы, построенные на развернутом, подробном повествовании. К тому же, если, скажем, «День рождения Эмила Дукича» Ференца Каринти, несмотря на свой немалый объем, читается с неослабевающим напряжением, то в других рассказах (иной раз «переходящих в повесть») явно чувствуются длинноты и несколько утомляет авторское многословие: например, в таких, как «Тихое воскресенье» Габора Годы, «Петушиный крик» Магды Сабо, «Фердинанд Толвай» Дёрдя Молдовы, «Ниже ноля» Эржебет Галгоци.

Два последних рассказа завершают сборник, и это представляется не очень удачной «точкой» антологии, которая составлена в целом добросовестно и умно. Просчеты эстетического плана явились, по-видимому, результатом стремления составителя выдержать последовательный принцип подбора в плане тематически-историческом.

В конце книги помещен раздел «Коротко об авторах» — в нем даны очень сжатые справки о писателях, собранных в антологии. Читатели, мало знакомые с обширной венгерской литературой (а такие тоже могут оказаться), имеют возможность, прочитав рассказ (или перед этим — кому как больше нравится), получить сведения об авторе: важнейшие моменты биографии, перечень произведений и — что самое интересное — лаконичную, четкую характеристику особенностей его творчества. Раздел нужный, полезный.

Но у какого-нибудь дотошного или попросту вдумчивого читателя (а ориентироваться, вероятно, следует и на таких) в некоторых случаях может возникнуть недоумение.

Спора нет: из огромного количества произведений данного автора выбрать одно-единственный рассказ, чтобы он занял свое место среди сорока трех других,— сложнейшая творческая задача. И все же читатель, естественно, ожидает, что выбран будет лучший и — что не менее важно — наиболее характерный для автора рассказ.

И вот он узнает из справки, что проза Дежё Сомори отличается «...ритмической, напоминающей стихи, почти музыкальной манерой письма» — и ничего подобного не обнаруживает в рассказе «Божественный сад», помещенном в сборнике.

Далее — Геза Чат: «Его писательскую фантазию занимали странные, «дьявольские» существа, люди душевно больные...» Это несчастные-то провинциальные музы-

канты? («Музыканты») Нет, это, очевидно, про других. И никаких «иррациональных ужасов», обещанных в справке.

Можно привести еще несколько примеров — но дело не в самих этих «несовпадениях», а в том, что читателю всегда интересно в писателе именно то, чем он отличается от других. Вероятно, существуют серьезные — не случайные — причины, по которым невозможно было представить некоторых авторов наиболее значительными, характерными вещами. (Хотя бы та же историчность в концепции сборника.) Но в связи с этим возникает вопрос (именно вопрос — не хочется в этом случае быть категоричным): а так ли уж обязательно включать автора в сборник, если почему-либо невозможно представить его максимально характерно и полно через один рассказ? Так ли уж обязательно число «сорок четыре»? Ведь нельзя не отметить, что оба рассказа, о которых только что шла речь, далеко не самые интересные в сборнике. И если, к примеру, Тершански, как сказано в справке, «свой настоящий голос и жанр нашел... в романах, осуждающих лицемерную мораль буржуазного общества... и в главном произведении его жизни, цикле о Марци Какуке», страницы которого «населены бродягами, люмпен-пролетариями, более или менее опустившимися представителями богемы», то стоит ли давать его легкую зарисовку, изящный этюд о школьнике, «захмелевшем от весенних запахов», то есть, очевидно, обходя «главное произведение его жизни»?

Однако большинству авторов в сборнике повезло, и мы можем достаточно точно судить об их творческой индивидуальности даже всего по одному рассказу. Уже при беглом сопоставлении нельзя не увидеть, как сильно отличается лиризм Тибора Череша («Ой ты, небо звездное») от поэтичности Пала Сабо («Поцелуй Анны Сеги»); отстраненность Тибора Дери («Весело и дружно») от объективного тона Жигмонта Морица («Варвары»); сатира Габора Годы («Тихое воскресенье») от сарказма Калмана Шандора («Бунт еды»); тонкая ирония Ференца Каринти («День рождения Эмила Дукича») от ядовитой насмешки Эндре Иллеша («Приказ»); «полуабсурдизм» Иштвана Эркеня («Рассказы-минутки») от возвышенного гротеска Фридеша Каринти («Цирк») — и так далее. И если попытаться выбрать из сборника новеллы самые яркие, самые глубокие, самые оригинальные, то здесь не хватит места рассказать обо всех хотя бы коротко. Да и стоит ли выискивать? И тем более — пересказывать? Ведь это почти так же бесполезно, как пересказывать стихотворение.

Знакомясь со сборником, каждый, вероятно, сам для себя будет определять наиболее близкие ему по духу рассказы как «лучшие». Такой список может меняться в зависимости от индивидуальности, темперамента и художественных склонностей самого читателя. В любом случае список этот будет не короток, поскольку антология венгерского рассказа, выпущенная издательством «Корвина», показывает венгерскую новеллистику достаточно широко и разнообразно.

ВАДИМ КЛИМОВСКИЙ

НАДЛОМЛЕННАЯ СВОБОДА

Mario Benedetti. Primavera con una esquina rota. México, Editorial Nueva Imagen, 1982.

Марио Бенедетти. Надломленная весна, 1982.

Одним из важнейших человеческих качеств является, без сомнения, чувство ответственности перед обществом, перед самим собой. Оно, как и мужество, дающее человеку силы защищать свои идеалы,— не врожденное качество, оно формируется в процессе зрелого критического осмысления действительности. Далеко не все писатели способны выступать в своих книгах как борцы. Но именно к таким писателям относится уругвайский писатель Марио Бенедетти, хорошо знакомый читателям «Иностранной литературы». Бенедетти прекрасно знает, каким мощным оружием может быть литература, свидетельство тому — его книги, написанные с мастерством подлинного художника и вместе с тем не оставляющие сомнения относительно политических убеждений автора. Как-то он заметил: «Сама по себе литература не способна вызвать революционные перемены, но сколько раз... именно она помогала понять суть происходящего, учила различать добро и зло, учила людей идти по дороге прогресса».

Роман «Надломленная весна» — книга горькая, страстная и глубоко человечная. Написанная простым разговорным языком, она тем не менее воспринимается как своего рода политическое обвинение. Писатель, казалось бы, не предлагает никаких решений, не делает никаких выводов — он просто показывает, как и чем живут его герои, рассказывает об их надеждах, разочарованиях, заботах — и роман звучит как обвинение режиму, исковеркавшему их судьбы.

Интересна и непривычна структура книги. В ней чередуются эпизоды с одинаковыми названиями, рассказывающие то о жизни в изгнании, то о пребывании в тюрьме, но каждый раз с новыми подзаголовками, отражающими содержание именно данного эпизода, причем главки, повествующие об изгнании, набраны курсивом — таким образом автор подчеркивает их особую важность.

Герои книги — одна уругвайская семья. Сантьяго за свои радикальные взгляды был брошен в тюрьму в Монтевидео, которую кто-то со злой иронией окрестил «Свободой». Его отец, жена Грасиела и их девятилетняя дочь Беатрис живут в эмиграции в небольшом мексиканском городке. Грасиела, волевая и умная женщина, разделяет взгляды мужа. В полном лишений и сложностей существовании изгнанников поддержку ей оказывает ближайший друг Сантьяго — Родриго. Отец Сантьяго живет мечтой вернуться на родину и страшится, не дождавшись этого часа, умереть на чужбине. Сантьяго, внутренний мир которого раскрывается в его монологах и письмах к жене, по натуре оптимист. Несмотря на все

трудности и охватывающее его порой отчаяние, Сантьяго остается верен своим идеалам, своим политическим убеждениям, и у него хватает мужества строить планы на будущее.

В центре — взаимоотношения этих людей. На примере их конкретных судеб писатель показывает, какой личной трагедией может обернуться политическое изгнание. Грасиела и Сантьяго — два близких человека, необходимых друг другу. Но за время вынужденной пятилетней разлуки женщина постепенно все больше привязывается к Родриго, хотя долгое время участие к судьбе Сантьяго и желание сохранить ему верность мешают им признаться в своих чувствах. Грасиела очень тяжело переносит сложившуюся ситуацию: одиночество, опустошенность, безысходность приводят к нервному кризису. В конце концов Грасиела и Родриго решают открыть правду Сантьяго. Однако по совету своего свекра, который — не без естественной внутренней борьбы — понимает, что происходит с молодой женщиной, и проникается к ней сочувствием, они решают сделать это, когда Сантьяго приедет в Мексику: у них есть надежда, что после ближайшей амнистии Сантьяго будет освобожден. Решение, принятое Грасиелой, является кульминацией книги, которая почти совпадает с ее финалом. Сантьяго, действительно выпущенный на волю, летит в Мексику, наслаждаясь обретенной свободой и предвкушая встречу с семьей, с друзьями и единомышленниками. Он сознает, что прошло много времени и все эти люди переменились, да и в последних сухих письмах жены сквозило отчуждение. И все же, направляясь в Мексику, Сантьяго верит: он и Грасиела будут вместе, все наладится, и горечь навсегда уйдет из их сердец. На этой ноте и обрывается повествование.

Название его символично. Весна для Сантьяго — это свобода, возвращение к жизни: «После пяти лет зимы никому не удастся украсть у меня весну. Она — как зеркало, но у моего отбился угол. Наверное, это было неизбежно: пять лет — немалый срок. Но и с отбитым углом зеркало все равно остается зеркалом, а значит, и весна остается весной». В то же время слово «весна» заключает для Сантьяго и другой, горький смысл — его мать умерла, слушая «Весну» Вивальди. Кроме того, у каждого изгнанника есть своя «надломленная весна» — это ностальгия по родине, ностальгия, с которой он борется, пытаясь приспособиться к обстоятельствам, привыкнуть к чужим улицам, перекресткам, кафе.

Об этой книге, проникнутой тоской по родине, можно было бы и поспорить, но несомненно, что главное в ней — отчетливо звучащая надежда, вера в жизнь. Роман Марио Бенедетти призывает человека не сдаваться. Иными словами — это еще один успех прогрессивного уругвайского писателя, его вклад в литературу, озабоченную судьбами нашего континента.

ДАЛИЯ МЕНДОСА

г. Мехико

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ ВО ФРАНЦИИ

Год назад на страницах «Иностранной литературы» я уже выступал на эту тему. Что же наиболее значительного произошло во французской литературе за истекшее время?

Если времена дада, сюрреализма или экзистенциализма были богаты разного рода манифестами, то сейчас в нашей литературе трудно выделить какие-либо характерные тенденции. Писатели работают в относительном одиночестве, послушные собственным музам. Для литературы 1983-й был средним и в целом удачным, но не примечательным острыми вопросами годом. Это объясняется политическим и социальным положением Франции, которая не знает в настоящий момент таких драматических коллизий, как в годы антиколониальных войн — сначала в Индокитае, а затем в Алжире. Страна не переживает политических потрясений, равных событиям 1968 года, вызванных левыми силами, или волнений, которые могли бы исходить от ультраправых элементов. Противоречия во Франции не так кричаще очевидны, как в других западных странах: в ее благополучии есть одновременно что-то постыдное, безрадостное и тягостное. Проблемы найма и безработицы из-за экономического застоя непрерывно обостряются, хотя на первый взгляд ситуация может показаться и не такой уж тревожной. Однако французы вынуждены несколько умерить свои претензии и национальное честолюбие. Мы сами прекрасно сознаем свои трудности и привилегии. Наше сегодняшнее положение гораздо более шатко, чем в 60-е годы, отмеченные чрезвычайным промышленным подъемом, но более стабильно по сравнению с нашими западными соседями.

Мы узнали пределы своих возможностей, но политика, осуществляемая правительством социалистов, не радует ни рабочий класс, ни буржуазию. Дорогостоящие привычки нам уже не по карману: многим французам пришлось отказаться от дальних путешествий и домов в деревне, которые еще два-три года назад могла позволить себе иметь четверть населения. Что касается нашего личного бюджета, мы, как и тридцать лет назад, вернулись к скучной умеренности. Роскошь нам уже недоступна, но вполне доступные государственные радиовещание и телевидение нас тоже не радуют, так как их деятельность неукоснительно подчинена капризам «показателя слушаемости», свидетельствующего о популярности тех или иных передач. А широкие массы подлинному искусству, литературе и духовным радостям предпочитают футбол и грубоватые комедии.

Однако есть в этой безрадостной картине и нечто утешительное: отказавшись от путешествий и разочаровавшись в телевидении, люди стали больше читать, хотя и читают они совершенно бессистемно. Так что если общая ситуация довольно унылая, то для писателей она не так уж безнадежна. Конечно, нам явно недостает сплоченности, а в творчестве — глубины

мотивировок, зато мы отличаемся великолепным разнообразием. Сейчас, когда трудно провести грань между литературой левой и правой ориентации, когда не хватает серьезной философской школы, влияющей на писателей, когда национальные, общественные и религиозные проблемы не интересуют общество индивидуалистов, утратившее идеалы, в моду входят всевозможные причуды и капризы, которые определяют лицо французской литературы последнего времени.

В наших книгах, призванных нести отпечаток дня, вы не найдете прямого отражения жизненно важных проблем войны и мира, разоружения или ядерного вооружения: быть может, потому, что мы изо всех сил, с лихорадочной поспешностью стараемся воспользоваться существующим покамиром и, послушные инстинкту самосохранения, не верим по-настоящему в неотвратимость мирового конфликта между двумя разными идеологическими системами. Пожалуй, это даже не ослепление, а надежда на то, что человек, живущий в конце нашего столетия, отыщет способ избежать военной угрозы. Опьяняющий оптимизм — вот так я позволил бы себе охарактеризовать подобное умонастроение.

Последние полвека литературная пресса всячески старается внушить французам, какое исключительно важное значение имеют литературные премии, распределяемые в конце года. Лауреатам премий Академии Гонкуров, «Ренодо», «Фемина» и «Медичи» это дает возможность продать до миллиона или полутора миллиона экземпляров своих книг — для Франции это много: роман среднего объема стоит у нас приблизительно (в переводе на советские деньги) от семи до восьми рублей. Пресса поддерживает этот ажиотаж вокруг бестселлеров, и жюри должны учитывать, доступны ли самому широкому читателю награждаемые ими книги. В 1983 году премии были распределены не самым лучшим и достойным образом. Единственная книга, выделяющаяся своим художественным уровнем,— это роман «Заблудшие» Фредерика Тристана [1], получивший Гонкуровскую премию, написанный в стиле немецкого экспрессионизма и чрезмерно изобилующий деталями. Эта книга, лишенная четкой структуры, вполне соответствует представлению о нашем времени, распространенному на Западе: никто уже не знает, к чему стремиться и чего желать, и при этом все непрерывно занимаются самокопанием и самоанализом. Художникам это свойственно точно так же, как и всем прочим неуверенным в себе личностям, утратившим внутреннее равновесие. Перед нами сатира на духовный разброд, царящий на Западе; однако тон автора излишне напыщен, а стиль страдает небрежностью. Нет, все-таки по-настоящему выдающейся книгой года это произведение не назовешь.

Гораздо более значителен, по-моему, роман «Жиль и Жанна» Мишеля Турнье[2] (на русский язык, пока переведены только некоторые из его рассказов). Этот шестидесятилетний писатель пользуется большим успехом не только у французских интеллектуалов, но и в других западных странах, таких как Англия и США. Мишель Турнье обладает редким даром пересказывать старинные мифы в соответствии с духом времени. Так, в одной из предыдущих книг он совершенно по-новому интерпретировал историю Робинзона и Пятницы. На сей раз Турнье обратился к истории, в частности к взаимоотношениям Жанны д'Арк и Жиля де Реца, который был ее товарищем по оружию. Известно, что этот молодой французский маршал удалился впоследствии в свое имение, где предался совершенно разнузданному образу жизни. Известно также, что он совершил десятки жестоких убийств, пока, наконец, в возрасте тридцати шести лет не был казнен по приказу короля. Никто не знает, что толкало его на эти преступления: чья-то злая воля, садизм или безумие. Мишель Турнье объясняет это так. Чары Жанны д'Арк были столь сильны, а конец столь трагичен, что Жиль де Рец, который не причислял самого себя ни к святым, ни к спасителям родины, полагал, что заслуживает не менее ужасной кары. И чтобы попасть в ад, он вознамерился запятнать свою совесть грехами, какие не снились еще ни одному человеку. Уж если Жанна, эта святая, эта девственница, пошла на такие муки, значит, он, Жиль, должен взвалить на себя вину в тысячу раз тяжелее и ради этого совершить множество самых грязных и ужасных преступлений, чтобы уже никогда не обрести спасения. Версия Мишеля Турнье написана искусно и увлекательно, но есть в ней и что-то декадентское. В этой книге страстно изобличается мазохистский аспект католицизма, крайне редко освещаемый литературой.

Еще один в высшей степени интересный роман принадлежит сорокалетнему писателю Франсуа Вейергану. «Плот медузы»[1], заставляющий нас вспомнить знаменитую картину Жерико,— его третий роман. В этой яркой книге впервые в нашей литературе с такой правдивостью нарисован портрет телережиссера, который, выполняя правительственный заказ, ставит фильм о произведении художника-романтика. Перед нами проходит весь процесс создания фильма: от рождения идеи и пробных съемок до монтажа. Сюжет развивается одновременно в трех планах. Первый составляет изучение жизни художника в тот период, когда он, преодолевая различные трудности, творил свой шедевр. Эта работа настолько вдохновляет режиссера, что ему начинает казаться, что с каждым днем он все больше перевоплощается в художника, который занимает все его мысли. Вторая линия — это уже работа над самим фильмом, обычные технические неурядицы, с которыми ему приходится сталкиваться, и сложные взаимоотношения со съемочной группой: ведь режиссер трудится не в одиночку, фильм — это плод коллективных усилий. Кроме того, перед нами проходит личная жизнь режиссера, не связанная с

[1] Frédérick Tristan. Les Egarés. Paris, Editions Ballard, 1983.

[2] Michel Tournier. Gilles et Jeanne. Paris, Gallimard, 1983.

[1] François Weyergans. Radeau de la Méduse. Paris, Gallimard, 1983.

его профессиональной деятельностью. И читатель вовлекается в события, происходящие на всех этих трех уровнях. Как правило, в конце концов подобные творческие старания приносят внутреннее удовлетворение: работа закончена, всех это радует и фильм пользуется успехом. Вот тут и начинает сказываться оригинальность Франсуа Вейергана, который отвергает традиционные решения. Перед нами автор (и его персонаж очень похож на него самого), который живет и трудится в обществе, где передышки непозволительны. Как только произведение закончено, оно уже не принадлежит его создателю и он должен с ним расстаться. Все, что от него требуется — это поставлять зрителям спектакли, и не более того. И ему сразу же заказывают фильм на новую тему, а потом на другую — ничего не поделаешь: работа есть работа. И лучше не забивать себе голову мыслями об искусстве и вдохновении. Он приговорен непрерывно творить, не наслаждаясь плодами своего творчества, которые могли бы послужить для него моральным вознаграждением. Книга несет отпечаток горького таланта, принадлежащего художнику, который вынужден «производить продукцию» для развлечения публики и воздерживаться от размышлений. Герой Франсуа Вейергана — это поденщик при искусстве, а не художник в подлинном смысле этого слова.

Что касается поэзии, то для нее это был хороший год — если принять во внимание, что после Освобождения интерес широких читательских масс к поэзии значительно снизился. Однако если в пятидесятые годы у поэта, признанного элитой, как правило, могло быть (не считая некоторых исключений) не больше одной или двух тысяч читателей, то в последние двадцать пять лет число любителей поэзии удвоилось. Одна из самых примечательных книжек года — сборник стихов семидесятилетнего Эжена Гильвика «Надлежащий» [1]. По свежести чувств, богатству мыслей и отточенности формы этот сборник не уступает его предыдущим книгам. Почерк Гильвика легко распознать: перед нами, как всегда, короткие, не превышающие десяти строк стихи и никакой патетики. В этих стихах, напоминающих своей лаконичностью параграфы гражданского кодекса, отнюдь не изобилующих образами и решительных по тону, поэт стремится выявить и сделать зримыми взаимоотношения человека с окружающими предметами и природой, связь между видимым и невидимым. В природе поэт угадывает способность мыслить, а в предметах — нашу способность чувствовать. Гильвик углядывает общность в совершенно различных и несопоставимых явлениях и существах и естественно сближает их в своих стихах. Обычных читателей увлечет возможность помечтать вместе с поэтом, философы же найдут здесь немало дерзких гипотез, вызывающих на размышления. Гильвик ведет в стихах диалог с веществом и антивеществом и со свойственной ему иронией придумывает за них ответы на свои вопросы. Бесхитростно и просто он примиряет нас с окружающим миром, снимая покров таинственности даже с небытия.

Еще одно событие в поэзии — это объемистая поэма, занимающая более ста тридцати страниц, с довольно банальным названием «Здесь — там». Ее автор Доминик Гранмон [1] до сих пор был известен в первую очередь как блистательный переводчик стихов Янниса Рицоса. Он уже выпустил и несколько собственных поэтических сборников, но чувствовалось, что как поэт он еще не нашел себя, и его стихи не встречали отклика у читателя. Однако, не достигнув и сорока лет, Доминик Гранмон внезапно вырос до уровня лучших поэтов своего поколения, стихи его обрели естественность, оригинальность и неожиданную масштабность. Нужно погружаться в эту книгу, не надеясь сразу понять ее полностью, и вместо того чтобы с первых же строк отыскивать рациональный смысл сказанного, постараться проникнуть в подсознательное и в лес символов, и сложных метафор. Сначала получаешь только эстетическое наслаждение от самого стиха и построения фраз, но постепенно все становится ясно.

Доминик Гранмон пишет о нескольких сторонах нашего «я». Самое очевидное «я» проявляется у человека в общении с другими людьми, в его повседневных делах или во время путешествий — это его наиболее легко различимая и поддающаяся анализу часть. Кроме того, у человека есть и менее уловимое и ощутимое «я», оживающее в его памяти. Это постоянно изменяющееся «я», которое предстает в его беспорядочных воспоминаниях. Будучи марксистом, Доминик Гранмон противопоставляет этим двум формам проявления человеческой индивидуальности социальное «я», которое в его понимании является общим знаменателем всех остальных «я». Важно, что в целом «я» поэта открыто другим людям и преисполнено человеческого тепла.

Как видите, сегодняшняя французская литература во всех ее жанрах не стремится выполнять лишь развлекательную функцию. Каждый писатель находится в поисках, и в первую очередь он ищет самого себя. Но нужно признать, что, в отличие от немецкоязычной, латиноамериканской, советской или американской литературы, наша литература недостаточно социальна и стоит несколько в стороне от жизненно важных проблем, которыми озабочена планета. Зато всестороннее освещение получает одиночка-индивидуум со своими тайными комплексами и страданиями. Наша литература пишется рано повзрослевшими, но неудовлетворенными и растерянными людьми, которые гораздо охотнее вопрошают, чем стараются отыскать ответы на мучающие их вопросы.

АЛЕН БОСКЕ
г. Париж

[1] Eugène Guillevic. Requis. Paris, Gallimard, 1983.

[1] Dominique Grandmont. Ici — bas. Paris, Temps actuels, 1983.

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

«РЕКА, ПОВЕРНУТАЯ ВСПЯТЬ»

Журнал «ИБЛА» поместил рецензию на новый роман алжирского писателя Рашида Мимуни, опубликованный на французском языке, «Река, повернутая вспять». Это третий роман молодого писателя: его первый роман «Весна будет только еще прекрасней» был опубликован в Алжире в 1978 году. Новое произведение Мимуни, как и предыдущие, посвящено алжирской революции. Оно вызвало значительный интерес у читателей и критики, что объясняется, по мнению рецензента, не только актуальностью темы, но и его легким, доступным для широкой публики языком.

Герой романа Мимуни — бывший боец национально-освободительной армии, которого все считали убитым. Вернувшись в родные места, он находит свое имя на памятнике погибшим. Однако никто не узнает его, никто не хочет считать его живым. Он наталкивается на всевозможные бюрократические препоны, тщетно пытаясь разыскать жену, детей, давних друзей, и видит вокруг только холодные, словно окаменевшие лица. «Почему крестьяне позволили превратить себя в каменные статуи? Почему мертвые не могут свидетельствовать?» — с горечью вопрошает герой. В конце концов он сознает, что за светлые идеалы революции необходимо еще долго и упорно бороться, что реакционные силы внутри страны не одолеть без боя.

БОЛГАРИЯ

С ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ

«В последнее время Калина Донкова справедливо называют самым эмоциональным поэтом,— пишет рецензент журнала «Пламк» Луко Захариев. — Свидетельство тому — его сборники стихотворений «Апрельские холмы», «Внезапный возраст», «Рубаха для ближнего», а также публицистическая трилогия: «Частый случай», «Ранние мемуары», «Грустите в выходной день!»

Новый поэтический сборник «Неизбежный человек», вышедший в издательстве «Болгарский писатель» в Софии, появился вслед за публицистической трилогией, сделавшей поэта Донкова одним из самых популярных публицистов Болгарии. «Вполне естественно, — пишет рецензент, — возникает вопрос: не отдаляет ли поэта публицистика на опасное расстояние от поэзии? К радости нашей, этого не произошло. Наоборот, публицистика насытила, обогатила поэзию Донкова житейской мудростью, силой и глубиной. Уже с первых строк новой книги мы узнаем знакомые интонации Донкова: в стихотворении «Заложник» он говорит, что в наш тревожный век главное — чувство долга; быть «заложником совести» — значит чувствовать на себе ответственность за судьбу всего мира. Или в стихотворении «Ничейная вода», в котором особенно остро ставится вопрос о связи человека с тем уголком земли, на котором он живет, о том, что на земле не должно быть «ничейной воды», ничейных тревог, болей». Поэт сравнивает свою жизнь с пограничной рекой, которая разделяет добро и зло и не дает им слиться.

В этих произведениях, отмечает рецензент, особенно заметен поэтический рост К. Донкова, диалектическое мировосприятие им окружающего, проникновение в самые сложные проблемы человеческого бытия. В этом он роднится с такими поэтами, как Павел Матев, Любомир Левчев, Дамян П. Дамянов, Марко Ганчев, Пырван Стефанов, Евтим Евтимов, Петр Караангов, Борис Христов.

Неоднократно затрагивается в новом сборнике поэта и вопрос о творчестве и верности ему. «В стихотворении «Семь» Донков говорит, что на одном четырехстишии сломал «шесть долот». Фраза эта сказана вскользь, но именно из нее понимаешь, — подчеркивает рецензент, — сколь велика у Донкова ответственность перед поэтическим словом и как требователен он к своему творчеству».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» СЬЮЗЕН ХИЛЛ

После долгого перерыва Сьюзен Хилл вновь вернулась к творческой деятельности и выступила, как полагает рецензент «Таймс литерари сапплмент» Патриция Крейг, в несколько неожиданном для нее амплуа — как автор неоготического произведения «Женщина в черном», одно название которого заставляет вспомнить классику английского детектива — роман Уилки Коллинза «Женщина в белом».

Сьюзен Хилл, сообщает Патриция Крейг, выдерживает в своем романе все признаки жанра: в книге царит особая атмосфера напряжения, тайны, опасности, постоянно подстерегающие героев.

Рассказчик Артур Киппс, от имени которого ведется повествование, также достаточно типичный персонаж для произведения «с привидениями». Это скептик, убежденный, что разум способен разрешить все загадки бытия, что не следует усложнять происходящее, главное — подходить к событиям, сохраняя здравый смысл.

Обстоятельства складываются таким образом, что Артур вынужден покинуть Лондон, уехать в глушь, где ему предстоит привести в порядок дела недавно скончавшейся миссис Дрэблоу. Приехав в дом покойной, Артур довольно скоро обнаруживает, что никто из слуг, а также из знакомых миссис Дрэблоу не хочет отвечать на его вопросы. Он понимает, что смерть миссис Дрэблоу связана с какой-то тайной, которую по

каким-то причинам тщательно скрывают. Читателя не покидает ощущение реальности зла, существующего в мире.

Сьюзен Хилл, замечает Патриция Крейг, умело использует в своей книге элементы неоготического повествования. Из-под ее пера вышла не просто удачная стилизация и не только хороший детектив, но и произведение, отмеченное психологическим проникновением в тайны характеров. Более того, в этом произведении, как и в романах и рассказах Сьюзен Хилл, обнаруживается настойчивое стремление разобраться в феномене зла, осмыслить его как философскую категорию.

В знаменательной степени удача Сьюзен Хилл, заключает свою рецензию Патриция Крейг, объясняется тем, что она творчески осваивает традицию «готики» в англоязычной прозе, восходящую к Диккенсу, Генри Джеймсу, Элизабет Боуэн, Л. Хартли.

ВЕНГРИЯ

ПАМЯТНИК БЕЛЕ БАРТОКУ В ПАРИЖЕ

О новой работе известного венгерского скульптора, лауреата премии им. Кошута Имре Варги рассказывает на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика» журналист Ласло Аблонци. Вот что он, в частности, пишет в своем путевом очерке:

«На берегу Сены напротив Дома французского радио, неподалеку от Эйфелевой башни, среди огромных бетонных зданий зеленеет и дышит живой кусочек природы. На улице Руэль есть маленькая железная калитка, на которой написано: «Парк Белы Бартока». Я осторожно приоткрываю калитку, будто эта территория чья-то личная собственность. Зеленая трава, подстриженный кустарник, много скамеек, на которых сидят, читают, беседуют парижане: бетонная дорожка, описывающая круг, и в центре его — «абстрактная» композиция из металла, сверкающая в лучах солнца... Где же тут может быть скульптура?.. Оборачиваюсь и вижу: под сенью дерева в длиннополом пальто, опустив руки в карманы, стоит Бела Барток. Он словно осторожно шагнул к нам из зелени».

Парк и скульптура, пишет далее Ласло Аблонци, живут в тесном взаимодействии, в удивительной гармонии. Интересно пластическое решение памятника и удачно выбрано для него место. Этот уголок природы дорог нам еще и потому, признается автор очерка, что его очарование было отмечено и самим великим композитором. В 1905 году Барток, приехавший в Париж, чтобы как пианист и композитор принять участие в конкурсе имени Рубинштейна, в одном из писем на родину восторженно писал об этом кусочке живой природы, об изобретательности французов, искусно соединивших на крохотной территории красоту природы и красоту искусства.

На снимке: памятник Беле Бартоку в Париже, скульптор — Имре Варга.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ДРАМА ШАНДОРА ВЁРЁША В ТЕАТРЕ «ВИГ»

Советские читатели знают Шандора Вёрёша как поэта, чьи стихи печатались на русском языке в антологиях и сборниках. Недавно в Будапеште, в театре «Виг», состоялась премьера спектакля «Двуглавый зверь» по его одноименной пьесе.

Пьеса написана на историческом материале. В ней оживает далекое время XVI—XVII веков, когда Венгрия, стремясь освободиться от турецкого ига, непрерывно оказывалась театром военных действий. Центральным событием в пьесе является 1686 год — год освобождения Буды от турок.

Персонажи пьесы — реально существовавшие исторические личности — турецкие султаны Сулейман и Мохамед III, император Липот III, венгерский король Микша, легендарная Сусанна Батори. В размышлениях главного героя пьесы — школяра Амбруша Борнемиссы, который пытается осмыслить происходящее и выражает открыто свое неприятие политики междоусобных войн и насилия, воплощен, пишет театровед Андраш Барта на страницах газеты «Мадьяр немзет», заветные думы автора о мире, о труде, о самосовершенствовании.

Сам Шандор Вёрёш отметил на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика», что его пьеса непосредственно с современностью вроде бы не связана, но определенные тенденции нашего времени нашли в ней отражение. Развивая мысль Вёрёша, Андраш Барта подчеркивает, что пьеса, в которой происходит постижение событий прошлого, устремлена и в будущее, в XXI век. Она говорит о люб-

На снимке: сцена из спектакля «Двуглавый зверь».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюзика»)

ви к жизни — основе человеческого существования.

Режиссер спектакля Петер Валло, рассказывая о работе над этим спектаклем, отметил сложность жанра «Двуглавого зверя» и подчеркнул, что в пьесе сплавлены воедино традиции западноевропейской народной комедии (фарс, бурлеск) с поэтической драмой, поэтому основной интонацией для спектакля он выбрал интонацию трагикомедии, которая призвана донести до зрителя и общежитейское и возвышенное.

ВЕНЕСУЭЛА

СПЕКТАКЛЬ О БОЛИВАРЕ НА ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

Новое, интересное воплощение получил образ Симона Боливара, героя национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки XIX века, на сцене каракасской студии «Рахатабла», поставившей трагедию испанского драматурга Хосе Антонио Риаля. Спектакль решен в двух временных планах — в прошлом и в настоящем, он повествует о проблемах, не утерявших своей актуальности и в современной латиноамериканской действительности.

По воле драматурга, как сообщает кубинская газета «Гранма», Боливар оказывается заключенным в одной из современных тюрем некоего латиноамериканского реакционного режима. Его товарищи по заключению ставят спектакль в его честь по пьесе поэта, также заключенного. И хотя пьеса подвергается изменениям по требованию представителя тюремных властей — Суперцензора, «специалиста по смутьянам, охранителя порядка, в том числе и интеллектуального, призванного зачеркивать и исторические события, которых не должно быть», спектакль раскрывает перед зрителем трагедию Боливара, рассказывает о последних часах его жизни, когда он, вынужденный покинуть родную страну, смертельно больной, беседует с немногими сподвижниками, последовавшими за ним в Колумбию. Таким образом, перед зрителями проходят основные вехи жизненного пути Симона Боливара.

Газета «Гранма» пишет также, что трагедия «Боливар» учит истинному гуманизму и гражданственности.

ГДР

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА БЕХЕРА

После того как завершена работа над 18-томным Собранием сочинений Иоганнеса Р. Бехера, текстологи и издатели ГДР продолжают знакомить читателей с богатым наследием поэта, прозаика, публициста, одного из основоположников немецкой социалистической литературы. В издательстве «Ауфбау» вышла книга Иоганнеса Р. Бехера «Восстание в человеке»: эту книгу подготовила, на основе сохранившихся рукописей, литературовед Ильза Зиберт.

«Восстание в человеке» — цикл, состоящий из 102 философских фрагментов; иногда они представляют размышление, иногда зарисовку, иногда — микроновеллу с отчетливо выраженным сюжетом. Бехер работал над этой книгой в 1947—1948 годах. Потом он отложил рукопись в сторону; отдельные фрагменты, изложенные в форме рассказов-миниатюр, вошли в его цикл «Трижды содрогнувшаяся земля», известный советским читателям: он был опубликован в «Иностранной литературе» в 1969 году (№ 10), а потом вошел в том избранных произведений Бехера в «Библиотеке всемирной литературы». Но в контексте философских размышлений писателя эти микроновеллы читаются иначе, приобретают более глубокий смысл.

Книга «Восстание в человеке» была задумана Бехером как отклик на ситуацию, сложившуюся в Германии после краха третьего рейха, и вместе с тем как полемическое выступление, направленное против иррациональных, экзистенциалистских учений, распространившихся в Западной Европе непосредственно в послевоенные годы. Поэт с острой болью вспоминает о недавней «поре истребления», резко и прямо говорит о преступлениях нацистов и их многочисленных пособников. Он в поэтически заостренной форме передает свое ощущение трагедийного характера эпохи. Фрагменты, образующие книгу «Восстание в человеке», и по образной структуре, и по стилю перекликаются с западноевропейской философской публицистикой XX века (Ницше, Камю, Хайдеггер), но целенаправленно подводят читателя к выводам, резко противоположным идеям названных философов. «Восстание в человеке» задумано как призыв к пробуждению, возрождению человека, деморализованного тяжелым опытом войны. Главная идея всего цикла фрагментов — утверждение мира между народами. В этом — по справедливому мнению издателей — особая актуальность книги Бехера сегодня.

НА ЭКРАНЕ — РАССКАЗ СТЕФАНА ХЕРМЛИНА

После экранизации рассказа «Лейтенант Йорк фон Вартенбург» Стефана Хермлина (см. «ИЛ», 1982, № 4), творчество которого долгое время считалось «некинематографичным», сценарист Эберхард Гёрнер и режиссер Петер Фогель обратились к другому его рассказу — «Время одиночества» и создали по нему одноименный телевизионный фильм.

Действие происходит в 1942 году, в Южной Франции, куда эмигрировали из фашистской Германии Магда и Рудольф Нойберт. Антифашист, принимавший активное участие в граждан-

На снимке: кадр из телевизионного фильма «Время одиночества».

(Еженедельник «Зонтаг»)

ской войне в Испании, Рудольф утратил связь с товарищами, он замкнулся и думает теперь только о том, чтобы сохранить жизнь себе и Магде. Они живут в полной изоляции. Но когда Магда, над которой надругался французский чиновник, погибает, в Роберте просыпается ненависть и желание мстить. Он убивает чиновника, попадает в тюрьму, из которой ему удается бежать в Швейцарию. Зритель видит его в конце фильма решительным, смелым борцом, вырвавшимся из тесного мирка личных интересов...

«В этом фильме как бы оживает история, — пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг». — В основу и рассказа и фильма положены наблюдения и переживания самого Хермлина, опыт многих лет изгнания. С разрешения автора, Гёрнер и Фогель в чем-то отступили от первоисточника, но сохранили основной его дух. Им удалось передать глубину и эмоциональность, отличающие прозу Хермлина, его прекрасный язык».

«На нашем телевизионном экране появился фильм, который глубоко трогает, — отмечает еженедельник «Зонтаг». — Наряду с режиссером и сценаристом нельзя не отметить исполнителей главных ролей — Ютту Гофман и Кристиана Грасхофа, которые сыграли их правдиво и убедительно...»

ДАНИЯ

ПРЕМИЯ — АКТРИСЕ

Датская печать широко отметила присуждение премии Гельстеда Кирка-Шерфига крупному деятелю культуры Берте Квистгор. Впервые, отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк», эта премия присуждена не литератору. Яркая, многоплановая актриса, чей дебют на подмостках сцены состоялся пятьдесят лет тому назад, Берта Квистгор создала в театре, кино и на телевидении поистине уникальную галерею женских образов. Трудно переоценить, подчеркивают критики, значение ее вклада в театральное искусство страны. И если сегодня датский театр переживает пору своего коренного обновления, этим он в немалой степени обязан таланту и ясности творческих позиций Берты Квистгор.

Ее хорошо знают и уважают не только как актрису: с момента открытия в Дании Государственной театральной школы — с тех пор минуло уже двенадцать лет — Квистгор возглавляет ее в качестве ректора, а как педагог передает свой опыт и мастерство молодому поколению актеров.

Премию актрисе вручил в стенах редакции «Ланд ог фольк» председатель датской компартии Йорген Йенсен. «Благодаря тебе, дорогая Берта, — подчеркнул он,— многие из нас, участников рабочего движения, научились воспринимать культуру как одно из средств борьбы за преобразование общества».

На снимках: Берта Квистгор в одном из своих ранних фильмов (вверху) и на церемонии вручения премии.

(Газета «Ланд ог фольк»)

ИНДИЯ

НОВЫЙ ОТРЯД ЛАУРЕАТОВ

Правительство и общественные организации Индии уделяют большое внимание литературе, которая создается на многих языках — как тех, что относятся к числу основных, конституционно признанных, так и тех, что такого признания пока не удостоены. Во многих штатах Индии функционируют местные литературные академии, советы, союзы, ассоциации. В Дели с 1954 года действует Литературная академия Индии — правительственная организация, учрежденная во имя сближения литератур Индии, создаваемых на различных языках страны. Первым президентом Литературной академии был Джавахарлал Неру. В настоящее время этот высокий пост занимает видный индийский писатель-прозаик и поэт Винаяк Кришна Гокак. Премия Литературной академии Индии считается весьма престижной.

За прошедшие годы лауреатами Литературной академии стала большая группа писателей, поэтов, драматургов и литературоведов, представляющих не только основные, официально признанные, но и формирующиеся литературы Индии.

Как сообщает индийская пресса, в Дели оглашены имена лауреатов Литературной академии Индии за 1983 год. Премии посмертно удостоен выдающийся поэт литературы хинди Сарвешвар Даял Саксена (1927—1983), не доживший трех месяцев до дня своего триумфа. Премия С. Д. Саксене присуждена за сборник стихов «Люди на крючках вешалок».

Звания лауреатов Литературной академии присвоены старейшине орийской (создаваемой на языке ория) литературы — романисту Харекрушне Махтабу, известному маратхскому прозаику и драматургу Вьянкатешу Мадгулькару и другим литераторам, создающим свои произведения на основных языках Индии. В числе новых лауреатов Литературной академии — Пандхаринатх Ачарья, пишущий на санскрите, пенджабский поэт Притам Синх Сафир и некоторые другие.

Среди удостоенных премии за 1983 год имена также и тех литераторов, которые создают произведения на своих родных, хотя и не получивших официального

признания, языках: это пишущий на конкани Дамодар Мауджу, на догри — Вед Рахи, майтхильский поэт Чандранатх Мишра Амар, раджастханский прозаик Мохан Алок.

ИСПАНИЯ

НОВЫЕ КНИГИ О ВОЙНЕ

«Военная тема по-прежнему как магнит притягивает писателей». Этими словами начинается в газете «Паис» статья одного из ведущих испанских критиков, Луиса Суньена. Поводом для нее стала публикация в конце 1983 года сразу нескольких романов, действие которых непосредственно связано с гражданской войной. На обложке двух из этих книг стоят имена ведущих писателей современной Испании — Камило Хосе Селы и Хуана Бенета.

Роман «Заржавевшие копья» вышел пятнадцать лет спустя после принесшей Бенету славу книги «Вернешься в Край», где автор создает вымышленную географическую область — Край, метафорическое изображение Испании, той республиканской Испании, что потерпела поражение в гражданской войне. Теперь же писатель попытался осуществить давний замысел: создать хронику гражданской войны в Крае, поэтому «Заржавевшие копья» интересны не только как оценка прошлого через призму сорока с лишним лет, но и как произведение, проясняющее все творчество Бенета. Свободная романная форма позволила ему, как считает Бенет, создать живую атмосферу тех лет и заставила современного испанского читателя не столько понять, сколько почувствовать, чем была гражданская война для людей старшего поколения.

«Мазурка для двух мертвецов» — так называется новая книга Камило Хосе Селы — десятый по счету роман писателя; опубликован он после многолетнего молчания. Художественная структура книги напоминает «Улей», один из самых популярных романов писателя. «Мазурка для двух мертвецов» состоит из отдельных фрагментов; перед читателем проходит череда героев, непосредственно между собой не связанных, а в целом — воссоздается атмосфера военных лет в Галисии. На эту же задачу «работает» и язык романа, который отличается обилием галисизмов, искусно вкрапленных в испанский текст.

«Села и Бенет еще раз доказали, что военная тема далеко не исчерпана, что о гражданской войне можно писать, размышлять, что ее можно анализировать», — заканчивает статью критик «Паис».

ИТАЛИЯ

ГОРЕСТНАЯ СУДЬБА ЭЛЬЗЫ МОРАНТЕ

Итальянское общественное мнение горячо обсуждает «случай Моранте»: эта известнейшая писательница еще не так давно — в середине 70-х годов — собравшая своим романом «История» невиданно широкую для Италии читательскую аудиторию, на склоне лет оказалась без средств и, тяжело заболев, не имела возможности оплатить лечение в частной клинике. К горестной судьбе Моранте внимание общественности привлек Альберто Моравиа, напечатав в газетах открытое письмо к президенту Италии, в котором призывал помочь прославленной писательнице и поместить ее в государственную больницу на лечение за государственный счет.

После письма Моравиа в печати вспыхнула дискуссия: почти все приветствуют призыв помочь писательнице, но многие указывают, что данный «случай» выходит за рамки индивидуальной помощи. Собственно говоря, именно так ставит вопрос в обращении к президенту и сам Моравиа. Если в бедственном положении оказалась столь популярная писательница, получившая известность еще в 50-е годы, автор психологических романов («Остров Артура», «Любовь и ворожба»), сборника рассказов «Андалузская шаль», книги «Мир, спасенный детьми», предшествовавшей нашумевшей «Истории», и ряда других произведений, то чего ждать менее маститым писателям в случае болезни и нужды?

Известно, что в Италии писательское ремесло не сулит материальной независимости, большинство писателей поэтому не оставляет своей основной профессии, дающей средства к существованию. На литературные гонорары живут лишь немногие писатели, указывает в статье «Дело Моранте еще остается открытым» критик Оттавио Чекки в газете «Унита». И это, как правило, те, кто подчиняет свою литературную деятельность определенным группам и интересам. Те же, кто, как Эльза Моранте, хочет сохранить независимость и не продает свое перо, рискует умереть в нищете и без медицинской помощи. «Случай Моранте» ставит вопрос, пишет Чекки, об авторских правах, о помощи писателям со стороны государства, общественности. Но, наверно, заключает автор статьи, вопрос стоит еще шире: разве на помощь вправе рассчитывать только одни писатели? А другие творческие работники? А все остальные итальянцы? Поэтому-то призыв Моравиа и находит в Италии столь широкий отзвук.

ТРАГЕДИЯ ГЕНЕРАЛА ДАЛЛА КЬЕЗА НА ЭКРАНЕ

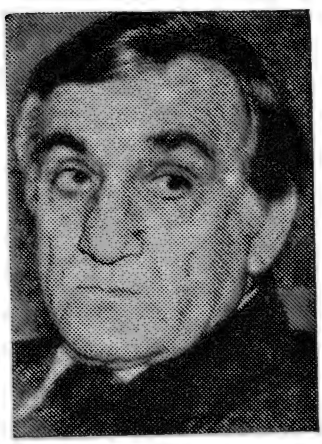
Фильм «Сто дней в Палермо» режиссера Джузеппе Феррара по сценарию Джорджо Аллорио посвящен генералу Карло Альберто Далла Кьеза, префекту Палермо, убитому мафией вместе с женой в сентябре 1982 года. На главную роль приглашен Лино Вентура, актер, сыгравший более чем в 70 фильмах, хорошо известный советскому зрителю по фильмам «Искатели приключений», «Зануда», «Новый год», «Сиятельные трупы», «Отверженные» и другим. В роли жены генерала — Эмануэлы Сетти Карраро — актриса Джулиана Де Сио.

На вопрос корреспондента, считает ли Вентура возможным противостоять мафии как явлению и как реальности средствами кино, актер ответил: «Мафия — это идеальная тема для кино. Не надо объяснять, о чем идет речь: само это слово сразу же превращается в хронику. Но если Фрэнсис Коппола дал нам американскую голливудскую версию мафии, то другие режиссеры использовали ее для исследования нашего смутного времени, когда утрачена вера в слово «демократия». Роль, которую я выбрал, — а в своей жизни выбирал и забраковывал всегда я сам, — продолжает Лино Вентура, — подсказывает мне, что мы сумеем на протяжении короткого промежутка времени в 100 дней при сочетании вымысла и реальных фактов дать хронику жизни Италии».

«День за днем я постигаю своего героя как человека, чья смерть отозвалась мощным эхом по всей Италии, — рассказывает Л. Вентура. — Я узнаю о том, что он любил общаться с молодежью, о его жизни в казармах, о его любви к жене. Я размышляю над одиночеством генерала, которого оставили одного в траншее, и меня охватывают грусть и гнев

На фото: Лино Вентура.

(Газета «Коррьере делла сера»)



«Впервые фильм о мафии рождается непосредственно из мощного движения гражданских и профсоюзных сил, которые уже многие годы активно выступают на Сицилии против этого явления», — сказала корреспонденту газеты «Коррьере делла сера» молодая, но уже весьма популярная актриса Джулиана Де Сио, исполнительница роли жены генерала Далла Кьеза в фильме «Сто дней в Палермо».

(Газета «Коррьере делла сера»)

многих людей, которые повсюду требуют борьбы с преступностью, с потворством властей мафии. Отныне мне целиком принадлежит этот образ одинокого человека, офицера, не принимающего уравнения: мафия= власть».

КУБА

ПРАВДА О ГРЕНАДЕ

По телевидению Кубы и на экранах кинотеатров страны с огромным успехом прошел фильм «Гренада. Мечта на взлете», созданный кубинскими документалистами во главе с режиссером Ригоберто Лопесом. Авторы включили в сценарий интервью, взятые у гренадцев, у рабочих различных национальностей, сооружавших аэропорт в Пойнт-Салинасе, у американских туристов. По мнению критика «Грамы», эта кинолента приковывает внимание зрителя не только потому, что показ ее совпал с трагическими событиями на Гренаде, но и благодаря высокому профессиональному мастерству ее создателей. Они не навязывают свою точку зрения, но даже неискушенному зрителю становится ясно, насколько лживы измышления американской пропаганды.

Фильм кубинских документалистов «Гренада. Мечта на взлете», удачно сочетающий в себе актуальность темы и мастерское ее исполнение, удостоен приза «Серебряный голубь» на последнем лейпцигском фестивале.

ЛИВАН

«ИЗ СОКРОВИЩНИЦ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

По сообщению журнала «Аль-Мактаба аль-арабийя», в Бейруте вышла книга «Из сокровищницы русской поэзии». В нее вошли главным образом произведения крупнейших русских поэтов XIX века, а также некоторые стихотворения поэтов XVIII века, таких как Ломоносов и Державин.

Стихи переведены на арабский язык доктором Х. Шарара. Ему же принадлежит предисловие к книге. По словам обозревателя журнала, книга дает ясную картину исторического развития русской поэзии.

ПОЛЬША

ВИТОЛЬДУ РОВИЦКОМУ 70 ЛЕТ

«Вторым Караяном» называют польского дирижера Витольда Ровицкого, 70-летие которого отметила польская общественность.

Уже в 1948 году проявились незаурядные способности молодого дирижера. В Катовице он создает симфонический оркестр, который под его руководством становится лучшим симфоническим оркестром Польши.

С 1950 года Ровицкий уже возглавляет Варшавский филармонический оркестр, который очень быстро завоевывает огромную популярность. Событием в музыкальной жизни страны становится исполнение оркестром цикла симфоний Бетховена и Брамса, Пятой симфонии Чайковского. В программе большое место уделялось и польским композиторам — и классикам и молодым. За исполнительское искусство Ровицкий был награжден Государственной премией первой степени и премией г. Варшавы.

Но, как отмечает газета «Трибуна люду», вершиной дирижерского искусства Ровицкого стало исполнение его оркестром произведений великого польского композитора Кароля Шимановского, которое станет эталоном для следующих поколений дирижеров.

«Бывают такие творцы,— пишет газета «Трибуна люду», — искусство которых впечатляет техникой исполнения, но оставляет вас холодными, а есть такие, которые сжигают себя в огне своего призвания, и к этим вторым, несомненно, принадлежит Витольд Ровицкий».

ПОРТУГАЛИЯ

СМЕРТЬ ПОЭТА-КОММУНИСТА

Газета «Диарио» пишет о тяжелой утрате, которую понесла Португальская коммунистическая партия, — на сорок седьмом году жизни умер поэт-трибун Жозе Карлуш Ари душ Сантуш. Вся его жизнь была отдана поэзии и борьбе за счастье трудового народа.

Еще во времена салазаровского режима он печатал стихотворения, пронизанные стремлением к свободе, и на одну из его книг ПИДЕ

«Портрет армии» — так называется альбом, выпущенный в Варшаве по случаю сорокалетия Войска Польского. В него включены фотографии ста шестидесяти работ, отражающих историю Войска Польского с начала его возникновения до наших дней: гобелены, скульптуры, графика, чеканка, живопись рассказывают о борьбе и труде польских воинов. На снимке: «Санитарка» Альфонса Карного, «Защитник родины» Казимежа Зелиньского.

(Газета «Трибуна люду»)

наложила арест. Его политический темперамент проявлялся не только в поэзии, но и в постоянном общении с массами, он часто обращался к трудящимся Португалии с трибун митингов, организованных левыми силами, со своими стихами и песнями, в которых ярко звучал призыв к свободе и к борьбе против фашизма.

Помимо поэтических сборников, он издал несколько пластинок с записями своих песен — их он создал более шестисот. Смерть, настигшая его в расцвете творческих сил, прервала его работу над первым прозаическим произведением — автобиографической книгой.

Ари душ Сантуш всегда подчеркивал свою приверженность политической поэзии, он говорил о себе: «Я поэт левых, а наше сердце тоже слева». Сердце поэта перестало биться, но стихи продолжают его дело. Последняя воля Ари душ Сантуша — покрыть урну с его прахом знаменем Коммунистической партии Португалии, в рядах которой он состоял, — была выполнена на его похоронах, где помимо многочисленных представителей общественности присутствовали и члены ЦК КПП.

США

ПОЭЗИЯ ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Лауреатом наиболее престижной в США Пулитцеровской премии в области поэзии в 1983 году стал Голуэй Киннелл (род. в 1927 г.). Премия была присуждена книге «Избранных стихотворений» поэта, составленной из лучших произведений всех восьми его сборников и ставшей итогом его тридцатилетней творческой работы. Г. Киннелл принадлежит к блестящей плеяде «пятидесятников» — поэтов, которые пришли в литературу в 50-е годы и с творчеством которых связано оживление демократических, антимодернистских тенденций в послевоенной американской поэзии. Как поэт Киннелл формировался вместе с такими видными поэтами центрально-западных штатов, как Дж. Райт, У. Стэффорд, Р. Блай. У истоков «центрально-западной» поэтической традиции стоят выдающиеся поэты Америки XX столетия — К. Сэндберг, В. Линдсей, Э. Л. Мастерс. Их обостренный интерес к острейшим проблемам социальной жизни страны, стремление наполнить свою поэзию большим гражданским содержанием, чувство социальной ответственности искусства — все эти качества присущи и поэзии Г. Киннелла.

В связи с присуждением поэту Пулитцеровской премии журнал «Сатердей ревью» поместил большую статью о нем и интервью, в котором поэт рассказывает о себе и своем творчестве. «Киннелл стремится быть в гуще сегодняшнего мира,— пишет журнал, — ощущать свое внутреннее родство со всем живым на земле». Оттого так тесно переплетаются в его поэзии темы борьбы за сохранение жизни, против варварского уничтожения природы и борьбы за мир, против войны, против любой формы уничтожения человека.

Вехи тридцатилетнего творческого развития поэта — это и вехи его гражданской, общественно-политической активности. В 1963 году он принимал деятельное участие в работе «Конгресса за расовое равноправие» в Луизиане — центре американского расизма. Во второй половине 60-х выступал в антивоенных поэтических чтениях, осуждая грязную войну во Вьетнаме. В 1982 году был одним из организаторов антивоенного митинга за запрещение ядерного оружия «Поэты против конца света» и митинга в поддержку борьбы народа Ливана с израильской агрессией.

Киннелл не считает себя политическим поэтом. Ведь главная тема его лирики — проблема жизни и смерти, раздумья о непростых путях биологической эволюции, над которой «надстраивается» социальная история, внося свои неизбежные коррективы и определяя судьбу всего живого на нашей планете. Но поглощенный, казалось бы, абстрактными философскими вопросами, поэт исподволь затрагивает актуальнейшие политические проблемы современности. «Когда один зверь пожирает другого, — говорит поэт, — это проявление закона природы, ибо животные существуют за счет друг друга. Но когда люди уничтожают друг друга — это акт безумия». Вот почему основное назначение поэзии в наше тревожное время Г. Киннелл видит в том, чтобы противостоять «безумию» и помогать человеку восстановить утрачиваемый сегодня контакт с природным миром, где жизнь всегда торжествует победу над смертью.

ФРАНЦИЯ

ВОКРУГ ЖУРНАЛА «ЭРОП»

Ожесточение, с которым правые силы стремятся при первой возможности наносить удары по прогрессивным организациям, затрудняя их деятельность, уже никого не удивляет во Франции. После того как эти силы на «муниципальном уровне» обрушились на Дома культуры («ИЛ», 1983, № 11) — детище писателя и политического деятеля Франции Андре Мальро (министра культуры при де Голле новым актом вандализма с их стороны стало преследование некоторых изданий. Так, муниципалитет города Дрё начал травлю известного литературно-художественного журнала «Эроп», созданного в 1923 году по инициативе Ромена Роллана и Жан-Ришара Блока. Это один из старейших журналов в стране, прекращавший свой выход только в годы оккупации. Как отмечается в заявлении его редакционного комитета, в течение более чем шестидесяти лет «Эроп» отражает гуманистические тенденции, защищая литературное и культурное достояние Франции и всего мира. Многие выдающиеся писатели принимали участие в работе журнала. Специальные номера «Эроп» посвящались тем или другим писателям или иностранным литературам (в том числе и советской многонациональной литературе).

Очевидно, именно эта принципиальная и прогрессивная позиция редакции «Эроп» и вызвала ненависть мракобесов из муниципалитета Дрё. Заместительница мэра, член фашистского Национального фронта Мирей Брион недвусмысленно заявила, что в своей культурной деятельности муниципалитет должен принимать во внимание интересы «своих» избирателей, — значит, долой из библиотек города журнал «Эроп» и ряд других изданий, которые не по душе «новым победителям». Как пишет в газете «Юманите» Франсис Комб, читатели будут лишены возможности прочесть номера «Эроп», посвященные Мольеру, Дидро, Стендалю, Клоделю, Борхесу, Джойсу, ибо они включены в картотеку мэрии как «опасные большевики»...

«Другой мэр, из Шовиньи, — продолжает Франсис Комб, — заявил, что член редакционного комитета «Эроп» Луи Арагон в силу этого обстоятельства не может рассматриваться как французский автор... Все это показывает, что меры, направленные против журнала «Эроп», делают ему честь. Но честь честью, однако угроза нависла над демократией. Нельзя допустить, чтобы читатели муниципальной библиотеки были лишены возможности читать популярный журнал».

Мэру Дрё направлены петиции, подписанные видными деятелями культуры Франции.

И СНОВА «КАРМЕН»

«Иностранная литература» уже рассказывала о фильмах Карлоса Сауры и Франческо Рози, снятых по мотивам новеллы Проспера Мериме «Кармен». Недавно к

На снимке: Маручка Детмерс в роли Кармен.

(Журнал «Премьера»)

этой же теме обратился и известный французский режиссер Жан-Люк Годар, чей фильм «Ее зовут Кармен» был удостоен премии «Золотой лев» на XV Международном кинофестивале в Венеции.

«Это еще одна современная вариация на тему классического произведения Мериме, которое вместе с оперой Жоржа Бизе и американским фильмом «Кармен Джонс» послужило основой для нашей картины,— сказал в интервью журналу «Премьера» Ж.-Л. Годар.— В фильме все идет от музыки, без нее «Кармен» невозможно себе представить. Правда, на этот раз звучит музыка не Бизе, а Бетховена. Основная сюжетная линия «Кармен» — встреча Кармен и Хосе, вспыхнувшая страсть, постепенное охлаждение — осталась. Зато изменилось окружение, в котором действуют герои. Их встреча происходит... во время ограбления банка. Хосе (в фильме он — полицейский), вместо того чтобы арестовать юную налетчицу Кармен, бежит с нею».

В фильме «Ее зовут Кармен» снималась начинающая актриса из Голландии Маручка Детмерс, а одну из ролей исполнил сам Жан-Люк Годар.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЗА МИР И ГУМАНИЗМ

Сегодня, когда над миром нависла угроза новой беспощадной войны, привлекают внимание два фильма молодого словацкого режиссера, представителя первого выпуска национальной школы словацкого документального кино, Душана Рапоша: «Не вешайте трубку, ваша очередь...» и «Под крыльями голубки».

Сюжетом для фильма «Не вешайте трубку, ваша очередь...» послужил цикл стихов на антифашистскую тему молодого словацкого поэта Эмила Голечки: что же нас ожидает, если на одну из мирных улиц упадет нейтронная бомба? Он был представлен на XXVIII международном фестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене. В Пештянах фильм получил почетную премию жюри, он также представлял чехословацкий кинематограф на фестивале в Бильбао.

«Под крыльями голубки» — документ-репортаж о Марше мира 82, взявшем свое начало в Стокгольме и проходившего через Советский Союз, Чехословакию и закончившемся в столице Австрии — Вене. Этот фильм Душана Рапоша завоевал четыре награды, одна из которых — премия Советского комитета за Европейскую безопасность — была присуждена на XIII ММКФ.

Режиссер в одном из недавних интервью сказал, что «хотел показать не только почему, но и против чего сотни людей разных народностей, различного цвета кожи, разного вероисповедания и разных политических мировоззрений отправились, чтобы пройти более 2000 км. Во время Марша мира я больше чем когда-либо осознал, что сегодня действительно никто из нас не имеет морального права быть в стороне».

ЯПОНИЯ

ВЫБРАТЬ СВОЙ ПУТЬ

Большой успех, пишет японская пресса, выпал на долю пьесы «Пыль», принадлежащей перу одного из известнейших мастеров драматургии Японии Мацуо Акимото. Она поставлена драматическим театром «Ёсидзава энгэки дзюку». Труппу театра возглавляет режиссер Такао Ёсидзава, который известен в Японии своей приверженностью творческим принципам К. С. Станиславского. «Согласно системе Станиславского, — сказал в интервью газете «Джапан таймс» Т. Ёсидзава, — артисты учатся следовать естественным канонам жизни, а не идти на поводу у искусственных приемов игры. Однако надо затратить много времени и сил, чтобы освоить эту систему».

Творческие принципы режиссера, отмечает «Джапан таймс», близки по духу драматургии М. Акимото. В своей одноактной пьесе «Пыль» он пытается дать современное осмысление проблемы независимости женщины в современном обществе.

Действие спектакля происходит в 1945 году, незадолго до окончания войны на Тихом океане, в доме владельца фабрики по производству сельскохозяйственного инвентаря Риити Саэки. Когда линия фронта вплотную приблизилась к Японии, Риити предлагает своей семье — жене, сыну, сестре, свояченице и дяде — переехать в интересах безопасности из столицы в глубинку. Он не верит своим ушам, когда его сестра Тейко заявляет о твердом намерении остаться в Токио, работать учительницей в школе и вообще идти своим путем. Глава патриархальной семьи-клана, Риити привык повелевать и нетерпимо относится к любым попыткам нарушить принципы абсолютного послушания воле старшего.

Из всей семьи только дядя решается поддержать Тейко. Именно в его уста драматург вложил древнекитайское стихотворение о необходимости расставания, озаглавленное «Пыль». Оно и дало название всей пьесе. Семейный конфликт, который является отражением конфликта социального, завершается уходом Тейко из семьи.

Рецензенты отмечают, что поставленная в спектакле проблема — о праве женщины на выбор жизненного пути в условиях патриархальных семейных устоев — довольно остро стоит в Японии сегодня.

На снимке: сцена из спектакля «Пыль».

(Газета «Джапан таймс»)

Авторы этого номера

МАНФРЕД ШТРОЙБЕЛЬ — MANFRED STREUBEL (род. в 1932 г.)

Немецкий поэт и драматург (ГДР). Лауреат нескольких литературных премий. Автор многих поэтических сборников—«Громко и тихо» («Laut und leise», 1956), «Стрелки времени» («Zeitansage», 1968) и др. В русском переводе его стихи печатались в антологиях поэзии ГДР и в периодике.

В предлагаемую подборку вошли стихи из книг М. Штройбеля, выпущенных издательством «Миттельдойчер ферлаг» в Галле—Лейпциге (Halle-Leipzig, Mitteldeutscher Verlag): «За медом» («Honig holen», 1976), «Опись. Лирический дневник» («Inventur. Lyrisches Tagebuch», 1978), «Разбегающиеся круги» («Wachsende Ringe», 1980), «Итог» («Fazit», 1983).

ДЖОН АПДАЙК — JOHN UPDIKE (род. в 1932 г.)

Американский писатель. Член Американской Академии наук и искусств. Известность и признание пришли к Дж. Апдайку после выхода в свет романов «Кролик, беги» («Rabbit Run», 1960) и «Кентавр» («The Centaur», 1963), за который ему была присуждена Национальная книжная премия. В последующие годы вышли книги рассказов «Музыкальная школа», «Музеи и женщины» («Museums and Women», 1972), романы «Супружеские пары» («Couples», 1968), «Кролик возвращается» («Rabbit Redux», 1971), «Месяц безделья» («A Month of Sundays», 1976), «Кролик разбогател» («Rabbit is Rich», 1981) и другие. Его лучшие рассказы были отмечены премией О. Генри.

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Дж. Апдайка, напечатав его романы «Кентавр» (1965, № 1, 2), «Ферма» (1967, № 4), «Давай поженимся» (1979, № 7, 8).

Публикуемые рассказы взяты из следующих книг Дж. Апдайка: «Музыкальная школа» («The Music School and Other Stories», 1964), «Проблемы» («Problems and Other Stories», 1975, 1979), «Слишком дальняя прогулка»(«Too Far To Go. The Maples Stories», 1979).

ЭРИК БЛУМБЕРГ — ERIK BLOMBERG (1894—1965)

Шведский поэт, искусствовед, публицист. Почетный доктор философии Упсальского университета. Лауреат многих литературных премий Швеции. Автор семи поэтических сборников: «Песни одиночества» («Ensamhetens sånger», 1918), «Человек и бог» («Människan och guden», 1919), «Земля» («Jorden», 1920), «Песни» («Visor», 1924), «Пленный бог» («Den fångne guden», 1927), «Глаза ночи» («Nattens ögon», 1943), «Откройтесь, глаза» («Öppna er, ögon», 1962).

Публикуемые стихи взяты из двухтомного «Собрания стихотворений» Э. Блумберга (Samlade dikter, Stockholm, «Norstedt», 1963).

БЕК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Советский поэт, критик, переводчик. Автор двух книг стихов — «Скворешники» (1974) и «Снегирь» (1980). В ее переводе публиковались стихи из скандинавской поэзии XIX и XX вв.

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА

Советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «О мировом значении Л. Н. Толстого» (1957), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Ромен Роллан» (ЖЗЛ, 1969), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973), «Первый антифашистский роман» (1974), «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние» (1978), «Роман — свободная форма» (1982).

ПРОЖОГИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1928 г.)

Советский журналист-международник; кандидат юридических наук. Член редколлегии, редактор газеты «Правда» по отделу международных проблем. Наряду с темами международной политики выступает в печати по вопросам культуры и искусства. Автор книг «Доброго утра, Африка», «Встречи с Ренато Гуттузо».

ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1913 г.)

Советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Автор романов «Тропы Алтая», «Соленая падь», «Южноамериканский вариант», «Комиссия», «После бури», повести «На Иртыше (Из хроники села Крутые Луки)», нескольких сборников рассказов, очерков, ряда литературоведческих работ.

АТУКВЕЙ ОКАЙ — ATUKWAY (JOHN) OKAI (род. в 1941 г.)

Ганский поэт. Переводы стихов Окая вошли в сборник «Поэты Ганы» (М., 1963); его стихи и поэмы публиковались также в «Иностранной литературе» (1964, № 9, 1967, № 8) и в других советских журналах.

Публикуемая статья получена в рукописи.

ПАРНОВ ЕРЕМЕЙ ИУДОВИЧ (род. в 1935 г.)

Советский писатель; лауреат международной литературной премии по научной фантастике «Золотые крылья фантазии», вице-президент Всемирной организации научных фантастов-профессионалов. Автор романов «Секретный узник», «Ларец Марии Медичи», «Третий глаз Шивы», «Посевы бури», «Боги Лотоса» и др.

МИРОСЛАВ ИВАНОВ — MIROSLAV IVANOV (род. в 1929 г.)

Чешский писатель, публицист. Автор многих известных произведений современной документальной прозы — «Боги ушли» («Bohové odešli», 1959), «Ленин в Праге» («Lenin v Praze», 1960, 1964, 1973), «Секрет КЗР» («Tajemství RKZ», 1969), «Не только черные мундиры» («Nejen Černé uniformy», 1963, 1964, 1973), «Марсово поле» («Martova pole», 1974) и других.

В «Иностранной литературе» (1980, № 5) напечатаны фрагменты книги М. Иванова «Даже камни горели».

В этом и следующем номерах мы предлагаем вниманию читателей монтаж по книге М. Иванова «Покушение на Рейнхарда Гейдриха» («Atentát na Reinharda Heydricha». Praha, Panorama, 1979).

ДАФНА ДЮ МОРЬЕ — DAPHNE DU MAURIER (род. в 1907 г.)

Английская писательница, автор многих романов и сборников рассказов. Большую популярность приобрел ее роман «Ребекка» («Rebecca», 1938). В Советском Союзе этот роман был издан в 1956 г. на английском языке. На русский язык переведены несколько рассказов, публиковавшихся в периодике. Рассказ «Эскорт» взят из сборника «Сокровищница рассказов Дю Морье» («The Treasury of Du Maurier Stories», 1960).

К. Л. ГАНДИ (род. в 1931 г.)

Индийский филолог, новеллист. Пишет на хинди. Автор книги-исследования «Языковая проблема в Индии». Книга переведена на русский язык.

Публикуемый рассказ получен редакцией в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5.03.84. Подписано в печать 16.04.84. А03448. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч. изд. л. 24.29

Тираж 377.000 экз. (1-й завод: 1 — 337.000 экз.) Зак. 912.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ИМРЕ ВАРГА. Памятник художнику Б. Цобелу в Сентэндре. 1976. Бронза.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394